

Н О В Ы Й
М И Р

|| 5 ||

Н О В Ы Й М И Р

|| 1958 ||

5



1958

НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIV

№ 5

Май, 1958 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ГЕОРГИЙ МАРЯГИН — Большая руда	3
<i>К конференции писателей стран Азии и Африки</i>	
ПОЭЗИЯ ГНЕВА И БОРЬБЫ. Бернар Б. Далье. Ты — хозяин. Осуши свои слезы! Не люблю! — Леопольд Седар Сенгор. Возвращение блудного сына. Ты долго в ладонях сжимала... — Давид Диоп. Цепи в агонии. Отступник. Коршуны. Африка. Волны. — Нене Кхали. Воздух Африки. — Марсиаль Синда. Свет зари. Даба. — Жак Рабеманандзара. Остров, одно только слово... — Флавьен Ранаиво. Советы новобрачным. Песенка простодушного влюбленного. Перевели с французского Л. Гинзбург, М. Ваксмахер, Е. Гальперина, В. Берестов	12
ДМИТРИЙ СТОНОВ — Текля и ее друзья, повесть. Окончание	31
Р РОМА — Рассказы о детстве	89
КОСТЬ ГЕРАСИМЕНКО — Память, стихи Перевел с украинского Борис Ирнин	131
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — Два стихотворения	138
Д. САМОЙЛОВ — Рубежи (Из поэмы «Ближние страны»). Крылья холода, Извечно покорны слепому труду... Дует ветер. Я наконец услышал море... Стихи	140
Н КИСЛИК — Первая молодость — первая рота. Стихи	144
ГЕВОРК ЭМИН — Три стихотворения. Перевели с армянского Юрий Левитанский, В. Берестов	147
АЛЕКСИС ПАРНИС — Кочегар Иван Петрович уходит на пенсию, стихи. Перевел с греческого Евг. Евтушенко	150
ФЕДОР ЕГОРОВ — Не склонив головы	156
—	
Ф. РЯБОВ — Маркс и его любимые авторы	187
ПУБЛИЦИСТИКА	
Г. СОКОЛОВ — У лукоморья	192

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ	
<i>К 140-летию со дня рождения Карла Маркса</i>	
НАРОДНЫЕ ПЕСНИ. Из альбома молодого Маркса	200
ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ К. МАРКСУ	211
В. МОСОЛОВ — Библиографические раритеты	214
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	218
Р. Орлова. Украшатели грязи.— К. Наумов. Проблемы перевода.	
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
И. ЭВЕНТОВ — Эстетствующие ревизионисты и традиции Маяковского	229
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	244
Кандидат философских наук В. Разумный. Основоположники марксизма об искусстве.— Александра Бруштейн. Подвиг любви и терпения.— Б. Сарнов. Полнота жизни.— Александр Ивич. Единство замысла и выполнения.— В. Гоффеншефер. Труд библиографа.— Юрий Барабаш. Книга о поэте и революции.— Анна Илупина. «Отелло» на грузинской сцене.	
<i>Политика и наука</i>	262
Кандидат исторических наук А. Байкова. Воспоминания немецких товарищей о Ленине.— Кандидат исторических наук О. Блюмфельд. Из истории Дагестана.— Полковник Н. Денисов. Мемуары С. М. Буденного.— Г. Драмбянц. Генерал против арабов.— А. Макаров. Там, за Ладожским озером...— Е. Немировский. Старый мир и новые звезды.— И. Пешкин. Экономическая учеба в Норильске.	
ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО	275
А. Шифман. Произведения Льва Толстого в Китае.	
МЕЖДУ ПРОЧИМ...	278
Александр Морозов. Об «идеале красоты». — Б. Ю. Кто не знает?.. — В. К. Перевод с французского...— А. Н. Новое в истории... — А. М. Сестра своего отца.	
КОРОТКО О КНИГАХ	280
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	284

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ГЕОРГИЙ МАРЯГИН

★

БОЛЬШАЯ РУДА

◆

В степи бурили скважину.

Работа была нудной, такой же однотонной, как сам пейзаж голого Белгородского всполья, среди которого стояла закопченная ветрами единственная буровая вышка. Где-то здесь, на границе Средне-Русской возвышенности и Донецкого кряжа, могли быть залежи минерального топлива.

Место для буровой выбрали неподалеку от небольшой степной деревушки Яковлевки, почти на самой обочине автостреды. Днем и ночью не прекращалось движение. Проносились с пристегнутыми шлейфами пыли легковые автомобили, деловито спешили караваны грузовиков, резво одолевали пригорки транзитные «газы». Глядя на этот целеустремленный поток, бурильщики еще больше досадовали: у всех ясное направление, точные финиши, а тут в метель, зной, дождь ищи удачи в подземных потемках.

Когда закладывали буровую, были надежды, что удастся нащупать если уж не каменный уголь, то хотя бы месторождение кварцитов, добраться до кристаллической плиты, о которой столько спорили геологи. Но сотни образцов керна повторяли одно и то же — мел, мергель, пески, глина... Менялись вахты, повизгивали тросы на блоках, поднимавших буровые штанги, аккуратно нумеровали и складывали керна. Все это стали делать уже механически, без волнения ожидания. Скорее бы добраться до заданной глубины — 450 метров, закончить разведку.

— Буравим землю, черт зна зачем. Называется — выбрали направление! Только время изводим дарма, — поругивались бурильщики.

Всем было ясно: вышку скоро снесут, людей откомандируют в другие места...

Наступила весна 1953 года — неистовая, жаркая.

— Прямо твоя Караганда! Что там раскаленная сковородка, что здесь. Как только у земли хватает силы такую жарынь выносить? — говорили, жмурясь от солнца, рабочие.

Но и у земли скоро иссякли силы. Она потрескалась, спеклась на юрах. Даже в низинах высохали ручьи. А тут, как назло, из пластов поднимали лишь мокрые пески, пропитанные водой известняки. Чем глубже бурили, тем больше было воды, она поднималась по скважинам. С каждым днем становилось хуже в Яковлевке. На что уж геологоразведчики, обветренный и ополосканный дождями народ, но и те сдавали, когда задувал «азовец» — напористый, сухой, солнечный суховец — и над степью курилась коричневая пелена распыленной земли.

И вот в начале мая скважина достигла 451 метра. Однако команды «стоп» не было.

Как-то утром начальник разведочной партии Трофимов возвращался из Белгорода к себе в Яковлевку.

Степь горела в сухом пламени рыжей пыли.

— Газану я отсюда подальше, Федор Прохорович, — говорил шофер, — чтоб это яковлевское пекло забыть и не вспоминать, как два года здесь зимогорил. На Кубань подамся!

— А я в Караганду, — сказал Трофимов. — Там тоже не курорт, но будешь хоть знать, из-за чего работаешь.

— Вышку не надо разбирать, — указывая взглядом на возникшую из-за холма яковлевскую буровую, засмеялся шофер, — ни в коем случае не разбирать. Пусть как памятник останется тем геологам, что нас сюда направили.

Он круто вывернул машину с автостреды на площадку к буровой. Возле вышки, где целыми днями никого не было, сейчас толпился народ.

— Не иначе как трубы упустили, — присвистнул шофер. — Плыли, плыли да возле берега и утонули.

Не ожидая, когда остановится машина, Трофимов спрыгнул с подножки.

— Руда... Пошла руда! — крикнул кто-то из бурильщиков, увидев начальника партии. — Чикунов первый керн взял.

У Трофимова отлегло от сердца. Что только не передумаешь за минуту волнения: оборвалась колонна труб? Искривили скважину? Изуродовало кого-нибудь?..

— Неужто руда? — отирая вспотевший лоб и все еще не веря, спросил Трофимов. — В кварцитах вошли?

— Она не в кварцитах, рыхляк, — сказал подошедший Чикунов, плотный, неторопливый человек. — Вон, любуйся!

На грубо сколоченном столе лежал коричнево-темный, глянцевиый, шербатый по краям цилиндр керна. Руда была кроваво-красной.

— И в самом деле руда! — покачал головой Трофимов. Он долго молча стоял, ощупывая керн. Потом вдруг крикнул шоферу: — Миша, заводи, поехали на телефон, надо сообщить в трест!

Он снова с неловкой осторожностью провел рукой по керну. Потом обвел взглядом бурильщиков, как заговорщиков, и тихо произнес:

— Не закрыли все-таки, вот и... — Не досказав фразы, нырнул в кабину.

Вскоре примчались управляющий трестом Мамлин, главный инженер Мокшанов, геологи, геофизики.

— Бурить, бурить, пока хватит сил! — распоряжался Мокшанов. — Направление-то ведь оказалось золотым.

— Давно бы надо бурить здесь, а то все раздумывали, — буркнул, намекая на что-то, один из инженеров.

Геологи сосредоточенно молчали, может быть вспоминая почти четвертьвековую дискуссию о железорудных месторождениях Курской магнитной аномалии.

Было четырнадцатое мая 1953 года. День, когда впервые на сравнительно небольшой глубине найдены огромные залежи отличных железных руд.

...На Яковлевке теперь бурили напористо. Углубились еще на десять, пятнадцать метров. Керн был целиком из железной руды — мартита, без вредных примесей.

За три месяца прошли сто восемьдесят метров. На всем пути скважина пересекала богатую руду — с содержанием железа от 55 до 60 процентов.

На горизонте «660» бурение приостановили — не хватило технических средств. Стали ожидать, когда пришлют мощные станки глубокого бурения.

Еще совсем недавно считалось, что историю обнаружения КМА следует начинать с поездки академика П. Б. Иноходцева в Курскую губернию в конце XVIII века, когда ученый впервые заметил «ненормальное» поведение магнитной стрелки.

Но вот несколько лет назад историк Е. И. Заозерская отыскала документы о Григории Капустине и других первооткрывателях руд на юге России и Украине. Мы узнаем о белгородских купцах и промышленниках Иване Морозове, Иване Гинкине, которые в сороковых годах XVIII века хотели ставить заводы на курских месторождениях.

Пока что не известны имена рудознатцев из народа, открывших железные руды в верховьях Донца и его притоков. В 1743 году Иван Морозов писал, что в разных местах на юге России он нашел «многое число горнов или сыродутных печей, которые зделаны и состоят уже все зарослые в землю, и делано в оных было железо весьма в далеких годах, токмо каким людьми, о том знать и помнить никому не можно».

Серьезным исследованием курских магнитных аномалий занялся в конце прошлого столетия профессор Московского университета Эрнест Егорович Лейст. Он пришел к выводу, что под толщами песка и глин находятся колоссальные запасы магнитных железняков. Первое же научное сообщение об этом привлекает внимание европейских ученых.

Лейст пытается получить поддержку курского земства. Он хочет широко организовать разведки, заложить несколько буровых скважин. Ему отказывают: по мнению местных купцов и дворян, это пустая затея. Не встречает он веры в свою идею и со стороны некоторых видных ученых, а Геологический комитет издевательски раскритиковал все его предложения. Дальнейшее изучение курских магнитных аномалий пришлось вести на собственные средства.

В 1918 году Лейст уехал лечиться в Германию и уже не смог возвратиться на родину. Все материалы по разведкам КМА после смерти ученого попали в руки авантюристов и маклеров. Они предложили правительству молодой Советской республики приобрести уворованные ими материалы за огромную сумму — восемь миллионов золотых рублей. Разумеется, такое предложение было отклонено.

О работах Лейста знал В. И. Ленин. По его прямому указанию была создана Особая комиссия по изучению Курской магнитной аномалии, отпущены средства, необходимые для организации экспедиции.

Летом 1919 года, когда на Южном фронте шли горячие бои конницы Буденного с белогвардейцами, совсем неподалеку от передовых позиций, в Тимском уезде Курской области, небольшая группа советских людей устанавливала измерительные приборы. Это приступила к выполнению ленинских заданий экспедиция, возглавляемая выдающимся физиком академиком Петром Петровичем Лазаревым и крупнейшим геологом Иваном Михайловичем Губкиным.

По предложению Ленина Совет Труда и Оборона в августе 1920 года принял специальное постановление о комплексном изучении КМА. Разведывательные работы были признаны имеющими «особо важное государственное значение». В письме к Г. М. Кржижановскому (в то время руководившему Госпланом), датированном 6 апреля 1922 года, Владимир Ильич указывал: «Дело это надо вести с у г у б о энергично». И позднее, уже во время болезни, он просил сообщать ему ежедневно о том, как идут работы.

Вскоре была составлена карта магнитной аномалии в районе Щигры — Старый Оскол. Иван Михайлович Губкин, развивая положение Лейста, доказывал, что здесь сосредоточены огромные запасы магнитной железной руды. В 1923 году близ Щигров бурильщики добыли первые куски

железной руды. Так была окончательно установлена причина курских магнитных аномалий.

Бурное развитие народного хозяйства СССР, замечательные успехи социалистической промышленности выдвинули исключительно острую проблему сырья для мартенов и домен, тем более хороших руд. И тогда снова возобновились поиски в районе КМА.

Разведки в деревнях Коробково и Лебеди, в 25 километрах от Старого Оскола, и радовали — обнаружены богатые металлом мартиты, до 65 процентов железа — и одновременно огорчали: месторождения насыщены водой. Лежащие же под рыхлыми рудами кварциты содержат лишь тридцать процентов железа.

— Дело ясное, — отмахивались противники освоения КМА. — Богатые руды в воде, их не возьмешь, а кварциты нужно дробить, обогащать, спекать. «Кексы» станут в копеечку!

Не таков был Губкин, чтобы отступить перед стихией. При поддержке Г. К. Орджоникидзе он добился средств на закладку рудника вблизи Коробкова. По его совету начинают разработку в толще кварцитов — сюда уж вода не пройдет.

...Началась Отечественная война. Фашисты уничтожили рудник, поселок, обогатительную фабрику «КМАруда».

Когда в послевоенное время встал вопрос о возобновлении разведок залежей руд, выбор направления работ не вызывал споров. Поиски целесообразно вести к северу от Старого Оскола, где кварциты ближе к поверхности, — единогласно решили в Министерстве геологии, Институте горного дела Академии наук СССР. И лишь один ученый упорно утверждал, что богатые железом руды заложены в противоположном направлении — на юг и юго-запад от Старого Оскола. Это был профессор Воронежского сельскохозяйственного института Александр Андреевич Дубянский. Еще в 1934 году он выступил со статьей, в которой изложил гипотезу образования Воронежского горста — огромной кристаллической плиты, лежащей в недрах центрально-черноземных областей. Только в некоторых местах, в верховьях Дона, обнажается горст из-под осадочных пород, намытых сотни миллионов лет назад океаном. Дубянский доказывал, что океан явился великим обогатителем. Он размыл кварциты горста, превратив их в рыхлые, насыщенные железом руды, а затем скрыл под толщами наносов.

— Обильные залежи руд нужно искать в районе Белгорода, где приподнимается горст. Там были более благоприятные условия для размыва и обогащения железистых кварцитов. Заложите скважины в Яковлевке и Гостищеве, — убеждал Дубянский.

Со статьей ознакомились в Академии наук и... не придали ей значения.

О предложении Дубянского вспомнил геолог Б. П. Епифанов, составляя в 1946 году генеральный план работ по Курской магнитной аномалии. В нем он отмечал:

«Все же вопрос о наличии богатых железных руд Старо-Оскольского типа в северных районах нельзя считать разрешенным положительно, что заставляет с осторожностью оценивать перспективы северного направления в этом отношении.

Учитывая всю совокупность данных, в настоящий момент представляется целесообразным направить поисковые работы на богатые руды Старо-Оскольского типа в первую очередь в северные районы. Если это направление окажется бесперспективным, следует расширить поиски в южном и юго-западном направлении и, в частности, направить их в район, рекомендуемый Дубянским А. А.»

...Вся эта хроника невольно вспоминалась многим причастным к КМА людям в те дни, когда следующая, а за ней еще одна скважина возле Яковлевки подтвердила небывалые по своей мощности залежи богатых железных руд.

3

Впервые инженер Николай Андреевич Шмидт получил такую сложную задачу: в короткий срок с предельной точностью определить контуры огромной залежи, скрытой под покровом пород мощностью до полукилометра.

Геофизическая партия была укомплектована хорошими специалистами, имела новейшие приборы: магнитометры, гравиметры. Началась разведка вокруг Яковлевки. По изменениям колебаний почвы, вызванным взрывами, по игре магнитных стрелок, по скорости проникновения взрывной волны в пласты набрасывали геофизики портрет месторождения.

Через несколько месяцев инженер Шмидт доложил: геофизическая разведка проследила на протяжении тридцати пяти километров сплошное месторождение железных руд, полосой в 500—600 метров. Оно походило на клин.

Весной 1955 года правительство приняло решение об организации в этом районе широких разведок. Руководителем работ был назначен опытный геолог Николай Иванович Иванченко.

— Скучная сейчас у вас жизнь, — понимающе заметил Иванченко, знакомясь с бурильщиками. — Нужно с флангов месторождения руду прощупать.

— А чем ее возьмешь? Брали, да перестали, потому руки уж не достают.

— Придут длинные руки, — улыбнулся Иванченко. — И не одна. Пятьдесят. Дают «ЗИФ-1200». Знаете такой станок?

— Приходилось слышать. Говорят, на тысячу двести метров можно бурить, новинка.

— Тоже тебе — новинка! — усмехнулся молодой бурильщик. — Нефтяники вон на две тысячи с лишним бурят...

— У них турбобур, а нам нужен керн брать. Его только колонковым бурением возьмешь. А колонковым и на тысячу двести еще не брали. Соображаешь, парень?..

После этого разговора как-то еще желаннее стала новая техника. Зато и поджидать ее появления было еще более томительно.

Возвращаясь с буровой, Иванченко делился впечатлениями с главным геологом Белгородской экспедиции Семеном Ивановичем Чайкиным:

— Работы будет много, причем не только по бурению, но и по обучению. Станков-то наши люди не знают. Придется одновременно и технику осваивать и темпы быстро набирать. А обучать будем так: на каждой буровой создадим курсы, практические техминимумы. Как только придут «ЗИФ-1200», пусть рабочие их хорошенько изучат. Потом это время с лихвой окупится.

4

Хорошую технику дали ленинградцы, она работала без перебоев. Хорошо подготовились к ее использованию на Яковлевке. Главный инженер экспедиции Тартасюк организовал профилактический ремонт оборудования, специальную техническую летучку.

Люди работали самозабвенно. Каждый понимал, что значит открыть для страны «большую руду». А Курская магнитная аномалия должна оказаться бесконечно щедрой. Шутка ли, только на протяжении семи кило-

метров, где недра пронизывали пятьдесят скважин, мощность залежей доходила до 300—400 метров!

— Это не месторождение, а прозрачное стекло, — говорили геологи, — никаких шарад — надвигов, сбросов, пережимов, как в Донбассе или Грозном, — сплошная руда. Уже горизонта «800» достигли, а конца не видно...

С первых дней бурения мощными станками обводненность месторождения вызвала тревогу разведчиков.

Разведку воды вел отличный знаток своего дела Александр Александрович Саар.

Когда у старшего гидрогеолога управления Александра Тихоновича Бобрышева спросили, кому поручить гидрогеологическую разведку в Яковлевке, он, не задумываясь, ответил:

— Саару.

— Инженер? Техник?

— Специального образования не получал, но зато составил тридцать «кандидатских диссертаций» — тридцать отчетов по гидрогеологии рудных районов.

Теперь Бобрышев то и дело звонил на Яковлевку:

— Как вода?

— По-прежнему, — неизменно отвечал Саар. — Но это не страшно. Самое важное — узнать ее возраст. Два-три мощных насоса, и она нам все расскажет. Надо добыть такие машины.

Вскоре в Яковлевке были установлены компрессоры завода «Борец». С их помощью около пяти тысяч кубометров воды поднимали каждые сутки. Уровень ее в скважинах резко снизился.

Поздней осенью 1957 года правительственная комиссия приняла Яковлевское месторождение. Сотни скважин показали, что железная руда начинается на четыреста семьдесят шестом метре от дневной поверхности, как говорят геологи, и доходит до восьмисотого.

До десяти миллиардов тонн перспективных запасов только на одном Яковлевском участке. Это в два раза превосходило запасы Криворожского бассейна, на рудах которого три четверти века работает вся наша южная металлургия. Руды Яковлевки содержат в среднем 62 процента железа — выше, чем на знаменитом месторождении Бихар и Орисса в Индии. Для сравнения укажем, что Западногерманский железорудный бассейн имеет руду с содержанием 26 процентов железа.

Прошло немного времени, и неподалеку от Яковлевки — в Гостищеве — разведчики обнаружили гигантское месторождение. Оно обладает, очевидно, еще большими запасами, чем Яковлевское.

Четко вырисовываются два подземных железорудных хребта. Один пролегает от Подмосковья к Орлу, Щиграм, Тиму, Старому и Новому Осколам, другой — от Харьковщины к Белгороду, Обояни, Льгову, Брянску, Смоленску.

Проектанты рудника в Яковлевке получили трудное техническое задание. Для его выполнения не пригоден ни один применявшийся до сих пор метод ведения горных работ.

Только залежи соли в Донбассе и Величке (Польша) могут сравниться с мощностью уникальной железорудной «жилы» с поперечником в триста—четырееста метров. Какими же должны быть подземные галереи? Как полнее выбрать руду из залежей? Как крепить, как отводить воду из выработок, чем засыпать пустоты после выборки руды?..

В Яковлевке нет ни у кого и тени сомнения в том, что задание будет выполнено успешно. Советские люди решали проблемы и посложней. Наша промышленность в состоянии дать любое оборудование для проходки глубокого ствола, а если понадобится, и для откачки и замораживания грунтовых вод, для крепления выработок и механизации добычи.

Проектная мощность Яковлевского рудника — 15 миллионов тонн отличной руды в год.

Но к металлургам уже и сейчас идет руда КМА, правда, еще в скромных количествах, но первосортная, превосходная, агломерированная руда.

Ее добывают на Коробковском руднике, под молодым городом Губкином, что обрастает улицами на степном пустыре вблизи Старого Оскола. Добывают буквально под городом, в кварцитной шахте. В кварциты ушли вынужденно, спасаясь от воды, пропитавшей пески и известняки, расположенные над богатыми рудами.

Работать на кварцитах — дело трудное. Приходится каждый кусок отвоевывать у недр химией взрывов. Но радует то, что все работы — от бурения до транспорта сырья — механизированы. В шахте трудятся на полную мощность перфораторы, сверлящие монолит кварцитной стены, конвейеры, лебедки.

— Наш Кислов ни одну техническую новинку не упустит, — со строгой похвалой говорит мне пожилой бурильщик. — Двадцать лет «КМАрудой» командует. Приехал, когда здесь пустырь был, одни чертополохи жительствовали. Теперь вон какую громадину воздвигнули.

Обогатительный комбинат действительно огромен. Это своеобразный город цехов и силовых установок. Его пейзаж непередаваемо динамичен. На степном взлобье протянулись градири, корпуса электроцентралей, пролеты обогатительных цехов, копры подъемников. Как крепостной вал, высятся горы кварцитов, отброшенных при обогащении.

Трудно «угрызать» кварцитовую руду, еще труднее ее обогащать. Схематический рассказ о том, как дробят — перемалывают кварциты, как потом магнитными сепараторами вылавливают из кварцитной муки пылинки железной руды, как спекают ее на аглофабрике, ничего не скажет тому, кто не увидел сам этих сложнейших и очень капризных установок.

Нашим техникам приходилось самим прокладывать поисковые пути в области магнитной сепарации. Институт горного дела Академии наук СССР разрабатывает новые методы обогащения тех кварцитов, что будут получать со второго строящегося рудника в Коробкове. Больше рудников для добычи железных кварцитов на КМА строить не предполагается.

Скоро начнут брать ту богатую руду, что была недоступной еще два десятилетия назад. Ее возьмут и в Коробкове и в соседней деревне Лебеди. Она лежит неглубоко — под семидесятиметровой «одежкой» осадочных пород. У океана, когда-то бушевавшего здесь, не хватило времени плотнее прикрыть эти месторождения. А снять семидесятиметровый покров песка и глин при современной технике не так уж сложно.

На правом берегу реки Осколец сооружается Лебединский рудник. В 1960 году он даст стране полтора миллиона тонн первосортной руды.

Уже окружили деревню Лебеди самые разнообразные механизмы и машины. Здесь и экскаваторы Уралтяжмаша, и земснаряды, и удивленно вытянувшие шеи подъемные краны, и гидромониторы. Среди них ветераны «намывов» и «размывов» почвы, пришедшие сюда с Куйбышевской, Горьковской и других новостроек, и новые, еще поблескивающие заводской краской установки. На несколько километров развернулся фронт работ.

— Это только начало, — объясняет комсомольцам, прибывшим на стройку, старый экскаваторщик Александр Иванович Портнягин. — За

три года мы сняли три миллиона кубометров земли, а нужно в десять раз больше!

— Сколько же это лет будут снимать тридцать миллионов?! — сразу вперевод спрашивают два паренька. Глаза у них блестят, шапки-ушанки забрались на самую макушку.

— А вот считай, если к концу этой пятилетки должны уже давать руду. Весной загудит здесь все, только успевай поворачиваться.

— На экскаваторе трудно работать? — любопытствует, конечно не просто для общего знакомства, рослый юноша в стеганке.

— Двадцать лет работаю, — отвечает Портнягин, пряча улыбку, — а труда не замечал особого... Сколько классов кончил? Восемь? Ну, тогда на курсах подзаймешься — и поставят помощником. Может, даже и ко мне...

Здесь все хотят работать так, чтобы большая руда КМА скорее пошла к домнам и мартенам. Но еще медленно развертывают работы многочисленные подрядчики треста «КМАрудстрой». При современной технике вот уже второй год сооружают небольшой мост через реку, собственно ручей, Осколец, под городом Губкином. А из-за этого тормозится транспорт грузов на стройку Лебединского рудника. Замедленными темпами возводятся дома, промышленные сооружения, машинные здания. Несколько раз передвигали сроки пуска кирпичного завода.

Да не только в Лебедях, а и в Курской области на строительстве Михайловского рудника работы давно отстают от графиков. Они могли быть более интенсивными, если бы Михайловку соединили подъездной веткой с железнодорожной магистралью. Ветка протяжением в несколько десятков километров сооружается третий год.

Давно также миновали сроки сдачи энерголинии Курск—Михайловка. Не стоит комментировать, как нужна электроэнергия для механизации вскрышных и строительных работ.

— Теперь пойдут дела живее, — обрадовались строители Михайловского рудника, когда узнали, что на 1958 год им выделены фонды на оборудование на сумму сорок миллионов рублей. Но радость была вскоре омрачена — Госплан РСФСР выдал наряды лишь на четвертую часть средств, отпущенных для приобретения оборудования. По сути, полугодие уже потеряно, ибо заказы на оборудование только недавно размещены, получают же его в лучшем случае осенью или зимой.

Несмотря на то, что в Лебеди и Михайловку прибыли мощные экскаваторы, земснаряды, гидромониторы, думается, что эта техника недостаточна для форсирования работ, для вскрыши Лебединского и Михайловского месторождений в короткие сроки. Строители мечтают о роторных экскаваторах производительностью в несколько тысяч кубометров в сутки, тех, что после завершения строительства должны работать на добыче руды.

Было бы ошибкой представлять себе, что после вскрыши залежи сразу начнется легкая добыча руды. Нет, вовсе не простое это дело, даже если руда лежит прямо на дневной поверхности.

— Воды ведь не убудет, — рассказывал мне мелиоратор, человек, побродивший немало и по болотам Белоруссии и по поймам Барабы, там, «где земля как губка». — Ее нужно вытянуть из руды, а то начнутся оползни. Руду будут выбирать уступами. Вот и рассчитываем поставить иглофильтры, а через них выкачивать всю влагу, что накопилась здесь над глинами и кварцитами. В общем, скажу я вам, хлопот предстоит немало, конечно. Однако ведь люди-то у нас дела не боятся. И знающий, очень знающий народ!..

Я слушал бывшего человека, и в моей памяти встал тридцать четвертый год. Город, сожженный беспощадным солнцем, пропитанный нефтью.

Вижу сосредоточенного и строгого на вид академика Ивана Михайловича Губкина.

— Придет время, и наш народ добудет этот бесценный клад, завещанный Лениным, — рассказывает он о Курской магнитной аномалии молодому журналисту, — придут добытчики...

Споро трудятся сегодня на буровых в Яковлевке, Лебедях, Гостищеве, Стойлах, под Шебекином и Корочей. Лучшие мастера проходят по триста метров в месяц.

— Техника у нас, — слышишь от бурильщиков, — мировая, только давай ее побольше! «ЗИФы» любую породу пробьют; компрессоры «Борца» озеро осушат. С такой техникой все найдем и все возьмем под землей!

— Просить правительство нужно, чтоб КМА имя Ленина присвоили. Это он первый приказ на разведку дал. Так и назвать: «Край железной руды имени Ленина». А центр в Яковлевке сделать. Вишь, какой город разворачивается!

Город разворачивается быстро — выросли многоэтажные дома, культурные и бытовые учреждения. Но это только ядро будущего индустриального центра, который займет несколько тысяч гектаров. Будет он веселым и нарядным, зеленым и уютным. И, наверное, на одной из окраин его заголубеет пруд, наполненный той чистой водой, что поднимут из скважин десятки мощных насосов.



ПОЭЗИЯ ГНЕВА И БОРЬБЫ

В Ташкенте в начале октября этого года откроется конференция писателей стран Азии и Африки.

В этом номере журнала мы публикуем стихи современных поэтов Сенегала, Французской Гвинеи, Берега Слоновой Кости, Конго и Мадагаскара. Литература народов африканского континента бурно развивается после второй мировой войны, в годы, отмеченные духом Бандунга и Каира, в годы, когда повсюду рвутся цепи колониального рабства.

Поэзия играет выдающуюся роль в национально-освободительной борьбе, в сложном процессе становления африканских наций. Она формирует национальное сознание народов, несмотря на огромные трудности, стоящие перед поэтами, которые пока в большинстве своем вынуждены писать на европейских языках, так как на их родине при наличии богатой устной поэзии еще недостаточно развита письменность на родных языках.

Стихи эти отражают чувства миллионов людей, борющихся за свою свободу. Но они не похожи на знакомые нам негритянские песни — «спиричуэлс», сложенные еще во времена рабства. Это не поэзия страдания и тем более не поэзия смирения. Это стихи гнева, борьбы, полные ненависти и презрения к колонизаторам, утверждающие права своих народов, их будущую победу.

В поэзии африканских народов нас радует богатство тем, образов, интонаций, ритмов. Воспоминания о прошлом, пейзажи, образы женщин, сливающиеся с образом родины, ритмы народных плясок — все это получает в африканской поэзии особый, глубоко общественный смысл, смысл утверждения своего национального своеобразия и достоинства.

Не отказываясь от освоения европейской и мировой культуры, поэты Африки, однако, отказываются от чуждых им форм европейской поэзии. Они видят в себе наследников народных певцов Африки — гриотов, ищут национальные формы поэзии и душой ее считают ритм и образ. Обращаясь к народной африканской музыке, песням и пляскам, они находят стремительные, призывные ритмы там-тамов.

Среди африканских поэтов, пишущих на французском языке, мы встречаем поэтов очень различных творческих индивидуальностей.

Бернар Буа Дадые (Берег Слоновой Кости), уроженец бедной деревни, стал одним из значительных деятелей африканской культуры. Он автор автобиографического романа «Клембье», сборников стихов «Африка во весь рост» и «Черeda дней», сборников африканских сказок и легенд.

Л. Седар Сенгор (Сенегал) — один из известнейших поэтов и политических деятелей Африки. Он автор известной антологии негритянской и мальгашской поэзии, нескольких сборников стихов, статей по вопросам поэзии. Сенгор — поэт широкой образованности, знаток античной и европейской поэзии. Стих его часто сложен, перегружен образами, но, несмотря на известные литературные влияния, его поэзия глубока и самобытна.

Давид Диоп (Сенегал) — один из наиболее талантливых молодых поэтов Африки. И в ранних произведениях и в более позднем сборнике «Удары пестика» он показал себя мастером остро, темпераментного политического стиха.

И не люблю я камня, камня,
Тяжкого камня надгробий,
Хитрого камня темниц.

Не люблю я звона ключей,
Ключей в руках часовых,
Часовых у каменных тюрем,
Тюрем возле кладбищ.

Не люблю я крик воронья
Над пляшущими городами,
Зов гиены в ночной тишине.

И не люблю я видеть
Слезы в глазах детей,
Тоску в глазах матерей,
Опущенный на руки лоб,
Исполненный муки взгляд,
Сведенное страхом лицо,
Женщин в лохмотьях,
В лохмотьях мужчин.

И не люблю я видеть
Малыша, протянувшего руку.

Не хочу я видеть,
Как грядущее наше
Подаяния просит.

Не хочу!..

Перевел с французского М. Ваксмахер.

ЛЕОПОЛЬД СЕДАР СЕНГОР

(Сенегал)

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА

(Отрывки из поэмы)

* * *

И опять мое сердце на каменной лестнице,
у высоких почетных дверей,
И содрогается пепел, еще не успевший остыть,—
прах человека с глазами, метавшими молнии...
О мой отец!

Мой голод пропитан пылью шестнадцати лет скитаний
по тревожным дорогам Европы.
И шум больших городов, грохот сотен страстей,
сотрясающих стены огромных кварталов,
не утих в моей голове.

Но сердце мое по-прежнему чисто, как в марте восточный
ветер.

* * *

Пуст и просторен двор, пропитанный запахом тлена.
 Он дрожит в пустоте, как равнина во время сухого сезона.
 Где же дерево?
 Какой ураган-дровосек
 смог свалить этот ствол вековой?
 А когда-то целый народ
 кормился живительной тенью,
 Кормился весь дом,
 конюхи, слуги, ремесленники и пастухи.
 И стены красной террасы
 в великие дни огня и крови
 охраняли шумящее море скота.
 Пуст и просторен двор...
 Или, быть может, это руины квартала,
 испеленного пламенем четырехмоторных орлов
 и хищными прыжками бомб?

* * *

И опять мое сердце на ступенях высокого дома.
 Я бросаюсь на землю к вашим ногам, в пыль моего уваженья,
 К вашим ногам, мои бессмертные предки,
 чьи маски смеются с презреньем
 в лицо бездушного времени.
 Верная няня моего ушедшего детства,
 вот мои ноги, покрытые грязью Цивилизации.
 Пусть омоет вода мои ноги.
 Пусть отдыхают они на циновках молчанья.
 Мир, мои братья, мир и еще раз мир
 возвращается к блудному сыну.

* * *

Слон из Мбисселя, пусть ушами твоими
 слушают предки меня,
 пусть слышат мою молитву.
 Благословенны будьте, мои отцы,
 будьте благословенны!
 Купцы и банкиры, владетельные князья
 золота и предместий,
 где трубы вздымаются дремучим лесом,
 Купили свое благородство за деньги,
 и черной была белая кость
 их матерей.
 Купцы и банкиры отказали мне в родине.
 На гордом моем гербе они написали: «Наемник».
 Хотя они знали: я не требую платы —
 Разве только десять грошей,
 чтобы в табачном дыму укачать мои грезы
 и омыть мою грусть
 глотком молока.

Я снова посеял зерно своей верности
 на полях поражения —
 В тот час, когда бог обрушил на Францию свой свинцовый
 кулак.

Благословенны будьте, мои отцы,
 будьте благословенны!
 Вы разрешили, чтоб ваших детей
 терзали насмешки, презренье,
 вежливые плевки,
 запрещенья и сегрегации;

Вы оборвали нити, которыми было сшито
 сердце мое
 с сердцем целого мира.

Но вы запретили ненависти
 засыпать песком мое сердце.

Благословенны будьте, мои отцы,
 будьте благословенны!

Потому что вы знаете:
 я связал себя узами дружбы с князьями Духа,
 с творцами прекрасной Формы,

Знаете вы: я вкусил от скудного хлеба,
 которому имя — голод
 и которым живет великая армия
 работающих и безработных.

Знаете вы: я мечтал о солнечном мире,
 где мы побратаемся
 с синеглазыми братьями нашими.

* * *

Слон из Мбисселя, к тебе обращаю мольбу мою.

Вдохни в меня пламя знаний
 славных ученых Тимбукту¹;

Дай мне такую волю, какой обладал Великий Али², —
 волю могучего Льва,
 ярость морского прилива,
 что рвется на штурм Континента;

Вложи в мое сердце мудрость Кейтов,
 Дай мне храбрость Гельваров³,
 И пусть опояшет бедра мои
 мощь Королевских Амазонок⁴.

Слон из Мбисселя, дай мне счастье —
 умереть за счастье моего народа,
 и, если должно так случиться,
 пусть я погибну на поле боя,
 вдыхая запах порохового дыма.

¹ Тимбукту — город в Западном Судане, бывший в XV веке центром культуры и науки.

² Великий Али — Сонни Али, правитель древнего африканского государства Сонгаи.

³ Кейты и Гельвары — королевские династии Сенегала.

⁴ Королевские Амазонки — отряды женщин-воинов при королях Сенегала.

Укрепи в моем сердце, что стало свободным,
 любовь к моему родному народу.
 Пусть я буду народным певцом — Мастером Слова.
 Или нет! Другое прошу:
 дай мне стать
 полномочным послом народа.

* * *

Благословенны будьте, мои отцы!
 И благословите
 блудного сына.
 Я снова вхожу в свой дом:
 там я когда-то играл с голубями,
 там я с братьями вместе играл —
 сыновьями Дьогуйе-льва...¹
 О! Снова заснуть в прохладной постели детства!
 О! Снова мой сон берегут эти славные черные руки!
 И снова белеет улыбка на черном лице моей матери.
 А завтра опять я пойду по дорогам Европы —
 посол,
 тоскующий о покинутой Черной стране.

Перевел с французского М. Ваксмахер.

ТЫ ДОЛГО В ЛАДОНЯХ СЖИМАЛА...

Ты долго в ладонях сжимала голову черного воина,
 Озаренный закатом, он был, казалось, отмечен судьбой.
 И я смотрел, как солнце опускалось в бухты глаз твоих...
 О, когда же, когда смогу я увидеть родину,
 чистый горизонт увидеть твоего лица,
 Когда голод смогу утолить у стола твоей темной груди?
 Выбор мой сделан, и теплая нежность гнезда
 уходит в глубокую тень.

Я увижу иные глаза, буду жить под небом чужим,
 Буду пить из ключа иных губ, прохладней лимона,
 И, укрытый от бурь, засыпать под крышей волос чужих.

Но каждый год вино весны вновь бередит воспоминанья
 И вновь томлюсь, зову я родину мою. и свежий
 Дождь твоих глаз над страстной жаждою саванн.

Перевела с французского Е. Гальперина.

¹ Называя имена членов королевских династий, поэт дает им традиционные в Африке эпитеты: лев — синоним мужества, слон — синоним силы.

ДАВИД ДИОП

(Сенегал)

ЦЕПИ В АГОНИИ

Димбокро...¹ Пуло-Кондёр...²
Гиены рыщут вокруг кладбищ.
Земля до отвала кровью сыта.
Ухмыляется солдатня.
А на дорогах — проклятый гул,
Скрежет гусениц, скрежет злобы.
Вьетнамец в рисовом поле лежит.
Стонет каторжник в Конго,
А брат его в Штатах линчеван.
Я слышу зловещую поступь молчанья —
Тень стального крыла пронеслась
Над новорожденным смехом.
Димбокро... Пуло-Кондор...
Палачи еще верят в мощь цепей,
Верят, что цепи надежду задушат,
Верят, что пот сумеет залить
Искру горящего взгляда.
Но из наших песен
Струится солнце,
И наши руки готовы к битвам,
Они готовы нести
От наших саванн до джунглей Вьетнама
Полные горсти грядущего света
Для вчерашних рабов.
Димбокро... Пуло-Кондор...
Слышишь? Подземные соки бурлят!
Это песня убитых братьев,
Песня, которая нас зовет
К цветению жизни.

ОТСТУПНИК

Мой брат с белозубой улыбкой, в которой скв̄озит лицемерье,
Мой брат в золотых очках,
С глазами, заголубевшими от хозяйских речей,
Мой незадачливый брат в смокинге
на подкладке тонкого шелка,
С отважным писком принимающий позы
в снисходительно-любезных салонах,—
Нам жалко тебя.
Солнце родной страны
Не свет бросает, а тень
На твой цивилизованный лоб,
И мысль о хижине бабки твоей
Заставляет краснеть твои щеки,

¹ Димбокро — город Берега Слоновой Кости, где в 1950 году колониальные власти расстреляли мирное население.

² Пуло-Кондёр — остров в Индокитае, куда ссылали вьетнамских революционеров.

Рабство твоих детей.
 Африка, скажи мне, Африка,
 Эта спина, что согнулась
 Под тяжестью униженья,
 Эта дрожащая спина,
 Исполосованная хлыстом,
 Говорящая «да» хлысту
 На горячих дорогах полдня,—
 Ты ли это?
 И мне отвечает суровый голос:
 «Нетерпеливый сын! Видишь дерево там, вдали?
 Это молодое и крепкое дерево,
 Слепительно одинокое среди поблекших цветов,—
 Вот она Африка, твоя Африка,
 И она растет,
 Она терпеливо и упрямо растет,
 И ее плоды понемногу
 Наливаются терпким соком свободы».

ВОЛНЫ

Волны свободы бурлят и клокочут,
 Над обезумевшим зверем смыкаясь...
 Рабы распрямились, стали борцами!
 Грузчик суэцкий и кули ханойский —
 Все, кто был ядом смиренья отравлен,—
 Дружно поют великую песню,
 И песня победно летит над волнами,
 А волны свободы бурлят и клокочут,
 Над обезумевшим зверем смыкаясь.

Перевел с французского М. Ваксмахер.

НЕНЕ КХАЛИ

(Французская Гвинея)

ВОЗДУХ АФРИКИ

Солнца! —
 Как много солнца в небе Африки! И даже
 Земля нести его в себе устала.

И я стремлюсь твой знойный груз отбросить,
 И я бреду над свежей бороздою,
 А ноздри все вдыхают и вдыхают
 Твой жар, и с ним — кипенье новой жизни.

Дождя! —
 Дождя так много над землею Африки! И даже
 Земля устала носить его во чреве.

Я пью, я пью и пью твои потоки,
 Я запрокинул голову навстречу небу
 И рот раскрыл, и пью, и сердце пьет мое,
 И вот уж утолил я жажду, а ты все льешь.

Ветров! —
 Их слишком много в Африке! И даже
 Земля смотреть устала, как они струятся по ее груди.

Я раскрываю сотни легких крыльев,
 Чтоб облететь весь мир. Сирокко и пассаты,
 Ради бога, остановитесь! Отныне
 Я открываю эру новых битв.

Перевел с французского М. Ваксмахер.

МАРСИАЛЬ СИНДА

(Конго)

СВЕТ ЗАРИ

Работорговец — это
 Неисцелимая рана
 На запястье твоём,
 Африка.
 Воздух давит и душит.
 Душит меня
 Запах зеленого ила,
 Запах болот гниющих,
 Запах гнилой древесины —
 Запах веревки на шее.
 И неистово бьется
 Волна моих мыслей.

Жалобы, слезы и песни мои
 Неси в своем сердце, там-там!

Я слышу —
 Шепчутся скалы,
 И волны кричат
 На сотни ладов —
 О рабстве кричат,
 О дедах моих,
 Проданных в рабство.
 И волны неистовых мыслей моих
 Прибоем, прибоем, прибоем
 Ложатся к моим ногам.

Жалобы, слезы и песни мои
 Выскажи миру, там-там!

Воздух давит и душит.
 Рабство пахнет!
 Этот запах повис над Конго,

Над черным гранитом скал,
Смазаных жиром зелени.
Волны мыслей моих
Прибоем, прибоем, прибоем
Ложатся к ногам
И опять, и опять умирают.

Жалобы, слезы и песни мои
Выскажи миру, там-там!

Воздух душит.
Работорговец — это
Неисцелимая язва
На запястье твоём,
Африка.
Вспомни, там-там, вспомни скорей
Наш голос, что был когда-то свободным,
Наш голос, который задущен повсюду —
От берегов африканских
До Мартиники,
До Гвианы,
До Гваделупы,
До островов Антильских.
Отвратительный запах веревки
На человеческой шее. Хха!

Жалобы, слезы и песни мои
Выскажи миру, там-там!

Расскажи, что бывают часы
мечтаний и грез.
Расскажи, что бывают часы
свинцового сна.
Расскажи, что бывают часы страданий,
Расскажи, что бывают часы сомнений,
Когда надо кричать и рыдать,
Чтобы рассеять
Ужасы ночи...

Жалобы, слезы и песни мои
Выскажи миру, там-там!

Расскажи, что бывают часы
оцепененья немого,
Расскажи, что бывают часы и дни,
Когда мы кричим,
Когда мы совсем не боимся хозяев.
Расскажи, что бывают часы иступленья,
Когда мы рычим,
Когда мы, хмелея от гнева,
грозим.
Да, пока
только грозим.
А потом?..

Перевел с французского М. Ваксмахер.

ДАБА¹

Ойо, хе, ле, ле, о-йо!
 Слышите, это даба кричит,
 И скудную землю бьет,
 И трудную землю бьет,
 И черную землю бьет,
 Плодородную землю бьет,
 Захваченную у нас.
 Даба — наша острая мотыга,
 Даба — наше мирное оружие.

Ойо, хе, ле, ле, о-йо!
 Слышите, это даба кричит,
 Страх наводя на всех.
 Черной землей вам в лицо плюет.
 Ойо, хе, ле, ле, о-йо!
 Если даба страдает,
 Если даба на помощь зовет,
 Если даба работать не в силах,
 Если даба не в силах терпеть,
 Она страх наведет на всех.

И даже почтенный хозяин ее
 Дрожа глядит на ее острие.
 Ойо, хе, ле, ле, о-йо!
 Слышите, это даба зовет —
 Ей надо хорошую рукоять,
 Она хочет есть, она просит пить,
 Но никто на помощь ей не придет —
 Вам на муки ее наплевать.

Ойо, хе, ле, ле, о-йо!
 Это даба кричит, ведь она голодна,
 Это даба кричит — исстрадалась она,
 Это даба кричит — утомилась без сна,
 Это даба кричит — затупилась она.
 Ойо, хе, ле, ле, о-йо!
 Слышите, это даба кричит?
 Но когда наша даба устанет кричать,
 Тогда крепко сожмем мы ее рукоять
 И бросим ее вам в лицо.
 Ойо, хе, ле, ле, о-йо!
 И пока наша даба не будет сыта,
 Она вам покоя не даст,
 Да, она вам покоя не даст.
 Ойо, хе, ле, ле, о-йо!
 Слышите — это даба кричит?

Перевела с французского Е. Гальперина.

¹ Даба — африканская мотыга.

ЖАК РАБЕМАНАНДЗАРА

(Мадагаскар)

ОСТРОВ, ОДНО ТОЛЬКО СЛОВО...

Вот! Уже
 Тесный обруч тюрьмы
 Лопнул.
 И стены,
 И все барьеры, и все заклатья
 Рушатся,
 В прах рассыпаются
 Пасти Молохов
 И жала гадюк.

И напрасно пытается горизонт
 Схватить тебя в клещи.
 Даже сам небосвод над тобой
 Взрывается,
 Мадагаскар!

Остров, привет тебе!
 Свой привет посылаю с границ моей муки.
 Я люблю тебя, остров!

.....

Остров, кто воспоеет
 Торжество Великого дня,
 Грядущего дня,
 Чудесный итог твоей жизни?
 Остров, кто воспоеет?

.....

Слово, Остров,
 Одно только слово...
 Кто его пропоет?

Это слово, как нож, обрубит
 Веревку на шее твоей.
 Это слово цепи сорвет,
 Стянувшие тело твое.

.....

Слово, Остров,
 Одно только слово...

Слово, единственное в жизни слово,
 Первое слово, последнее слово...

Слово-молния,
 Слово-копье,
 Древнее, как само сотворение мира,
 И молодое, как день.

Слово во всей своей чистоте,
 Слово во всем своем блеске,
 В этом слове вмещается вечность,
 Это слово родилось из нашей мечты.

Это слово идет из золотого века,
 Это слово пережило всемирный потоп.
 Это слово Земле приказало
 Вращаться вокруг своей оси.

В нем — ярость битвы,
 В нем — клич победный,
 В нем — знамя мира!

Остров, одно только слово —
 И ты встрепенешься!
 Остров, одно только слово —
 И ты помчишься
 На своем скакуне-Океане!

Слово нашей мечты.
 Слово наших цепей.
 Слово нашего траура.

Это слово блестит
 Во вдовьей слезе,
 В материнской слезе,
 В гордой слезе сироты.

Оно прорастает
 В цветах на могилах,
 В бессонных ночах
 И в гордости
 Узников.

Остров предков моих!
 Это слово — тебе мой привет.
 Это слово — посланье мое.
 Это слово полощется на ветру,
 Как знамя на вершине горы.

Слово, одно только слово.

И ветер кричит, хмелея,
 Это слово всем странам света:
 Свобода!

Свобода!

Свобода!

Свобода!

Перевел с французского М. Ваксмахер.

ФЛАВЬЕН РАНАИВО

(Мадагаскар)

СОВЕТЫ НОВОБРАЧНЫМ

Одно словечко, сударь.
 Один совет, сударыня.
 Я не из тех, кто может надоесть,
 Как ложечка большой тарелке,
 Я не из тех, кто рад любой безделке,

Чтоб проболтать весь день, как дуралей ручей.
Я говорю, как друг,
по дружбе для друзей.

Ведь я не расписной сосуд из тыквы, что гордо
выставляет свой живот,
Я и не лодка, что перевернется,
дороги не найдя среди спокойных вод.
Злак с человеком сходятся в одном:
Тот мыслями богат, а тот — зерном.
Я не танцую там, куда меня не звали.
Я не из тех холостяков, что любят поучать женатых простаков.
(Слепец поможет зрячему едва ли!)

Вы не глупцы, которых учит кто угодно.
Происхождение ваше благородно.
Вы — две воары¹ среди густой листвы,
Две лилии бесценных — вот кто вы.

Любовь явилась к вам в один прекрасный час,
Не как слеза, что выжал дым из глаз,
Не как зеленый виноград, ребенком сорванный до срока.
Храните ж чувство как зеницу ока.
Ведь трижды в год не расцветет авоко,
А новолуние бывает в месяц раз.
Любовь да не оставит вас!
Сладчайшая любовь податливее хлопка,
А все ж
Ее не разорвешь.
Любовь как тропка:
Она жива, пока по ней идешь.
Пусть в вас любовь живет всегда,
Как под песком живет вода.
Пушай, как мокрая веревка,
Любовь супругов свяжет ловко.
Возьмем, к примеру, соль.
Играет нежность ту же роль:
Соль крупная вам зубы повредит,
От тонкой соли лучше аппетит.
Картошку растолки: она — мука,
А испеки — она и так мягка.
Простыл — согрейся,
А устал — приляг.
В неделю превратятся в прах
Горшки из глин Амбоанжоба.
Любовь и брак, как мясо и костяк, —
Их не раззять уже до гроба.
Теперь о ссорах и об их причинах.
Причин довольно, как в песке песчинок.
Совет: не походите на щенка,
Который от пинка
Визжит на всю округу.
Семейные дела — не для всего села.

¹ Воара — плод, произрастающий на Мадагаскаре.

Все на земле чему-нибудь да служит:
 С москитами болото дружит,
 Гора — противница туманов,
 Ленивая вода — притон кайманов,
 А человек, он — разума сосуд.
 Тебя за храбрость люди чтут,
 А ты один впотьмах идти боишься, —
 Так чем же ты гордишься?

Семья — не птичий двор. Побольше такта:
 Петух поет — насадка не кудахтай!
 Натянутые струны не тяните,
 Гнев попусту на помощь не зовите,
 Незрелые плоды
 Доводят до беды.
 Раздор в семье — нарыв на лбу,
 С ним проклянешь свою судьбу.
 Соседям не завидуйте напрасно:
 Чужое платье вам не по плечу.
 Еще совет подать хочу.
 Безмерные желания опасны:
 Кто вершею скребет по дну,
 Достанет тину лишь одну.
 Пусть мудрость украшает вас:
 Она при жизни покрывало, она и саван в смертный час.

Кошачьему не подражайте роду,
 Что любит рыбу, презирая воду.
 Труд — лучший друг людей. Не ссорьтесь с ним.
 Не любят нищих и не верят им.
 Бездельнику позор:
 В саду — он вор,
 На людях — попрошайка,
 А дома — лишний рот,
 Клянет его хозяйка.
 Труд человека создает.
 Пока жена в дому полна хлопот,
 Муж в поле трудится с рассвета до захода.
 Трудитесь, забывая про невзгоды.
 Судьба не улыбнется — бог спасет.
 Трудитесь, труд вам счастье принесет.

ПЕСЕНКА ПРОСТОДУШНОГО ВЛЮБЛЕННОГО

Люби меня не так,
 Как собственную тень:
 Ведь тень с тобой лишь день,
 А я не прочь
 Пробыть до петухов всю ночь.
 И не как перец:
 Брюхо он спалит,
 Но голода не утолит.
 Не как подушку:
 Ночью вы вдвоем,
 А днем?

И не как рис:
Ведь, проглотив его,
О нем не помнишь ничего.
И не как мед:
Он, правда, сладок,
Но до него ведь всякий падох.
Не так, как нежные слова:
Лишь прозвучат — и улетят.
Люби меня, как сладкий сон:
Глядишь — и явью станет он.
Люби, как серебро:
Оно со мной всегда.
Да и для дальнего пути
Надежней друга не найти.
Люби меня, как калebas¹:
Пока он цел — стоит с водой.
А разобьется — не беда:
Подставкою для струн послужит он тогда.

Перевел с французского В. Берестов.

¹ Калebas — сосуд из тыквы.



ДМИТРИЙ СТОНОВ

★

ТЕКЛЯ И ЕЕ ДРУЗЬЯ

*Повесть**

Глава одиннадцатая

Большее недели убирают озимые, и все это время мелиораторы помогают колхозу. Как и вначале, Ваня Исаченко тащит снопы, а Дуся, телятница, складывает копны. На пятый день Борисовский на линейке подъезжает к жницам. Он ищет глазами, находит Ваню и направляется к нему.

— Поехали, товаришок,— говорит он.— Ты мне свое хозяйство показал, я трошки тебе покажу. Поехали!

Несмотря на разницу в возрасте, Борисовский обращается к бригадиру, как к равному,— можно разве отнекаться? В секундном замешательстве Исаченко смотрит на Дусю. Справится ли она без него?

— Дуся у нас молодец,— как бы догадавшись о его мысли, говорит Борисовский.— Час-другой она и без тебя обойдется.— И, обращаясь к девушке: — Обойдешься?

— Обойдусь,— вздыхает Дуся, но так, будто ее обездолили, и не на час-другой — на всю жизнь.

И они уезжают — Борисовский и Исаченко. Лошадь идет размашистым шагом, линейку изрядно потряхивает — известны проселочные дороги Западной Белоруссии. Хорошая погода держится. «В этом году погода нам вполне сочувствует»,— замечает вулькинский председатель, но о словах его можно лишь догадаться по движению губ. Миновав колдобины, линейка тянется по взгорью, колеса тонут в песке, шипят. Белое облако прикрывает солнце, и тогда легче дышать. Но вот облако начинает таять, расплываться, только-только оно было похоже на огромную птицу, широко раскинувшую свои крылья, а сейчас виден скачущий жеребенок с очень тонкой шеей и вырванным животом. Скоро и жеребенок исчезает, облако напоминает дым из трубы, он тает, тает, еще несколько секунд — и ясное и яркое солнце вновь панует над всей землей. Хорошее лето стоит в Белоруссии, хорошее, благодатное!

Первым делом Борисовский останавливается недалеко от комбайна. Белобрысому хлопчику в большой отцовской шапке, который тут же вертится, председатель передает вожжи, просит придержать лошадь и вместе с гостем идет к комбайну. Видна пока верхушка машины — один штурвал; шум ее ветром относит в сторону — можно говорить.

— Видишь хлопца? — указывая на комбайнера, который стоит сейчас рядом со штурвальной, спрашивает Борисовский и берет Ваню под руку. — Так это наш хлопец, наш, вулькинский. Мы его на тракториста и комбайнера учиться послали, мы его туточки оженили, мы его в эмтээс

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

передали и договорились, чтобы обязательно он у нас убирал. Все ж таки свой хлопек, тутошний, и жинка его живет в Вульках, и пятьдесят соток имеет от нас,— он и уследит лучше и работать будет справней!

Беседуя, они подходят к комбайну, и вовремя: комбайн не работает, рядом с ним грузовик, по полотняному хоботу из бункера в грузовик течет рожь.

— Ну как, Тимоша? — спрашивает Борисовский у комбайнера. — Как у тебя проистекает? — Это слово он также позаимствовал в райцентре.

Комбайнер лет на пять старше Вани. Это видно по рыжеватой шетине, которой он оброс в страдные дни. Козырек у него повернут к затылку, этим он напоминает Ване былую его помощницу Лизу... Как она там, в другой бригаде? Могла бы, кажется, написать!

— Не знаю, как и сказать, товарищ Борисовский,— несколько официально отвечает Тимоша. Он работает в МТС, месяцами не бывает в Вульках, в данном случае председатель колхоза является для него лишь клиентом. К тому же разговор происходит в присутствии незнакомого парня.— Не знаю, как и сказать,— повторяет он.— Имею обиду на эмтэс. Волынят они там, товарищ председатель. Обещались смазочное прислать вчера — и до сих пор его нету, у меня оно на самом исходе. Хоть останавливай комбайн и пиши простой!

Тем временем незнакомый парень, то есть Ваня Исаченко, осматривает комбайн, и осматривает его, как спец, как бригадир, как машинист экскаватора. Услышав последние слова комбайнера, он говорит:

— Очень даже просто, хоть останавливай комбайн. Без смазки — никак.

— Никак,— соглашается комбайнер.

— Будет, будет у меня о твоём директоре разговор в райкоме,— ворчит Борисовский.— Пускай его наш райком вызовет и пускай его хорошо проперчит. Его и секретаря по зоне.

— Само собой,— соглашается Ваня.— Когда это, однако, будет? А пока — что? Остановить комбайн, что ли?

И, пораженный своей солидностью, он говорит комбайнеру:

— Дам тебе записку, пошли кого-нибудь ко мне в бригаду и получи заимообразно смазочное. Пришлет эмтэс — отдашь.

После этих слов он пишет записку, блокнот его имеет жалкий вид, листочки свернуты в трубку, но это не играет роли. Пишет бригадир, и приказ его будет выполнен, вот что важно.

— Спасибочко,— говорит Тимоша.— Дякую. Как получу, так и отдам.

— Само собой,— еще раз произносит Исаченко и (делать здесь больше нечего, уходить надо вовремя), обращаясь к Борисовскому, замечает: — Пошли, поехали!

Они идут к линейке, и вновь, как старого друга и товарища, Борисовский берет под руку мелиоратора. И тут Исаченко вспоминает беседу с Фросей, домохозяйкой. «Эх, шляпа, до сих пор не мог ты сигнализировать», — упрекает он себя и останавливается.

— Есть у меня замечание,— говорит он.— Небольшое замечание, товарищ Борисовский.

— А ну, а ну!

Ваня отвечает... Разумеется, он не ставит Борисовскому «на вид», но и не мямлит и совсем не запинается. Нет, он говорит, как равный с равным, приводит кое-какие примеры «из собственного опыта», на память цитирует постановление сентябрьского Пленума. Скоро три года, говорит он, как Пленум Центрального Комитета обязал партийные организации «взять под неослабный контроль работу лечебных и детских

учреждений на селе...» Что касается Вулек, то здесь, как Ване известно, нет никаких детских учреждений, нет детясель — даже временных.

Борисовский внимательно слушает, он не возражает, не оправдывается и признается — «недокумекал».

— Пустышное дело,— заключает Исаченко, этими словами он хочет смягчить свое замечание.— Организовать детясли на время уборки — самое пустышное дело. Тех же старух приспособить, проинструментировать...

— А вот котелок не сварил, недокумекал, — говорит председатель.— Налажу, можешь, товаришок, не сомневаться. Что верно, то верно!

Поездка продолжается в безмолвии, но безмолвие это особого свойства, авторитет молодого бригадира поднимается, растет.

— Товаришок,— говорит Борисовский, когда они останавливаются на другом участке; здесь работают две косилки.— Я тебе, товаришок, одного гарного человека покажу, ты с ним побалакай, он со мной в Берез-Картуском концлагере сидел.

— Это баптист? — спрашивает Исаченко.

— Не, другой.

По трещашей стерне они подходят к ближайшей косилке. На дырчатой тарелке сидит человек лет сорока, с большой плешью, толстоногий, черный. Он погоняет лошадей, покрикивает — лошади не очень послушны, ленивы — и не сразу замечает председателя и Ваню.

— Ты почему, Карпук, без шапки? — здороваясь, спрашивает Борисовский.— Плюс к тому ты лысый, может тебе солнце повредить.

Карпук тпрукает, хоть лошади и без того остановились, слезает с тарелки и твердую, как доску, всю в мозолях руку подает гостю, потом председателю.

— Не,— говорит он.— Я соннышко люблю, ничего вредного не будет.

Он поворачивает лошадей к стерне и, держа в одной руке вожжи, вновь подходит к Борисовскому и Исаченко.

Порасспросив о делах, сколько скошено за вчерашний день, сколько убрано сегодня, что хорошего, председатель колхоза говорит:

— Вот ты, Карпук, расскажи товарищу — это, понимаешь, бригадир-мелиоратор, он наше болото осушает,— расскажи товарищу, как ты в Березе сидел.

Карпук смотрит на солнце, гладит лысину — не очень хочется рассказывать, не время.

— Обыкновенно,— наконец отвечает он.— Сидел и сидел.

— А ты спину покажи.

— Ну вот... Зачем это?

— Покажи, покажи,— настаивает председатель.— Пускай молодой товарищ вникает, хотя он вполне сознательный.

Карпук медлит, он вновь смотрит на солнце — время не ждет, время горячее.

— Ну, лупцевала меня панская стража, добрых шомполов дала,— говорит он.— И тебя будто лупцевали.

— И меня лупцевали,— соглашается Борисовский.— А ну, вспомни, что я тебе тогда балакал?

— Ты мне до спины лопух прикладывал, чтоб не так болело, чтоб рубаха не пристала.

— Прикладывал, правильно. А балакал что?

Карпук задумывается — и темное его лицо оживает, яснееют глаза.

— Балакал что? — переспрашивает он.— погоди, давай бог память. Балакал ты: «Трофим Карпук, ще наше свято придет, ще мы, белорусы, будем с нашими советскими братьями. Не очень, балакал, расстраивайсь, ты, главное, надию не теряй».

— То так. А ты что казал?

— Ничего. Я слушал.

— А еще чего?

— Не припомню,— говорит Карпук, но таким ненатуральным голо- сом, что сразу становится понятным: человек хочет отделаться молча- нием.

— Ой, помнишь! — И Борисовский хитро щурится.— «Нас, казал ты, панская стража прикончит, окончательно, значит, добьет, и званья от нас не останется, и косточки наши сгниют, и будут наши бабы вдовы и диты сиротами...» Вот что ты казал!

— А мало паны нашего брата изничтожили?

— То правильно,— соглашается Борисовский, и оба они умолкают, задумываются. Молчит и Ваня.

Так стоят они несколько минут.

Первый к будничным мыслям возвращается Трофим Карпук. Лоша- ди натянули вожжи, они не только хотят передохнуть — им подавай жито, и, пошептавшись, они начинают сворачивать к нескошенному хле- бу. Ну и влетает же им от Карпука!

Хорошенько их пристрашав, Карпук говорит:

— Завтра ты, Борисовский, поинтересуешься моей цифрой. А я тебе, конечно, доложу — как учетчик запишет, так я и доложу. А ты spy- таешь: «Это почему так мало?» А я скажу: «Тут мы с председателем и еще с одним товарищем про старое балакали». А ты скажешь: «Чи у вас другого часа не было?» А я скажу...

— Твоя правда,— прерывает его Борисовский. И, попрощавшись с Карпуком, он и Исаченко едут дальше.

На много километров раскинулись колхозные поля — здесь полоска, там полоска, и всюду нужен хозяйский глаз. Песок и кремь, кремь и песок, колеса погружаются по ступицу; скрежещут камни. Вьются не- ровные полотноща проселочных дорог, на развилках стоят обвешанные передниками и вышитыми рушниками кресты. Заливаются жаворонки, совсем низко пролетают непуганые аисты — проносятся тени по бедной земле. Лошадь устала, тяжело тянет линейку.

— Вот бы нам, молодым, собраться на вечер смычки,— говорит Ваня Исаченко.— Чтоб, значит, мелиораторы пришли и ваши ребята, и вы бы, товарищ Борисовский, рассказали все, как было в Березе. Наша моло- дежь, она ж того совсем не знает.

— Которые знают,— поправляет его Борисовский.

— А которые не знают.

— И то правильно.

Они умолкают. Жара, пыль, и, когда в изнеможении закроешь глаза, кажется, что линейка движется назад.

— А может, про мою маму рассказать? — спрашивает Борисовский и, не дождавшись ответа, продолжает: — Тоже до-обрый пример, какая у нас при панах темнота была!.. Сходит, часом, мать в клуб на картину, так я ее спытаю: «Что, спытаю, электричество, движок ты не задула?»

— Это как?

Борисовский смеется в голос. Лошадь поворачивает голову к судо- кам, фыркает.

— А так. При панах дело было, я еще холостой был, с матерью в одной хате жил. Поехал в Брест свинину продавать — он тогда Бжест- на-Буге прозывался. Ладно. Продал честь по чести — и себе электриче- ский фонарь с батарейкой купил. Приехал домой, а уже поздно, — матери хустку, платок, то есть, привез, фонарь на стену повесил — фонарь, он с петлей был,— как полагается, спать лег, и чуть свет — в поле. Утреч- ком поднимается с печи мать, смотрит, что за штука на стене висит? Потрогала, пощупала, а на фонаре — известно — пуговка. Незаметно

она пуговку надавила, и фонарь зажегся. Очень ей это понравилось — смотри, горит, лампа, смотри, какая! Осторожненько она фонарь подержала, потом — жаль, задарма керосин горит, а керосин дорогой! — дунула... — Борисовский вновь рассмеялся. — Раз дунула, другой, третий, изо всех сил дует, а фонарь — ему что? — горит себе и горит. Тут моя старуха дюже испугалась — что делается? Ей из хаты уходить, а фонарь горит и горит, горит и горит. Повесь его на стенку, уйди, — а маме уходить, — и, не приведи господь, дом может загореться, очень даже просто. Подула она еще раз, может, десять — и фонарь мой в помойный ушат кинула: раз такое дело, раз, выходит, он порченный, не тухнет, так чего его держать? От него только жди беды... Вечером пришел я — фонаря моего нету. А мать: «С брачком, сынок, тебе лампу-то продали, я ее в ушат...»

Теперь они оба смеются. Что ж, и о фонаре не мешает рассказать, о Березе и фонаре, это, по-научному объясняет Ваня, «явления одного порядка».

Дуся и впрямь оказалась молодцом, она отлично справилась с работой. Малюсенькие капли пота уселись на ее носу. Она смотрит на Ваню своими васильковыми глазами, смотрит так, точно он не утром, а по крайней мере год тому назад уехал от нее, и спрашивает:

— Так разве тебе на свою работу не надо?

Нет, сегодня он работает в ночной смене и решил наверстать упущенное, поездка с председателем колхоза не должна отразиться на работе.

Она внимательно слушает, и при этом у нее такой молящий и благодарный взгляд, что он невольно берет ее за руку. Он возбужден поездкой, ему хочется говорить. О чем он рассказывал ей утром или, наоборот, она рассказывала ему? Но это неважно.

— Учиться надо, — начинает он таким тоном, будто упрекает ее, а в ее лице и самого себя и всю молодежь. — Ах, как надо нам учиться и знать, что было раньше, что теперь... Ты понимаешь?

Она понимает, она стоит с поникшей головой, полностью готова признать свою вину... Немного погодя она говорит:

— Так я же семиричку кончила...

Но Ваня настроен воинственно. Семиричка? Чепуха семиричка! Нам надо учиться и учиться, понимать что к чему, помнить, что мы — помощники старших, смена. Знает ли она, имеет ли представление, как жила Западная Белоруссия до тридцать девятого года? Сколько Дуся было в тридцать девятом? Ах, год с небольшим? Но это неважно. Ему тоже было не шибко много, но родился и вырос он на советской земле...

Тут он незаметно сворачивает в сторону и начинает рассказ о своем печальном детстве, об отце, погибшем в партизанском отряде, о матери — ее убили фашисты, — о второй матери — она все равно что настоящая, она и есть настоящая, один он, Ваня, у нее на свете, и он регулярно пишет ей большие письма... Скоро он замечает, что увлекся, и хочет вернуться на свой шлях. Но в это время Дуся говорит:

— Смотри, сколько они снопов нажали...

На глазах у девушки слезы, рассказ расстроил ее.

— Ну тогда давай, — отвечает он.

Поездка не очень его утомила, и он быстро берется за дело. Два снопа в одной руке, два в другой — вот как следует работать!

Проходит немного времени — и теремки готовы, поднимаются над стерней. Разбросанных по полю снопов не осталось. Дуся садится в тень и говорит:

— Как жаль, что я поснидала, и обед мне принесли, я и обед съела...

— А ты голодна?

— Нет. Но ты бы поел.

— Я? Я совсем сыт.

Ваня садится рядом с нею. Минута.— и он на шляхе прерванного рассказа. Да, учиться и читать, читать и читать. Сколько хороших книг на свете, сколько замечательных книг, по этим книгам ты видишь, как люди жили, и начинаешь понимать, как надо жить!..

На этом месте он умолкает. Знакомые слова произносит он, очень знакомые... Да ведь все это говорила Лиза Дидок! Это все она ему доказывала и не только ему,— всем мелиораторам. А когда он собирался на Станцию, она давала ему список, поручала зайти в библиотеку и привезти побольше книг... Она стояла с бумажкой-списком в руке, ее кепка была повернута козырьком к затылку. Вот она сняла кепку, и чуб, как пружипа, поднялся над ее головой, ветер расчесал его, отнес в сторону...

И невольно рассказ его снова меняет направление.

— Интересно,— говорит он,— как ты смотришь на любовь?

Дуся не отвечает. Она сидит не шевелясь, глаза ее опущены, лишь одна щека дрожит и дергается.

— Вот, к примеру, один парень полюбил одну дивчину и не может ей ничего сказать. Понимаешь? Ничего не может сказать или говорит всякую ерунду, слушать стыдно. Но он ее любит, ее одну он только и любит...

Дуся повторяет свою фразу:

— Смотри, сколько они снопов нажали...

Но Ване хочется договорить, он, собственно, думает вслух, и пусть она не перебивает!

— А дивчина — никакого внимания,— продолжает он.— Ты понимаешь? Никакого!

Не так-то легко ответить, но Дуся отвечает:

— А может, так только кажется,— просит-молит она.— Просто кажется, а он взял и подумал?

— Подумал? Ни в коем случае! В том-то и дело, что она сказала «нет!». «Нет, нет!» — сказала она.

Дуся смотрит на него растроганно. Он берет ее за руку. Ему приятно, что она так внимательно его слушает, она — по всему видно — сочувствует ему, вот даже как будто слезы на ее глазах... Милая дивчина, как легко с нею, легко и хорошо, но если б она знала, что у него на душе, какие кошки царапают сердце... Вот будто он успокоился, забыл, запрягся так, что дальше некуда, ни одной свободной минуты. И вдруг, как сейчас, открывается старая рана. А может быть, не рана? Может, исчезает черная туча и солнце смотрит на него с утешением? «Погоди,— говорит оно, и ласковые лучи греют его, обнадеживают.— Быть может, не все еще потеряно...»

— Смотри, сколько снопов...

— Да, пошли,— встряхнувшись, говорит он.— Пошли, поехали! Тем более что мне еще на объект надо. Я ж не просто так. Я ж несу полную ответственность.

Глава двенадцатая

В довоенные годы были сваты; повязавшись рушниками, они шли к родителям невесты. «Вам нареченную дочь отдавать, нам справного парня женить...» Они обо всем договаривались, парню оставалось прийти на готовенькое.

«Ну, а теперь?» — спрашивал себя Зубелик.

С Лизой было проще простого... Не то, конечно, с Ковалевичами. Стоило бы ему сказать Текле «давай жить вместе» или «перебирайся

ко мне», и она бы возмутилась, не стала бы с ним говорить. Ковалевичи и того хуже: они заставили бы его забыть дорогу на хутор...

Следовало найти особый подход... Какой? Надо, быть может, прямо и открыто поговорить с Ковалевичами — мол, так и так, вы меня видели и трошки знаете; теперь все от вашего доброго согласия зависит...

Подобные слова как будто годились. Но он ясно представлял себе, как, выслушав его, менялось лицо Осипа Филипповича... Оно точно каменело, и из каменных глазниц смотрели острые, ненавидящие глаза, как в день знакомства, когда дурак шофер стал болтать о панах и привольной их жизни... Нетрудно вообразить и жесткие слова, которые Ковалевич скажет, — недвусмысленный отказ он произнесет твердо, беспощадно. А Марья Ивановна? Молчаливая, она, быть может, промолчит и на этот раз. Но ее вечно недовольное, сухое и иссеченное морщинами лицо, ее длинный, как у яги, подбородок и приподнятые над осуждающими глазами брови красноречивее всяких слов... Нет, не такого зятя они хотят, и не ему, Зубелику, отдадут они свою дочь!

«Что, однако, я теряю? Голова у меня не отвалится, если они и откажут...» Он прислушался к этой мысли, не раз уж она успокаивала его. И хоть ему очень хотелось, чтобы дело выгорело, он все же должен был согласиться, что в случае неудачи голова его и в самом деле не отвалится. Никакого, значит, риска тут не может быть.

И все же, решив объясниться с Ковалевичами, Зубелик сильно волновался. На всякий случай он прихватил пол-литра, сунул его в глубокий карман галифе. Запасся он и коробкой дорогих папирс: Осип Филиппович покуривал.

Ковалевича застал он во дворе и обрадовался — лучше всего поговорить с ним без свидетелей.

Осип Филиппович был в хорошем настроении — Зубелик сразу это заметил. Теклин отец шел по двору и улыбался.

— Ну, как? — спросил он. — Небось от косьбы спину добре ломит?

— Ничего... Лугов-то ведь и у нас было немало! — напомнил Зубелик. — Привык я.

— А все ж таки на машине куда способней, — возразил Ковалевич. — Давеча проходил я, смотрел, как ваши осушители канал роют. Ну, знаешь ты, не работа — игра! Сидит человек, рукой покрутил, ногой надавил, и вот — накопал полнехонький ковш земли, считай, воза два, а то и поболе. И — что ты скажешь! — как перышко, по воздуху относит куда полагается и высыпает послушно... Ах, хорошо!

Чтобы не молчать, Зубелик стал рассказывать о работе экскаватора.

— В день машина чуть меньше трехсот кубиков земли выбросит — и какой! — болотной, — не без гордости заметил он.

— Скажи на милость!

Они помолчали.

— Пошли в хату, — предложил Осип Филиппович.

— Успеется... — И Зубелик предложил посидеть на садовой скамье.

Скамья была за домом, под ветвистым ореховым деревом. Зубелик достал папирсы, ногтем распечатал коробку и предложил Ковалевичу закурить.

Прежде чем взять папиросу, Осип Филиппович полюбовался коробкой, даже языком прищелкнул.

— Богато живем, — сказал он, не то хваля, не то осуждая.

— Зарабатываю я, прямо скажу, крепко, — ответил Зубелик. — Человек я холостой — куда они, гроши?

— Не-ет, — возразил Ковалевич. — Денежки бросать на ветер тоже не порядок. «При капитале Панфил всему свету мил», — вот как старики говорили.

— Я, Осип Филиппович, капитал на ветер не бросаю. Просто захотелось вас от души угостить...

И, чтоб не осталось пути для отступления, добавил:

— ...и поговорить.

Медленно наступали сумерки, по-вечернему плыл, таял дым, острее запахло цветы. Все глубже затягиваясь, Зубелик косился на Осипа Филипповича — тот курил осторожно, скупно. Каждую минуту Ковалевич мог подняться, уйти, — следовало приступить к объяснению.

— Хочется мне с вами поговорить, Осип Филиппович, — вновь произнес Зубелик. — Уж не знаю, как вы на это посмотрите... Я наперед о себе скажу.

Понимал ли его Ковалевич, догадывался ли, что Зубелик имел в виду? Лицо хуторянина было непроницаемо. Но оно не каменело, нет. Подобно многим, привыкшим к трубке и сигаркам, Осип Филиппович неумело, двумя пальцами, держал папиросу и внимательно, скосив глаза, следил за тем, как она истлевает.

— Я о себе скажу, — продолжал Зубелик. — Работаю я машинистом, работать я не ленивый, зарабатываю, можно сказать, хорошо. Не то что себя — могу еще кой-кого прокормить...

Он не успел закончить. Ковалевич спросил:

— Так вы уже с нею говорили?

Вопрос был до того неожиданный, что Федор опешил.

— Это с кем же?

— С тетей Мотей, — сухо вато пошутил Осип Филиппович.

Немного оправившись, Зубелик сказал:

— Да разве б я смел — сперва с нею, а потом с вами? Разве ж это порядок?

— Порядок не порядок — не нам судить.

Осип Филиппович вновь закурил — коробка с папиросами лежала на скамье. Он был спокоен, деловит, и совсем невольно его состояние подействовало на Зубелика.

— Так, — помедлив, вновь заговорил Ковалевич. — Ну, а венчаться как думаешь?

— Не знаю, — осторожно сказал Зубелик. Было неясно, какого ответа ждет Осип Филиппович.

— Видишь, — как бы упрекая собеседника и перейдя на ты, заметил Ковалевич. — А я вот знаю и тебя научу. — Он затянулся, недолго помолчал. — Я новый закон признаю, я не против, храни господь... Но — учти — и старый закон для меня святей святого, рушить его никому не позволю... Как ты насчет этого?

— Я и сам думал, — все с той же осторожностью сказал Зубелик. И, полагая, что этим окончательно расположит к себе Ковалевича, добавил: — Как отцы-родители наши, так и мы.

— И правильно. Нового я не хаю — зачем? Но ты и наше уважь. Расписался, скажем, честь по чести, по форме и — господи, помилуй, в церковь... Ты партийный?

— Нет, — поспешно ответил Зубелик.

— Комсомол, значит?

Лгать было нельзя — это Ковалевич легко мог узнать. И Зубелик коротко ответил:

— Да...

— А чего ж, — уловив в его голосе стеснение, тотчас же сказал Осип Филиппович. — Молодому парню иначе нельзя, это я очень даже хорошо понимаю.

Все больше темнело, воздух посинел, как и небо. Из дома донесся голос Текли: «Тату-у!»

«Знает ли она, что я здесь?» — подумал Зубелик.

Голос дочери вернул Ковалевича к беседе.

— Я так тебе скажу, — начал он. — Не помню, как звать тебя?

— Федор.

— Я тебе, Федор, так скажу. Хоть и говорится, всяк хозяин в своем доме бóльшой, а все ж таки и с хозяйкой не мешает совет держать и Теклю спытать полагается. Вот мы про себя и решим, а ты завтра приходи...

— Спасибо.

— Погоди дяковать. — Ковалевич умолк. Лица его не было видно, только огонек, когда он затягивался, освещал бородку и жилистую руку, которой он держал папиросу. — У нас тут церкви нету, наш приход в Минковичах, а до Минковичей — верст двадцать с лишним. Я к чему это? Председатель — учти — лошадей не даст, он по этой части строгий, раз в церковь — ни за что не даст. Так что, если мои женщины согласные, ты по машинной части должен постараться, чтоб, значит, нам на машине всем гамузом в Минковичи поехать.

— Само собой, — ответил Зубелик. И, не зная, что еще сказать (а сказать, по его представлению, следовало), добавил: — В час добрый! Так я завтра наведаюсь...

Ковалевич не ответил: он докуривал третью папиросу.

В эту ночь Зубелик долго не мог заснуть, и не потому, что сомневался в удаче. Отныне сомневаться не приходилось, хоть Осип Филиппович и собирался держать совет с хозяйкой и спросить Теклю. Как полноправный член семьи, как один из хозяев, Федор мысленно шагал по хутору, останавливался у дома с яркой, как пламень, крышей, останавливался у приусадебных построек, разглядывал живность, которая мычала, бляля, кудахтала, гоготала...

· Намного ли хутор отличался от тех, что островками лежали недалеко от родной деревни? Намного ли хозяйство Ковалевича отличается от усадьбы пана Левковича? Правда, земля Ковалевича отошла к колхозу. Но остался хутор, остался замечательный сад на шестьдесят соток — целое богатство... После свадьбы надо будет написать отцу, послать ему на дорогу — пускай приедет, пускай сам посмотрит, как вознесся сын! Неудачливый Игнат Зубелик мог мечтать, только мечтать, осадник облапошил его, забрал последние деньги, пятилетние его старания. Не то сын. «Смотри, батя, — не без гордости, не без пренебрежения в голосе скажет Федор. — И девку взял я хорошую, а хозяйство и того лучше, все, смотри, мое, дочь-то ведь у Ковалевичей одна...»

Федор усмехнулся. Глаза его смежались, что-то происходило с памятью — она слабела. Он попытался представить себе Теклю, и вот она возникла — в руке цыпленок, полные губы тянутся к клюву... Но, когда он захотел внимательней ее разглядеть, она стала таять, отплывать в ночную мглу — из мглы видны были одни лишь ее губы и клюв цыпленка. «Хозяйственная», — подумал он.

На смену Текле явился Осип Филиппович, и, оживившись, Зубелик как бы заново увидел и услышал его. «В комсомоле? — спрашивает и кивает: — Правильно, иначе никак...» А когда этот дурак шофер стал пугать — «мол, ликвидируют хутора», Осип Филиппович сразу ему глотку заткнул. И верно — не лезь, без тебя, дурного, разберутся. «Хутор мой — я и живу и в колхозе числюсь, вот как!» И Зубелик ясно представил себе, как вся бригада будет завидовать его удаче. «Все они по хозяйским квартирам валяются, а я, как пан, у себя живу. Ну и что ж? Пускай завидуют, меня не убудет!..»

Это была последняя его мысль.

Текля сидела у окна, сердце ее замирало, ей казалось, что она умрет, как только покажется Зубелик. Мысли мешали держать на прицеле калитку. Много раз она задавала себе один и тот же вопрос: любит ли она Зубелика? И не могла ответить. Может, и любит, скорее всего любит, сразу разве поймешь? Отодвинув эту мысль, она начинала думать о том, что наконец-то ей удастся вырваться из хутора, вместе с бригадой она будет переезжать с места на место, увидит свет, побывает, быть может, в райцентре, и не в одном — во многих... Может, ее и грамоте научат, шутка ли — бригада, а главный там — Зубелик! И она видела себя в большущем городе, город был похож на один из тех, что показывали на картинах в клубе, она шагала по его улицам, ездила в автобусах, потом писала родителям на хутор, рассказывала обо всем виденном. Писала? Ну да, она уже была грамотной, рука ее бежала по бумаге, как у той дивчины, что работает в правлении у Борисовского... Да, кончилось то время, когда отец никуда ее не пускал, когда, вместо того чтобы со всеми девчатами работать в колхозе, она вынуждена была сидеть дома. «Колхоз и без тебя обойдется, — твердили отец и мать. — Твое дело дома доглядывать, за нашей живностью ходить, за телятами, за утятами...» А на вечерушки? Ее и на вечерушки не пускали. В клуб, на картину — и то летом только позволяли бегать...

Вдруг она заметила, что Зубелик приближается к дому, ему осталось десятка полтора шагов. Что делать? Она заметалась — недолго, чтобы родители не заметили, — и выскочила на крыльцо. Она хотела бежать, но неожиданно для себя остановилась и, зардевшись, стала смотреть на Федора.

Очевидно, и он был смущен. К поллитровке, которую купил вчера, он прибавил еще две бутылки, так что глубокие карманы его брюк оттопыривались и мешали ходить. Оделся он по-праздничному: гимнастерку заменил рубашкой с галстуком, сверху накиннул пиджак, старательно начистил сапоги. В пиджаке лежало купленное в райцентре ожерелье — пришла пора и этой безделке.

— Ну, как оно? — не зная, что сказать, спросил он.

Она еще больше покраснела и рукавом закрыла лицо.

— Говорил я тебе — посватаю, — произнес он.

Все меньше робея, Текля с веселым любопытством смотрела на Зубелика. Потом она из стороны в сторону покачала головой и опустила руку.

— А вышла моя правда, — вздохнув, сказала она.

— Какая?

— Холостого сватать не посылают.

Зубелик порылся в кармане и достал ожерелье.

— Держи, — сказал он и обнял ее за талию.

Слабо отстраняясь, она отступила на шаг.

— Смотри, бусы какие, — удивленно произнесла она. — В нашей кооперации таких не видать.

— Это я в городе, — ответил он.

— В городе, — как эхо, повторила она. Веселое любопытство по-прежнему сияло на ее лице.

Ковалевичи встретили Зубелика буднично, и это ненадолго удивило его. С важной озабоченностью Теклины родители поздоровались с ним за руку и вновь уселись на свои места. Беседу обычно заводил Осип Филиппович, и Федор обратил к нему лицо — молчание казалось тяжелым, тяготило. Но тут заговорила всегда безмолвная Марья Ивановна. Как давеча муж, она также обратилась к будущему своему зятю на ты, не называя, впрочем, его по имени.

— Насчет законного венчания... говорил он тебе? — спросила она.

Зубелик кивнул.

— Так.— Лицо ее, как всегда, было сосредоточенно-сурово, лоб наморщен.— Поднимись-ка,— вдруг сказала она. Зубелик не сразу догадался, что слова эти относятся к нему.— Я тебе Теклин сундук покажу.

— Зачем? — спросил он после неловкого молчания. Он оглянулся. Текли не было.

— А затем.— Она подошла к сундуку — пестро расписанный, на колесиках, он стоял в ряд с кроватью,— повернула ключ и откинула крышку.— А затем, чтобы разговора потом не было.— И, вынимая и раскладывая на кровати белье, юбки, кофты и вышитые рушники, она стала подробно рассказывать о соседе-крестьянине, выдавшем замуж дочь, об их скандальном зяте.— Приданое, видишь ты, ему не понравилось, и когда — через год после свадьбы!

Слушать было неловко, Зубелик и беседы ждал иной. Теперь он надеялся на выпивку — после полутора литров и говорить будет проще и легче — и поспешно выставил на стол стеснявшие его бутылки.

Но старуха не торопилась. Она перебирала Теклино добро, вслух считала каждую штуку, то и дело обращая к Зубелику лицо. И лишь покончив со всем этим, вновь заперев сундук, достала закуску и две рюмки.

— Нет, мамаша,— сказал Зубелик. Впервые он назвал ее так.— Никак нельзя. По такому случаю мы все должны выпить.

Она не ответила. Казалось, его слова с большим опозданием дошли до ее сознания: минуты через две она поднялась и поставила на стол еще одну рюмку.

Когда вино было налито, вошла Текля.

— А мне не полагается? — преодолевая смущение, не то шуточно, не то обиженно спросила она.

— Как это — не полагается? — вмешался Зубелик. Он отодвинулся, и Текля села рядом с ним.— Обязательно.

— Дай дочке стаканчик,— сказал Осип Филиппович. Он налил и ей, потом чокнулся со всеми.— Ну, давай боже,— продолжал он и не поднялся. Сидели и другие.— Давай боже,— еще раз сказал он.— Тут тебе и смотрины, и сватовство, и сговор, и рукобитие, и пропой — все вместе.— Он поднес рюмку ко рту, но пить не стал. То же, глядя на него, сделали и другие.— Ты когда венчаться надумал — в это воскресенье или через неделю? — обратился он к Зубелику.

— Давайте в воскресенье, чего тянуть?

— Как хочешь, нам все равно. А загс у нас свой, при сельсовете...— Рюмка дрожала в его руке, объяснение затянулось.— Ну, а теперь давай господь! — Он размашисто перекрестился, выпил и только после этого поцеловал дочь, жену, Федора.

Поцеловались и все другие.

Водка несколько оживила Ковалевичей. От прежней напряженности не осталось и следа.

Выпили по четвертой, по пятой. Одна лишь Текля время от времени тянула все из того же первого стаканчика, и вид у нее был такой, будто она невзначай попала на это веселье. Положив подбородок на ладони, поставив локти на стол, она с прежним оживлением и любопытством смотрела то на отца, то на мать, то на Зубелика, нос ее морщился.

За окнами все больше темнело, по дому голубыми космами плыл и таял папиросный дым.

Пора было уходить, и Зубелик поднялся, стал прощаться.

Текля вышла его провожать.

Дорожка казалась белой, светлой, поздний вечер лежал по обеим ее сторонам — на деревьях, на цветах, на траве. Зубелик взял Теклю за руку, потом во второй раз за этот вечер обнял ее. И, только обняв, заметил, как внимательно, с прежним оживлением, она смотрит на него.

— Ну чего? — спросил он.

Она не ответила.

— А мы в городе будем? — спросила она.

Зубелик не понял.

— В каком?

— Ну... во всяких. В городах, в деревнях. Я ж и в Минковичах ни разу не была... — Она усмехнулась. — Вру — была, когда меня крестили...

У калитки они остановились.

Как всегда, перед расставанием говорить было не о чем. Текля протянула ему руку.

— Разве так прощаются? — спросил он. Обеими руками он обнял ее голову и стал целовать ее лицо, губами искать ее губы.

Она слабо отстранилась и с простотой, которая даже его — подвыпившего — тронула, сказала:

— Я ж не знаю...

Глава тринадцатая

Дела, дела, бесконечные дела! Борисовский сидит в правлении — проверяет последние цифры, вместе со счетоводом составляет рапортнику, крутит ручку телефона, дует в трубку и говорит с секретарем райкома, — потом он носится по своим владениям (а владения не маленькие, они разбросаны на многие километры), он задерживается то там, то здесь — одно звено похвалит, другое осудит, в третьем и сам возьмется за работу, сядет на железное сиденье жнейки: одними словами не научишь, в особенности молодого. Приходит ночь. Вдруг — будто вновь партизанит и во сне услышал стрельбу — он просыпается. Разумеется, колхозник, снабжавший ферму подкормкой, послан на уборку, и правильно. Работают в поле и некоторые доярки — нельзя, милые, убрать надо в срок и без потерь, это любой школьник знает. Но вот справилась ли сегодня сильно поредевшая армия животноводов со своими обязанностями? Как с подкормкой? Если надой пошел в гору, превысил вчерашнюю норму, то почему завфермой не зашел, почему не похвастал последней своей цифрой? Занят? Ну, конечно, занят. Но Борисовский знает старика: удачей, хорошей цифрой он всегда рад похвастать.

Дела, дела, они полонили председателя, он не может от них оторваться, он все мечется, мечется, и порой ему кажется, что он разучился думать о будущем, за повседневными делами не видит главного...

Разучился? Как бы не так!

В этом году яровые как никогда отстали от озимых. Овес, ячмень, лен все еще ядовито зеленеют. В уборке, одним словом, наступила пауза, ею следует воспользоваться. Хороший паренек, бригадир экскаваторной бригады, предложил всем вместе собраться. Это собрание он назвал смычкой. Нехай так, нехай смычка, предложение стоящее, чего там!

Итак, наступает передышка, с озимыми покончено. Девушки и женщины вяжут венки и с песнями направляются к колхозному клубу. У входа их встречает комбайнер Тимоша со своей штурвальной и трактористом, — завтра они переедут на новый пункт, будут обслуживать другого клиента. А вот и дорогой товаришок Иван Исаченко со своими осушителями, и среди них женщина в таком ярко-красном платье, что кажется, она охвачена огнем, горит сверху донизу, люди жмурятся, глядя на нее. Кто этот пылающий факел? Наша старая знакомая, нижница Ольга, жена машиниста Яромчика, вот кто!

Ваня Исаченко распорядился, чтобы Федор Зубелик принес с собой аккордеон.

— Давно ты, Зубелик, не играл, — сказал он машинисту и даже чуть-чуть польстил ему: — Тут, почитай, такой музыки никто не слышал.

Зубелик не стал отнекиваться, наоборот, он сразу согласился.

— Ладно,— сказал он и добавил: — У меня к тебе, бригадир, просьбишка будет небольшая.

— Добре, потом поговорим,— в свою очередь заметил Ваня.

Своей игрой — вступительным маршем — Зубелик и начал вечер, который Исаченко упорно называл смычкой. Да, получился вечер дружбы и единения, даже придирчивый комсорг Райса Ботвинко, очутись она здесь, была бы вынуждена с этим согласиться.

Председатель Борисовский нашел юного своего дружка и предложил ему выступить, сказать несколько слов. Ваня и сам понимал, что без его выступления дело не обойдется. Тем не менее он спросил:

— А может, мне потом, после вас?

— Нет, нет, товаришок, ты гость, тебе почет,— возразил Борисовский и похлопал в ладоши, попросил внимания.

Ваня потоптался и поднял руку — где-то он видел оратора, который, перед тем как начать речь, поднимал руку и переступал с ноги на ногу. Начал он как бы с середины и с нарочитой простотой — такое начало он также где-то слышал:

— Если вас, товарищи, вопрос мелиорации интересует, то я вам коротенько могу рассказать...

Разумеется, вопрос товарищей интересовал. Но коротенько рассказать молодой бригадир не умел. И он начал с истории Полесской низменности — как писал маме в Витебск, как не так давно информировал правленцев на болоте — и постепенно перешел на современную тему. Речь, в общем, получилась содержательная, подробность следовала за подробностью, цифра за цифрой. Покончив с мелиорацией, он заговорил о единстве, о том, что все мы, товарищи, делаем одно дело, и привел в пример хлебоуборку. А под конец пожелал вулькинским колхозникам в скором будущем посеять озимые на ихнем болоте — через два года болото будет превращено в плодороднейшую землю — и собрать урожай, который теперь может лишь присниться в этих местах...

Ване долго хлопали, он даже смутился. Опустившись на скамью, скромно и незаметно оглянувшись, он стал ждать рассказа о Карпуке и о том, как мать Борисовского бросила в ушат электрический фонарик. Но Борисовский, откашлявшись, продолжая сидеть, глядя вверх венков, украшавших головы дивчин и жинок, заговорил совсем о другом.

Человеку нужна передышка, и, когда она приходит, он видит все в ином свете. Вот-вот исчезнет болото, и мы забудем, что оно было... Хороша ли такая забывчивость? Как сказать, товарищи. С одной стороны, хорошо, с другой же — не очень. Многие уже стали забывать, какая у нас была земля семнадцать лет тому назад — в тридцать девятом — и сколько ее вообще было. Травой — что получше — владели паны и осадники, мало-мальски подходящая пашня была ихняя. Нас все оттесняли, оттесняли, а под конец и вовсе оттиснули к болоту. И молчи, помалкивай, потому и жаловаться ты не имеешь права на своем белорусском языке. И так, значит, вышло, что землю у нас забрали, язык у нас забрали, долю забрали...

Борисовский вновь кашлянул, передохнул.

— Через два года, — повторил он слова Исаченко и посмотрел в его сторону. — Но погоди, товаришок, моя думка дальше несется и делает остановку через пять лет. Пять лет! Можем мы себе представить, как у нас будет через пять лет? Можем, дорогие, вполне можем. Еду я, случается, по нашим лугам, еще трава не скошена, колеса ее приминают, а она, представьте, никак не желает подчиниться, опять выпрямляется. Смотрю я и думаю: то ли мы на траву похожи, то ли трава на нас? И нашего брата приминали, и мучили, и лущевали, а мы — разве мы поддавались? Ни в какую, никак! Вот, значит, еду я и думаю и представляю себе нашу будущую жизнь — лет так через пять... Понимаете? Само оно будто

представляется, думка летит себе и летит... Правильно это, как по-вашему? Я скажу — правильно. Подумаешь так, и работать половчей охота, и жить веселей, дорогие мои товарищи...

Он умолкает. Надо закругляться, ведь не для одной беседы собрался народ, наши молодые. И он закругляется, поздравляет с уборкой озимых, благодарит мелиораторов и заканчивает речь:

— Так что, товарищи колхозники, и вы, товарищи осушители, веселитесь на доброе здоровьишко, танцуйте, а мы, кто постарше, на вас поглядим...

После такого слова не сразу перейдешь к танцам, проходит немало минут. Наконец Ваня берет власть в свои руки — не он ли предложил организовать встречу, не его ли это была мысль?

— А теперь попросим нашего аккордеониста, нашего товарища Зубелика, поиграть, — говорит он. — И пусть молодежь попляшет, если, конечно, она не очень притомилась.

С музыки начинается и вторая часть вечера. Девчата, как водится, немного стесняются, они подталкивают друг дружку, рукавами закрывают лица и смеются. Но постепенно дело налаживается, танцует одна пара, за нею другая, танцуют мелиораторы с колхозницами, и вот уже в клубе тесно. Иные сидят вдоль стен, смотрят, беседуют — среди них Текля и Ольга Яромчик в своем пылающем платье. Текля поражена. Она, оказывается, и понятия не имела, что Зубелик так хорошо играет...

— Ха-ха-ха, — неопределенно смеется Ольга. С членом бригады она охотно поговорила бы и о других художествах Зубелика, помыла бы лишней раз его косточки... Но можно разве встречным-поперечным рассказывать о том, что происходит в твоей семье — в твоей бригаде? И Ольга поворачивает на все сто восемьдесят градусов и начинает хвалить Федора. Не в одной игре дело. Зубелик и в работе мастак и из себя он видный, орел, можно сказать.

— Да, — радостно улыбаясь, говорит Текля. — Я знаю...

Знает? Откуда же?

Но Текля так же сдержанна: с Ольгой она только-только познакомилась, они случайно оказались рядом.

— И так-то вы разъезжаете? — немного погодя спрашивает она. — По разным деревням?

И по деревням и по городам, как же! Был случай, когда бригада работала на окраине областного города, и ребята ходили в самое главное кино и в главный театр — «культпоход» называется.

— Культпоход, — зачарованно повторяет Текля и морщит нос. — А вы все грамотные?

— Грамотные? Ха-ха-ха! А десятиричку не хотите? А самое малое — семиричку — не хотите? А спецкурсы?

Эти слова приводят Теклю в уныние, и следа не остается от ее оживления. Да, все осушители люже ученые, семиричка — смотри ты! — самое у них малое. Они, конечно, высмеют ее, хуторскую... Нет, не будет ей места среди них...

— А если, к примеру сказать, объявилась в вашей бригаде темная?.. — неуверенно спрашивает Текля.

— Это как?

— Ну, темная, неграмотная... Вы ее на смех? Или как?

Станный вопрос, странные слова! Непонятно, что хочет сказать эта крупная девка, куда клонит. Но лицо ее вытянулось, потускнели глаза, и Ольга начинает ее жалеть.

— Как это — на смех? Ты не думай, — забыв о своем хвастовстве, говорит она. — Возьми, если хочешь, меня... — На этом она обрывает свое признание. Точка, ничего больше. И Ольга дает беседе другое направление. — Была у нас одна дивчина, перевели ее, жалко, в другую

бригаду... Так она... знаешь, как она швидко читала? Страницу в момент! И если кому не хочется или кто не умеет, так она вслух читает... Раз одна бригада — значит, одна семья. Вот как у нас!

Лишнего как будто ничего не сказано. Но Текля оживает, она морщит нос и радостно улыбается.

— Одна семья,— шепчет она.

Ваня обходит танцующих, обходит сидящих вдоль стен. Лучшую связь бригады с колхозной молодежью и со всем колхозом трудно себе представить, вот бы сюда Раису Ботвинко, комсорга! Потоптавшись, он останавливается возле Дуси. С озимыми покончено, теперь Дуся вновь может вернуться к своим телятам. Отчего же она так грустна, отчего печально озирается по сторонам и не танцует?

— Почему ты не танцуешь? — спрашивает он.

Пауза.

— Так ведь и ты не танцуешь...

— Я? Какой же я танцор? Можно сказать — никакой. Хотя в принципе я знаю, как танцуют и вообще...

Вздохом она прерывает его. Впрочем, он как будто все сказал.

— Как хорошо ты говорил о вашей работе!

— Ну? — ободренный ее словами, произносит Ваня.— Как будто я ничего такого интересного не рассказал. Просто информация.

Она продолжает смотреть с прежней грустью, и он добавляет:

— Ты, можешь себе представить, о своих телятах могла бы рассказать куда интересней!

— Ну что ты!

Она явно расстроена, эта милая Дуся. Надо полагать, что во время жатвы плохо следили за ее телятами...

— Давай танцевать,— предлагает он.

И они пускаются в пляс, они сходятся и расходятся, как требует того танец. Потупив глаза, держа его за палец, она кружится вокруг него. В свою очередь он, когда надо, кружится вокруг нее и молодежки притопывает каблуками. Танцуя, он с удовольствием оглядывает других. С вулькинской дивчиной азартно пляшет Микола Гречко, на весь зал сияет его золотой зуб. Тимофей Яромчик подхватил дородную молодку, ноги его так и мелькают. А Ольга? Она не сидит в сторонке, не бесится от злости и глупой ревности. Она тоже нашла партнера, пламя ее платья раздулось — сейчас кажется, что и кавалер ее пылает вместе с нею. Вот она, общая работа, общий отдых!.. Об этом, говоря по совести, не мешая подробно написать Софье Павловне и Раисе Ботвинко, пусть и другие бригады последуют примеру молодежи. Составила же Станция циркуляр на основании исаченковского опыта, разослала его всем бригадам, и теперь машинисты производят все процессы экскавации без задержек — это стало общим правилом, законом... Так разве связь с колхозниками и колхозом, о которой так горячо говорила Софья Павловна Яцукевич, менее важна? Нисколько!

Танец следует за танцем. Не забыта и родная лявониha. Зубелик, оказывается, и ее знает. Тут Ваня ненадолго смущается — он весьма приблизительно представляет себе, как танцуют лявониxу. Но наблюдательность и помощь Дуси выручают его. Она одобрительно улыбается, это, как известно, поднимает настроение, бодрит.

На самом интересном месте музыка обрывается. Танцующие не сразу это замечают, они продолжают кружиться и останавливаются, лишь когда Федор Зубелик прячет аккордеон в футляр.

Как, уже?

Ваня оставляет Дусю и направляется к Зубелику.

— Ты что? — спрашивает он.— Ведь мы почти не танцевали, только начали...

Только начали? Зубелик отодвигает рукав и ногтем стучит по циферблату. Через два часа третья смена приступает к работе, а до этого надо еще переодеться да и малость отдохнуть. К тому же у Зубелика просьба-бишка, он еще перед началом собрания хотел поговорить о ней с бригадиром.

— Мне срочно нужно на день смотаться в район. Я договорился с моими машинистами, работа, можешь не беспокоиться, не пострадает.

Ваня задумывается. Неожиданно он краснеет, руки его дрожат, озноб пробегает по спине. Ясно! Зубелик едет в бригаду, где работает Лиза, он решил с нею мириться. Он договорится с Кавко и привезет ее в Вульки — привезет как жену...

— В конце концов это ваше частное дело,— произносит Ваня.

— Что такое?

Но Ваню заело, он не отвечает на вопрос.

— Я думаю,— замечает он, стараясь, чтобы голос его не дрожал,— я думаю, что, прежде чем договориться со своими сменщиками, тебе следовало поговорить с бригадиром.

Зубелик сразу соглашается и этим выбивает почву из-под Ваниных ног.

— Верно, говорит он.— Я, признаться, думал, что это такой пустяк...

— Хороший пустяк! — ворчит бригадир.— Нет, совсем не пустяк! Надо всегда считаться не только с собой, но и с другим, бережно подходить к товарищу... Вот как, можешь себе представить, я это дело понимаю!

Тут он замечает, что уж очень распространился, свернул в сторону. Пора остановиться.

— Ладно,— говорит он.— Только учти: если ты не вернешься в срок, я вынужден буду принять меры.

— Мне больше не потребуется,— отвечает Зубелик.— Автобусом туда, автобусом обратно.

Последнее слово остается за бригадиром. Он растет, и в житейских горестях крепнет его характер.

— А это твое частное дело,— замечает он.— Частное дело, и никого не касается.

Глава четырнадцатая

Пора забыть девушку, в злосчастный день сказавшую «нет». И Ваня забыл ее, он дал себе слово не думать о ней, он глубоко похоронил свои чувства — так по крайней мере казалось ему. Стоило, однако, Зубелику заговорить о поездке в район, как волнение, страх, тревожное предчувствие вновь охватили его.

Прошел установленный срок, и Зубелик вернулся один. Что из этого следует? Ничего, ровным счетом. Он мог в принципе договориться с нею и Кавко — договориться за его, бригадира, спиной...

Но вот через несколько часов после приезда Зубелика по деревне проносится странный слух... Кто первый подхватывает его? Конечно же, Ольга Яромчик! Она врывается в хату, где квартирует бригадир, и дышит так, будто без остановки пробежала километр.

— Ты знаешь новость?

И тотчас же, так как Исаченко не успевает ответить:

— Ты слышал насчет твоего Зубелика?

Это уж слишком!

— Не слышал и слышать не желаю, чужие дела меня не касаются,— с возможным спокойствием говорит Ваня.

— Они будут венчаться в церкви!

— Послушай, Яромчик, я, кажется, заявил...

— А дивчина — ничего, видная, рослая, — мелет Ольга. — Ростом, если интересуешься, она чуть выше меня.

Чепуха и враки! Ваня ехидно спрашивает:

— Кто это выше тебя?

— Хуторская.

— Здравствуйте! При чем тут хутор?

Так постепенно выясняется история, к которой Ваня не имеет прямого отношения. Во-первых, Зубелик сам по себе, а он, Исаченко, сам по себе. Во-вторых, Ольга Яромчик недорого возьмет соврать. Но с каждым часом весть все больше распространяется, она заставляет Ваню задуматься. То есть как это венчаться в церкви? Тут явная путаница, речь, конечно, идет о записи. Не будет же член молодежной бригады, двадцатипятилетний комсомолец, машинист, венчаться в церкви!

Чтобы покончить со сплетней, бригадир направляется к экскаватору, на котором работает Зубелик. Вид у Вани бодрый, на душе легко. Приятно лишний раз убедиться в том, что слово у человека не расходится с делом. Федор заявил, что едет в районный центр, только в районный центр, и он, как оказалось, действительно поехал туда, никуда больше...

— Привет, привет, — говорит бригадир и крепко, долго жмет и трясет руку машиниста. — Тебя, если не ошибаюсь, можно поздравить?

— Да, понимаешь, решил обзавестись семейным уютом, хватит мне холостяковаты!

— Что правильно, то правильно, ничего не скажешь! — И Ваня продолжает пожимать и трясти руку машиниста.

Они стоят рядом, кричат друг другу на ухо — экскаватор воеет, грохочет; лязгают цепи. Зубелик рассказывает о станционном шофере.

— Это прохвост и сукин сын, — надывается он и краснеет от злобы и напряжения. — Ты знаешь, сколько он у меня попросил за машину? Пятьсот рублей!

— За какую машину?

Зубелик делает передышку — авось экскаватор умолкнет! Нет, его помощник продолжает работать.

— За грузовую! — кричит Зубелик.

В воскресенье ему понадобится машина на несколько часов. Шоферу нетрудно это устроить, надо лишь попросить Кавко, сказать ему, что обещал съездить к своякам... За это-то пустяковое одолжение шофер запросил пятьсот рублей.

— Пятьсот болячек ему! — заканчивает свой рассказ Зубелик. — В другом месте и с чужим парнем я договорился за полтора и станционного шофера оставил с носом.

Странная история, сомнительная махинация. До поры до времени Исаченко оставляет ее в стороне.

— А зачем тебе грузовик? — спрашивает он.

— Венчаться. Ясно?

Нет, не совсем. Экскаватор ревет, захлебывается, не так-то легко разобрать каждое слово.

— Расписаться? — переспрашивает Ваня. — Так ведь загс в Вульках.

— Нет, мне в Минковичи, в церковь!

Брови Зубелика нахмурены, лицо покраснело, жилы на шее набухли. От напряжения? Или он недоволен расспросами? Немного погодя, желая покончить с неприятным объяснением, он вновь спрашивает:

— Ясно?

Да, сейчас ясно. Но ведь это не только чепуха. — это черт-те что! Какое имеет право комсомолец венчаться?

— Вот как? Право?

— Может, я не так выразился! — кричит в ответ Ваня. Он тоже покраснел, жилы его надулись. — Я имею в виду моральное право. Ведь это

же наглядная агитация. Один комсомолец будет венчаться, другой — детей крестить, третий истребует — хорони меня с попом! И на каком фоне? На фоне деревни, где паны и осадники мучили белорусский народ, лущевали его и все такое. А народ? Народ — слышал ты, кажется? — не сгибался и сгибаться не хотел!

— Пожалуйста, не агитируй, я сам за себя отвечаю!

Опять неверно. Как это — сам за себя? Комсомольская организация отвечает, бригада отвечает! Не так трудно представить, какие здесь начнутся разговорчики. Вот так, скажут, мелиораторы! Им пример подавать, а они — пожалуйста!

— Я не примеры показывать приехал! И вообще ты меня не учи!

После этих слов Зубелик свистит своему помощнику и заменяет его на экскаваторе.

Конец беседы, они ни до чего не договорились. Быть того не может!

Человек озлобился и порет ерунду, его, пока не поздно, следует остановить. И, малость остыв, опомнившись, Ваня дает Миколу Гречко комсомольское поручение — побеседовать с Зубеликом.

— Я, можешь себе представить, погорячился, — говорит Ваня. — Ты, конечно, подойдешь к делу более выдержанно.

— Добре, — соглашается Микола и, не откладывая, отправляется к Зубелику, приступает к делу.

— Она — что? Не поддается перевоспитанию? — с места в карьер спрашивает он Зубелика.

— Кто?

— Так ты — раз такое дело — плюнь на нее с высокого дерева! Подумай, цаца! Небось она сама за тобой побежит!

Через минуту они начинают понимать друг друга. Оба горячатся, и скоро беседа принимает острый характер.

— Ах, так! — кричит один, золотой зуб блестит угрожающе. — Ты слышал доклад председателя колхоза? Для чего, скажи, они боролись и мучились?! А про защитников Брестской крепости, про краснодонцев ты слышал? Выходит, они свои силы отдали и жизнь положили, чтобы ты по церквам шлялся и свадьбу устраивал?

— Что вы ко мне пристали? — кричит другой. — Завидки берут, что не вам дают?

— У-ух, сказал бы я тебе слово!

— А ну, скажи!

Вместо «слова» Гречко поворачивается к нему спиной. И уже, отойдя шагов на сто, плюет. Легче лишнюю полсотню кубометров земли выбросить, чем справиться с таким поручением!

Вот как оборачивается дело: урезонить Зубелика своими силами не удается. И, несмотря на горячее время, несмотря на то, что август не за горами (а ведь к концу августа бригада обязалась закончить работу в Вульках), Ваня Исаченко едет в райцентр. Его долг — предупредить Раису о предстоящем безобразии. Нетрудно вообразить, какой шум она поднимет, — дай ей только повод. Пусть, пусть! В конце концов тут, если угодно, и часть ее вины. Не может же он, Исаченко, разорваться, ему хватает работы по бригаде, он несет ответственность за план, он держит переходящее красное знамя и никому пока что не собирается его отдать. А Раиса Ботвинко, комсорг? Почему она раз в столетие бывает в единственной на Станции молодежной бригаде? Вот и получилась история...

Так, трясась в автобусе, размышляет Ваня Исаченко. Добрую часть вины он готов свалить на комсорга... Все же настроение у него весьма неважное, на сердце камень. Ваня здороваётся с Раисой и неожиданно для

себя начинает ее информировать совсем о другом... Комсоргу ведь нужно в первую очередь знать о помощи, которую молодежная бригада оказала Вулькинскому колхозу...

Как легко говорить о достижении! И как хорошо слушает Раиса Ботвинко! Она отодвинула чертежную доску, положила рейсфедер, сняла очки и, сцепив пальцы, поощрительно смотрит на Исаченко. Это поощрение ободряет его, он становится красноречивее и чаще, чем следует, пускает в ход свое любимое «можешь себе представить».

— Вот видишь,— выслушав его, ни разу не перебив, говорит Раиса Ботвинко.— Стоит только захотеть!

Отличные слова! Они напоминают изречение Гёте, которое не раз приводила Лиза: «Достижимы все стремления». К сожалению, они напоминают и о другом...

— Да...— Голос Вани тускнеет.— Ты моего машиниста Федора Зубелика знаешь?

Нет, Раиса Ботвинко посетила молодежную бригаду еще до того, как Зубелик начал работать, лично она его не знает.

— Видишь ли... Я не могу его хаять, работник он хороший, и вообще... Но он, понимаешь, хочет жениться на одной дивчине... то есть совершить религиозный обряд, венчаться, одним словом, в церкви... И сколько я ни говорил — и я, и товарищи,— ничего не помогает...

Ботвинко молчит. Сейчас она обрушит на Ваню гром и молнию. Нельзя, скажет она, отделять экскаватор от политической работы. Он, Исаченко, не только выполняет норму и держит красное знамя,— он возглавляет молодежный коллектив и отвечает за моральный облик каждого члена коллектива!

Но буря проходит стороной и обрушивается на одного Зубелика.

— Венчаться? — резко, громко спрашивает Ботвинко.— Я устрою ему жизнь с черной каемкой! Можешь не сомневаться, он забудет дорогу в церковь.

— Так разве я ему не объяснял? — в свою очередь говорит Ваня. Спасибо, ураган прошел мимо него, не задел.— Ты же, объясняю, комсомолец, тебе же двадцать пять лет — не маленький, ты же должен понимать обстановку в деревне, где не так еще давно пановали помещики...

Лишние слова — Раиса Ботвинко его не слушает.

— Погоди. Ты как сюда приехал?

— Частично на своем одиннадцатом номере, частично автобусом.

— Едем в Вульки! Минутку! Я только главному инженеру скажу! — И вновь — торжествующе: — Я вправлю ему мозги! Я устрою ему венчанье!

Они едут на автобусе и «на одиннадцатом номере» — гуськом, сняв туфли, идут по обочине проселочной дороги: впереди Раиса Ботвинко, комсорг, позади Исаченко. Клонится к горизонту, врзается в землю большое сияющее солнце — к погоде. Пахнет пылью, цветущей гречихой. Чем-то сиротливым, осенним веет от щетины золотистых жнивий. Зато хороши, веселы овсы — темно-зеленые, сплошным ковром.

— Как там наши ребята в других бригадах? — спрашивает Ваня.

Н а ш и х р е б я т в других бригадах наберется человек восемь, не меньше. Но Ване везет.

— Ничего,— не оглядываясь, продолжая шагать, отвечает Раиса.— Была у меня недавно Дидюк, приезжала по делу.

— Вот как,— простуженным голосом произносит Ваня и продолжает еще более хрипло: — Эта... что у нас работала? — Немного опомнившись, он спрашивает: — А как она в о о б щ е?

— Ну, ты, кажется, знаешь ее,— говорит Раиса; по ее голосу не понять, одобряет она Лизу или, наоборот, собирается порицать.—

Общественница она не шибко какая, но над собой по-прежнему работает. В общем, ничего.

Опять они молчат. Солнце спешит, и они начинают спешить, уско-ряют шаг. Впереди, если верить Ванينو-му глазомеру, не меньше пяти километров.

Глава пятнадцатая

Хорошо проснуться в незнакомом доме и несколько секунд, ничего не понимая, слушать ворчливые призывы петуха, стоны наседки, писк цыплят. Ходики с розами на циферблате отсчитывают время. «Где я, что со мной? Ах да, вчера поздно вечером я пришла в Вульки, а до этого мчалась в автобусе...»

Раиса Ботвинко отлично выспалась, она чувствует себя подбодревшей, ей легко и радостно. Все бодрит — и это чуть прохладное утро, и неподвижная зелень за открытым окном, и показатели молодежной бригады. Исаченко и его ребята учли все критические указания, и вот вывод: не в ущерб экскавации найдена (да и какая еще!) форма связи с колхозниками...

Позавтракав, Раиса отправляется на объект. Сопровождающий ей не нужен, не раз вычерчивала она на кальке вулканский объект.

— Лишняя пара резиновых сапог у тебя найдется? — спрашивает она бригадира. — Вот и отлично.

Она идет по кремнистой дороге. Песок и кремь, песок и кремь. Распластавшись, несется аист, он едва шевелит большими своими крыльями. Вьется жаворонок, вьется, поет нехитрую песню, и Раисе кажется, что он, этот певец, встретил ее на околице и сопровождает, несется над нею все время. Она останавливается, чтобы нарвать полевые цветы — свежие, отяжелевшие от росы, они по-особому пахнут, — и песня повисает над ее головой. Даже личные невзгоды отлетают, и беда перестает быть бедой. Как, каким образом? Но это сейчас неважно. Все благополучно кончается, отныне ни ей, ни станционному инженеру Кротову не придется скрывать своих чувств, отношений...

Вдали едва видны экскаваторы — Ботвинко скорее узнает их по едва слышным звукам, — и она сворачивает к каналу. Софье Павловне Яцукевич, переезжающей из бригады в бригаду, приятно будет узнать об успехах молодежи, о том, как ребята Исаченко убирали озимые... «А ты откуда знаешь?» — спросит она Раису. «А я там была». При случае (но не при первой встрече, нет, досадная чепуха не должна портить общего впечатления) можно будет рассказать Софье Павловне об одном чуде-машинисте. Этот чудак задумал венчаться, но после соответствующей проработки дело кончилось комсомольской свадьбой...

К концу пути никаких больше сомнений не остается. По приметам Раиса находит экскаватор, на котором работает этот чудак-машинист.

— Эй! — любуясь ловкими движениями статного парня, кричит она; в ее голосе больше задора, чем строгости. — Товарищ дорогой! Твоя фамилия Зубелик?

Верно, она не ошиблась.

— Давай слезай!

— Слезть недолго. А ты кто?

— Слезай, узнаешь.

Они знакомятся, здороваются. Раиса задает несколько анкетных вопросов — где родился, где жил и работал, — ей приятно узнать, что перед нею опытный механизатор. Исаченко, видно, напутал, здесь что-то не то. Настоящему, серьезному парню — не мальчишке, не зеленому юнцу — без сомнения, чужда церковная блажь.

— Еще что-нибудь скажи, — говорит она и смотрит на него дружески, поощрительно.

— Будто все.— И Зубелик улыбается ей в ответ.

— Холост? — Она не ждет ответа и продолжает: — Уж, конечно, имел себе подружку?

— Завожу.

— Небось хороша?

— Ничего.

— А на свадьбу позовешь?

— Можно.

— «Можно, можно», — передразнивает его Раиса. Она настроена игрово, нисколько не сомневается, что Исаченко напутал. Зубелик, возможно, пошутил, а Ваня не понял шутки. — Можно, можно, — продолжает она. — А небось не подумал: «Дай-ка я своих ребят позову, комсоргу дам знать, вместе махнем в загс, а потом повеселимся».

Слова о загсестораживают Зубелика — еще не забыта беседа с Исаченко и Гречко, — игра надоедает ему. Так вот зачем ты приехала в Вульки и завела всю эту музыку!

— Загс — дело второстепенное, — говорит он, не глядя на собеседницу и носком сапога роя рыхлую землю. — Мы в церкви венчаемся!

И, как давеча, когда беседовал с Исаченко, ненужно добавляет:

— Ясно?

«Закрытое комсомольское собрание» — что может быть понятнее этих слов? Оказывается, Ольга Яромчик их не понимает, по ее мнению, она не только может, но и должна присутствовать на собрании.

— Нельзя, — говорит Исаченко. Он возбужден и растерян. С объекта Раиса вернулась в том настроении, в каком она в свое время проработала его, Ваню, — эту проработку он, кажется, никогда не забудет. — Нельзя. И тебя это не касается.

Не касается? Это ее-то, Ольги, не касается?! Ее Тимофей бог знает с какого времени в комсомоле, от нее у него никаких секретов нету, а тут — нате, пожалуйста! — «не касается». Может, она еще сама поступит в комсомол!

— Когда поступишь, тогда и будешь присутствовать.

Ах, вот как! Она что — другим тогда человеком станет? А какие у Исаченко претензии к ней? Пусть он берет табель, пусть смотрит, сколько Тимофей выробляет и сколько она, Ольга, выробляет. «Не касается?!»

Она яро отчитывает его, упрямо борется за свое право и наконец догадывается, что не в Исаченко дело, не он сегодня главный.

Однако вид у Ботвинко недоступный, даже Ольга робеет.

— Я туточки всех знаю, — понизив голос, начинает она. — И сама я с комсомольцем имею связь.

— Как это — имеешь связь? — сухо спрашивает ее Рая.

— Ну, жена.

— Ах, так? Тоже в церкви венчались?

— Сохрани Христос и святая мать!

Постепенно Ольга одолевает свою робость. Какие могут быть секреты, когда она всех решительно знает, и дивчину хуторскую знает и может, если потребуется, дать Зубелику полную характеристику?

И Ботвинко в конце концов соглашается.

— Поскольку ты единственная в бригаде женщина, — говорит она, — оставайся.

Ваня Исаченко по-прежнему растерян. Его тревожит торжественно-официальный вид Раисы — ничего утешительного этот вид не сулит. Напыщенны, торжественны и другие. Никто, конечно, не осмелится назвать бригадира мягкотелым или, того хуже, соглашателем. Зубелик проштрафился, чуть было не ошибся. Ему следует сделать внушение,

общими усилиями вернуть на правильный путь, и на этом, как говорится, поставить точку, перейти к текущим делам — их ведь немало.

Так размышляет Ваня, он решительно отбрасывает все личное, ту боль, которую, не подозревая, причинил ему Зубелик. Вот живет среди нас человек. Изо дня в день мы встречаемся с ним. Сегодня мы заметили одну его черту, завтра — другую, память накопила уйму мелочей, множество впечатлений. Наступает момент, когда все эти впечатления необходимо собрать воедино. Что перевесит — хорошее или плохое? Будем же честны, подведем итог...

Между тем начинает собираться народ. Регистрацию ведет Исаченко. Он смотрит на каждого входящего и отчетливо, крупно записывает фамилии. Раиса Ботвинко сидит рядом. Точно не доверяя записям, она в свою очередь спрашивает:

— Фамилия? Имя-отчество?

«Зачем это?..»

Входит Зубелик. Прищурившись, холодно глянув на него, Раиса и ему задает те же вопросы:

— Фамилия? Имя-отчество?

«Ах, Зубелик, Зубелик, упрямый человек, что ты натворил? — думает Исаченко. — Ты ведь старше всех в бригаде, тебе, не забудь, двадцать пять лет. Вот ты и действуй по-взрослому. Сразу, с первых слов, признай свою вину, скажи, что ошибся, и дело с концом, мы тихо-мирно разойдемся, есть у нас, сам знаешь, дела поважней. Почему же ты сидишь с таким видом, будто находишься среди врагов? Опомнись, это мы-то твои враги? Немедленно проси слова, развеи туман, и тогда сразу исчезнет ненужная в среде товарищей строгость, мы вновь будем друзьями, — да ведь мы и есть друзья, члены Коммунистического Союза Молодежи, члены одной бригады!»

Но Зубелик продолжает тянуть свою линию, он неприятно молчит, неприятно озирается по сторонам, неприятно, подняв плечи и скривив губы, слушает комсорга, слушает так, будто речь идет о постороннем человеке. Ботвинко рассказывает о «поступившем сигнале», о беседе с Зубеликом. Тон ее сух, официален — это верно, но факты остаются фактами, она не преувеличивает, не передергивает. Она не делает никакого вывода и, закончив, спрашивает: «Кто хочет высказаться?»

Слово берет Микола Гречко.

— Бригада, товарищи, это и есть семья, никакой нет разницы. Считайте, что все мы братья, — вслух размышляет Микола, и Ваня готов хлопать каждому его слову, он незаметно кивает головой. Умеет-таки парень выражать общую мысль!

— Какая у кого болячка, какая радость — все одинаково делим, — продолжает Гречко. — Скажем, у нашего Вани мама заболела. Сразу, как письмо получит, он ко мне или там к другому товарищу. «Ты как считаешь, поправится она?» Я говорю: «А как же, ты чего робеешь?» То самое Добродий, то самое Яромчик, Полипчук и все наши. Пускай ребята скажут, брехать я не буду.

И он распространяется, разрабатывает тему о братстве и дружбе до тех пор, пока Ботвинко его не останавливает:

— К чему это ты?

— Сейчас, сейчас, — говорит Гречко, он боится, что его сбьют. — О каждом ты меня спроси, товарищ Ботвинко, и о каждом я тебе скажу: и какой он человек, и какие у него думки, и что у него на душе. А вот о Зубелике ничего не могу сказать... Почему такое? И живет он с нами, и работаем вместе, и говорим будто, и случается нам погулять и выпить, извиняюсь, трошки, а сказать ничего не могу. Это как же? А ей-же-богу, не знаю. Может, кто объяснит, а я не берусь — не знаю. И мне это, признаться, удивительно. Будто отделился он от всех нас или еще чего...

Ладно, думаю, может, у меня характер противоположный, не подошел, значит, я к нему характером. А другие как? Пускай скажут. Только, сдастся мне, что и с другими то самое.

Он разводит руками и молча садится; он в недоумении. Молчат и другие. Молчат, задумались. Простая мысль, но до чего она верна! Микола будто всех опередил, сказал то, что думают все члены бригады, но вряд ли сумеют выразить словами. Что известно о Зубелике? Есть ли у него родня? Были ли друзья раньше? Скажем, в энтээсах он ведь не один год служил? Никто не спрашивал, сам он не рассказывал.

Бригада молчит. Что прибавить к тому, что сказал Микола Гречко? Но вот один человек прерывает молчание... Пунцовая, едва сдерживаясь, Ольга Яромчик поднимает руку. И Рая Ботвинко не только дает ей слово, она еще и подбадривает ее:

— Скажи, скажи все, как полагается.

— Уж я скажу,— высоко, крикливо отвечает Яромчик.

И тотчас же она приступает к делу. Но — боже праведный! — что она говорит! Голос ее сварлив и резок, она подбоченилась и обращается к одному лишь Зубелику.

— А чем плохая дивчина Лиза? — спрашивает она в упор. Кулаки ее крепко втиснуты в бока, лицо сурово.— Чем, чем она плоха? Ты нам прямо скажи, зачем было такую дивчину соромить?

Вызов брошен. И парни опускают головы. На глазах всей бригады произошла некрасивая история. А бригада? Она смолчала, будто ничего не случилось, ничего особенного. Одна была дивчина, и ту не сумели защитить... Почему?

Парни молчат. Лишь Ботвинко обращается к Ольге с вопросом:

— Это какая Лиза?

— Лиза Дидюк, вот какая! Каждый скажет, какой она человек, и я скажу — золотой человек. А Зубелик ее осоромил, бежала от нас дивчина!

Так вот оно что! Вот из-за кого Дидюк оставила молодежную бригаду! И Ботвинко кивает головой: продолжай, продолжай, товарищ!

Что ж, можно продолжать. И с уверенностью, что отныне ей одной дано восстановить справедливость на земле, Ольга говорит:

— Я и о хуторской ничего не скажу. Дивчина — как полагается быть, и собой статна и лицом подходяща. Иду раз в кино — что-то мой Тимофей не захотел,— и хуторская идет. Подходим к кассе, она меня разглядывает, я, то самое, ее, она рубль сует в окошечко, и я сую, ей квиток, и мне квиток...

Она в ударе и готова рассказать о том, как они вошли в клуб, как сели, какую крутили картину... Но на этом месте Ольгу останавливает Тимофей Яромчик, ее муж.

— Хватит,— говорит он так властно, что Ольга тотчас же вытирает губы и садится.— До баб мы не касаемся, а касаемся до одного нашего товарища. И если говорить правду...— Тут Яромчик обращается к мужской части собрания.— Если говорить правду, то пусть моя Ольга скажет — чи она подбивала меня под венец идти, чи не подбивала?

— Я подбивала? — с места, но уже без особой горячности спрашивает Ольга.— А может, это моя маты подбивала?

— Одним словом, твоя семья,— на мгновение уступает Тимофей.— Ну и, конечно, ты в том числе. А я? Какую я позицию занял? — продолжает он; его история имеет еще и воспитательное значение.— «Если, говорю, в церковь, то — до свиданьца, мне этого дурмана не треба» — и прямо направляюсь к двери. Ну, тут моя Ольга в слезы, хочет меня уговорить, а я — куда там! — я уже в шапке.

— Ничего я тебя не уговаривала, я маточку уговаривала.

— А я уже в шапке,— твердит свое Тимофей.

Маленькая передышка, сцена из семейной жизни. Собрание возвращается к основному вопросу. Стократ прав Микола Гречко, в своих выступлениях все приводят его слова. Три с лишним месяца живет среди нас человек, а мы его не знаем, насколько не знаем. Хорошо это, товарищи, как по-вашему? Плохо, разумеется, что и говорить, дальше так нельзя.

Вопрос, в общем, ясен. Пора подвести итог. Раиса Ботвинко дает слово Федору Зубелику, и головы собравшихся поворачиваются в его сторону. Смотрит на него и Исаченко. «Да, проработали тебя, товарищ, как следует, и за дело. Тебе остается полностью признать свою вину, отказаться от дикой мысли венчаться в церкви и отделаться выговором. Судя по единодушию, без выговора, да еще и с занесением в личное дело, тебе не обойтись. Будем справедливы: эту кару ты заслужил. Нечего, следовательно, тебе дуться. Не враги сидят вокруг тебя,— свои, друзья, товарищи по работе. Слышал ли ты выступление Тимофея Яромчика? Вот пример для тебя! В решительный момент Тимофей надел шапку и сказал: «Нет!» И что же? В результате твердой политики и принципиальной выдержки он получил свою Ольгу и без церковного благословения».

Бригадир пристально смотрит на Зубелика, он как бы подбирает слова для его прямого и честного признания. А Зубелик? Одурил он, что ли? Или в самом деле никто его не знал, чужой парень жил в нашем коллективе? Зубелик встает и говорит:

— Вы как хотите, а я буду венчаться!

Все? Нет, он добавляет еще и совсем нелепое, глупое:

— И ничего вы мне не сделаете!

Так вопрос как бы решается сам собой. И комсорг Ботвинко предлагает исключить Зубелика из комсомола...

Исключить? Живое воображение Исаченко ставит себя на место Зубелика. Ему нет места в рядах Коммунистического Союза Молодежи, он выброшен... Не его, значит, братья-товарищи бились на фронтах, не его близкие друзья партизанили, таранили самолеты, не его Зоя отдала жизнь за право миллионов парней и девушек жить, дышать, строить города, осваивать целину, осушать болото, учиться, дерзать? Нет, это невозможно!

— Товарищи,— говорит Ваня, голос его дрожит.— Вы не думайте, что я оправдываю Зубелика. Нет, его следует наказать. Но, товарищи, это ведь ужасно — выгнать товарища из комсомола! Зубелик, понятно, должен осознать, а мы в свою очередь...

— Короче: что ты предлагаешь? — прервав его, спрашивает Раиса.

— Я предлагаю — выговор с предупреждением, а он, конечно, должен осознать и отказаться...

Раиса Ботвинко не успевает ему ответить, слово самочинно берет Добродий.

— Выговор? — спрашивает Добродий.— А может, слушай-ка, бригадир, может, его по головке погладить? — И он плавно поводит ладонью — показывает, каким манером его следует погладить.— А может, ему премировку выдать? Слышал ты его ответ? «Вы как хотите!» Вот мы и хотим его из комсомола долой!

Больше он ничего не говорит, ему дружно хлопают. На этот раз никто не собирается поддержать бригадира. Имеются два предложения. И руки дружно поднимаются за предложение комсорга, даже Ольга голосует.

Ольга Яромчик? Да. Именно она. Голос ее можно не считать, но это не имеет значения. Она присутствовала, она деятельный член бригады, она, как правильно сказал Микола Гречко, член семьи и она хочет, обязана выразить свое мнение!

Глава шестнадцатая

Наступает наконец воскресенье — грустный день, хоть бы его не было!

В пятницу, переночевав после собрания, уехала Рая Ботвинко, комсорг. Но бригада, как и во время собрания, все еще возбуждена, у экскаваторов только и говорят, что о Зубелике.

А Зубелик, виновник происшествия? Зубелик по-прежнему ершится, он придерживается глупой своей тактики и сверху вниз, совсем как победитель, смотрит на товарищей. Хорош, хорош победитель!

Бывший комсомолец... Райком, конечно, утвердит решение общего собрания. Но Зубелик остается членом бригады, машинистом, он был и остается в подчинении Ивана Исаченко, и бригадир решает с ним поговорить. По делу? Да, разговор будет деловой, но прежде всего не мешает вернуться к наболевшему вопросу.

— Затеял ты волюнку, — так начинает Ваня и качает головой. — Зря ты эту музыку затеял!

— Я затеял? — зло, задиристо спрашивает Зубелик.

— Пойми и согласись, что ты вел себя нехорошо, — после недолгого молчания продолжает Ваня.

Тут Зубелик закипает и обрушивается на бригадира.

— А ты? Как ты себя ведешь? Твое дело — следить за работой, и, если что не так, спрашивай с меня! Думаешь, я не понимаю, зачем ты поехал на Станцию?

— Зачем я поехал на Станцию?

— С доносом на меня ты поехал, вот зачем!

— Я?

— Ты!

Надо обладать характером Исаченко, чтобы не плюнуть, не послать машиниста куда подальше. У Вани чешутся руки, но он сдерживает себя. Несколько минут они молчат.

— Ты не дорожишь комсомолом, — говорит наконец Исаченко.

— А он мною дорожит? — запальчиво спрашивает Зубелик.

Чего больше в его словах — горечи, боли, отчаяния?

— А ты что хотел? — вопросом на вопрос отвечает Ваня. — Пойми, ты имеешь дело с Союзом молодежи! Что же ты хочешь, чтобы тебя, как Добродий сказал, погладили по головке? Ведь то, что ты собираешься делать... Но я уверен, что ты одумаешься...

Зубелик буреет от злости, в сердцах он бросает ломик, который до этого держал в руках.

— Собирай ребят! — хрипло кричит он. — Дуй за комсоргом — пускай возвращается! Созывай общее собрание, я каяться буду!

После этих слов он начинает дико хохотать, он точно лает, захлебывается, клохчет.

Что остается Исаченко? Без «будь здоров», без «пока» он поворачивается спиной к Зубелику и уходит. Все имеет свой предел, без конца возиться с бывшим комсомольцем он не намерен!

Бригада встревожена, возбуждена — не каждый день приходится брать за шиворот товарища и выбрасывать его из своей среды. Да и сам бывший комсомолец, прямо скажем, не парит в небесах — он только хорохорится. Но есть человек, который торжествует, радость переполняет его, — Ольга Яромчик. «Ты о б я з а н а присутствовать на закрытом комсомольском собрании, и мы тебя очень просим остаться», — таковы (в этом она сейчас уверена) были слова комсорга Станции, и, разумеется, Ольга вынуждена была остаться. Парни молчали, даже

Тимофей молчал, и тогда она выступила и дала Зубелику полную характеристику. «А чем плоха Лиза?—спросила она.— А хуторская чем плоха? А сам Зубелик? Никто не говорит, он парень хоть куда, орел-парень! Только и орлу не положено соромить дивчину, все должно быть по-хорошему, и если ты себе лишнее позволишь, то пеняй на себя»,— вот примерно все, что сказала Ольга Яромчик. Кто против Зубелика, против всего того, что он натворил? Она, Оля, против! Смотрите, она подняла руку и голосует наравне с другими. Семейная жизнь — это, дорогие, есть семейная жизнь, а разве у нее, у Ольги, все шло гладко? Извините! Но время летит, плохое забывается, остается одно хорошее, вот что, дорогие товарищи!

Ольга работает, выравнивает канал, владеть лопатой она, слава богу, умеет, гордость и радость переполняют ее. Она поднимает голову и видит своего Тимофея: он сидит на экскаваторе чуть откинувшись — молодец из молодцов, уж она-то его знает! Разве с нею ему живется не лучше, чем без нее? Конечно же, лучше! А она? Разве она проиграла от замужества? Нет, конечно!

Этими своими мыслями Ольге хочется поделиться с Тимофеем — с кем еще ей делиться? Вот так, с лопатой на плече, подойти к экскаватору, окликнуть его и поговорить по душам. Но Ольга знает Тимофея, его капризы. Вдруг он осерчает?.. Почему, с какой радости? Так просто, возьмет и осерчает, как тогда, на комсомольском собрании. Брякнул самое неподходящее, так что она совсем обомлела,— хорошо, народ не обратил внимания...

Нет, говорить с Тимофеем о чувствительных вещах, да еще во время работы, не приходится. И Ольга вновь берется за лопату.

Она горда и счастлива.

Срок окончания работы приближается, а ведь молодежная бригада должна закончить работу досрочно! Скоро — тоже досрочно — придут канавокопатели, перпендикулярно каналу проложат каналы — так зафиксировано в договоре с Вулькинским колхозом.

— А вы не затянете, не нарушите срок? — в свое время спросил Борисовский.

— Постараемся,— только и ответил Исаченко.

Он ни слова не сказал о том, что бригада держит и не собирается кому-либо отдать переходящее красное знамя. Выполнить в срок? Это, товарищ председатель, небольшая заслуга. Существует график, ведется учет, рапортчики отправляют на Станцию, там в свою очередь подсчитывают... Можете не сомневаться: числа двадцатого августа придут канавокопатели со своими машинами. Когда же должна молодежная бригада вынуть последний кубометр земли и, получив точку, отбыть на новый объект? Уж во всяком случае не позже того же двадцатого числа — свою работу комсомольцы всегда кончают досрочно.

Но вот злосчастное зубеликовское дело, будь оно трижды неладно... Не отразится ли на работе тревога и возбуждение ребят?

Исаченко переходит от экскаватора к экскаватору, на объекте его можно встретить и днем и ночью. Он пристально следит за учетом, целый ряд выкладок он производит в уме, при этом губы его шевелятся. Хватит, хватит заниматься пустяковиной, в решительные дни следует думать о другом!

Так твердит он всем трем сменам и каждому машинисту в отдельности. Он любит работу и одновременно морщит лоб. Но цифры убедительны, рапортчики красноречивы — и морщины исчезают. Он отходит на двести—триста шагов, и канал превращается в жирную черту, такую же четкую и ровную, как и на кальке, только живую. Да, она живая, и она поет — по каналу катится вода. А с какой силой запоют,

забурлят ручьи, когда канавы разлинуют болото и соединятся с каналом! Представим себе, друзья-товарищи, как спустя два-три года на этой трясице «появятся, зашумят нивы, сенокосы»... И вот уже Ваня стоит «на ровном поле», где «хлеба бушуют силой неумейной», он слышит сытный запах цветущей ржи; медом пахнет гречиха, тмином, влажной сладостью, прохладой — травы, чем-то очень резким, терпким, сырым — конопля; все запахи — и самые ранние, весенние, и летние, и осенние — слились воедино. Неслышно — так, что от неожиданности он даже вздрагивает, — к нему подходит Добродий.

— Хочется мне с тобой посоветоваться, — говорит Добродий. Он задумчив, глаза его косят.

Посоветоваться? Исаченко недоволен, его отвлекли от заманчивой мечты. Судя по всему, Добродий заговорит все о том же неприятном, надоевшем.

— Ну, давай, только поскорей, — бросает бригадир.

Добродий смотрит рассеянно, он смотрит и думает.

— Нет, — говорит он наконец. — Уж очень дело важнецкое, нехай в другой раз.

Что ж, в другой так в другой. Только лучше загодя решить, когда советоваться с бригадиром, и не мешать ему без всякой надобности.

Но мечты не сразу рассеиваются, не так-то легко с ними расстаться. Через несколько часов Исаченко ловит Борисовского и задерживает его «на одну минуту».

— Я хотел бы вам кое-что показать, — говорит Ваня.

— Показать?

— У вас свободный час найдется? Я хотел бы с вами съездить на канал.

Свободного времени у председателя колхоза никогда не бывает. Но раз такое дело...

Они едут на знакомой уже нам линейке, потом, часто увязая, идут по болоту и наконец останавливаются у канала. Они стоят молча, каждый думает о своем. Ручейками толщиной в канат и мельче, тоньше — в бечеву — вода бежит к каналу, бежит и поет. В канале вода шумно лопочет, несетя в пенистом уборе.

— Растем, товаришок, расширяемся, — говорит Борисовский. — И знаешь, что я заметил? Угодья наши растут, и мы, народ, помаленьку растем. Все кругом меняется, и мы чуток меняемся. Понял ты мою думку?

А как же, конечно! И не только ту, которую товарищ Борисовский выразил словами.

— Не все, однако, растут, — вздохнув, говорит Ваня, морщины бороздят его лоб.

— Да, да, — спохватившись, замечает Борисовский, он тоже морщит лоб: знает о чем речь. — Он и кто — комсомолец?

— Нет, что вы! — поспешно отвечает Ваня. И только погода, после большой паузы: — Исключили мы его...

— Да-а, — тянет Борисовский. — Можно сказать, спецосушитель, а сам в трясину шлепнулся.

— Тесть его будто в колхозе, — говорит бригадир.

— Так ведь в колхозе не все одинаковые, — возражает председатель. — Поговори с Ковалевичем, и он тебе запоет — петь он мастер: «Я, мол, такой, я этакий, и с первого дня я, и то и се...» А поинтересуйся — где его старания? Тут-то, товаришок, ты полную картину получишь. Сходи, к примеру, к нему на хутор, посмотри его сад — залюбуешься. Садовод, прямо тебе скажу, Ковалевич первосортный, дело свое знает. Вот мы его нашим колхозным садоводом определили — давай, говорим, товарищ дорогой, старайся. И что ты думаешь? Похо-

зайничал он с год, и мы его сняли. А почему? А потому — работал он как из-под палки. В его садочке, на хуторе то есть, полный порядок, а на наш, колхозный, и гусеница напала, и тля, и бабочки всякие. Пришлось его потурить, мало того — взыскание на него наложили и по трудовням крепко ударили. И в поле, скажу тебе, Ковалевич один только минимум отбывает, и то кое-как. Отбудет — и в свою нору бежит. Сычом его у нас прозвали. И верно — сыч. Обособился, от всех отгородился, дочь на работу не пускает по той, значит, причине, что она в колхозе не числится. А почему не числится? На своей усадьбе заставляет ее работать — вот почему. Так что если с конца считать, то Ковалевич у нас первый, — с усмешкой заключает Борисовский.

Вновь они задумываются. Право же, не знаешь, когда ждет тебя огорчение и кто огорчит...

— Небось у вас там на востоке такого не бывает? — спрашивает Борисовский и сам же отвечает: — Погоди, товаришок, погоди, я в минской газете аккурат такую петрушку читал. Под Бобруйском дело приключилось и тоже с комсомольцем. Так это там, на Бобруйщине, где, возможно, отец того комсомольца и сам при Советской власти родился, воспитывался и в церковь пойти не захотел. А у нас? Мы ж, можно сказать, позже начали...

Так говорит Борисовский. Ясно: он утешает молодого друга, он хочет его ободрить.

— Это не оправдание, — поняв старшего товарища, говорит Ваня. — И главное, понимать надо, какая у нас бригада! Это ж на всех ребят тень падает, как вы думаете? Что народ скажет?

— Да-а, да-а...

Наступает воскресенье — грустный день, хоть бы его не было. Ребята сидят дома — каждый в своей хате: кто валяется на койке, будто не спал всю неделю, кто топчется из угла в угол или листает книжку. А день как на грех прекрасен — один из летних дней, их не так уж много осталось.

Валяется на лежанке, не выходит из хаты и Ваня Исаченко. Он успел написать маме Манюсе (но не о печальной истории с Зубеликом, конечно), получилось большое письмо.

И еще одну писульку он сочинил, она начиналась так: «Добрый день, Лиза!..» Что такое? Неужто он стал переписываться с Лизой Дидюк? Нет, не совсем. С некоторых пор он начал ей писать довольно большие письма, рассказывать о своих чувствах и переживаниях, рассказывать о канале, который они вместе начали рыть (он идет к концу, вулькинский канал, Лизе небыл интересно это знать), о товарищах по бригаде... Писульки получались объемистые, Ваня прятал их в конверт, надписывал адрес, потом, основательно подумав, повздыхав, рвал на клочья, бросал в печку. Лиза сказала «нет» и даже не нашла нужным попрощаться — это во-первых. Во-вторых, письма к ней ни в какой мере не передавали настоящих его мыслей, они были то напыщенны, то жалостливы, — а ведь он растет, он изменился, он теперь совсем другой!

Так было и на этот раз. Листки к Лизе полетели в печку, на столе осталось одно письмо — маме.

Солнце подошло к столу, и Ваня перебрался на лежанку.

О чем-то очень важном, сложном следует подумать. Но только он начинает разбираться в своих мыслях, как распахивается дверь и в комнату входит Ольга Яромчик. Ее, видите ли, не хватало!

— Поехали, — говорит она. — На грузовике в церковь поехали! Наш-то орел с хуторской рядом, а сзади, на досках-скамейках, народу — как гороха в стручке. Вырядились, сидят — важные.

— Понятно,— желая отделаться от непрошеной гостьи, произносит Ваня. Потом добавляет: — А какой мне до этого интерес?

Но Ольга хочет поговорить, она не все сказала.

— Конечно, — продолжает она, — наш комсомол дома, и не то что в церковь, он и на хутор не пойдет.

С тех пор, как она присутствовала на собрании, комсомол стал для нее «нашим»...

— Ты можешь пойти, никто тебя не держит.

— Я-а? — Ольга возмущена, даже голос ее меняется. — Как мне венчаться, так строго воспрещается, а как Зубелику — пожалуйста, и чтоб я обязательно пошла, раз весь комсомол отказывается!

Опять «комсомол», «весь комсомол»!

— Ты-то тут при чем?

— А Тимофей на что? Вот я и побежала, как же! Пустите меня, я побегу! — И Ольга едко, залиvisto хохочет.

С трудом удается ее выдворить. Об очень важном и нужном следует подумать. Ваня ворочается на лежанке и время от времени вздыхает — не легко и совсем не просто распутать тугой клубок... Общее собрание исключило Зубелика из комсомола. Федор пошел на сделку со своей совестью, а на собрании вел себя безобразно. Ваня и не думал его оправдать, он только предложил более мягкую кару. Но он остался в единственном числе, и тогда присоединил свой голос к голосу коллектива... Ну, а сейчас? Ольга сказала, что многие поехали в церковь. Еще большее число людей придет на хутор после венчания. И Ваня представляет себе сидящих за столом, среди них нет ни одного зубеликовского товарища — ни товарища, ни просто знакомого... Как чувствует он себя среди чужих? А они, эти люди? Они сразу поймут, что бригада повернулась к Зубелику спиной, что он один. Вот повод для всяких пересудов и толков! Гости (может, и сам священник среди них и все его церковники) — они ведь не догадываются, почему бригада не пришла на свадьбу, они не знают, чем она руководствуется. Они воспользуются этим, чтобы осудить коллектив.

«Хороши дружки-товарищи, ах, хороши», — скажут гости хуторянина, да и сам хуторянин в том числе. Они окружают Зубелика, одурманят его своим о п и у м о м. И советский мелиоратор, бывший комсомолец, окончательно, с головой, погрязнет в болоте, как та нетель Игната Мисюли, о которой, стоя у экскаватора, не так давно рассказал зеленоволосый ветхий старик...

Хорошо ли оставить в беде хоть и бывшего комсомольца, но члена молодежной бригады, еще вчера перевыполнявшего норму?

Ваня вздыхает, он ворочается с боку на бок, час идет за часом. Четырьмя светлыми квадратами — по количеству стекол — солнце подошло к лежанке, в золотых столбах играют, плывут светлые пылинки... Ну, а если посмотреть на все это дело с другой стороны? Он ли, Исаченко, не говорил с Зубеликом? Узнав о его намерении, он тотчас же отправился к нему. Побеседовал с Зубеликом и Микола Гречко. Даже Раиса Ботвинко — уж на что строга, — даже Раиса потолковала с парнем до собрания. Наконец, Зубелику не поздно было признать свою вину и на комсомольском собрании. Но Зубелик заупрямился, он был заносчив, он вел себя недостойно, не по-товарищески, не по-комсомольски. Что ж, сам виноват...

Время идет. Ваня продолжает размышлять. Он рассматривает вопрос и так и этак, но окончательно его решить никак не может, сердце не знает покоя. Вот уж и к циферблату, расцвеченному розами, и к маятнику потянулось солнце, и маятник вдруг сам превратился в осколок солнца. Ваня смотрит на стрелки... Три часа?! Цифра ошеломляет его,

он вскакивает. Хватит валяться, его место не на лежанке, ему вовсе нечего прятаться!

Не глядя по сторонам, он быстро идет по Вулькам, выходит за околицу и, не сбавляя шага, меряет проселочную дорогу... В двадцатых годах комсомол Витебска провел антирелигиозный диспут, и на диспуте — можете себе представить — восемнадцатилетняя девчонка Манюся схватилась с одним из местных попов и под одобряющий гул ребят, «как дважды два», доказала, что никакого бога нет и не было, так что попу пришлось отступить... То есть, прежде чем отступить, он было начал ее разить церковно-славянским, но и это не очень помогло, на поповскую удочку никто не попался... Рассказывая, Манюся оживилась, помолодела, и Ваня представил себе рыжую дивчинку с веснушками на носу — веснушек было так много, что ее дразнили воробьиным яичком, — с полукруглой, охватывающей голову гребенкой в стриженных волосах...

Ваня перешагнул порог хуторского дома и тотчас же оглох от шума и гама. Подмывающе, визгливо играли на нескольких скрипках, и все разное. Пьяные голоса затягивали и обрывали свадебные песни. Дурманяще, до тошноты, пахло самогоном. Ваня оглянулся и в дымном тумане увидел Зубелика. Видно, машинист еще раньше его заметил — шатаясь, вскидывая то правое, то левое плечо, расталкивая людей, он приближался к нему.

— Бригадиру почет, — сказал он тихо, стараясь не привлечь внимания окружающих, и Ваня понял, что Зубелик не столько пьян, сколько притворяется выпившим. — Скажи по совести, — продолжал он, — ты как пришел — по дружбе? Или, возможно, по вражде?

Красный, весь в поту, сжав зубы, от чего обозначались, выпирали скулы, он переступал с ноги на ногу и неотрывно, сузив глаза, смотрел на Ваню.

— Какой же я враг? — удивленно возразил Ваня.

— Значит, по дружбе, — с удовлетворением произнес Зубелик. — И раз такое дело, должен ты выпить!

От самогона противно пахло угаром, пить не хотелось, но обидеть машиниста было нельзя, и, чокнувшись, Ваня опрокинул стопку. Шум нарастал, в дыму люлек и самокруток все, казалось, плыло. По-прежнему визжали скрипки, по-прежнему гости затягивали и, точно споткнувшись, со смехом обрывали песни. Зубелик настойчиво угощал Ваню, угощал и угощал, и, не желая этого, дрожа от запаха самогона, Исаченко хватил через край. Они сидели в стороне, их как бы не замечали.

— Погоди, — отодвинув стопку, сказал Исаченко. Это была пятая или, может быть, шестая стопка. Мысль о том, что он пришел сюда не за тем вовсе, чтобы тихо-мирно беседовать с Зубеликом, выпивать с ним, тревожила, не давала покоя. Но все больше кружилась голова, все туманней и путаней приходили на ум слова, которые так ясны, убедительны были по пути на хутор. — Погоди, — повторил он, стараясь поймав и удержать какие-то очень важные и веские мысли. — Есть у тебя своя бригада и свои братья-товарищи, вместе мы одно дело делаем... А где они, твои братья? Никто не пришел. А почему? Может, они неправильно поступили? Нет, Зубелик, правильно они поступили, ихняя правда, наша то есть. И очень, понимаешь, мне обидно и больно...

Следовало встать и, как некогда мама Манюся, громко и всем доказать Правду — бригадную, Союзную, Советскую... Ваня поднялся, локтем оттолкнул Зубелика. И тут, мгновенно отрезвев, ничего не понимая, он увидел Софью Павловну. Он даже руками закрыл глаза — так невероятно было ее появление — и, погодя, выждав несколько секунд, раздвинул пальцы. «Напоил он меня, все у меня спуталось. Откуда она...

могла взяться? Ошибка...» Но ошибки не было — ни ошибки, ни наваждения. Легко ступая, на ходу поправляя непокорные золотые волосы, кому-то улыбаясь, мимо Вани прошла парторг — Софья Павловна Яцукевич...

Глава семнадцатая

У Софьи Павловны были несчастные месяцы — июнь, июль. Еще в мае она притворялась, что забыла о них, и в работе, до крайности себя утомляя, старалась унять тревогу. Но, как по ступенькам, шла она к печальным датам: день за днем, день за днем. Вот уж и десятое, и пятнадцатое июня, вот уж и девятнадцатое — ее черный четверг сорок первого года, когда с трехлетним Павликом она уехала из Бреста в Куйбышев, к родителям. На поездке настоял Сергей — «своих повидать, деду и бабе внука покажешь...» Вспомнил ли Сергей в дни обороны крепости эти свои слова, смело высунувшегося из окна вагона Павлика и ее, Софью, одной рукой легко придерживавшую мальчика за ворот сатиновой косоворотки и блаженно улыбавшуюся солнцу, движущемуся по платформе потоку пассажиров, запаху дыма, валившего из паровоза, запаху букета цветов, который она держала в другой руке, и, конечно, ему, мужу, в первую очередь ему... Поезд тронулся, а Сергей все шел рядом с вагоном, шел и шел и держал Павлика за пухлую ручку... Наконец он отстал, но долго еще видна была его пилотка; точно зеленый флажок, она трепетала в руке, Сергея как бы относило волной, поворачивало...

Война настигла ее в пути. Не вспомнить сейчас, как и почему она очутилась на станции со странным названием Батраки. Уже шел июль — второй злосчастный месяц, надвигалось второе несчастное число — на этот раз двадцать пятое... Как и в первый раз, беда подкралась незаметно: так же ярко и весело светило солнце, в открытое окно, как тогда, в вагоне на Брестском вокзале, влетали лепестки жасмина, они были похожи на сердца, какими их рисуют дети, — на белые легкие сердца... Павлик лежал на диване и бормотал, он, казалось, дурачился, говорил невесть что, и она не сразу догадалась, что он бредит...

Июнь, июль — несчастные месяцы. Как хорошо, что в этом году они явились первыми ее месяцами на Станции, что работу пришлось начать сначала, переезжать из бригады в бригаду, забывать дни, числа... На рассвете, по пути в райцентр, Софья Павловна увидела подводы, местами они шли вереницей.

— Какой нынче день?

— Воскресенье.

Ага, колхозники едут на базар.

— А число какое?

Оказалось, что несчастный месяц близится к концу, несчастный день позади, он прошел в работе, в хлопотах, незаметно...

Она все еще жила в гостинице с марлевыми занавесками на окнах, с желтой водой в графине (графин, разумеется, стоит на маленьком, накрытом вязаной салфеткой столике), с дымящими самоварами во дворе, с тяжелым мраморным умывальником в номере... Все было прелестно — и это прохладное бодрое утро, и пахнувший березовой корой дым из самоварных труб, когда она вышла во двор гостиницы почистить платье, и тугая струя воды из львиной пасти умывальника, и то, что спать нисколько не хотелось, и, главное, что несчастная дата прошла незамеченной, без лишней, расслабляющей боли. Она долго мылась, долго одевалась, заварила чай покрепче. Городок, как всегда в воскресенье, был оживлен, на рынок шли семьями, шли, как на торжество, — спереди родители, позади дети, все с корзинками.

С книгой в руках она присела к распахнутому окну, но читать не стала — положила книгу на подоконник, ветер листал страницы. Люди все шли и шли. Дробно стуча каблуками, высоко подняв голову, мимо окна прошла Раиса Ботвинко, и, обрадовавшись, Софья Павловна окликнула ее. Девушка вздрогнула, оглянулась, и тотчас же выражение ее лица стало деловито-сосредоточенным. «Сколько ей лет? — почему-то подумала Софья Павловна. — Двадцать три? Двадцать пять? Во всяком случае, она моложе меня лет на пятнадцать-шестнадцать...»

— Я не помешала вам? — спросила Яцукевич. — Вы, верно, куда-то спешите?

— Нет, ничего. Я так, гуляла...

— Тогда, может, заглянете?

Дробный стук каблуков направился к крыльцу гостиницы.

Сняв шляпку, аккуратно положив ее рядом с собой, Ботвинко села на диван у овального стола и, положив ногу на ногу, пальцами охватила колено.

Внезапно запел самовар — однозвучно, тонко, назойливо.

— Давайте чай пить, — предложила Софья Павловна.

Хотелось говорить, рассказывать о бригадах, о проделанной работе — больше двух недель Софья Павловна не была в райцентре, на Станции... Она увлеклась и с удовольствием заметила, что и Ботвинко оживилась, внимательно слушала.

— На Занивьевском объекте я с вашей комсомолкой близко познакомилась, она на экскаваторе работает...

— Дидюк? — деловито спросила Раиса.

— Вот-вот, Лиза...

За последние дни в сознании Раисы Ботвинко имя Лизы Дидюк было связано с именем Федора Зубелика — парня, опозорившего и комсомол и молодежную бригаду... Вспомнились еще Лизины слезы, стогка книг на столике у ее кровати...

— Молода очень, — осторожно заметила Раиса. И так как, улыбаясь одними глазами, хозяйничая, угощая гостью, Софья Павловна ничего не ответила, Ботвинко продолжала: — А у нас, в бригаде Исаченко, большая неприятность, товарищ Яцукевич. Одного перерожденца пришлось исключить из комсомола...

Она произнесла эти слова, и лицо ее стало строгим, как во время заседаний, когда разбирались союзные дела. Нахмурившись, отодвинув стакан и поправив очки, она стала рассказывать о собрании в Вульках.

Софья Павловна слушала, не перебивала.

— Скажите, вы все выяснили? — как только Раиса кончила, спросила она. — Все обстоятельства?

— Я говорила с ним, — с обидой в голосе произнесла Ботвинко. Она посмотрела в угол и, точно там сидел ненавистный ей, опозоривший молодежную бригаду Зубелик, еще больше нахмурилась. — Он даже на общем собрании не хотел признать ошибки и настаивал на своем заблуждении...

— Подождите. А с нею вы говорили?

Раиса удивленно посмотрела на Софью Павловну и, точно недопитый чай все еще мешал ей, поставила стакан на поднос рядом с самоваром.

— Это с кем же я должна была еще говорить?

— С девушкой, разумеется, с невестой.

— С невестой? — Лицо Раисы вытянулось, она пожала плечами. Так ли она поняла парторга, не ослышалась ли? — Это с хуторянской? — вновь глянув на Софью Павловну, спросила она.

Яцукевич молчала, и Раиса добавила:

— Так ведь это само собой понятно, о чем с ней говорить? Она же, конечно, его заставила.

— Почему — конечно?

Этот вопрос Софья Павловна задала стоя. Думать и говорить сидя ей всегда было трудно, она вышла из-за стола и по диагонали, из угла в угол, принялась шагать по комнате.

— Не понимаю, не понимаю,— тихо произнесла она. Все больше возбуждаясь, забыв о непокорных своих волосах, она до боли сцепила пальцы, руки прижала к груди.— Хочу понять и не могу, нет,— не хочу. Хуторянка, и давайте поставим на ней крест, сбросим ее со счетов — так, что ли? Но разве вам не хотелось хотя бы из простого любопытства встретиться с нею, поговорить, узнать и понять, что она собой представляет, что руководит ею, какие чувства она питает к нему, своему жениху? Я не знаю, может, она в самом деле «заставила его», как вы сказали, может, он слепо и упрямо ей подчиняется... Но ведь и в таком случае интересно и очень, очень поучительно с нею поговорить. Вы же комсомолка, комсорг, вы призваны воспитывать молодежь! Воспитывать, перевоспитывать, из тысяч и тысяч хуторян и хуторянок ковать настоящих, наших юношей и девушек — какая большая и замечательная задача! Послушать вас... как все просто! Объявился перерожденец — вон! А он что — с неба свалился? Был комсомольцем и вдруг стал «перерожденцем»? А каким он был за неделю, за месяц, за год до «перерождения»? Но об этом вы ничего не знаете, побеседовать с ним — не официально, лишь бы отделаться,— узнать всю его подноготную вы и не подумали. Да и зачем особенно долго беседовать с «перерожденцем»? Ярлычок наклеили, готово!

— Так что же, по-вашему, мы должны были оставить его в комсомоле? — запинаясь, дрожащим голосом спросила Раиса.

Казалось, Софья Павловна ждала этого вопроса.

— Вот-вот,— тотчас же вновь заговорила она.— Та же, буду с вами до конца откровенна, поверхностность, та же прямолинейность. Церковникам, разумеется, в комсомоле не место — я это, поверьте, тоже знаю. Но сделали ли вы все возможное, чтобы предотвратить беду? Да, беду! Ибо, когда вы молодого парня выбрасываете из комсомола, это и есть самая настоящая беда. Вы лишаете его доверия, вы говорите ему: тебе нет места в нашей среде — в среде строителей коммунистического общества! Надо считаться с возрастом, с темпераментом, с характером юноши или девушки, которых вы выбросили за борт. Один сам поймет свою ошибку, другой отойдет в сторону — надолго, может быть на всю жизнь, третий озлобится — «не хотите — не надо, а я поступлю по-своему», как сказал этот Зубелик. Тут-то «на помощь ему» придут и церковники и всякого рода сектанты — они, учтите, любят озлобленных, обиженных, свихнувшихся, они охотно раскроют ему свои объятия. Ну, а дальше как же? Вы подумали об этом?

Хмурая, наморщив лоб, Раиса сидела у стола. Она и понимала и в то же время не хотела до конца понять слова парторга. «Мы что же, должны оставить в своей среде таких типов, как Зубелик?» — точно желая убедить себя в своей правоте, мысленно повторяла она.

Умолкнув, Софья Павловна остановилась возле Ботвинко, положила руку на ее плечо и вдруг просияла, улыбнулась. Локоны упали ей на лоб, она встряхнула головой.

— Милая Раиса, милая девушка, не хмурьте лоб, не надо! На одну минуту представьте себе все то, что вам предстоит сделать здесь, в западных районах Белоруссии, и что вы в состоянии и обязаны сделать, только не сухо, не книжно, не в виде протокола: «слушали, постановили»... Сумейте только подойти к человеку и — как свое собственное — ощутить чужую радость и чужое горе... Знать людей, видеть их, до конца

понять и воспитывать, растить, бороться с их предрассудками и слабостями и побеждать, обязательно побеждать, ибо время наше, победа наша, будущее принадлежит нам! Вот вы сказали о Лизе Дидюк — «молода очень»... Что это значит? А известно ли вам, что Дидюк недавно пережила горькую обиду, потрясение, она ошиблась, как только можно ошибиться в восемнадцать лет... Молода очень... А эта девчонка, поборов свое горе, нашла в себе силы работать, расти, она и людей, живущих рядом с нею, не забыла...

— Она увлекается книгами,— заметила Раиса.

— И других увлекла — сначала читала им вслух газеты, журналы, а теперь кое-кто и сам стал интересоваться, нет-нет да заглянет в газету. А ведь самый молодой из членов бригады, в которой она теперь работает, старше ее в два с лишним раза,— вот она, ваша молодая!

Раиса слушала все с большим интересом. Трудно, невозможно было себе представить, как это Дидюк, машинист бригады, заговорила с парт-оргом, и не о бригаде, не о производстве, даже не о комсомольских делах, нет,— о своих невзгодах... С чего она начала, как повела рассказ, как заставила себя слушать? Она представила себя на месте Лизы — вот она рассказывает парторгу Яцукевич о несчастной и запутанной своей любви — и пятнисто покраснела... «Это невозможно, немислимо!» Вдруг она заспешила: быстро и неловко надела шляпку, оглянулась — не забыла ли чего? — и встала из-за стола.

— У меня дела,— протянув Софье Павловне руку, невнятно пробормотала она. Было неловко так неожиданно и быстро уйти, и она добавила: — Вы, конечно, побудете на Станции, поживете в городе, мы еще увидимся...

Яцукевич не стала ее задерживать.

После ночи без сна и отдыха, после долгой езды и поисков хутора, гул голосов, пиликанье скрипок, этот одуряющий запах сивухи и еды, этот едкий дым, когда все, казалось, плыло и зыбилося, неприятно ошеломили Софью Павловну. Но тут среди распаренных красных лиц и мутных от вина глаз она заметила девушку... Сидя во главе стола — стул рядом с нею был свободен,— вытянув шею, она с любопытством, морща нос, смотрела по сторонам, прислушивалась к говору людей. По светлому платью и полукружью полевых цветов, венчавших ее голову, Софья Павловна угадала в Текле невесту и тотчас же направилась к ней.

— Сядайте,— сказала Текля.— А крику-то! А надымили как! — Она покачала головой и, как бы извиняясь, добавила с добродушной улыбкой: — Пьяненькие.

— Вас будто поздравить надо,— пожимая ее руку, произнесла Софья Павловна.

— Ага,— все с тем же добродушием, продолжая улыбаться, ответила Текля.— Спасибо.

Вдали, размахивая руками, громко спорил Исаченко. Текля вздохнула и, по своему обыкновению, вытянула шею по направлению к бригадиру. В общем гуле ничего нельзя было разобрать.

— И бригадир пьяненький, и мой Федор — то самое,— сказала она.— А вы сами-то... из ихних?

— Ага,— в духе собеседницы ответила Софья Павловна.

Текля вновь вздохнула.

— Все вы ученые,— разглядывая платье и непокорные локоны Софьи Павловны, сказала она.— Мне одна ваша говорила... И она, видать, немало училась.

— А вы?

— Я? — переспросила Текля. — Вы все с меня смеяться будете, вот побачите!

— Смеяться?

— Ну да, за темноту! Потому я совсем-совсем темная! — Она произнесла это с такой простой искренностью, что Софья Павловна посмотрела на нее с удивлением. — Я и Федору говорила: одно свое имя могу написать, меня, говорю, батько научил... Как я такая с вами жить буду? И это я ему сказала...

Сейчас она пристально, требовательно смотрела на Софью Павловну. И с материнской нежностью Софья Павловна обняла ее за плечи.

— А разве вы теперь не наша? — спросила она, ощущая, как Текля все тесней к ней прижимается. — А над своей... Кто же над своей смеется? Все от вас зависит — захотите, и вы тоже будете учена. Стоит вам только захотеть.

— Хiba ж я не хóчу?.. — пересохшими губами спросила Текля. — В колхоз, и то меня батько не пускает! А уж учиться!.. — И она махнула рукой.

В многоголосом пьяном шуме, в песнях, которые то возникали, то обрывались, в разнобойном пиликанье скрипок две женщины, прижавшись друг к другу, долго говорили...

Глава восемнадцатая

На стене, среди множества фотографий в самодельных рамках, висело зеркальце. Расширив глаза, не мигая, Текля часто останавливалась перед ним. Ей казалось, что вместе с жизнью и внешний ее вид — глаза, губы, нос, который она по привычке морщила, зубы, которые она, улыбаясь, обнажала, — должен был измениться... После свадьбы родители отвели ей и Федору каморку с маленьким оконцем и низкой дверью — одну лишь эту каморку Текле приходилось убирать. Все работы по дому, уход за живностью, за огородом взяла на себя мать.

* — Отдыхай, — говорила она дочери. — Скоро своим хозяйством заживешь, уедешь...

* — Да, — радостно отвечала Текля. — Вот-вот кончат они, и мы снимемся. И поедем, поедем, поедем — то в села разные, то, может, подалее...

Сухой рукой, темными пальцами мать касалась подбородка, задувалась, грустно, осуждающе смотрела на Теклю. А Текля? Чтобы не очень обидеть старуху, она сгоняла с лица улыбку.

— Так я ж в гости приезжать буду, — ласкаясь, говорила она в утешение. — Как рождество, так я — тут. И Федор со мной!

Теперь время тянулось бесконечно.

Непонятно, как могла она годами жить в этой томительной неподвижности, в тишине, в безмолвии! Она набрасывала на голову платок и, не завязывая, держа его за концы, быстро шла к каналу.

Лязг железа — вначале чуть слышный, глухой, точно где-то далеко звонили в церковь, потом все более резкий, оглушающий — плыл ей навстречу. А вот и Федор... Он командовал машиной, и машина безотказно ему подчинялась. Текля выбирала место посуше, чаще всего кочку, и усаживалась — большая, широколицая, поставив локти на колени и опустив на ладони подбородок. Сидела она неподвижно до того, что стрелки опускались на ее голые руки и не улетали, солнце играло на их радужных крыльях...

Ковш тяжело опускался, падал, звенели цепи, но шум не мешал ей думать. Мысли были мимолетны, отрывочны. Как все удивительно, как

неожиданно! Этот вот машинист — темноглазый, с густой гривой волос, с тонкими усиками — ее муж... Из всех вулькинских девчат он выбрал ее... Почему? Значит, любит, полюбил, ты что думаешь!

Усмехнувшись, она вспоминала Софью Павловну, и тотчас же женщина возникала перед ней, усаживалась рядом. Теперь Текля старалась вспомнить все ее слова. «А разве вы не наша?» — спросила Софья Павловна.

В тот час, на свадьбе, Текля ничего не могла ей ответить, ни слова. Но если бы вопрос был задан сейчас, она бы рассказала о всех своих мыслях, о том, как жила, как маялась, расспросила бы о своем будущем — ведь Федор скуп на слова, до того скуп, что порой кажется, будто он и сам не представляет себе их будущее... А ведь оно хорошее!

И вновь и вновь Текля перебирала в уме, вспоминала слова Софьи Павловны, тихую и долгую беседу с нею.

Гудок настигал ее врасплох, она вздрагивала. От Федора пахло металлом. Он протягивал ей руку, и они шли рядом. В том, как мягко грело солнце, в обильном его золоте, ощущалась близость осени. Даже жаворонки пели по-иному — без восторга, озабоченно. Вдоль дороги лежали желтые колочие поля — озимые скошены, свезены. Полосы льна явно посветлели, выцвели — скоро и лен начнут убирать, дергать.

— Зубелик,— говорила Текля и с надеждой смотрела на него.

Машинисты, их помощники, нижники — вся дневная смена — шли в Вульки, весело переговаривались. Судя по оживленным голосам, они не сразу уgomонятся, будут петь, плясать... Хорошо бы пойти с ними! Но Зубелик держался в стороне от них, он точно нарочно замедлял шаг. На развилке он сворачивал на тропу, ведущую к хуторам, ее рука лежала в его твердой руке. Да, он устал, не так-то просто сидеть на машине, управлять ею. Почему же, придя домой, он не отдыхает? Точно нарочно он выскивает работу на хуторе — то вместе с отцом скирдует сено, то возится в хлеву,— его ли это дело?

Однажды он нашел на чердаке дранку и решил починить крышу сарая. Но прежде чем взяться за работу, он долго сидел на верхотуре, смотрел, смотрел. Сверху строения казались еще более привлекательными, радовали сердце. Рядом — близко — на солнце пламенели черепицы. Вот хлев — здесь он впервые увидел Осипа Филипповича. А вот и яблони — ухоженные, с краснощежими тяжелыми яблоками на ветвях... «И все это наше, мое»,— подумал он. И ему казалось, что жители родного села стоят внизу, дивуются и надивоваться не могут. «Это кто ж там на коньке?» — «А это Федор Зубелик, Игнатов сын». — «Без минутки»? Он что там делает?» — «Известно, молодой хозяин, ему доглядеть надо, ведь это его добро!» — «Быть того не может!» — «А вот и может!»

Он раз-другой ударил топором, глянул вниз. Там, задрвав голову, стоял Осип Филиппович. Даже сверху видно было, как Ковалевич сморщился, сощурился.

— Ты что там? — недовольно, зло спросил старик.— Голубятню ставишь?

— Не, папаша.— С первого же дня женитьбы Зубелик стал называть тестя папашей.— Я вот дранку нашел...

— То есть как нашел?

— На чердаке, одним словом. Дай, думаю, крышу починю.

Ковалевич не сразу ответил. «Нашел, нашел,— с трудом сдерживая себя, подумал он.— Мог бы спросить!»

Вечером Осип Филиппович с глазу на глаз объяснился с ним.

— Спасибо тебе, Федор...— Он, видно, хотел говорить спокойно, но после первых же слов голос его дрогнул и сорвался.— Зачем, скажи мне, взялся ты крышу чинить? Есть у тебя голова на плечах?

— А почему не чинить, раз требуется?

— «Требуется!» В том и дело, что вовсе оно не требуется. Я ее, если интересуешься, нарочно такой оставил. И так хватает завистников, как говорится — берут завидки на чужие пожитки. Сразу они приметят, скажут: «Осип Филиппович ремонтируется, значит капитал завелся, лишь об одном своем добре печалится...» И так разговора не оберешься, косых глаз — ох, сколько! По правде сказать, я б и с дома полсотни черепиц содрал — пускай народ мою нужду видит... А ты — чинить! Спрашивать полагается, вот что! А не так — «я drankу нашел»... Я ж никуда не уехал — пришел с работы, ты и спроси!

«Чем он недоволен? — глядя на старика, думал Зубелик. — Чужой я, что ли?»

Недовольство отца заметила и Текля.

«А зачем Феде возиться? — недоумевая, размышляла она. — Пошли бы к своим в Вульки, они небось собрались, у них весело. Или тебе, может, неудобно, что я совсем, можно сказать, простая и темная, хожу с тобой, не отстаю? Глупый, все до одного знают, что я твоя жена... Даже Софья Павловна не постеснялась сидеть рядом, говорить со мной. И как еще она говорила!»

Случалось, в эти первые дни замужества Текля сама ходила в Вульки к новой своей знакомой, Ольге Яромчик, — кто еще умел так хорошо рассказывать? Ольга рада была хуторянке, ей нравилось, как, подогнув одну ногу, вытянув шею и приоткрыв полные губы, Текля сидела на лавке против нее и ловила каждое слово. Слушала и сама Ольга — свой голос, истории, которые так красиво сплетались в ее голове. Один раз бригада работала в большущем городе. Станция обслуживает несколько районов, часто из Минска приезжает сам министр или — если ему очень некогда — он присылает своего главного помощника, и тот говорит: надо, товарищи, сделать то-то и то-то, и, пожалуйста, не тяните!

Так вот, однажды сам министр направил молодежную бригаду в областной город, там следовало срочно углубить и расширить старый канал. Что ж, расширить так расширить, срочность тоже не очень пугает комсомольцев. И вот бригада работает, и не просто работает — перевыполняет план, а вокруг бригады народ собирается — добрые сотни и добрые тысячи приходят, смотрят, дивуются и надивоваться не могут: ни таких экскаваторов, ни, главное, такого проворства они сроду не видали.

— А нам, комсомолу, что? Пускай на здоровье смотрят! Ну, народ все прет и прет, уже, понимаешь, автобусы не могут проходить — стоят, гудят. Приходит начальство из горсовета, начинает думать и придумывает водить к нам экскурсии...

— Чего?

— Экскурсии. Это когда один человек водит сотню, а то две народу, и сам он показывает и все начисто объясняет... А молодежная бригада — что же? Раз такое дело, раз в большущем городе работаем и кругом экскурсии, то и бригада решает воспользоваться и устраивает культ-поход. Как воскресенье, как выходной, так бригада сама отправляется, и ей все чисто показывают и объясняют, а она смотрит. Музей — раз, театр — два. В музее — рога и скелеты, и как раньше жили, и вышивки разные, и соха лежит, а на сохе — квиточек, объяснение: так, смотрите, наши деды мучились... А в театре... а боже ж мой!

— Как в кино?

— В сто раз лучше. Сначала они живут — будто ничего, потом он ее бросает и берет другую, а другая, прости, стерва, так он идет к первой, кается. Поздно, товарищ, уж у нее тоже другой, и такой культурный, такое имеет полное образование...

Дойдя до этих слов, Ольга заставляет себя остановиться и насухо вытирает губы. Этак, разойдясь, нетрудно и проговориться, рассказать о Теклином орле всякие ненужные подробности, рассказать, к примеру, как он бросил Лизу, хорошую дивчину, а там и комсомольская тайна ползет на язык. Ольга не успеет опомниться, а уж история известна... Нет, извините! То, что было на закрытом собрании, известно только тем, которым доверили присутствовать на нем. Что же до некрасивой истории Зубелика, то пусть она остается на его совести, не такая Ольга Яромчик женщина, чтобы омрачить первые дни замужества молодой хуторянки, портить ей кровь и нервы — это раз. Далее, дорогие мои, бригада — она и есть бригада, и если девушка вышла замуж за машиниста, это еще не значит, что ей сразу надо выложить всю подноготную.

Ольга насухо вытирает губы и немного погодя переводит рассказ на новый шлях. Сейчас она делится своим семейным опытом, но не прямо, нет, — иносказательно, не называя имен, будто речь идет о посторонних людях и посторонних делах. Мужчины — они и есть мужчины, об этом не следует забывать. Они — как бы деликатней выразиться? — любят иногда к о б е л и р о в а т ь. Был, скажем, один молодой машинист, он оженился и уехал на работу, а жена его — что она понимала? — по молодой своей дурости осталась у маточки и у таточки. Ладно. Живет она месяц, живет другой и дюже соскучилась. «Давай, думает, поеду к своему человеку». Собралась, еще она пироги спекла, еще она у маточки добрый кусок сала взяла, думает: угошу, нехай и он, небога, поест. Приезжает она... А уж ее человек, совсем как холостой, гуляет, с девочками встречается, песни с ними спевает... Так молодая та жинка... хоть она и молодая, а все ж таки сообразительная, показала она ему, по чем фунт лиха! Уж она — не сомневайся, — она ему показала!

Текля слушает. С интересом? Да. Но без волнения и трепета. И тогда Ольга задает вопрос:

— Вот кончим мы, кончим и уедем... Так ты как же — при родителях останешься?

— Ой, что ты! — отвечает Текля, вид у нее удивленный, испуганный. — Я и дня тут одна не останусь! Куда он, туда и я!

Наконец-то. Поняла. Дошло.

— И правильно! Это я... то есть та молодлица по малости своих лет была дура дурой. Обязательно езжай, чего там! И в бригаду тебя возьмут и работать научат. Ты думаешь, экскаватор — что? Экскаватор, если хочешь знать, самая простая машина, и никакого фокуса в нем нет! Ну, пар там, вода, горючее — всего и делов-то!

Тут она вспоминает, что Текля несколько раз видела ее на работе, и ненадолго умолкает. Пусть не машинистом, как та Лиза Дидюк, но нижницей Текля вполне может стать. Что нужно нижнице? Руки, лопата, и только.

— В один день научишься, — говорит она наконец. — Только и делов! Нет, сестрица, не оставайся дома, ни за какие не оставайся! Куда иголка, туда и нитка, — никаких разговоров!

После этих слов Ольга начинает переодеваться. Через час ей заступать, а спешить, лететь не в ее натуре.

Собирается и Текля. Через час Зубелик кончает работу, она успеет посидеть на кочке, полюбоваться его ловкостью.

Они идут рядом — подруги, приятельницы, жены машинистов. Текле также хочется рассказывать... Нет, куда ей! «Мой»... Так она мысленно называет Зубелика и краснеет, даже имя его трудно произнести без стеснения.

— А твой где? — неожиданно для себя спрашивает она Ольгу.

— Это Тимофей-то?

Ольга рада вопросу, ей нужна зацепка, чтобы рассказать новую историю. Вот уже три дня, как ее Тимофей стал пропадать. Утром он уходит чистый, как стеклышко,— Ольга греет теплую воду, и он старательно моется, потом хорошенько завтракает и уходит. Обедать — его нет, появляется он прямо на работе — грязный, черный, весь в масле. Куда он ходит-бродит? Не такой она, Ольга, человек, чтобы приставать к нему с расспросами, еще он может подумать, что она ревнивая,— очень ей нужно! И Тимофей не такой человек, чтобы отвечать на ее расспросы,— это тоже верно! Нет, она узнала стороной,— оказывается, ее Тимофейка после завтрака отправляется к Добродию, а Добродий с утра на болоте, у экскаватора, и оба они работают... Понятно?

— Понятно,— вслед за Ольгой говорит Текля и этим своим ответом попадает пальцем в небо.

— Ничего не понятно, где тут поймешь, — возражает Ольга. — Тимофей такой же машинист, как Добродий, у каждого из них свой экскаватор, и работают они в разные смены: Добродий заступает утром, Тимофей — вечером. Так чего еще Тимофею ходить к Добродию? Он что, получает у Добродия процент?

Да, Текля ошиблась. Но, может, сам Тимофей объяснит, что он делает у Добродия и зачем к нему ходит?

— Ага, спроси у него,— говорит Ольга и смотрит на несмышленную хуторянку.— Как же, скажет он!

Они идут по знакомой дороге, потом сворачивают к болоту. Под ногами не чавкает вода, земля не колышется, канал здорово высосал влагу. Текля пытается сказать об этом — и вновь неудачно.

— Канал? Высосал? — возражает Ольга.— Может, пятаю частину, и то навряд! Вот когда пройдут канавокопатели и корчеватели да пропашут хорошенько, и не простыми плугами, тогда, увидишь, тогда хоть танцуй на этом месте.

Они продолжают свой путь. Уже видны экскаваторы, скоро им разойтись — каждый на свое место. На прощание Текля готова согласиться с подругой.

— Нет,— говорит Ольга.— Раз ты с Зубеликом решила ехать, то тебе здесь не танцевать и ничего такого ты не увидишь. Наше дело — канал. А как канал готов, так молодежная бригада снимется и дальше уедет — может, за сто, а может, и больше верст. Вот мы раз так едем, перебираемся, смотрим, а вдоль дороги страшная конопля растет, не конопля — черный лес! Густая, высокая, ни одной соринки — я такой конопли сроду не видала. Что такое, откуда взялась? И тут мой Тимофей и Микола Гречко — оба сразу говорят: «А мы ж тут в позапрошлом годе на наших экскаваторах работали, вы что же, говорят, ребята, наш канал не признаете?» Смотрим — верно, наша работа! Понятно?

Текля молчит. Ей все понятно, решительно все, но, может, и в этом вопросе есть крючочек и опять Ольга скажет «ничего не понятно». К тому же пора расставаться. Вот уж и Зубелик весь на виду; не останавливая машины, он поднимает над головой фуражку. Значит, он ждал ее и сразу заметил...

— Мой,— пересилив неловкость, говорит она.— Мой кличет.

— Ну, иди, иди,— как старшая, как человек с большим семейным опытом, отвечает Ольга.— Раз кличет, иди!

Пока Федор возится у экскаватора, заканчивает свою работу, Текля садится на кочку и задумывается. Есть, есть о чем подумать! Слова Ольги взбудоражили ее. Конечно же, она поедет с Зубеликом и будет работать в бригаде. И она видит себя в ином совсем виде — на ней комбинезон, на голове кепка. Нижница? Поднимай выше, она и машинистом станет! Конечно, на первых порах она будет нижницей, а потом дело пойдет и пойдет — сама же Ольга Яромчик сказала, что ничего мудре-

ного в машине нет, была бы охота — научат. Да, раз она будет в бригаде, то ее, как полагается, обучат — сначала грамоте, потом машинному делу. Разве Зубелик ей не пособит? Обязательно пособит!

— Мой,— повторяет она вслух. Экскаватор умолк, Зубелик услышал ее.

— Чего ты? — спрашивает он.

Текля счастливо улыбается. Можно ли словами передать все мысли?

— Домой пора,— продолжая улыбаться, произносит она.— Кончай...

Глава девятнадцатая

Экскаваторные работы на вулькинском объекте близятся к концу. За время существования молодежной бригады это не первый канал. Казалось бы, легко привыкнуть к тому моменту, когда бригада ставит точку и перебирается на новое место. Однако на этот раз Ваня Исаченко испытывает странное чувство, он и сам бы не взялся его назвать или определить. Рад ли он, что работа вот-вот завершится, и не в срок — досрочно? Ну, конечно. В то же время он и томится, не находит себе места. В чем дело?

Бодрые рапортники идут из Вулк на Станцию, они состоят из цифр, ни одного слова — цифры и цифры. Скоро придут канавокопатели, Исаченко получит новый объект и — айда, прощай, Вульки! Нет сомнения, что при первой же встрече Кавко, директор, высоко оценит работу комсомольцев, много добрых слов, от которых сильнее забьется сердце, услышит Ваня... Так в чем же дело?

Работа работой, о работе никто ничего плохого сказать не может. Но существуют ведь и другие показатели...

Два печальных события произошли за короткое время — за время работы в Вульках. Помощник машиниста Лиза Дидюк не желала больше оставаться в молодежной бригаде. Машинист Федор Зубелик, бывший комсомолец, обвенчался в церкви... Нельзя сказать, что Исаченко не попытался предупредить второе событие. Даже в день венчания он на свой страх и риск отправился на хутор — никогда не поздно лишний раз заявить товарищу, что он на опасном пути. Да, намерения у бригадира были самые хорошие, но что, что получилось? И сейчас стыдно вспомнить! Для начала он чокнулся с виновником этой кутерьмы — пусть не думает, что им руководит злое чувство. Нет, Ваня Исаченко просто хотел протянуть товарищу руку помощи. Потом (не вспомнишь, какие были предложены тосты) пришлось выпить еще и еще... Короче, он, как говорится, переложил, он стал произносить зажигательные речи, но его не хотели слушать, его усаживали, успокаивали... Под конец появилась, проплыла мимо него парторг Софья Павловна Яцукевич, долго казалось, что все это ему представилось... Нехорошо, нехорошо! Вот и полагай после этого, что со всеми ошибками и промахами ты давно покончил, что ты меняешься, растешь!

Вслед за мыслью о росте приходят думы о Лизе...

Боже, как давно он отплясывал с нею свой горестный танец и как глупо, просто по-детски, он лепетал... о своих чувствах к ней? — нет, о загсе!.. Когда это произошло — десять, пятьдесят, сто лет тому назад? Во всяком случае, это было очень давно, и ему следовало бы забыть не только о том, как дрогнуло Лизино лицо, но и ее самое.

«Следовало бы...» Но разве чувствам своим прикажешь?

. Печальные мысли,— они лишь расслабляют. Почему не подумать об итогах, которые более чем утешительны?

Работа близится к концу, и кое-кого это настраивает на мечтательный лад, кое-кто окрылен и видит дальше обычного. Перепоручив рабо-

ту своему помощнику Пилипчуку, машинист Добродий топчется возле экскаватора, один глаз его прищурен, руки в беспрестанном движении, он их все время вытирает ветошкой — вытирает по забывчивости. Что-то очень твердое, тяжелое попало на пути ковша, и машина зло ворчит, ковш глубже зарывается в землю. Удивительно, ведь Добродий весь сегодняшний день, и вчерашний, и позавчерашний только и думал, что о ковше, и, как бы догадавшись об этом, ковш громко заявил о себе... Машинист следит за поворотом, он совсем близко подходит к тому месту, где экскаватор должен разгрузиться. Начищенные, блестящие зубья отъезжают, и вместе с илом и торфом, вместе с болотной травой и карликовыми ольхами из ковша вываливается валун. Добродий смотрит не отрываясь. Сейчас он убежден, что и о камне он думал все последние дни — о ковше и сверхтяжелом грузе, который его наполнит. Быть может, все это снилось ему — сегодня, вчера, позавчера? Неважно. Ковш и тяжесть были рядом, их соединяла одна мысль.

— Пилипчук! — кричит Добродий и машет кепкой: экскаватор можешь не останавливать. — Послушай, Пилипчук, ты тут без меня справишься? Я буду поблизости, ты не беспокойся.

А что, собственно, Пилипчуку беспокоиться? Он, слава те, свое дело знает. И он тоже машет кепкой и ни на мгновение не отрывается от машины.

А Добродий? Хорошо, что никто за ним не следит... Добродий берет мешок, выходит на дорогу и начинает собирать кремни. Кремни? Да, кремни и булыжники — любые камни, которые попадают на его пути и которых так много на дорогах Западной Белоруссии. Мешок с камнями он, кряхтя и широко ставя ноги, согнутые в коленях, относит к месту работы и вновь выходит на дорогу, вновь набирает кремни. Так раз десять: на дорогу с пустым мешком, к месту работы — с камнями.

Пилипчук лишь к концу заметил непонятное старание своего машиниста.

— Ты что? — спросил он и тотчас же забыл о вопросе: он управляет экскаватором, ему некогда заниматься посторонними делами.

Прошло еще немного времени, и, когда ковш, как обычно, разгрузился и Пилипчук хотел было его поднять, Добродий крикнул:

— Стой!

В ту же секунду машинист начал бросать в ковш камни, он бросал их обеими руками, не выпрямляясь.

— Ты что? — вновь спросил Пилипчук. На этот раз он смотрел на Добродия с недоумением, он даже пожал плечами.

Но Добродий продолжал молчать, он молча и быстро работал. А когда ковш был наполнен до самого верха, он крикнул:

— А ну, давай!

Пилипчук совсем растерялся, совсем опешил. Это что же — бросать камни в канал? Но машинист не дал ему размышлять.

— Давай, давай, подними!

Ничего не понимая, Пилипчук выполнил приказ старшего товарища.

— Поверни.

Он повернул.

— Опуст.

Он опустил.

— Давай опять ко мне.

И как только ковш приблизился:

— Ну как?

Пилипчук ничего не мог ответить, он лишь вытер лоб и озабоченно вздохнул.

— Скажи мне, Пилипчук, камни тяжелее торфа и ила?

— Тяжелее, — ответил помощник машиниста. — А что?

— А экскаватор работал как следует быть? — продолжал допытываться Добродий.

— Как следует быть, — ответил Пилипчук. — А что?

Молчание.

— Действуй, действуй, Пилипчук, — только и сказал Добродий. — Ты, я вижу, справляешься...

Было это в тот день, когда бригадир Исаченко переходил от экскаватора к экскаватору и, размечтавшись, ясно представлял себе, как спустя два-три года на этом болоте «появятся, зашумят нивы, сенокосы». Неслышно — так, что Ваня вздрогнул, — Добродий подошел к нему и сказал, что хочет с ним посоветоваться. Исаченко был недоволен: ему помешали и хотят, видно, вернуть к неприятной действительности — к тому, что Зубелик собирается в церковь. «Ну, давай, давай», — только сказал бригадир. Но, потоптавшись, Добродий раздумал советоваться. «Нехай в другой раз», — заметил машинист.

Да, советоваться с бригадиром, поделиться с ним своими соображениями Добродий пока что раздумал. Но мысль мучила его, не давала покоя, ему нужен был собеседник, друг, сочувствующий, и через несколько дней он заманил к себе старого своего приятеля Тимофея Яромчика. Кремни и булыжники давно были засыпаны, за эти дни экскаватор прошагал порядочное расстояние. И Добродий прежде всего обратился к Яромчику с просьбой — собрать немного кремней. Один мешок он дал ему, другой взял себе, вместе они отправились на дорогу. Тимофей Яромчик не принадлежал к тем парням, которые суются поперед батьки, он ничего не спросил, ни слова, он молча выполнил просьбу товарища.

И вновь повторилась та же история. Ковш нагрузили камнями, и он то поднимался, описывал полукруг, то вновь опускался на прежнее место.

После этого Яромчик должен был ответить на вопрос: не отражается ли тяжелый груз на экскаваторе? И опять Яромчик ничего не спросил. Он закатал рукава и, пока машина работала, осмотрел ее со всех сторон. Он приседал, поднимался, он щупал экскаватор, как врач щупает больного, он прикладывал руку к некоторым частям: не перегрелись ли они?

— Нет, машина даже мощная, — сказал он и немногими этими словами привел товарища в восторг.

— Точно, точно! — воскликнул Добродий. — Это ж машина... Всем машинам машина!

Только после этого восклицания Яромчик усмехнулся и задал два косвенных вопроса:

— Ты что же — сомневаешься в ней? Разве ж она тебя подводила?

Нет, экскаватор никогда его не подводил.

— Понимаешь, — наконец признался Добродий, — втямшилась мне одна пустяковина, есть не дает, спать не дает, прямо сказать — совсем я стал дурной...

И он с трудом рассказал об одолевшей его мысли — говорить он был не мастер.

Теперь оба они неважно спали и ели без всякого аппетита... Несмотря на все старания и на самые разнообразные ухищрения, Ольга Яромчик ничего не могла узнать у своего Тимофея, он был рассеян и молчалив.

Экскаваторная работа на объекте шла к концу, остались считанные дни. И вот в один из этих дней в хату к Ване Исаченко явились два машиниста — Тимофей Яромчик и Добродий, которого никто никогда не называл по имени.

— Послушай, бригадир, — сказал Тимофей Яромчик. Докладывать Добродий поручил одному Яромчику — у Тимофея, как и у его жены, был хорошо подвешен язык. — Послушай-ка. Вот тут Добродий кумекал и кумекал и докумекался до одного дела...

— Оба мы кумекали,— произносит Добродий, но так невнятно, запинаясь, что Исаченко оставляет его поправку без внимания.

— А какое дело? — спрашивает Исаченко.

Яромчик не спешит с ответом, он задает бригадиру такой вопрос:

— Скажи-ка, Ваня, какая емкость у ковша?

— Какая емкость? — Исаченко смотрит на Тимофея Яромчика так, будто тот спросил у него, сколько будет восемью восемь.— Ты что, с печки свалился, сам не знаешь? Ноль целых пять десятых кубика, вот сколько!

— Правильно, полкубометра. Ну, а если в ковше будет ноль целых семь или даже ноль целых восемь? Как по-твоему? Справится экскаватор с такой нагрузкой или не справится?

Исаченко усмехается. Ясно: ребята хотят рассказать веселую историю или анекдот.

— А разве ковш у нас не нагружен до предела? — спрашивает он.

— погоди, не спеш. Раз тебя спрашивают, ты должен отвечать. Я насчет экскаватора: справится он или не справится? Сдюжает или, возможно, не сдюжает?

— Я не пробовал. Но допустим...

— А Добродий пробовал, экскаватор, если хочешь знать, вполне справляется.— И, видя, что Добродий вновь собирается внести поправку в его речь, добавляет: — Оба мы пробовали, и оба проверяли. Вполне, вполне справляется.

— Ну, и что?

Хватит играть в прятки! И Тимофей Яромчик полностью раскрывает карты:

— А если к ковшу наварить козырек? Будет рационализация и польза чи не будет? Сможет ковш набрать ноль семь или даже ноль восемь? Вот тут Добродий кумекал и кумекал и докумекался, и я ему малость помогнул. Экскаватор справляется — это факт, тут уж ты не сомневайся. А раз экскаватор справляется...

Наступает молчание. Нет, не шутить и не рассказывать анекдоты пришли ребята. Над их предложением следует хорошенько подумать, и не только подумать — проверить все на практике.

— Без литра тут не разберешься,— говорит Исаченко, хотя к литрам у него резко отрицательное отношение, в особенности после нелепой истории на свадьбе.— Идемте на объект, там договорим.

Они идут к экскаватору, на котором по-прежнему сам-один трудится Пилипчук. Помощнику машиниста лестно, что Добродий на длительное время оставил его одного. Еще месяц-другой, и он сам станет машинистом, к тому дело идет. А еще через годик, если котелок у его помощника будет варить как следует, он при случае скажет ему: «Действуй, действуй, друже, ты, я вижу, справляешься...»

— Нуте, ребятки, докладывайте и показывайте с самого начала,— бригадирским тоном говорит Исаченко. Он хочет быть рассудительным, спокойным, в меру важным, он хочет быть старше своих лет.

И ребятки докладывают и показывают. Теперь и Ваня Исаченко выступает в роли врача, он ощупывает экскаватор — не перегрелся ли? — он осматривает и выстукивает каждую деталь. Яромчик в трудном положении. Предложение «доложить и показать» относится, собственно, к одному Добродию, Добродию и следовало бы выступить. Между тем немногословный Добродий окончательно проглотил язык, он ограничивается такими словами, как «вот такая петрушка», «такое, видишь, дело» и еще «собственно говоря» и «между прочим»,— где только он хватался этих слов? Приходится все время говорить Яромчику, и получается нехорошо, но по справедливости, чужие заслуги, тем более заслуги приятеля, ему без надобности.

— Постой, годи, — говорит наконец Исаченко. — Ясно, как пареная репа. Раз козырек наварим, то ковш будет загребать не ноль пятых, а больше. Что же вы предлагаете?

На этот вопрос, как и на все предыдущие, отвечает один Яромчик — оказывается, друзья-рационализаторы и о предложении подумали.

— А что дальше? — говорит Тимофей. — Дальше просто. Будешь на Станции, вот ты и расскажи все директору, пускай товарищ Кавко отдаст команду мастерской наварить козырек на один ковш. Наварят козырек, проверят, а там видно будет.

— Это ваше мнение? — спрашивает бригадир. По тону нельзя понять, что означает этот его вопрос.

Машинисты переглядываются и отвечают теми же словами:

— Это наше мнение.

— Ай-йй-йй! — Ваня Исаченко цокает языком и качает головой. Он достаточно молчал, последнее слово осталось за ним. — Двое думали и ничего лучше придумать не могли! Товарищ Кавко, понятно, нас поддержит и передаст предложение Кротову, главному инженеру. Для порядка Кротов будет недельку рассматривать предложение, потом передаст мастерской. Там-то и начнется... У завмастерской всегда срочные дела, всегда завал, всегда запарка. И ковш будет валяться, ждать своей очереди... Придумали, можно сказать!

Сделав приличную паузу и заставив товарищей смотреть на него растерянно и недоуменно, он продолжает:

— А сами мы что — калеки? Отойдём в сторсночку — пускай другие волынят, сколько им захочется, а мы будем ждать? Мы что, сами не можем наварить козырек? Показать товар лицом? Мы члены молодежной бригады или, может, уже не того? Может, и переходящее красное знамя у нас забрали, а я не заметил? Может, мы самые последние на всей Станции?

Сколько слов! Даже Тимофей Яромчик не может ответить на все вопросы — куда ему! Он выбирает наименее существенный, и ему кажется, что бригадир и сам сейчас поймет, что пересолил.

— Мы? Наварить козырек? Интересно, чем это бригада наварит козырек? Столярным клеем, что ли?

— А это ты увидишь, товарищ Яромчик, — с невозмутимой важностью говорит Ваня Исаченко. — Это ты, друг, увидишь!

Гудит гудок, и через несколько минут все они расходятся в разные стороны — Тимофею Яромчику пора к своему экскаватору, Добродий и его трудолюбивый помощник идут к себе отдыхать, а бригадир Исаченко отправляется на поиски товарища Борисовского — это труд нелегкий, попробуй найди его!

Председателя нет в правлении, его нет на ферме, нет его у строящейся конюшни, везде он был, но сейчас его нет — «весь вышел», как шутит один из каменщиков, воздвигающих конюшню. Наконец в облаке пыли, в треске и мелькании колес показывается линейка — вот он, Борисовский! И Иван Исаченко, глава молодежной бригады, сразу приступает к делу.

— Скажите, товарищ Борисовский, — спрашивает бригадир, не выпуская руки председателя. Они поздоровались и стоят рядом у линейки. — Скажите, товарищ Борисовский, в каких вы отношениях с директором вашей эмтээс?

— В плохих отношениях, — отвечает Борисовский.

— В плохих?

— Хуже не бывает — цапаемся! А в чем дело?

Малость сникнув, Исаченко объясняет, что ему нужна пустяковая услуга со стороны мастерской эмтээс — наварить козырек на ковш.

— Очень нужно, прямо-таки... — добавляет молодой бригадир. Ни слова больше, он и не заикается о предложении Добродия и Яромчика.

Ну... Это и в самом деле пустяковина, в такой мелочи даже директор не откажет.

— Ладно, давай поехали, — говорит Борисовский. — Где у тебя ковш? Я перепрягу лошадь в телегу, и давай сразу повезем ковш в мастерскую...

Еще проходит день.

До чего ж трудно ничего не рассказывать уважаемому товарищу, который к тому же оказал тебе неоценимую услугу! Козырек наварен, и Ваня Исаченко ограничивается одной лишь благодарностью.

— Спасибо, — говорит он Борисовскому, только и всего.

— Спасибо, — говорит он и директору эмтээс. — Выручили, можно сказать.

Он сдерживает себя: «Может, еще ничего не выйдет». Но лошадь гонит он изо всех сил. У экскаватора ждут его Добродий и Тимофей Яромчик. Они тоже сдержанны, чуть смущены.

— Если и не выйдет ничего, то чем мы рискуем? — желая поднять общее настроение, говорит бригадир Исаченко. — Ничем мы не рискуем!

Пустые слова, вслед за ними возникает и пустой спор, кому испробовать «ковш новой конструкции», как окрестил его Тимофей Яромчик. Тот же Яромчик говорит Добродию:

— Ты, братко, кумекал, ты и берись.

— Нет, — отвечает Добродий, — давай ты.

Проходит не больше минуты, и оба они приступают к Исаченко:

— Ты, Ваня, бригадир, тебе и почин.

Они препираются, время идет, и в конце концов Исаченко соглашается — вот еще глупости, как будто в этом дело! Взгляд его растерян, пальцы как лед.

— Ну что ж, — говорит он, — раз так... — При этом голос его звучит необычно.

— Приступай, приступай, — поддерживают его товарищи. Они взвинчены до последней степени и добавляют: — Приступай, Ваня, не бойся!

— Бояться? Ха-ха!

Ваня тускло выговаривает слово, тускло произносит «ха-ха», не смеется, а именно произносит... Потом садится на экскаватор и приступает к делу. Движения его робки, в них нет обычной твердости, и это сразу передается чувствительной машине: медленно, толчками, пошатываясь, ковш поднимается, он похож на ведро, которое со скрипом ползет из колодца. Так же медленно, без напряжения, ковш вгрызается в землю и отъезжает в сторону. Можно не мерить, не проверять — больше трети кубика он не захватил...

Да. Но экскаватор работал как следует, козырек несколько ему не мешал! Исаченко охватывает ярость. «Что за чепуха, что за сентименты? — мысленно обращается он к себе, хоть эти слова лишь в самой малой степени выражают его состояние. — И сколько тебе лет? Шестнадцать?»

Обращение действует, оно производит впечатление. Теперь экскаватор работает во всю мощь, ковш роет глубоко, с какой-то шеголеватостью он описывает полукруг и, снизившись, выбрасывает землю.

— Ну как? — другим совсем тоном спрашивает Исаченко.

— Есть такое дело, — в один голос отвечает машинисты. — За ноль семь ручаемся.

— Семь десятых?

— Ручаемся, ручаемся!

— Какую же мы тут получаем рационализацию? Кажется, процентов тридцать с гаком?

Машинисты не отвечают: не время сейчас считать. Еще поворот, еще одна экскавация. Бригадир Иван Исаченко сидит на своем сиденье чуть откинувшись — главнокомандующий, да и только. Но он не забывается, нет.

— Кто хочет? — спрашивает он. — Давай ты, Добродий!

За Добродием садится на машину Тимофей Яромчик, и вновь Добродий, вновь Тимофей, Исаченко... Головы парней полны цифр, бригадир и машинисты произносят их, как стихи. Тут нужен арифмометр, который жужжал бы несколько часов подряд и лишь потом объяснил бы, какой эффект даст рационализация бригаде, Станции, всем мелиоративным станциям Советского Союза.

— Знаете что? — немного успокоившись, говорит бригадир. — Тебе, Добродий, надо сейчас же ехать на Станцию.

Ему, Добродию? Ехать? Ни за что!

— Ты бригадир, ты и езжай, — отвечает Добродий, — а я тут при чем?

Он ни при чем! Так можно сказать лишь сгоряча. Но, быть может, он согласится поехать с Яромчиком?

Они долго и горячо спорят и наконец, хоть Исаченко и упирается и отмахивается, приходят к заключению, что ехать действительно необходимо бригадиру Ивану Исаченко.

Радостный день! К концу дня прибывает бригада канавокопателей и привозит распоряжение директора Кавко — молодым экскаваторщикам, как только они закончат канал, отправиться в Тевли, находящиеся в ста с лишним километрах от Вулк. Работы в Вульках осталось дня на три, не больше, так что без ушерба для дела Исаченко может поехать в райцентр, а уж оттуда — на новый объект, прямо в Тевли. Следует лишь назначить зама, ответственного и за окончание работы, и за переезд, и за расквартировку людей в Тевлях. Кого назначить? Вопрос несложный. Можно Миколу Гречко, он распорядительный, можно и Тимофея Яромчика — Тимофей тоже не промах.

Радостный день! Но так уж, видно, устроено, что за радостью — когда сразу, когда немного погода — идет огорчение.

Незадолго до вечера — уже Исаченко разрешил все вопросы, даже вещи свои уложил в сундучок — к бригадиру приходит Зубелик. После неприятной истории на свадьбе Ване трудноато смотреть машинисту в глаза. Да и вообще, если говорить правду, настоящей дружбы у бригадира с Зубеликом никогда не было... Но машинист пришел, и Исаченко его принимает.

— Здорóво, здорóво, садись, — говорит он. Ничего больше, одно лишь приветствие.

Молчит и Зубелик, вид у него хмурый.

— Ты будто едешь в райцентр? — спрашивает наконец машинист.

— Да.

— И больше сюда не приедешь?

— Да. Увидимся в Тевлях.

— Нет, — отвечает Зубелик. — В Тевли я не ездук.

Исаченко ничего не понимает. Он лишь вопросительно смотрит на Зубелика. И Зубелик говорит:

— У меня семейные обстоятельства. Одним словом, считай, что я уволился.

Уволился? Исаченко задает ненужные вопросы, произносит ненужные слова.

— То есть как? — спрашивает он.

Потом:

— Нет, каким образом?

И еще — свое любимое:

— Без литра, можешь себе представить, тут не разберешься.

А Зубелик? Голос его тверд, решение непоколебимо.

— Если угодно, я подам тебе заявление в письменной форме.

К ненужным словам Исаченко прибавляет еще несколько:

— Если хочешь знать, — произносит он, — приказ о переезде в Тевли подписан директором Кавко.

И лишь после этих слов, немного придя в себя:

— А я никакого заявления от тебя не приму! Ни нанимать, ни увольнять я не уполномочен.

— Это твое частное дело, — твердо замечает Зубелик.

Твердеет и голос Исаченко. Что это, в самом деле?! Только и неприятности что от Зубелика — то по линии комсомола, то по производственной линии, возись тут с ним!

— В бригаде, Зубелик, нет частных дел, — говорит бригадир.

— Как тебе будет угодно, — следует ответ.

И Зубелик поворачивается спиной и хлопает дверью.

Исаченко оглядывается.

— Как вам это нравится? — говорит он, точно в хате находится человек, который присутствовал при этой сцене. — С ума он сошел, что ли?

Настроение бригадира падает. Вечереет, в хате темно и неудобно. «Вот тебе и будь здоров!» Еще так недавно он готов был считать этот день радостным, он даже представил себе одну сцену... Распахнута дверь, он входит в кабинет Алексея Николаевича Кавко. Директор, как всегда, смотрит на него поощрительно. Сейчас он еще и ждет, он точно предчувствует, что комсомолец Исаченко сообщит ему нечто из ряда вон выходящее, необычайное... И Ваня берет слово. Как хорошо говорить, зная, что тебя жадно, с интересом слушают! Ты словно растешь в собственных глазах, ты медлишь, ты задаешь вопросы и сам же на них отвечаешь. Знает ли Алексей Николаевич такого парня, как Добродий? А Тимофея Яромчика? Тоже не знает? Ничего нет удивительного — можно разве знать всех работников Станции? Так вот, эти парни такое придумали или, как говорит Яромчик, скумекали...

Все пропало, все пошло прахом. Изволь прежде всего доложить о том, как один машинист, бывший комсомолец, бросил работу. То есть как? Очень просто. «В Тевли я не ездук», — сказал он и показал спину. «Но ведь ты бригадир, ты должен был выяснить все обстоятельства», — не без основания заметит Алексей Николаевич. «Ничего больше выяснить я не мог, машинист хлопнул дверью...»

Темно и неудобно в хате, ненамного лучше и на дворе. Надо взять себя в руки. «В жизни всякое бывает», — так, кажется, поется в какой-то песне. Но одно дело песня, другое совсем — жизнь, внезапный поворот, чрезвычайное происшествие, за которое ты в ответе. Изволь поэтому взять себя в руки, тебе не шестнадцать лет!

Что делать? Завтра на рассвете Исаченко покинет Вульки. Здесь он познакомился и — насколько позволило время — сдружился со старшим товарищем, с замечательным человеком, который может и должен стать примером не только для него, Исаченко, но и для всей молодежи. Можно ли уехать, не попрощавшись с ним?!

И Ваня идет в правление колхоза.

В этот час Борисовский у себя, он составляет разнарядку на завтрашний день. Оказывается, бригадир канавокопателей был уже у него, познакомился с ним. «Ты насчет расквартировки?» — спросил Борисовский у нового бригадира. «Нет, мы поместимся в хатах, где жили экскаваторщики», — ответил тот.

— Значит, уезжаете, товаришок?

Борисовский встает из-за стола, рука его протянута — мозолистая, трудовая рука, ее не раз с удовольствием пожимал Исаченко.

— Да, товарищ Борисовский,— только отвечает Ваня. — Ребята еще задержатся дней на несколько, все чисто закончат, а я завтра смогаюсь в райцентр.

Коротко? Даже немного суховато? Но подробнее, многословнее нельзя. Ибо иначе придется рассказать и еще кое о чем... А можно разве омрачить прощание?

— Вы, я вижу, заняты,— говорит Ваця и продолжает, не дает Борисовскому возразить.— Пожалуйста, действуйте, не беспокойтесь, пожелаю вам от всего сердца, от всей души...

И, до крайности взволнованный, Исаченко покидает кабинетик председателя Вулькинского колхоза.

Все? Теперь будто все. Как сквозь сон, как в тумане, Ваня вспоминает сжатое поле, снопы на нем, вопрошающие глаза Дуси-телятницы, ее голос... Нет сомнения, что она сейчас в телятнике. Нельзя сомневаться и в том, что ему, Ване, следует попрощаться с нею — ведь он на рассвете уезжает.

Но он так сильно занят, так много у него дел! Необходимо еще раз поговорить с Миколой Гречко — именно его, мирового парня с золотым зубом, он назначил своим замом.

И Ваня спешит к Миколе Гречко.

Он и не думает о том, почему он так невнимателен к девушке, чьи васильковые глаза светятся и сияют, глядя на него, чье сердце замирает, чьи губы дрожат, и если она заговаривает, то от смущения самое обыденное, самое простенькое и незначительное... Больше того, он ничего не замечает, решительно ничего, он равнодушен, холоден, бесчувствен...

Глава двадцатая

Обидно приехать в райцентр часам к семи, когда нужный человек отсутствует — он только завтра вернется, и учреждение закрыто — тоже до завтрашнего утра. Прибавьте к этому тягостное настроение и то, что кругом чужие и, как большинство чужих, равнодушные к твоим неприятностям люди. Что предпринять? Прежде всего запастись койкой в общем номере для командировочных — койкой в шесть рублей, а уж потом, делать нечего, бродить по городку, бродить до полного изнеможения, до тех пор, пока мысль о том, что тебя ждет подушка, покажется чуть ли не утешением.

Против «Гостиницы № 2» (года три тому назад была и «Гостиница № 1», но за ненадобностью ее ликвидировали, наименование же действующей осталось прежнее — «Гостиница № 2»), против «второй» гостиницы — бульвар, насаженный после освобождения райцентра, и Ваня Исаченко отправляется туда. За двенадцать лет бульвар разросся, шумят тополя, зеленые, с множеством листьев, как в первые месяцы лета. В центре бульвара, на могиле солдат, павших в боях у горедка, стоит памятник — большой, похожий на деревенскую печь. Его, видно, несколько раз перекрашивали, и Исаченко с трудом читает имена павших воинов. Как выглядел Николай Долгих? Это был сибиряк, рослый, темнолицый, с ясными глазами. Рядом с ним — Игнат Шовкопляс, украинец. А вот и Константин Перезявка, быть может земляк-витебчанин, там тоже были Перезявки... Интересно, почему в тягостные минуты и мысли подбираются тягостные?

Что делать? В местном кино идет картина, но сеанс начнется часа через полтора. И Ваня продолжает прогулку по городку. Тир и тот закрыт. Только мороженщица со своей тележкой стоит на перекрестке и читает

книгу. Исаченко задерживается на мгновение — на одно лишь мгновение: даже мороженого поест неохота, тошно.

Минут двадцать, не меньше, сидит он на дощатой автобусной станции. С шумом подходит автобус, из всех пассажиров — а их много, машина полна — только один выходит на остановке. Это худой и не по годам рослый паренек лет шестнадцати-семнадцати, он, видать, впервые в райцентре, он оглядывается, спрашивает у старухи, как пройти на Колхозную улицу, а через десяток шагов задает тот же вопрос прохожему, и Ваня вспоминает свой первый вылет из материнского гнезда: так же он оглядывался, так же недоверчиво переспрашивал... Как давно это было!

Потом Исаченко стоит у витрины дежурного универсама. Судя по всему, витрину оформлял большой фантазер: из кусков туалетного мыла выложен высотный дом, его окружает пуговичный забор, кружева образуют ровные и извилистые дороги, расчески — ворота, калитку. А над всеми этими красотами призыв, его сложили из катушек: «Да здравствует 1 Мая». Опоздали, голубчики, пора подумать о новом призыве — октябрьском.

Время до невозможности замедлило свой бег. Что бы такое купить? Расческу? Их в универмаге много, выбирать можно долго... Ваня входит в магазин, у свободной продавщицы просит расческу, и тут — продавщица не успевает удовлетворить его просьбу — его пронзает голос, единственный в мире...

Это, конечно, галлюцинация слуха, и, чтобы продлить счастливое оцепенение, он закрывает глаза. Голос продолжает звучать. Сейчас и подумать страшно, что все это исчезнет, все окажется ошибкой. Да и каким образом Лиза могла очутиться в райцентре, зайти в дежурный универмаг и стоять недалеко от него? Но ведь все может быть, все может случиться! А как, собственно, он очутился в райцентре, как попал в магазин?

С закрытыми глазами и с улыбкой, растянувшей губы, Ваня переступает с ноги на ногу. Теперь — и уж с мыслью о том, что вот-вот бритвой по горлу полоснет разочарование и он убедится в своей ошибке, — он открывает глаза. Вместо кепки, повернутой козырьком к затылку, он видит клетчатый яркий платок. Неприятно удивляет и рост, и смотрит вниз и вздыхает с облегчением: она в туфлях, высокие каблуки делают ее выше. Тут он вновь слышит голос — ее, только ее, это она отвечает своей продавщице:

— Нет, ленты мне не нужны.

Но ведь ему сегодня не везет — ни сегодня, ни вчера! Вот она повернется... Ошибка, бред, сумасшествие!.. Глядя на хвостик ее платка, который чем-то похож на вороний клюв, он повторяет:

— Я просил расческу.

И сразу исчезают все сомнения. Лиза, Лиза поворачивается лицом к нему!

— Ваня, — говорит она, и краска заливает ее лицо, даже часть шеи, не прикрытая платком, краснеет.

— Он самый, — настоящим мужским голосом, немного даже с хрипотцой, отвечает он.

Непонятно, откуда и так неожиданно взялась эта солидность! Непонятно и то, каким образом в такой неподходящий момент всплыли в памяти ее «нет, нет», все муки, которые он перенес, ее отъезд без «будь здоров», без «до свидания», даже без «прощай»...

— Он самый, — еще раз говорит Ваня. Потом он добавляет нечто совсем невозможное: — Ну, как мы живем-поживаем?

— Давай выйдем, — говорит она. Ленты ей не нужны, ничего подходящего в дежурном магазине нет.

— Можно, — отвечает он и вместе с нею направляется к выходу. Но тут он слышит недоумевающий голос продавщицы:

— Гражданин, вы просили расческу!

— Я просил расческу? — удивленно спрашивает Ваня. — Ах да! Давайте расческу!

— Какую?

— Это не имеет значения, какую хотите!

Они выходят наконец из магазина. Оказывается, Лизин бригадир послал ее на Станцию, а директор уехал, он только завтра прибудет. Кроме того, Лиза решила отправить свои бумаги в заочный институт.

Они идут на бульвар — там много скамей, можно посидеть. Лиза в очень милом платье с широким кожаным поясом, платочек ей к лицу. Изменилась ли она? Не очень, но все же изменилась: ведь и ее дни не даром проходят. Ваня смотрит на нее и думает, что если б она не заговорила в универмаге, он бы ее не узнал. Точно так же он мог ее не увидеть, если б не зашел за гребешком. Что потянуло его в магазин?

Лиза развязывает узел на шее, снимает платок с головы — и перед Ваней прежняя Лиза с верхней губой, которая так забавно оттопыривается, с родинкой... Ни капли, ни капли она не изменилась!

Точно догадываясь о его мыслях, она говорит:

— Бывают же такие совпадения.

Она, ясное дело, имеет в виду их встречу. Говорит она спокойно, по ее голосу нельзя узнать, довольна она совпадением или, может, ей все равно.

— Как ты живешь? — спрашивает он.

— Я ничего, то есть хорошо. А ты?

Все больше темнеет, и, чтобы увидеть ее лицо, он достает папиросу, зажигает спичку. В темноте глаза ее кажутся черными. Он хочет ей ответить таким же неопределенным, пустым образом, но вдруг с сокрушающей прямоотой говорит:

— А я живу плохо!

Понимает ли она, что с ним происходит?

Как бы для того, чтобы лучше его разглядеть, она придвигается к нему и едва слышно, слабо спрашивает:

— Почему?

Голос ее дрогнул? Все равно: больше никаких недомолвок не будет, с той поры, как они танцевали и он летел в пропасть, прошли не месяцы, нет, — долгие и долгие годы.

— Потому что ты мне сказала «нет», — твердо говорит он. — «Нет и нет», сказала ты.

Проходит немало времени.

— Ваня, пойми же! Ты ведь за мной никогда не ухаживал...

Ах, так! Ваня сейчас тверд как алмаз. Он ни на что не хочет намекать и не собирается ей делать больно. Но свою боль — свою боль он не намерен больше прятать... Пусть Лиза знает, пусть хоть частично чувствует его страдания!

— Я что же должен был делать? — спрашивает он. — Пожалуйста, скажи! Я должен был стать франтом, купить шляпу, а тебя угощать конфетами? («Что я говорю, какую чепуху я говорю!») А что ты вообще назначаешь ухаживанием? И как это ухаживают?

— Я не знаю, — отвечает она.

— Вот видишь, ты тоже не знаешь. Тем не менее ты сказала «нет»!

— Погоди, — говорит она.

И прямо, без запинки, рассказывает о своих отношениях с Зубеликом. Она ничего не утаивает, ничего, даже поцелуи машиниста.

Ваня слушает, ему тяжело. Да, но ведь это прошлое, и сама же она говорит, что ошиблась в Зубелике! Еще бы ей не ошибиться! Знала бы она о дальнейших его художествах!

Но об этом он, понятно, ей не говорит. Все это прошлое. Есть будущее — у нее и у него, — и неужто свое будущее они и сейчас упустят?!

— Идем, походим, — говорит он и, как заправский кавалер, берет ее под руку.

Они гуляют по бульвару, обходят его несколько раз. Уже зажгли фонари, и небо кажется темно-синим.

— Как у тебя идет работа? — спрашивает Ваня, он по-прежнему держит ее под руку.

— Если говорить правду, — неважно.

— Почему?

— Я, конечно, работаю, как работала. И с людьми у меня контакт. Но в молодежной бригаде мне было лучше.

Важное признание. Ваня мог бы ей сообщить, что теперь нет никаких оснований, которые могли бы ей помешать вернуться в молодежную бригаду: во-первых, тот женился, во-вторых, тот отказался ехать на новый объект.. Но Ваня щадит ее. Совсе не обязательно, чтобы она даже частично почувствовала ту боль, которую он перенес!

— У меня, можешь себе представить, освободилось место машиниста. И если ты принципиально согласна, то я поговорю с Кавко...

— Нет...

Он не дает ей кончить, он обрывает ее на первом слове:

— Ты опять говоришь «нет»? Ну, знаешь ли...

— Нет, я говорю «да». Но сейчас это невозможно.

— Вот тебе раз! Почему?

— Потому что работа на нашем объекте идет к концу. Я думаю, что через неделю...

— Неделю мы можем подождать. Дело в том, что мы вводим одну рационализацию. Представь себе, Добродий и Яромчик.. Но в скорости ты услышишь об этом. Значит, я поговорю с товарищем Кавко, с этим покончено, — заключает Ваня категорическим тоном.

Беседа, они покидают бульвар. На перекрестке все еще стоит мороженщица со своей тележкой. Ваня выпускает Лизину руку и через минуту возвращается с двумя вафельными стаканчиками.

— Бери, — говорит он и протягивает ей один стаканчик.

— Спасибо, — говорит она и задумывается. «В самые трудные моменты моей жизни меня всегда угощают мороженым, — думает она, вспоминая свою беседу с комсоргом Раисой Ботвинко. — Сколько же времени прошло с тех пор?»

И ей кажется невероятным, что с тех пор прошло несколько месяцев, только несколько месяцев, — всего лишь одно лето...

Еще вчера Ваня никак не мог решить, с чего начать беседу с Алексеем Николаевичем Кавко. Начать ли с рационализации? Предложение Добродия и Яромчика не может не порадовать директора, тем более что оно проверено на практике. Можно себе представить, как Алексей Николаевич задымит трубкой, как будет потирать руки и возбужденно шагать по кабинету... Ну, а потом? Когда ликование Кавко уляжется, Исаченко придется огорошить его рассказом о Зубелике. Машинист, член молодежной бригады уволился! «Не поеду», — сказал он и повернулся к Исаченко спиной... А не начать ли именно с этого? Но тогда рационализация потеряет для Кавко весь интерес, он не сможет ее ни понять, ни оценить по достоинству...

Это было вчера. Сегодня к двум вопросам присоединяется третий — возвращение Лизы Дидюк в молодежную бригаду, — и все три вопроса чудесно укладываются, идут друг за другом.

Ваня только говорит Лизе:

— Знаешь что? Дай я раньше зайду к Алексею Николаевичу. У меня целых три вопроса, в том числе и твой перевод в молодежную бригаду. А потом ты зайдешь и в случае чего сможешь подтвердить...

Глава двадцать первая

Молодежная бригада уходит из Вулк... Туча сеет мелкий дождичек. Жемчужной пылью он висит в воздухе, оседает на одесду, сединой блестит на волосах. Начало осени... Парадом командует Микола Гречко,— да, это, если угодно, парад, который происходит раз в два, три, четыре месяца. Можно обогнуть Вульки, проехать мимо деревни. Но сегодня воскресенье, деревенский люд дома, и Микола едет через Вульки.

По случаю такого события Гречко надел болотные — выше колен — сапоги, двубортную, из очень толстого сукна, куртку и каскетку с блестящим, лакированным козырьком. Правда, козырек скоро теряет свой блеск, становится матовым: дождичек идет и идет.

— Пристроиться, пристроиться! — перед тем как въехать в Вульки, командует Микола Гречко и машет рукой. В команде нет надобности — экскаваторы в строгом порядке и через определенный интервал следуют друг за другом.

Необычное зрелище! Лязг и тарыхтение скликают народ, и вот уже из хат выходят люди, они стоят по обеим сторонам улицы. К машинам вулькинцы успели привыкнуть — повидали мы кое-что за эти годы, не в диковину нам и тракторы и комбайны, в том числе и самоходные. Но экскаваторы, экскаваторы! Они начали осушение болот, они сказали первое слово. Как тут не проводить их добрым пожеланием, благодарным взглядом? Прощайте, дорогие наши зачинщики! Хорошо вы потрудились и хорошую славу о себе оставляете, будет, будет чем помянуть вас и нам и нашим детям, когда они подрастут!

Борисовский заседает со своими правленцами, с заведующими. Работы впереди... ох, сколько! Лен и просо, картофель и конопля, кукуруза для силосования! Силосом надо запастись так, чтобы его хватило до свежей травы, чтобы надой молока все рос и рос,— у Борисовского портится настроение, когда кривая надоя падает даже немного, даже чуть-чуть. А строительство? А пятилетний план, когда ни болота, ни хуторов больше не будет и лицо Вулк станет иным?

Много работы, много хлопот у Борисовского! Но во время заседания его слух ловит металлические, пока тихие, едва слышные звуки. Ах да, сегодня уходят экскаваторщики! Был у него на днях товаришок, ихний бригадир, он докладывал, как же! Борисовский отодвигает бумаги, подпирает голову, лицо его светлеет. Уходит бригада осушителей, она нанесла первый удар болоту — вдоль рассекла его глубоким каналом. И председателю колхоза приходит на ум сказка о богатыре — ее он читал в далеком детстве. Богатырь отсек голову чудовищу, но чудовище продолжало жить и извиваться до тех пор, пока оно не было добито до конца.

— Добьем,— произносит он вслух, и все смотрят на него с удивлением.— Сдюжим!

Все громче лязг и грохот, все звонче.

— Минуточку,— говорит Борисовский и выходит на крыльцо.

Выходят вслед за ним правленцы, заведующие. Впереди, на головной машине, молодецкий парень в болотных сапогах и двубортной куртке, он улыбается, и золотая его улыбка сияет, она сияет, несмотря на дождевую пыль. И предколхоза спускается к нему, машет кепкой. Микола Гречко останавливает машину. И зам и пред обмениваются крепким рукопожатием.

— Будьте здоровеньки,— говорят они друг другу.— Привет, привет! Желаю, одним словом!

Бригада движется по деревне. Какой шум и лязг! Даже привыкшая к грохоту Ольга Яромчик оглохла, одеревенела, она смотрит вдаль и не сразу замечает, что за нею гонится, и размахивает руками, и что-то кричит ее

новая приятельница, хуторская Текля, Текля Зубелик. Слов не разобрать, она что — прощается? Машины движутся медленно, Ольга ловко спрыгивает. И вот, оглушенные тарыхтением и звоном, Текля и Ольга идут рядом и не говорят — кричат друг другу на ухо. Может быть, поэтому так отрывочно и непонятно звучат их слова.

— Куда это вы? — спрашивает Текля, лицо ее вытянулось, вид у нее удивленный.

Вот тебе и раз! Что это она — прикидывается дуручкой? Девчонкой? Слава господу, она теперь замужняя женщина, жена Зубелика, а не посторонний человек, который ничего не знает.

Но Текля смотрит на Ольгу в упор, глаза ее расширены, она ждет. И Яромчик отвечает:

— Как это — куда? Известно, в Тевли.

Минуту они молчат. Ольга искоса поглядывает на Теклю. Правду говорят старики — пуд соли надо съесть, чтобы узнать человека. Вот идет рядом с нею хуторская девушка, нет — молодлица. Ольга как будто ее знает, и неплохо. Текля не дуручка, нет, она и правдивая и прямая. Зачем ей притворяться? Какой в этом смысл?

— А ты что — не знаешь? — спрашивает Ольга.

— Так ведь мой в отпуску, — замечает Текля.

Хорош отпуск, что и говорить! На прощание жена Зубелика решила рассмешить Ольгу Яромчик. И Ольга полностью принимает шутку, хохочет.

— Хорош, хорош отпуск!.. — выкрикивает она и хохочет. — Отпуск на вечные времена!

Она долго смеется, она идет рядом с Теклей и смеется. А Текля? Она серьезна, смущена и смотрит с удивлением.

— В отпуску, — повторяет она.

Они идут и идут, и скоро Ольга убеждается, что Текля и впрямь ничего не знает. Зубелик, ее орел, ничего ей не сказал или наплел, выдумал сорок бочек арестантов. Ах он, подлец, распоследний человек! Осрамил одну, а другую — и похуже того, еще не известно, что он затеял! Но о Лизе Дидюк Ольга Яромчик ничего не говорит — молодлице и так сейчас муторно и горько. Нет, она рассказывает лишь самую последнюю новость: Зубелик уволился, проще сказать, бросил работу — бросил, не захотел поехать, у него, видишь ты, обстоятельство... Она верит Текле, но верит не на все сто, и поэтому осторожно спрашивает:

— А может, и верно, у Зубелика обстоятельство? Может, твой батько его не пустил? Может, ты, как говорится, с прибылью и Зубелик не захотел тебя оставить?

Текля молчит. И когда Ольга поднимает голову, то видит, что глаза у молодлицы изменились. Они как стеклянные или какие-то очень круглые и полные. Еще мгновение, и большие слезы катятся по ее щекам, их нельзя остановить. Она ничего не может сказать на прощание, ни слова, она протягивает руку и быстро уходит.

«Вот они, мужики, верь им! Есть ли среди них хоть один, который не смотрит в лес?»

Ольга Яромчик задает себе этот вопрос, она расстроена. Проходит немного времени, и сама жизнь отвечает ей. Нет, нет таких мужиков, все они одинаковы, все изменники, даже самые на вид тихие!

Незнакомая Ольге девушка несколько раз пронесится мимо нее. Вид у девушки потерянный, она то бежит к головному экскаватору, то возвращается, она вглядывается в каждого машиниста, в каждого помощника и нижника. Интересно, кого она ищет? Она неуверенно смотрит на Ольгу и все чаще задерживается рядом с нею на секунду, на две — догадывается, видно, что Ольга — не последний человек в бригаде. Наконец смятение,

жалость к себе, отчаяние делают незнакомку смелой и, поравнявшись с Ольгой, она спрашивает:

— Вы с ихних... с этих?

Странные у девушки глаза — большие, васильковые, странный голос — ей точно не хватает воздуха и она говорит с придыханием, разрывает вопрос на части.

— А конечно, — с достоинством отвечает Ольга.

Молчание.

— Был у вас бригадир... Ваней звать...

— Ну как же, был и есть — Иван Исаченко!

— Где он?

Где бригадир Исаченко? Ответить легко и просто. Но не такой Ольга Яромчик человек, чтобы ограничиться одним ответом, и она в свою очередь спрашивает:

— А вам зачем?

— Я хотела ему сказать «до свидания»...

Вот как! А зачем, собственно, говорить ему «до свидания»?

— Он очень хороший, Ваня, и раз вы уходите, и он уже уехал, и мы расстаемся... Вы ему только передайте... Дуся сказала «до свидания»...

«Эх, Дуся, деточка! Ты, конечно, и не догадываешься, на что способна мужская порода! Взять того же Ваню. Тихий, тихий, а вот, смотри, вредливый, он прятал концы в воду, никто не знал, не думал, что и он крутил здесь любовь — и с кем? — с такой лозиночкой, с таким ангелочком! А уехал и забыл не то что приласкать, — сказать доброе слово, сказать «прости». Ну, разве же не подлый народ эти мужики?»

Ничего этого Ольга не говорит. Она смотрит на Дусю с жалостью, потом хмурится. Одна умчалась с мокрыми от слез щеками, другая идет и вздыхает... Ваня Исаченко, бригадир, подумать только!

Ничего этого Ольга не говорит. Обоз покидает Вульки, последние хаты остались позади. И так как незнакомая Дуся продолжает шагать рядом, Ольга произносит:

— Передам, не беспокойся! Так и передам: Дуся сказала «до свидания»...

Зубелик спал — как и рано утром, когда Текля собралась в вулькинскую потребилку за солью и спичками.

Хорошо спится в ненастные дни! Одно лишь — мухи свирепы, и, чтобы они не очень кусали, Федор головой зарылся в подушку. Сдерживая дыхание, Текля остановилась у кровати. Она слышала, как бьется сердце, как стучат ходики, как посапывает Зубелик. Вдруг она вспомнила, что забыла о спичках и соли, и, оглянувшись, торопливо стала будить мужа...

Еще до свадьбы, в тот день, когда Зубелик посватался, он как бы перенес ее в свой счастливый мир, где люди не только работали, но и учились, ездили по городам и селам, жили одной семьей. Ах, как мечтала она об этой новой жизни, какие строила планы! Пройдет месяц, пройдет неделя, пройдет несколько дней, и она навсегда покинет хутор... И вот счастливый мир исчез, он навсегда ушел вместе с машинами, вместе со всей бригадой, вместе с говорливой Ольгой Яромчик... Но ведь этого не могло быть, не должно было быть! И ей представилось, что стоит Зубелику открыть глаза, сказать несколько слов, и сразу развеются черные мысли, все будет по-прежнему — легко, просто, радостно.

— Вставай, вставай, — теребя Зубелика, шептала она. В доме, за дверью, никого не было, но она говорила шепотом. — Вставай скорей!

Как у всех внезапно разбуженных, взгляд его красноватых глаз был тревожен. Он приподнял голову и тотчас же вновь опустил ее. Текля села рядом на кровать и вновь, оглядываясь, принялась его теребить.

— Вставай, скорей вставай!

Она говорила шепотом, голос ее срывался. Она спешила — бригада оставляла деревню. Слезы высохли, и вновь мелькнула мысль, что Ольга Яромчик напутала или пошутила, недаром же она так смеялась. Надо только, чтобы Зубелик скорее очнулся, и тогда он все объяснит.

— Ну чего ты? — спросил он наконец.

Скачущим голосом, глядя на него со страхом и надеждой, она стала рассказывать.

— Погоди, — оборвав ее на полуслове, недослушав, произнес он и усмехнулся. — А тебе не все равно? Что в отпуск, что уволился — одна честь...

Он также говорил шепотом и смотрел на дверь, и этот шепот, косые взгляды, которые он бросал, были красноречивее его слов. Ей все еще хотелось вернуться к тому времени, когда она твердо знала, что он в отпуску, скоро бригада переберется на новое место, вместе с бригадой поедут и они, Зубелики, навсегда оставят хутор, и она напомнила:

— Ты и батьке говорил, что у тебя отпуск, еще ты вчера говорил!

Теперь он сидел рядом с нею. Волосы его были спутаны, он был недоумен, все больше хмурился.

— А тебе не все равно? — вновь спросил он. — Мне что — детей с ними крестить? — Он искоса посмотрел на нее и добавил: — Мне эта бригада без надобности. Они мне не компания...

— Нет! — воскликнула она и умолкла. — Нет, — точно испугавшись своего крика, тихо повторила она, и таким жалким и растерянным стало ее лицо, так оно исказилось, что Зубелик посмотрел на нее с удивлением: впервые он видел ее в отчаянии. — Мы тут не можем, не можем...

Не можем? Зубелик продолжал смотреть на нее с удивлением, он хотел и не мог ее понять.

— Погоди, — сказал он, боясь, что она заговорит и нарушит ход его мыслей. Пальцами он коснулся ее подбородка, приподнял ее голову. Он посмотрел на ее красное от возбуждения лицо, глянул в ее тревожные глаза и вдруг догадливо усмехнулся. — Вот ты что! Так ты ж учи: я папаше весь хлеб отдал — что на Станции получил, то полностью ему отдал и ни копейки не попросил. А теперь — потребует он, я за харч буду платить, могу и за тебя платить, если он захочет...

Она порывалась его перебить, и, заметив это, он продолжал:

— Ты чего боишься — я без работы останусь? Малость отдохну, оглянусь, поблизости работа машинисту всегда найдется. А жить здесь будем, на хуторе.

— Нет! — Отчаяние, то, что он не понимал ее и она не могла найти слов для объяснения, мучило ее. — Ты ж папаше ничего не сказал, — неожиданно для себя заметила она. — Ты ж папаше и маточке говорил — отпуск у тебя!

— Ну и что? Скажу — остаюсь, вот и все!

Значит, это правда! Она отстранилась от него и по-бабьи стала раскачиваться из стороны в сторону.

— Не будет нам счастья! — сорвавшись, крикнула она. — Нельзя нам жить вместе с отцом, нельзя... Какая тут жизнь на хуторе, сам посуди!

Он попытался ее успокоить. Не все ли равно, где жить и работать — здесь или там? Машинисты везде нужны. Что помешает ему работать поблизости и жить на хуторе? Он говорил и говорил, он выискивал все новые причины, почему решил остаться на хуторе. Хорошо ли ей — единственной дочери — оставить стариков одних, бросить добро? Кочевать с места на место, по нескольку раз в год переезжать из деревни в деревню, — что хорошего в этом? Потом он заговорил о молодежной бригаде. Уж он-то ее знает, раскусил ее как следует! Недруги, обидчики — вот они, члены бригады! А Исаченко? А Гречко? А эти Яромчики? Все они волки, все

только и хотели ему зла. Они завидовали ему, завидовали его счастью. Довольно он от них натерпелся!

— Ой, что ты! — воскликнула она. — Хорошие они, дружные! А эта, что на свадьбу приезжала? — Текля живо представила себе Софью Павловну, вспомнила ее слова... Никогда, выходит, она больше ее не увидит, ни ее, ни других, они уехали, а она осталась на старом месте, все в ее жизни останется по-прежнему... Слезы вновь полились из ее глаз, и, раскачиваясь из стороны в сторону, она повторяла:

— Не будет, не будет нам счастья! Не можем мы на хуторе оставаться! Не сможем со стариками жить, я знаю!

ЭПИЛОГ

Осень.

Она едва заметно начинает свой труд, один лишь календарь твердит о ее приходе. В густых кронах берез возникли желтые крапинки — уж не лучи ли заиграли на отвисших ветвях? Слышней, сердитей залепетала осина, все чаще стала показывать свинцовую изнанку своих листьев. Ветер заиграл вышитым фартуком на придорожном кресте. Заморосил дождик, заморосил и утих, и вновь — еще ярче, золотистой — блестит солнце.

Но вот осень вошла в полную силу, овладела и щетинистыми полями, и изрытой землей, где валяется картофельная ботва, и до оскомины изумрудными озимыми, и обнаженным сквозным лесом. Аспидные тучи закрыли небо, они совсем темны, кажутся черными, даже вороны, которые с ужасным криком носятся стайками, едва заметны. Сумерки, с утра до вечера сумерки. И с утра до вечера и с вечера до утра хлещет дождь.

Осенние дожди в Белоруссии! Горько путнику, поздней осенью пробирающемуся на своей телеге по проселочной дороге... Колеса по ступицу утонули в жидком болоте, телегу мотаает из стороны в сторону. Беспощадный, однообразный, льет и льет дождь, и уж все насквозь промокло — солома в телеге, рядно на соломе, свитка путника, его сморщенные и озябшие руки; ими он кое-как держит веревочные вожжи, погоняет лошаденку и вожжами и сердитым и безнадежным понуканием: погоняй не погоняй — все без толку. До дрожи в животе промокла лошаденка, шерсть ее потемнела, хомут воняет дегтем, она прядает ушами, и всем своим жалким видом — скользящими копытами, согнутыми в коленях ногами, поджатым задом, мочальной гривой — похожа на детский рисунок.

Горько путнику, пробирающемуся на своей телеге по проселочной дороге. Еще горше путнице, ночью бредущей в эту лихую пору... Темень никогда будто не кончится. И как настойчива, беспощадна непогода, как холоден сильный дождь, в особенности если человек только что поднялся с постели, вышел из душного, ночного тепла!

Текля быстро, лихорадочно натянула одежду и неслышно, держа в одной руке мужнины резиновые сапоги, в другой узелок, выскользнула из дома. Мгла, дождь, ветер остановили ее на пороге, несколько минут она стояла, прислонившись спиной к двери. Никто ничего не слышал, дома продолжали спать. Из руки в руку, стараясь его заслонить, она переложила узелок. Хлеб, конечно, размокнет, превратится в кашу, тут ничего не поделаешь. Но двадцатипятирублевую кредитку следовало спрятать поглубже. Недолго подумав, она расстегнулась, бумажку спрятала на груди.

Она шла наугад, осторожно, широко ставя ноги. Все еще стояла тьма, а ведь давно пропели вторые петухи — Текля была тогда дома, лежала рядом с мужем, ощущала его тепло. Иногда она поперек переходила тропу, ногами щупала землю, делала несколько шагов в сторону — все рав-

но ничего не разберешь. Как будто давно пора хуторской тропе влиться в проселочную дорогу. Что-то все цеплялось, хватало за ноги, и она не сразу догадалась, что это картофельная ботва. Откуда быть ботве на тропинке? Она споткнулась: горка — и, не думая, опустилась. Ночью ее не могли спохватиться, спешить, значит, некуда.

Совсем близко, тяжело и по-ночному утробо, вздохнула корова, и Текля вздрогнула. Значит, она, не иначе, на задах вулькинских хат, вот куда ее занесло!

Оставалось ждать рассвета. И как только вперебой запели третьи петухи, как только посерело, она быстро поднялась, быстро выбралась на дорогу.

Никто из вулькинцев не попадался на ее пути, да и кому охота в такую рань оставлять хату? С каждым разом она все с большим трудом вытаскивала ноги из жижи, она точно месила ее, месила и месила, и порой казалось, что она стоит на одном месте. Дождь не переставал лить, ледяные капли стекали с платка, скользили по телу, но ни холода, ни влаги она уже не ощущала. Туман держал ее в тесном и плотном кругу, она видела лишь на расстоянии двух-трех шагов.

К утру она вышла на шоссе. До автобусной остановки было километра три, не больше. Сюда приходила она не раз, не раз смотрела, как, подобно живому существу, дыша и отфыркиваясь, с какой-то непостижимой легкостью и в то же время заставляя дрожать каменную дорогу, останавливался автобус. Потом машина убегала дальше — в иные деревни, в города, в иной мир.

Теперь, на остановке, она сидела под грибообразной, на одном столбе, крышей. Беспорядочной дробью дождь стучал по жестяным листам. Ветер менял направление, злые капли залетали под крышу, кололи разгоревшееся от усталости лицо. Никого под грибом не было, и вдруг Текля решила, что автобус может не прийти — на день, на два задержался из-за непогоды. Она развязала узелок. Хлеб весь размок, пропал. Испугавшись, она подумала о двадцатипятирублевке. Рука все еще была во влажных морщинах, как после долгого купания, и Текля осторожно нащупала кредитку. Деньги как будто были в целости. Она облегченно вздохнула, прислушалась. Сквозь шум дождя она услышала иные, сильные звуки. Веерами разбрызгивая воду, к остановке подошел автобус.

Впервые в жизни сидела она на пружинистом сиденье автобуса. Казалось, шоссе с белыми камнями по обочине, с дождевым туманом вокруг, с невидимой землей по обеим сторонам дороги неслось мимо окна. Людей было мало, никто не обращал внимания, как с Теклиной одежды струилась вода, и это утешало ее. Еще больше утешало, что автобус вез ее в райцентр, на Станцию, к Софье Павловне, — в ее сознании и райцентр, и Станция, и Софья Павловна слились в одно.

Наконец автобус остановился, она быстро выбежала, оглянулась и почувствовала себя одинокой на чужой остановке, на чужой площади, среди чужих домов и людей. Автобус ушел — один он связывал ее с хутором, с Вульками, — даже люди в автобусе казались и ближе и лучше, они как бы взяли на себя труд доставить ее на Станцию, из рук в руки передать Софье Павловне...

Чужбина, чужбина! Даже Станцию ей не сразу могли указать, и она сначала попала на вокзал, потом на пристань. Следовало подыскать более точное объяснение, и она обнаружила в своей памяти и произнесла новые для нее слова — мелиорация, экскаваторы... На большом дворе Станции, у пытящей мастерской, рядом с другими машинами она увидела экскаватор и обрадовалась ему, как близкому, родному человеку.

Но какое горе оглушило, спутало весь строй ее мыслей на Станции! Софьи Павловны не было; все, к кому она обращалась, сказали ей об

этом. Она ничего больше не могла произнести, ничего, кроме трех слов — «мне Софью Павловну», — и, отвернувшись, заплакала в полутемном коридоре. Она была одна, и не только здесь, на Станции, но и во всем мире.

Слезы принесли облегчение, вновь родилась надежда. Вернуться ни с чем она не могла, и сознание подсказало ей новые вопросы. Сейчас она рада была тем словам, которые услышала в ответ. Софья Павловна находилась в одной из бригад, пробраться туда, как ей объяснили, было нетрудно.

В бессонные ночи она много и часто думала о своей беседе с Софьей Павловной. Они должны, обязаны встретиться, и они обязательно поговорят. Как плавно текла речь! Начать следовало с того, как заупрямился Федор, не захотел поехать с бригадой, отказался от работы. Но он и не заикнулся об этом; и ей и отцу он говорил об отпуске — говорил неправду. А когда она узнала, что Зубелик уволился, он запретил ей упомянуть об этом. «Молчи!» — приказал он, и она молчала, таилась и молчала.

Но скоро она поняла, что молчать невозможно, как невозможно оставаться на хуторе, жить по-прежнему. Началась осень, близилась зима, и Текля с ужасом представляла себе горы снега, они, как встарь, отгородят ее от всего мира... Что же это такое?! Где та новая жизнь, с которой она мысленно свыклась, о которой так легко и хорошо думалось? Несколько раз она заговаривала с Федором и, с трудом находя слова, делилась своими горестями. А Федор? Он не понимал ее, не хотел понять. «Мы не на отцовской шее сидим, — говорил он, — и не едим его хлеб...» Правда, отец косился на Федора, не ладил с ним, часто они ругались, но разве в этом было дело?! Скоро Федор стал искать работу и нашел ее, но он остался на хуторе, уйти из отцовского дома он не собирался. Может, он и жалел, что бросил бригаду, скорее всего жалел, однако глупое упрямство мешало ему заговорить об этом.

Так в бессонные ночи она в уме рассказывала Софье Павловне о своих невзгодах. После этой жалобы должна была последовать просьба — помочь ей выбраться с хутора, дать работу. Очень может быть, что Софья Павловна посмотрит на нее с удивлением, спросит: «Ты что же, оставляешь своего Зубелика?» От одной мысли, что такой вопрос может быть задан, ее начинало трясти. «Ой, что вы, разве можно, — мысленно продолжая беседу с Яцукевич, думала она. — Он же мне муж... Нет, он со мной поедет, вместе мы на Станции будем работать... Вы ему только скажете, он вас послушает...» После этих слов Софья Павловна поинтересуется, почему Зубелик сам не пришел на Станцию, почему послал жену. «Нет, он не послал, он же дурной и упрямый, и стыдно ему, уж вы, сделайте милость, заберите его, а он уйдет, он и рад теперь, я знаю...»

Так в бессонные ночи и в дороге, шлепая по грязи, бредя по шоссе, сидя в автобусе, представляла она себе свою беседу с женщиной, которая с такой добротой и ласковостью смотрела на нее, так душевно говорила...

Но сейчас, найдя наконец Яцукевич, опустившись на край скамьи, донельзя уставшая, тяжело дыша, она смотрела и смотрела на Софью Павловну, пыталась вспомнить нужные слова и не могла. Сдерживаясь, задыхаясь, она невнятно и с трудом проговорила несколько слов и неожиданно для себя заплакала.

Софья Павловна села рядом, обняла ее вздрагивающие плечи.

— Успокойтесь, — ласково сказала она, и Текля вспомнила, как эта женщина на свадьбе под села к ней, вспомнила ее голос. — Успокойтесь, не надо плакать. Рассказывайте...



Р. РОМА

★

РАССКАЗЫ О ДЕТСТВЕ

Кудыкина гора

Какой противный толстый нос с синими жилками у хозяина нашего дома Шкворня! Какие у него затравленные, угрюмые глаза!

Зачем мне нужно сейчас, через много лет, помнить его с такими подробностями? Помнить его собаку Милку — коричневую, встрепанную, с неряшливым черным пятном на боку. Помнить каждое дерево в саду, каждый дом на нашей улице, почти всех соседей, которые жили вокруг.

Но почему-то моя память, сохранившая так много мелочей детства, почти не оставила мне воспоминаний о матери, умершей в возрасте тридцати семи лет.

Мне так хотелось воскресить ее в воспоминаниях, но оказалось, что только один эпизод задержался в моей легкомысленной памяти.

Я помню, как меня, сонную, ночью несли куда-то из дома под грохот и свист. Утром я не раз просыпалась в погребе.

Кругом шла непонятная разноцветная война: красные выбили из Полтавы зеленых, зеленые и белые ворвались в Лубны, красные гонят белых по всем фронтам... Красных называют «наши».

В городе зеленые. Мама не ходит в школу учить детей. Лена, старшая сестра, не ходит учиться — школы закрыты. Мы сидим дома. В окна всовываются лошадиные морды, страшные люди требуют водки и еды.

Отец заболел тифом. Он врач. Меня и Лену отправляют жить к бабушке. Когда мы возвращаемся, отец — неузнаваемый, желтый — ходит по комнате, держась за стены. Потом он, опираясь на палочку, собирается идти на работу в больницу.

Мама говорит:

— Ты же совсем слабый.

— Доктор Виноградов умер, — отвечает отец и уходит.

...Родилась сестра. Она мне кажется бессмысленной зверушкой, напоминающей человека и от этого еще более неприятной. Все с ней без конца возятся. Лена и мама все время торчат над ней крючками. Я поминутно дуюсь, обижаюсь, но этого никто не замечает. Тетя Настя носит по комнате новую сестру. Я могу есть, не есть, хныкать, играть с ножницами — никто не обращает на меня внимания: я выпала из поля зрения. Только мой отец, которого я по-прежнему редко вижу, ласкает меня неловко и торопливо, проходя в спальню, где всегда плачет маленькая сестра. Он работает в холерных бараках. Мрачное слово «холера» мне не совсем понятно, потому что так называют жену дворника, плоскую, как бы выпиленную из фанеры женщину, всегда раздраженную и выкрикивающую грубые слова.

Вскоре я примирилась со своим новым положением. Сначала я вышла за калитку на улицу и, оглянувшись вокруг, быстро вернулась. Никто не

заметил этого нарушения. На следующий день я забрела в соседний переулок и познакомилась с целой ватагой ребят, которых до этого времени видела только издали. Они отнеслись ко мне недоверчиво, но кто-то сказал: «Это докторова дочка», и я была принята в компанию. Мои новые друзья были очень самостоятельны, они предпринимали далекие прогулки, и однажды я увязалась за ними.

В тот день моя сестра пищала с утра слабым скрипучим голосом. Все бегали из комнаты в комнату с озабоченными лицами. Настя помогала мне одеваться, за ней прибежала Лена, и они вышли. Я решила, что надевать платье долго и не обязательно, и как была — в лифчике, штанишках и сандалиях — выскочила на улицу. Мои товарищи не ждали меня, я была слишком мала, чтобы принимать меня в расчет. Я увидела в конце улицы группу ребят, среди них рыжую голову Гришки, дворничьего сына с соседнего двора, и, проглотив слезы, пустилась во всю прыть догонять. Я бежала, то беззвучно шлепая сандалиями по глубокой горячей пыли, то громко шелкая ими по булыжнику. Я догнала ребят у поворота.

— Куда мы идем? — спросила я, переводя дух.

— На Кудыкину гору, а ты куда?

— А я с вами.

— Тебя разве отпустили?

— Нет.

— А как же ты ушла?

— Я не ушла, я убежала.

— Ну, тогда идем.

Было жаркое августовское утро. В воздухе летали паутинки, залеплявшие лицо. Изредка слышались отдаленный гул и отрывистые тяжелые уханья, похожие на стоны великана.

— Что это? — спросила я у Гришиной сестры Оксаны, тянувшей меня за руку.

— Стреляют, — коротко ответила она, и мы побежали дальше.

Вот мы прошли мимо белого кирпичного здания городской тюрьмы.

— Здесь убивцы сидят, — сказала Оксана.

— Какие убивцы?

— А вот какие. — Она схватила меня за шею и больно придавила косточку на горле.

— Поняла?

— Поняла, — сказала я, боясь, чтобы она не стала мне еще раз объяснять, что такое убивцы. «Потом спрошу у папы», — подумала я.

Мы спустились к реке, которая в этом месте была узкой и неглубокой, как ручей. Надо было переходить ее вброд. Всем было по пояс, а мне по шею, но я тянулась изо всех сил и только один раз булькнула, потому что оступилась.

На том берегу все немного отдохнули и посушились на солнце. Я была самая мокрая: вода попала мне даже в уши. Тарас, мальчишка с белесыми волосами, лежащими плашмя, как соломенная крыша, сказал, глядя мимо меня:

— И чего ты увязалась за нами? Бежит и бежит, как тот щенок.

— Чуть не утонула, — добавила Оксана.

— Ничего я не утонула, а просто у меня ноги короткие. У вас вон какие ноги, а у меня вон какие.

— Не ноги, а вся ты короткая. Потому что не выросла еще. Тебе сколько лет? — спросил Гришка.

— Пять.

— Мало, — сказала Оксана, выковыривая из земли камешки и бросая их в воду.

— Ну ладно, мало или не мало, а раз она с нами, глядите за ней. Пошли! — сказал Гришка, и мы двинулись дальше.

Стало жарко, и моя прохладная одежка приятно прилипла к телу. Зато сандалии сделались тяжелыми и внутри скользкими.

Мы быстро прошли через луг, и я увидела издали какие-то холмы и кучи, ярко освещенные солнцем.

— Что это? — спросила я.

— Кудыкина гора, — ответила Оксана.

Это была городская свалка.

Я до сих пор помню то ощущение восторга, растерянности и счастья, которое охватило меня при виде всех этих сокровищ, лежащих передо мной прямо на земле. Наверное, это же испытывал солдат из андерсеновской сказки, когда открыл заветную дверь, скрывающую несметные богатства. Пронзительно сияли разноцветные стеклышки, блестели крышки от консервных банок, пестрые черепки выглядывали из дымящихся на солнце мусорных куч.

Все разбрелось по свалке.

Я стала собирать цветные стеклышки, складывая их в кучку перед собой. Потом я нашла чашку без ручки. На чашке была нарисована яркая роза, через которую проходила черная трещина. Я сложила стеклышки в чашку и немного поспала, улегшись прямо на кучу мусора.

Когда я проснулась, ребята сидели возле меня и хвастались своими находками. Мальчики собирали гвозди, шурупы, куски железа неизвестного происхождения. Тарас нашел большой ржавый замок, на который Гришка смотрел с завистью. Оксана ничего не показывала. Ее сокровища были завязаны в тряпку, и узелок лежал рядом. Она держала за шею грязную безрукую куклу.

— Хочешь ее?

— Хочу.

— На!

Я взяла куклу и посадила ее на чашку.

Гришка дал мне грушу и кусок хлеба.

Большая тощая собака подошла и уставилась на меня голодными желтыми глазами. Я отщипнула кусочек хлеба и положила на землю. Щелкнули страшные белые зубы, кусочек исчез, и опять на меня уставились заvistливые желтые глаза.

— Не дам, — сказала я, запихивая весь кусок в рот, и подтолкнула его пальцем.

— Ну, пошли домой, — скомандовал Гришка, и мы отправились в обратный путь.

У реки ребята взяли меня на руки. Мы вошли в воду. Вдруг послышался топот. Облавая нас с ног до головы брызгами, в воду влетели всадники. Они неслись на рысях, возбужденные, пыльные, не обращая на нас ни малейшего внимания.

— Наши! — кричал Гришка.

— Наши! — заорали за ним Оксана и Тарас. Я опять очутилась по горло в воде, а ребята долго кричали, размахивая руками.

Домой я вернулась, когда солнце уже низко висело над садами.

Я открыла дверь, и меня сразу схватила тетя Настя.

— Господи, вот она! Сама пришла! — кричала она и внесла меня на руках в комнаты.

Из спальни выбежала растрепанная мама. Она больно шлепнула меня, потом, опустившись на колени, обняла и заплакала. Улыбаясь сквозь слезы, она тискала меня, то прижимая к груди, то отодвигая и заглядывая мне в глаза, будто видела меня в первый раз.

— Где ты была? Где ты была? — повторяла она, стаскивая с меня мокрую одежду.

— Отлупить ее надо как следует! — сказала Лена, входя в комнату.

На руках она держала новую девочку, которая смотрела на меня большими черными глазами. Я подумала: «Раньше у нее этих глаз не было».

Мама ушла ее кормить, а тетя Настя, укладывая меня спать, сказала:

— Как же ты могла? А? Не спросившись, не сказавшись. Мама так расстроилась — молоко пропало...

— Не брала я молока,— сказала я, засыпая.

Сквозь сон я увидела, как распахнулась дверь, как на пороге остановился взволнованный, счастливый отец и сказал:

— Катя, дети! Сегодня в город вернулись красные! Вернулась Советская власть!

А я подумала: «И вовсе они не красные, они как все».

Через год моей матери не стало. И это все, что я о ней помню.

Рассказ про сказку

Когда внезапно умерла наша мать, мы остались на руках у Насти.

Отец наш, врач, работал в городской больнице и пропадал там дни и ночи.

Старшая сестра, пятнадцатилетняя Лена, замкнувшись в своей тоске, почти не обращала на нас внимания.

Моей младшей сестре Мане не было и двух лет, мне было шесть.

С нами была тетя Настя, дальняя родственница мамы.

Она кормила нас, одевала, причесывала, поила лекарствами, шлепала, ласкала и рассказывала нам сказки.

Наша Настя была замечательной рассказчицей. Мы с Маней ходили за ней, как два голодных щенка, и выпрашивали сказки. Мы подчинялись ей, как замороженные, едва она произносила «жили-были» или «однажды», а при слове «вдруг» мы тарасили на нее глаза, затаив дыхание. Мы могли съесть пересоленный суп, подгоревшую кашу, мы покорно бросали любую игру, терпели мыло в глазах, если нам была обещана сказка.

Настя начинала рассказывать, и я видела, как по ветвям скакали жар-птицы, похожие на огненных индюков; как из широких рукавов царевны-лягушки вылетали звезды и, сшибая верхушки деревьев, рассыпались по небу. Настя рассказывала, и мне хотелось залезть под стол, когда, размахивая метлой, неслась под облаками злобная старая неряха баба-яга; и радостно замирало сердце, когда навстречу ей вылетал на Сивке-Бурке веселый, храбрый и умный Иванушка-дурачок освобождать из плена царевну.

Больше года прошло со дня смерти нашей матери, когда вернулся с войны Настин жених Матвей. Он воевал где-то далеко от дома и уже один раз должен был вернуться, но остался довоевывать за Советскую власть.

И вот однажды он встал у нас на пороге.

Настя бросилась ему на шею, а он застонал от боли.

Больше месяца прожил у нас Матвей, пока отец залечивал его раны. За это время мы с ним подружились. Он не рассказывал нам сказок, он говорил о боях, о разведке, а мы, раскрыв рты, слушали его, не все понимая. Он казался нам особым, диковинным человеком, любимым нашим героем — Иванушкой из Настинных сказок.

А потом Настя уехала с Матвеем.

Она уехала, счастливая и плачущая, а мы второй раз осиротели.

После отъезда тети Насти жизнь наша сразу переменилась.

Нас отвели к бабушке. Бабушка была акушерка. Она была высокая, стройная и седая. Она всегда спешила и всегда кричала. Бабушку вызы-

вали ночью, приезжали за ней днем, к нам в комнаты вваливались перепуганные, заплаканные мужчины. Бабушка уходила, схватив пузатый кожаный саквояж, а мы оставались с ее подругой, молчаливой и медлительной тетей Пашей. В молодости с ней случилась какая-то беда — она была хромая и много лет жила у бабушки. При тете Паше мы затевали бешеные игры, вытирали животами пыль под кроватями, смешивали в тазу лекарства из шкафа, дрались, визжа и катаясь по полу. Тетя Паша вынимала из ящика стола лакированную шкатулку, шуршала пожелтевшими конвертами и тяжело вздыхала. Если мы начинали слишком сильно шуметь, она молча рассаживала нас по разным комнатам и снова начинала рыться в своей шкатулке.

Часто бабушка не приходила ночевать. Возвращалась она рано утром или днем, шумно распахивала дверь, падала на стул, потом мылась с головы до ног и сразу бралась за нас. Она мыла и скребла мне спину, как стол. Если бы она могла, то оторвала бы мне уши, чтобы их лучше вымыть. При этом она все время ворчала, что в доме черт знает что творится. Покончив с мытьем, она быстро ела, в изнеможении валилась на кровать и засыпала.

Отец каждый день забегал к нам после работы. Он озабоченно оглядывал нас, спрашивал: «Ну, как живете-можете?», неумелоправлял нам платья, пытался застегнуть пуговицу, подвязку. Иногда он сажал нас на колени и пел нам песни. Изредка забегала Лена. Она не жила у бабушки, а оставалась с отцом. Когда Лена и папа собирались вместе, они всегда пели. Лена — нежным высоким голосом, а папа красиво гудел без слов.

Иногда он начинал вглядываться в бледное большеглазое лицо Лены, потом вдруг замолкал и, спустив нас с колен, уходил в другую комнату.

Однажды я долго не могла заснуть в душевой бабушкиной постели. Вкрадчиво и назойливо тикали часы в вышитой туфельке на стене. Маня всхлипывала и колотила меня по животу пятками.

Я услышала в соседней комнате голоса бабушки и отца.

Бабушка говорила папе, что она не может за нами следить, что ее дом для нас неподходящее место и что от этого всего у нее разрывается сердце.

«Как это может разрываться сердце? — подумала я. — Это неправда».

Папа спросил у бабушки:

— Что же делать? Вы видите, как я работаю.

И бабушка сказала папе:

— Надо искать детям мать.

Папа ничего не ответил и стал ходить по комнате.

«Так! — думала я. — Значит, нашу маму можно найти? Значит, она где-то есть, раз ее надо искать?»

— Тебе тридцать семь лет, — продолжала бабушка, — все равно это случится, но помни: детям нужна мать.

— Я никого не могу сравнить с ней, — глухо сказал отец, — я не могу ее забыть.

Стало тихо, только слышно было, как папа ходит по комнате. Вот он идет мимо маленького столика — скрипнула половица, вот проходит мимо шкафа — звенят бутылочки с лекарствами, вот наступил на медную дощечку у порога... Потом пошел обратно — опять звенят бутылочки, скрипит половица... Я стала засыпать, но Маня снова завертелась, и я услышала голос бабушки:

— Ты ей давал уроки, помнишь? Ты помнишь эту девушку? Она не вышла замуж, она сейчас в Петрограде. Хочешь, я ей напишу?

— Подумайте, что вы говорите! — ответил отец.

— Мне тяжело говорить с тобой об этом, — помолчав, сказала бабушка. — Катя была моей любимой дочерью, и мне ее никто не заменит, но надо думать о детях.

Разговор этот встревожил меня. Я понимала, что речь идет о нас, но все-таки что-то ускользало от моего понимания. Меня пугало то неизвестное, что надвигалось на нас из этого ночного разговора.

Однажды Лена привела нас от бабушки домой.

Я увидела на полу у печки серую кучу, из которой торчали подошвы ботинок. Куча зашевелилась и оказалась толстой старухой. Она стояла на четвереньках и раздувала огонь. Щеки ее то надувались, как шар, то мягко обвисали, а большой нос был похож на кусок пемзы.

Дрова разгорелись. Из печки стали выскакивать теплые желтые блики. Старуха, стоя на четвереньках, повернула к нам голову, повязанную платком, и гулко спросила:

— Вы, значит, и есть?

Это была соседка, которую бабушка уговорила присматривать за нами. Она много сидела или стояла, опустив руки и глядя в пространство. Мы, играя, прятались за нее, как за шкаф.

Вечером, перед сном, мы уговорили ее рассказать нам сказку.

Мы лежали в постелях, а соседка, сидя на стуле в углу, вязала что-то серое, бесформенное, похожее на половую тряпку.

Мы стали ждать сказку. Мы ждали таинственных и волнующих слов «вдруг» или «однажды»...

— На высокой горе стоял дом... — проговорила соседка низким качающимся голосом и замолчала, распутывая узел.

— Ну?

— Чего — ну?

— Стоял дом, и что?

— Да ничего, стоял и стоял.

— А кто в нем жил?

— Не знаю я, кто жил, мало ли кто в домах живет.

Она вытянула нитку, оборвала ее и с досадой стала связывать.

— Ну, а в этом доме кто жил?

— А никто не жил, ушли все. Колом дверь подперли и ушли. — Снова замелькали спицы, и соседка забормотала:

— Вот они шли, шли и видят...

С колен ее соскочил клубок и покатился под кровать.

— Что видят?

— Ну, видят — пень стоит. — Соседка опять замолчала и полезла за клубком.

— Ну?

— Что это ты все нукаешь? — недовольно спросила она, с трудом вылезая из-под кровати. — Про что я говорила-то?

Она уселась на стул и опять взялась за свою тряпку.

— Вы сказали: «Увидели они пень...»

— Кто увидел?

— Ну, кто в доме жил.

— А-а! Да, да. Вот она увидела пень-то и сразу говорит: «Ты кто такой? Чего здесь стоишь?» А он хвостом махнул, да и убежал в лес.

— Кто, пень?

— Зачем пень, — конь.

— Какой конь?

— Ну, обыкновенный конь, с гривой.

— А пень?

— Какой пень?

— Ну, вы сказали: «Увидела она пень».

— Ах, ты вон про что! Так та сказка уже кончилась.

В этом месте Маня заплакала.

— Не хочу про пень! Хочу тетю Настю! Где тетя Настя? — кричала она, захлебываясь и взвизгивая. Старуха растерялась. Глаза ее испуганно забегали.

— Ах ты батюшки! Чего она?

— Маня, погоди, я тебе расскажу сказку. Хочешь? Хочешь, про Василису Прекрасную или про колобок?

Я стала рассказывать, а Маня затихла, изредка всхлипывая.

Не знаю, что это была за сказка, не помню, когда я заснула. Проснулась я оттого, что меня трясла старуха.

— Ты погоди, ты не спи, — говорила она. — Ты мне скажи, он украл ее от мужа или она так и осталась?

— Кто?

— Царевна.

— Какая царевна? Какой муж?

— Да как ведь она с Кощеем-то жила, я думаю, а то что ей у него делать-то?

— Она ничего не делала, она плакала.

— Ты погоди, ты не спи. Да как любовник-то украл ее, я спрашиваю?

— Кто?

— Ну, Иван-то любовник ей был, я думаю. Как же он ее украл, раз ключа не было?

— Я вам потом расскажу, я спать хочу.

— Нет, ты мне сейчас скажи.

— Я не помню.

— Зачем же начинала, раз не помнишь? Рассказывала, рассказывала, а потом глаза завела и спит. Уважить надо старого человека.

— Я не вам, я Мане рассказывала.

— Как не мне! Она-то спит, а я-то не сплю! Да погоди ты моститься-то! Гляди-ко! Опять спать наладилась! Нет, ты погоди!

Она держала меня за плечи, не давая лечь. Глаза ее мокро блестели из-под нависших козырьками век, а под широким платьем все время что-то шевелилось, как будто по ее телу бегали мыши...

На мой рев прибежала Лена.

— Что такое, почему ты реवेशь?

— Кто ее знает, чего она ревет. То одна загудела, теперь эта. Может, они у вас припадошные?

— Я спать хочу. Я сказала — завтра расскажу, а она сейчас хочет.

— Маня уже спит, что ты! — сказала Лена.

— Это тетя просит.

Лена удивленно посмотрела на меня, на старуху, потом сказала:

— Вы идите спать, пожалуйста, я сама ее уложу.

Старуха вышла, недовольно ворча.

Лена погасила лампу. В комнате стало темно. На пол легло окно из лунного света. Лена обняла меня, и я прижалась щекой к ее жесткой ключице.

— Лена, — сказала я ей, — Лена, бабушка говорила, что надо искать маму. Где она, как ее искать?

Лена так резко выдернула руку из-под моей шеи, что мне стало горячо. Она села в кровати и громко спросила:

— Это сказала бабушка? Кому сказала?

— Папе.

— Неправда, бабушка не могла этого сказать.

— Нет, сказала, я слышала. Она сказала: «Надо искать детям мать».

Лена схватила меня за руку. Ее лицо, освещенное луной, как бы повисло в темноте и стало белым и плоским, как нарисованное. Она заговорила горьким, взволнованным шепотом:

— Ты глупая, ты ничего не понимаешь. Нашу маму нельзя найти. Она умерла. Это будет чужая женщина. Это будет мачеха.

Мачеха, это недоброе, жесткое слово было мне знакомо. Я вспомнила протяжный Настин голос: «Злая мачеха выгнала старикову дочку на мороз».

— Нет, бабушка не говорила про мачеху, она сказала...

— Ах, ты ничего не понимаешь! — перебила меня Лена. — О чем с тобой говорить...

Она отвернулась и долго молчала, потом спросила:

— А что ответил папа? Ты слышала, что он ответил?

— Он сказал: «Я не могу ее забыть».

— Да? Он так сказал? А еще что? Вспомни.

— А еще он сказал: «Подумайте, что вы говорите».

— Конечно, конечно, папа так сказал... Ну, ладно, спи. Мне завтра надо пораньше прийти в школу. Будем мыть класс.

Лена опять просунула руку мне под голову, и мы заснули.

Утром я услышала, как старуха бормочет:

— Дура я, взялася. Дети попались какие-то скаженные.

— Мы не скаженные, — сказала я.

— И ты тут. Ладно! Ну-ка, расскажи мне, что дальше было.

Я рассказала, как Иванушка победил Кощея и увез царевну.

— Ну вот и хорошо, — сказала старуха, — значит, по-честному.

И свадьбу сыграли. Так... — Она взглянула на меня своими спрятанными глазами. — Ишь ты! Какое мелкое дитя, а какое языкатое. И где в твоём тощедушном теле слова такие лежат? Ишь ты! По усам текло, а в рот не попало! — протянула она и засмеялась, не раскрывая рта и как-то странно фыркая носом.

— Это нам тетя Настя рассказывала, она много сказок знала. Она с Матвеем уехала, а мы остались.

— Так. Значит, рассказывала она вам... А я вот не умею с детьми. Своих не было, мужик мне плохой попался — пил без просыпу, потом помер. Свекровь ела меня. Вот так. Тебе спасибо. Уважила старуху. — Она опять покосилась на меня и добавила: — Не понимаешь ты ничего, что я тебе говорю. Мелка больно.

— Нет, я понимаю, — ответила я. — А кто вас ел?

Старуха опять смешно зафыркала и ушла, не оглянувшись.

В один из летних дней мы с Маней играли в саду за домом в прятки.

Пышные, приземистые яблони еле удерживали на своих усталых ветвях множество блестящих, умытых теплыми дождями яблок. При малейшем ветре яблоки срывались и падали на землю с глухим стуком. Деревья сияли в потоке предзакатного света.

Внезапно открылась калитка, и в сад вошла невысокая молодая женщина. За ней шел отец. Мне хотелось подбежать к нему, но я постеснялась и спряталась за куст смородины. Женщина свернула с дорожки и пошла по густой траве, наклонившись и задев ее рукой. Она почти дошла до куста, за которым я лежала, но вдруг остановилась, села на траву и, закинув голову, стала смотреть на небо, где рядом с солнцем шевелились странные розовые животные.

— Как хорошо здесь! — сказала она.

Папа подошел и прислонился спиной к пружинистой яблонево́й ветке.

Тут ко мне в рукав залез муравей, и я испугалась, что он меня сейчас укусит. Пока я ловила муравья, женщина разговаривала с папой, и я услышала, как она сказала, что у нее триста детей и их всех надо привезти с дачи.

«Врет», — подумала я, а папа нисколько не удивился ее словам. Он спросил:

— Вы, наверно, устали?

— Да, очень, — ответила гостья.

В это время муравей все-таки укусил меня, я вскочила и увидела рядом с собой муравейник. Пришлось выйти из-за куста.

— Подумайте об этом серьезно, Соня, — сказал папа.

— Я подумала, — ответила она.

— А вот и Тина! Ты где была? — Папа обнял меня и подвел к гостье.

— За кустом. Можно у тебя что-то спросить?

— Ты сначала поздоровайся.

— Здравствуйте. Можно спросить? Разве у человека бывает триста детей? Это неправда.

Гостья рассмеялась и сказала, что триста детей живут в детском доме, а она заведующая.

— Это Софья Петровна, мамина подруга, она приехала из Петрограда, — сказал папа. — А это Тина.

— Средняя? Очень на вас похожа. Просто удивительно. Одно лицо.

— Да, это средняя, а сейчас я покажу вам маленькую. Тина, где Маня?

— Она спряталась, мы в прятки играем.

— Куда же она спряталась? — спросила женщина, поворачивая мои руки ладонями вверх и зачем-то заглядывая мне в уши.

— Не знаю. Она спряталась, чтобы я не знала, где она, — ответила я, отстраняясь.

— Вот как? А почему у тебя руки такие грязные и чулок спущен?

— Руки грязные потому, что я в кустах упала, а чулок спущен потому, что руки грязные — поднять нечем.

— Логично! — Женщина улыбнулась, оглянувшись на отца, и стала очень приятной и совсем молодой. Она быстро наклонилась, застегнула мне чулок и предложила: — Давай вместе искать Маню.

— Давайте, — ответила я.

Мы нашли Маню в беседке. Она крепко спала на полу под скамейкой.

— Не буди ее, — тихо сказала гостья, разглядывая сестру.

К нам подошел папа.

— Нашли? — спросил он.

— Тише, она спит. Какая она у вас худышка!

Отец осторожно поднял Маню. Руки ее свесились, как две тонкие веточки. Неожиданно она открыла глаза, посмотрела вокруг, спрятала голову под папин подбородок и заплакала.

— Ну, что ты, что ты, глушенькая! — Папа пытался успокоить Маню, но она все плакала, цепляясь за его шею, как обезьянка.

— Смотри, какая смешная ворона сидит на дереве! — сказала гостья.

— Где? — спросила Маня. Она повернулась немножко и стала искоса смотреть на дерево, куда показывала Софья Петровна.

На самой вершине тополя сидела большая глянцеви́тая ворона. Она хотела удержаться на гибкой верхушке и качалась, изредка взмахивая крыльями. Потом опустилась на крышу беседки и стала важно шагать, бесстрашно на нас поглядывая. Мы засмеялись. В первый раз за много времени я услышала веселый смех отца и, обернувшись, увидела, что он положил руку на плечо нашей гостьи.

Почему-то мне это было очень неприятно.

— Папа! — позвала я. — Пойдем домой.

— Да, ветер поднялся, — сказала Софья Петровна.

Когда мы вошли в дом, то увидели Лену. Она, наверное, только что пришла из школы.

— А вот и Лена! — обрадованно воскликнул отец. — Знакомься, Лена, это Софья Петровна, мамина подруга. Она приехала из Петрограда. Помнишь, когда-то она приходила к нам в гости?

— Нет, не помню, — сухо ответила Лена.

— Я знаю, ты давал ей уроки! — неожиданно крикнула я. — Бабушка сказала — хочешь, я ей напишу, да?

— Что ты болтаешь! — ответил отец и покраснел.

— Да, но ведь вы действительно когда-то готовили меня к экзаменам, — сказала Софья Петровна и взяла меня за руку.

— Бабушка говорила тебе, помнишь? Еще она сказала...

— Тина! — крикнула Лена. — Перестань!

— ...что детям нужна мать... — неудержимо продолжала я и почувствовала, как ладонь, державшая мою руку, слегка вздрогнула и расслабилась, но тут же опять сомкнулась вокруг моих пальцев.

Я взглянула на Лену и увидела, что она стоит спиной к столу, прямая, настроенная, и смотрит на гостью недобрыми блестящими глазами.

— Я знаю, вы мачеха! — выпалила я. — Вы не будете нас бить?

После этих слов стало тихо.

Вдруг Лена, закрыв лицо руками, выбежала из комнаты. Софья Петровна смотрела ей вслед, выпустив мою руку.

— Тина, что с тобой сегодня? — огорченно сказал отец. — Простите, — обратился он к гостье, — я сейчас вернусь, — и вышел за Леной.

Маня сидела в углу на скамеечке и укачивала куклу.

— Тина, — услышала я голос Софьи Петровны. Я подняла глаза и увидела ее побледневшее лицо. Она положила руки мне на плечи. — Тина, это нехорошее, обидное слово — «мачеха». Так говорят про злых женщин, которые не любят детей.

— А Лена сказала, что у нас будет мачеха.

— Это неправда. У вас никогда не будет мачехи. Забудь это слово, ладно? Еще я хочу тебе сказать, что только плохие люди бьют детей. И больше не будем говорить об этом никогда. Хорошо?

— Хорошо.

— Договорились?

— Договорились.

— Маня, — позвала Софья Петровна, — иди сюда, ко мне. Сядем на диван, я расскажу вам сказку.

Маня быстро соскочила со своей скамеечки и прибежала к нам, прижимая к груди куклу.

Мы уселись на диван.

— Однажды, давным-давно, в некотором царстве, в некотором государстве жил да был...

Так наша вторая мать сделала свой первый шаг по трудной дороге к детскому сердцу. — по дороге, которая идет через сказку...

Как я училась писать чернилами

Читать я научилась очень рано. Писать я стала много позже. Писала я палочкой на песке, гвоздем на дереве, мелом на стене, карандашом на бумаге, но до чернил меня не допускали, а этот способ письма казался мне самым прекрасным из всех.

— Я тебе не разрешаю писать чернилами до тех пор, пока ты не научишься ими писать,— говорил папа.

Этот аргумент казался мне неопровержимым, но я и не собиралась его опровергать. Я собиралась писать чернилами. Я страстно мечтала о той минуте, когда моя рука возьмет вставку с пером, опустит ее в чернила и спокойно, без запрета, проведет по бумаге красивую мокрую линию.

Наконец эта минута наступила. Я была одна дома. Я решила, и никто не мог изменить моего решения.

Я села в кресло у папиного письменного стола, взяла чистую тетрадь старшей сестры и, погрузив перо в глубокую чернильницу, провела на белом листе первый робкий зигзаг. Потом я писала слово «мама» печатными буквами. Вдруг на бумагу упала густая фиолетовая капля. Я испугалась и захлопнула тетрадь, но сразу же подумала: «А чего я испугалась?» — и снова открыла ее. Кляксы не было. На ее месте оказалась странная птица с широкими крыльями, распростертыми на двух листах тетради. У птицы было две головы на тонких шеях и короткие волосатые ноги... Я сама никогда не смогла бы так быстро и хорошо нарисовать такую замечательную птицу! Я посадила кляксу на другом листке и опять захлопнула тетрадь. На этот раз из кляксы получились два таракана, потом ни на что не похожий узор. Долго я рисовала таким способом, пока нечаянно, стряхивая перо, не брызнула на стену. По обоям потекли вниз две тонкие полоски, похожие на рельсы. Я пририсовала к ним шпалы. Паровоз не получился — он был какой-то раздавленный, и колеса торчали в разные стороны. Тут я заметила, что рисовать пером по обоям очень неудобно — чернила почему-то все время затекают в рукав.

Оказалось, что гораздо удобнее писать кисточкой.

Я записала на стене папиного кабинета имена всех родных и знакомых, которые могла вспомнить, потом нарисовала домик и вокруг него сад с бабочками и цветами. Из трубы домика шел дым, который доходил до выключателя у двери.

Пока я рисовала эту картину, между чернильницей и стеной протянулась фиолетовая дорога. Она шла по зеленому сукну стола, соскакивала на пол, взбиралась на кресло и, снова спрыгнув на пол, доходила до самой стены.

«Что я наделала!» — подумала я, но не могла остановиться и нарисовала на стене забор, который шел вокруг всей комнаты.

Откуда-то прилетела толстая вертящая муха. Я отмахнулась от нее, она шаркнулась в сторону и попала в чернильницу. Я поддела ее кисточкой, помогла вылезть и понесла через столовую, чтобы выбросить в окно. По дороге муха свалилась с кисточки на обеденный стол и поползла по белой скатерти. Она подрыгала задними ногами, как мокрая кошка, остановилась на краю стола и тяжело взлетела, поблескивая фиолетовым золотом. После нее на скатерти осталась чернильная веточка. Я пририсовала к ней дерево.

Потом кончились чернила. Я оглянулась вокруг и опять подумала: «Ой, ой, ой! Что я наделала! Наверное, мне попадет!» Очень неприятно было это думать, и мне захотелось заболеть. Я легла на постель и вспомнила, что во второй чернильнице тоже есть чернила.

Я встала, взяла лист бумаги, макнула кисточку в чернила, снова вернулась на постель и, лежа на спине, стала рисовать на бумаге солнце. С кисточки мне на щеку упала капля. Она скатилась мимо уха на подушку. Я вскочила и увидела, что на наволочке расплывается пятно, тоже похожее на солнце. Пришлось пририсовать к нему лучи. Получилось очень красиво.

В комнату неслышно вошла кошка. Она уселась на пороге и подняла перед собой заднюю ногу, будто собиралась играть на ноге, как на виолончели.

«Кис-кис-кис!» — позвала я. Мне хотелось раскрасить ее в клетку, но она быстро убежала. Мне удалось только один раз мазнуть ее по спине, и то она сразу же вытерлась о диван. На кисточке еще оставались чернила. Я подошла к зеркалу и нарисовала себе усы. Над зеркалом на стене висел портрет дедушки. С усами я была очень на него похожа.

Когда я нарисовала себе бороду, то увидела в зеркале за своей спиной папу. Глаза у него были испуганные, и мне показалось, что он хочет сесть на пол. Что было дальше, не хочется вспоминать, а тем более рассказывать. Мы несколько дней жили в коридоре, потому что в квартире делали ремонт.

Вот что получилось из-за того, что мне не разрешали писать чернилами.

Про дерево

Отец привез меня в Петроград темным осенним вечером. Я не видела улиц, по которым мы ехали с вокзала. Шел сильный дождь, и извозчик опустил над нами черную крышу своей пролетки. Временами мне казалось, что лошадь идет по воде, — внезапно прекращался стук подков и только журчанье, бульканье и плеск раздавались со всех сторон.

Я не знала тогда, что лошадь шла бесшумно по знаменитой петроградской торцовой мостовой. Через год мостовую смыло наводнением.

Утром следующего дня я проснулась в первом этаже пятиэтажного дома на Мойке. Все здание занимал детский дом для девочек-переростков. Наша новая мать, Софья Петровна, заведовала этим детским домом.

С утра я стала бегать по сумрачным коридорам нашей квартиры. Высокие потолки, огромные окна, широкие подоконники, запах натертых полов — все было ново для меня, и я казалась себе маленькой и тщедушной, как заброшенный котенок. Лена и Маня — мои сестры — остались в далеком городке, из которого я уже уехала навсегда. За Софьей Петровной прибежали из детского дома. Она поцеловала меня в лоб и быстро вышла. Отец ушел еще раньше: он устраивался на работу.

Мимо меня по квартире бегала взад-вперед тетя Матреша. Она работала кухаркой в детдоме и приходила к нам помочь убрать в комнатах. Матреша носилась по комнатам, которые убирала с невероятной быстротой. На ее костлявом длинноногом теле болталось, как от ветра, несуразное ситцевое платье. Когда она пробегала мимо окна, платье просвечивало, и сквозь него была видна голенастая, тощая фигура, как будто Матреша на секунду выскакивала из платья, а потом опять вскакивала в него.

Когда все было вымыто, подметено и поставлено на место, Матреша присела ко мне, обняла за плечи и сказала:

— Набегалась я, устала. Закурим, что ли?

— Я не курю, спасибо, — ответила я.

Она повернула ко мне широкое темное лицо, похожее на глиняный кувшин, и сказала без улыбки, хотя я видела, что глаза ее как-то смешливо прыгают:

— Куда уж тебе мои курить! Ты бы от одной сразу вверх копытами. У меня злющая махра.

Матреша достала из кармана кисет, свернула папироску и закурила, выпуская такой удушливый дым, что я закашлялась.

— Ну, не буду, не буду! — Она погасила папироску о подошву, открыла форточку и снова под села ко мне. — А сестренки твои где? Софья-то наша, говорят, троих в дочки взяла.

— Сестренки остались с бабушкой. Они тоже скоро приедут, когда мы устроимся.

— А они тебя младше?

— Одна старше, другая младше.

— А тебе сколько?

— Скоро восемь.

— Большой мужик!

— Я не мужик, я девочка.

— Ах, девочка! Тогда, извиняюсь, девочка. А я думала: что за мужик такой сидит усатый?

Она рассмеялась, и я с ней тоже посмеялась немного, хотя мне было как-то не по себе и грустновато. В общем, мне больше хотелось плакать. Матреша снова с размаху обняла меня и так прижала лицом к себе, что я больно ударилась носом. Плакать сразу расхотелось.

— Твой отец правильную бабу вам в матери взял. Она еще своих нарождает штук шесть и со всеми справится. Она здоровая. Самостоятельная. И отец мне твой понравился, доктор. Видно, хороший человек, грамотный.

Матреша гладила мою голову, и волосы цеплялись за корявую кожу ее руки.

— Главное, я тебе скажу,— продолжала она прокуренным шепотком,— никому не позволяй сиротой тебя называть. Свою мать помни, а сиротой — не позволяй. Отец у тебя есть, Софья наша как мать будет, бабка, говоришь, есть, сестры. Какая же ты сирота? А позволишь людям сиротой тебя считать — заскучаешь на свете, плохо тебе будет. Понятно? Ой, смотри, дождь перестал! Пойдем, я тебя на двор выведу. Ты на воздухе постой, а я обед буду готовить.

Она взяла меня за руку, вывела на середину большого двора, мощенного булыжником, сказала «гуляй», а сама ушла обратно в квартиру.

Я хотела пойти за ней, но вдруг из всех дверей стали выбегать девочки, одетые в одинаковые синие платья. Девочки были маленькие, большие, худенькие, толстые, стриженные, кудрявые, с косичками. Они шумели, прыгали, спорили, смеялись, потом заметили меня и постепенно образовали широкий круг. Я оказалась в центре этого круга. Меня заинтересовала девочка, которая стояла напротив. Один глаз ее внимательно глядел на меня, а другому было совсем неинтересно, и он смотрел в сторону.

Мне было ужасно неловко оттого, что меня все так рассматривают и перешептываются, поэтому я опустила глаза вниз и видела только ноги.

Оказалось, что на ноги тоже интересно смотреть. Они были все в коричневых чулках в резинку и напоминали молодую рожицу у нашей речки, если лечь на траву и смотреть снизу на тонкие, частые стволы.

Совсем на земле стояло много ботинок. Одни были носками вместе, другие носками врозь. Одна пара ботинок была очень плохо зашнурована — через одну дырочку, а концы не были завязаны и болтались. Я подняла глаза, чтобы посмотреть, чьи это ботинки, но тут прозвенел далекий звонок, девочки бросились врассыпную и исчезли так же внезапно, как и появились...

Я осталась одна, окруженная стенами. На земле были одни круглые булыжники. Ни одной травинки не пробивалось между ними, ни одного деревца не было на этом дворе, похожем на клетку.

Надо мной было белое четырехугольное небо. По этому небу с угла на угол летели взлохмаченные темные куски облаков, как будто кто-то сердито швырялся ими в вышине.

С двух сторон двора были большие арки. В одной виднелась калитка, другая арка выходила на следующий двор, за которым оказалась еще арка и еще один двор, окруженный с трех сторон забором.

Здесь наконец я увидела большое дерево. Оно росло за забором, но свешивалось на нашу сторону. Оно протягивало ко мне свои ветви.

«Ну! — как бы шептало мне дерево, шевеля слабыми пожелтевшими листьями. — Ну, давай, давай, лезь! Посмотри, какие на мне удобные сучки и уютные креслица!.. А по этой толстой ветке ты, пожалуй, сможешь поползти и покачаться. Ну, давай, давай, лезь!»

Я оглянулась вокруг. Двор был пуст. Только дом глядел на меня рядами окон. У меня прямо пятки зачесались, так мне захотелось влезть на дерево. «Залезть?» — подумала я. Тут новый порыв ветра качнул дерево, и оно утвердительно ответило на мой вопрос.

Я сразу влезла на маленький сарайчик, который стоял под деревом у забора. С забора я дотянулась до первой толстой шершавой ветки, перебросила через нее ноги, посидела на ней верхом лицом к стволу, увидела на чужом дворе двух маленьких мальчишек, остолбенело глазевших на меня, и полезла выше. Ветки делались все тоньше, а ствол шатался и стал гладким на ощупь. Опершись на него спиной, я уселась поудобнее, стала осматриваться, и... чуть не свалилась — в одном из окон я встретилась глазами с Софьей Петровной. Она стояла у черной доски с длинной палкой в руке. За партами сидели девочки в синих платьях и, вытянув шеи, смотрели на меня во все глаза. Внезапно Софья Петровна бросилась к окну, а девочки вскочили и побежали к дверям. Я хотела быстро слезть, но никак не могла нащупать ногой нижнюю ветку. Когда я наконец наступила на нее, то увидела, что все девочки с Софьей Петровной стоят внизу во дворе.

— Слезай, Тина! — крикнула Софья Петровна. — Что это ты выдумала! Не торопись! Слезай осторожней! Как ты туда забралась? Просто уму непостижимо. Осторожней!

«Осторожней, осторожней, а у самой палка! — подумала я. — Чего это она палку держит?»

Не успела я это подумать, как рука моя, соскользнув с влажной после дождя коры, сорвалась, я полетела вниз, пробила тонкую крышу сарайчика и свалилась на что-то колкое, теплое, упругое...

Раздался оглушительный визг, что-то метнулось из-под меня, по моей спине пробежали чьи-то твердые маленькие ножки, что-то затрещало, свет ворвался в сарайчик, и я увидела, что по двору несется огромная свинья, за ней розовой кучкой вприпрыжку скачут поросята, а за ними бегают толстая женщина, размахивает руками и кричит:

— Вот это да! Ну и да! Ай да да! Вот так да!

Девочки в синих платьях подхватили меня и вынесли из сарайчика. Я опять стояла в центре круга, только рядом со мной была Софья Петровна. Она ощупывала меня, тревожно спрашивая:

— Ты не ушиблась? Скажи мне, где больно? Девочки, сбегайте за доктором, он у себя в кабинете.

— Не надо доктора, мне не больно, я только оцарапала ногу, и все. Это очень мягкая свинья.

Все девочки сразу загалдели:

«Чуть Семирамиду не раздавила!» — «Поросенков проверьте, тетя Нюра!» — «Откуда она взялась?» — «С луны свалилась!»

Софья Петровна сказала мне строго:

— Чтобы это было в последний раз. Что это за эквилибристика!

Я в то время не понимала слова «эквилибристика», и оно показалось мне очень обидным. Реветь при всех было невозможно. Слезы копились во мне, постепенно наполняли меня, стояли где-то у краев глаз, и я удерживала их, стараясь ни на кого не смотреть.

— Эта девчонка после второго урока на первом дворе стояла! — сказала косая девочка, глядя одновременно на меня и на Софью Петровну. — А потом, гляжу, она уже на дереве очутилась!

— Девочки, это моя дочь, Тина, — сказала Софья Петровна. — А сейчас надо заниматься. Идите в класс, я скоро вернусь.

Девочки опять заговорили и стали уходить со двора, пятась и оглядываясь. Я тоже смотрела на них. Я поняла, что здесь мне не будет скучно.

Софья Петровна крепко взяла меня за руку, отвела домой и сказала:

— Завтра же ты пойдешь в школу.

На подоконнике

У меня была ангина. Я сидела на широком подоконнике одного из окон нашей квартиры, в первом этаже старого дома на Мойке.

Обычно в это время я уже бежала в один из старинных садов, расположенных неподалеку, или в прозрачный, продуваемый невским сквозняком садик у Зимнего дворца, или в чопорный Летний сад, украшенный голыми фигурами, на которые я стеснялась смотреть при всех. Зимой эти фигуры прятали в деревянные футляры, похожие на дачные уборные. Но больше всего мне хотелось забежать в Михайловский сад, тенистый и уютный, с неожиданными закоулками, с мелкой речкой без ограды, куда можно было бы окунуть руку или ногу, как на даче.

Но в этот день я сидела на подоконнике и смотрела на мокрую улицу.

Люди, вышедшие утром в легких платьях, доверчиво радуясь солнцу и теплу, бегом возвращались домой, застигнутые внезапным мелким дождем и холодным ветром — спутниками коварной ленинградской погоды.

Вот по мостовой проехал извозчик, в пролетке сидела дама в лиловом фетровом горшке, натянутом на уши.

По гранитным плитам набережной прошел старый стекольщик. Он осторожно, пружиня коленями, тащил на себе плоский ящик с большим стеклом, сквозь которое я увидела, как строгий дом напротив вдруг зашатался и пошел волнами...

По тротуару прошел Валька — мальчишка, живущий где-то за углом. С этим мальчишкой у меня были свои счеты...

Он нес сумку с хлебом. Остановившись под моим окном, он стал вертеть сумкой, как пращой, и раза два чиркнул хлебом по подоконнику. Из сумки выпала булка. Оглянувшись, он поднял ее, вытер о штаны и сунул обратно. Я постучала в стекло, он посмотрел на меня, я показала ему язык, он погрозил мне кулаком.

Но вот дождь перестал. Робкое, невидимое солнце осветило чугунную решетку с узором, похожим на какой-то знакомый цветок, зеленоватую рябую поверхность реки, медленно движущейся на сером фоне гранита.

Люди закрыли зонтики, опустили воротники, повеселели, а какая-то девушка в голубоватом ситцевом платье даже подпрыгивала, напевая. Вдруг она споткнулась, чуть не упала и запрыгала на одной ноге — с другой свалилась туфля. Девушка подняла ее и стала горестно рассматривать, пытаясь приставить отломанный высокий каблук. Потом, опустив руку с туфлей и стоя на одной тонкой ноге, она прислонилась к гранитной тумбе у реки и стала похожа на большую печальную цаплю.

Я посмотрела на свои ноги в тапочках и вспомнила про мамины новые туфли, стоящие под кроватью. Я схватила их и, вскочив на подоконник, открыла форточку.

— Послушайте, тетя! — крикнула я, размахивая туфлей. — Идите сюда!

Девушка подняла заплаканные глаза и с удивлением посмотрела на меня.

— Идите, идите, померьте туфли!

С тем же удивленным выражением лица она подошла ко мне.

— Как же? — спросила она растерянно. — Это чьи?

— Мамины.

— А тебе не попадет? Где твоя мама?

— Ушла.

— Наверное, попадет.

— А вы их скорей принесите.

Девушка надела туфли.

— Как раз! — сказала она, потопав ногами. — Прямо чудо! Откуда ты

взялась? Это здорово, как ты меня выручила! А я уж совсем раскисла, не знала, что делать. Чуть не опоздала. Какой номер твоей квартиры?

— Двадцать шесть.

— Ну, я пошла.

И я увидела, как мамины туфли убежали, шлепая по лужам.

Через час пришла мама. Мы сели обедать вдвоем — папа задержался на работе. Мама, как всегда, стала расспрашивать меня о проведенном дне. Я долго, с подробностями, рассказывала ей о том, что было в школе два дня тому назад, потом вспомнила, что в Мойку недавно упала кошка, но про кошку мама не дослушала и спросила:

— А что с тобой случилось?

— Со мной? Ничего.

— Нет, я вижу, что ты хочешь мне что-то рассказать.

Я до сих пор не понимаю, как она угадывала эти вещи...

Я совсем не хотела рассказывать ей про туфли, но тут же рассказала и уже с первых слов поняла, что мне попадет, и попадет за дело. Я не знала, где живет эта девушка, я не знала, когда она принесет мне туфли, я вообще не знала, кто она, и видела ее в первый раз. Но я верила ей, мне и в голову не пришло, что она может меня обмануть.

— Как же ты могла отдать мои туфли какой-то незнакомой женщине? — спрашивала мама сердито.

— Но она принесет.

— Когда?

— Не знаю. Наверное, вечером.

— Тебе уже девять лет, ты взрослая девочка, что это за легкомыслие такое?

— Но она не могла идти, у нее сломался каблук, мне ее стало жалко, она плакала, она спешила...

— А вдруг это была какая-нибудь воровка? Она могла влезть в форточку и ограбить квартиру.

Я представила себе, как эта худенькая девушка с грустными глазами лезет в форточку в одной туфле, а другую держит в руке.

Мне стало смешно, и я засмеялась.

— Ах, ты еще смеешься! — Мама покраснела и совсем рассердилась. — Ты понимаешь, что ты оставила меня без туфель?

— Она принесет.

— Ты в этом уверена?

— Уверена. Вот я сейчас сяду на окно и буду ждать. Сяду и буду ждать, пока она не принесет туфли.

— Не говори глупостей! Я думаю, что ты состаришься на подоконнике и все-таки не дождешься девицы с моими туфлями. Лучше садись и делай уроки.

Как я могла делать уроки? Ни таблица умножения, ни задачи, ни грамматические правила не помещались в моей голове, заполненной совсем другими мыслями.

Каждую минуту я вскакивала и смотрела в окно. Я думала: «Вот она уже заворачивает с Невского на Мойку, вот идет мимо Волынкина переулочка, вот-вот она пройдет мимо нашего дома... Нет, это два пионера с портфелями, они о чем-то спорят, один несет большой свернутый лист бумаги... Нет, это толстая нянька с тощим ушастым мальчиком, похожим на слоненка... А это целый отряд красноармейцев со свертками — наверное, идут в баню.

Уже совсем стемнело... Много людей проходило мимо, внезапно появляясь в свете нашего окошка, но моей девушки среди них не было.

Пришел папа. Я прошмыгнула в переднюю и села в угол между стеной и вешалкой. Пахло пауками и мокрыми галошами.

Через дверь я слышала, как мама что-то рассказывала отцу, наверное, про меня. Папа строго сказал: «Что ты говоришь! Не может быть!» И вдруг рассмеялся.

Я закрыла глаза. Тоскливое волнение охватило меня. Кто-то засопел рядом. Я испугалась и прижалась к стенке. Брюхастый соседский щенок Решка лизнул меня в щеку. Наверное, он вошел за отцом. Я схватила Решку поперек толстого живота и посадила к себе на колени.

— Решка, — сказала я ему тихо, подняв его мягкое шерстяное ухо. — Ведь она обязательно принесет, правда? Как ты думаешь, принесет или не принесет?

Решка, вырывая из моих рук ухо, отрицательно помотал головой.

— Ну, тогда убирайся отсюда, дурацкая собака!

Я открыла входную дверь и вышвырнула щенка на лестницу.

Мне нужно было, чтобы девушка пришла не только из-за туфель. Это было гораздо серьезнее. Я тогда не могла понять, что в эту минуту решалась судьба моего характера. Решался вопрос — верить или не верить людям, как поступать в жизни.

Все это было в руках у незнакомой мне, прошедшей мимо девушки. Друг она не принесет совсем? А я буду сидеть и ждать ее, пока не состарюсь... Я представила себе, что я старюсь, у меня вырастает борода и из ушей лезут зеленые волосы, как у нашего дворника...

Открылась дверь, и вошел папа.

— Где ты, Тина? — сказал он, не сразу заметив меня в темноте и зажигая свет. — Вот дурочка! Вставай, вставай! Принесет она туфли, конечно, принесет. Я тоже считаю, что люди заслуживают доверия.

Я благодарно обняла своего отца. Слезы, которые я так долго удерживала, хлынули у меня из глаз и из носа.

— Ну вот, разверзлись хляби небесные! — сказал отец, ероша мне волосы сзади наперед.

Следующий день был воскресенье.

Я с утра уже сидела на окне. Солнце блестело во всех стеклах и принарядило мутную воду Мойки. Девочки играли на тротуаре в классы. Они поминутно жулили, сорились и обижались друг на друга. Между ними вертелся Решка. Он гонялся то за перелетающим с места на место стеклышком, то за прыгающими пятками. Девчонки отбрыкивались от щенка, который убегал, трусливо оглядываясь, а потом робко возвращался.

Выстрелила пушка в Петропавловской крепости — двенадцать часов, а моей девушки все не было. Я уже хотела задвинуть занавеску и взять книгу, чтобы время шло быстрее, но за окном поднялся такой визг, что я снова взглянула на улицу и увидела Вальку с продуктовой сумкой. Он опять вертел ею над головой, врезавшись в середину бурно споривших девчонок. «Противный какой! — подумала я. — Никому проходу не дает!»

В это время в дверь позвонили. Я помчалась открывать. За дверью стоял мальчишка из-за угла, Валька.

— Только тронь, только попробуй! — крикнула я, захлопывая дверь. — Убирайся отсюда, а то я всех позову!

Но позвать мне было некого, а Валька не уходил и нерешительно топтался у нашей двери, ничего не предпринимая.

— Послушай, — сказал он каким-то очень мирным, незнакомым голосом. — Погоди, я все равно ничего не понимаю, что ты там верещишь. Ты мне только скажи, какая твоя квартира?

— Там написано. Ты что, читать не умеешь? А зачем тебе моя квартира?

— Погоди. Ты здесь одна живешь?

— Нет, нас много, нас очень много, — добавила я для устрашения.

— А девчонок здесь других нет, кроме тебя?

— Нет.

— Тогда открой, я твои туфли принес.

Я распахнула дверь и втащила Вальку за руку в переднюю.

— Откуда у тебя мои туфли? Давай скорее!

Валька вынул из сумки сверток. Я быстро развернула его и увидела мамины туфли, вычищенные и даже с набойками.

— Эти! — сказала я и прижала туфли к себе.

— Значит, это ты дала туфли нашей Нинке?

— Я. А кто ваша Нинка?

— Сестренка моя.

Валька, всегда прятавшийся за углами, чтобы выскочить оттуда с перекошенным лицом, Валька, с которым я дралась со смертельным страхом в душе, Валька стоял у нас в передней, смиренный, смущенный, очень похожий на свою сестру, и искоса поглядывал на меня внимательным взглядом.

— Нинка велела передать тебе, что она в вечер работала. Утром она послала меня в мастерскую туфли чинить. А заодно и на твои набойки набить. Она велела сразу тебе отдать.

— Это не мои, а мамины.

— Я знаю. Попало тебе?

— Не очень. Главное, хорошо, что принес.

— Ну, что ты! Да, я забыл: сестра велела тебе спасибо сказать. Ну, я пошел.

Я еще держала в руках туфли, когда отец и мама вернулись домой.

— Вот! — сказала я, кидаясь им навстречу.— Вот! Она в вечернюю смену работала! Она с братом прислала! Она очень хорошая! А ты говорила...

— Ну ладно, ладно. Иди погуляй,— смущенно сказала мама и поставила туфли на место.

Белая собака

В детстве я была вруньей.

Врала я не от страха перед наказанием за проступки. Причина была не совсем обычная. Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Моя вторая мать, которую я не имею права назвать мачехой, любила меня чрезвычайно деятельной любовью. Она хотела знать все, что касалось меня, вплоть до моих мыслей, желаний и мелких детских событий, происходивших со мной в течение дня. Она не оставляла мне никакого, даже самого маленького секрета, который так необходимо иметь каждому человеку. Она была умная женщина и находила тысячи способов выведывать мои невинные детские тайны. Я корчилась под ее пронизательным, настойчивым взглядом, пытаясь что-нибудь оставить для себя, но она расспрашивала моих подруг, учителей и в результате все равно знала каждый мой шаг.

И вот я вступила с ней в неравный поединок, похожий на игру.

Я стала безбожно врать, выдумывая разнообразные истории. Их невозможно было проверить, но они были очень правдоподобны. Они происходили то на улице, то в саду, то в кино. Герои этих историй рассасывались в толпе, соскакивали с трамваев, убегали в темноту — в общем, так или иначе исчезали из моего поля зрения, и я всегда чего-то не договаривала.

— Ну и что же было дальше? — спрашивала мама.

— Не знаю...— отвечала я, торжествуя.

Моя школа была расположена далеко от дома, и я каждое утро шла с Мойки через Марсово поле. Я наблюдала за выведенными на прогулку собаками, которые с бесстыдной деловитостью орошали кусты, тумбы, фонари, потом лениво дрались друг с другом. Я долго стояла, глядя на мрачный Михайловский замок, — мне рассказывали, что там убили царя, и я представляла себе, как царь, похожий на дядюшку с картинки Буша из «Макса и Морица», в длинной ночной сорочке и колпаке несетя по узким коридорам замка. На перепуганного жалкого царя наваливаются громадные люди с шашками и начинают «жать масло». Испуганная собственным воображением, я срывалась с места и шла дальше, волоча тяжелую сумку, набитую учебниками, полными моих рисунков, и тетрадями в клетках.

Поворачивая за угол на Моховую, где была моя школа, я вдруг обнаруживала зловещее безлюдье и опрометью неслась последние пятьдесят метров, тщетно пытаюсь обогнать время. Каждый день я безнадежно опаздывала. Я ничего не могла поделывать со своим дурацким характером. Тот отрезок мира, который лежал между домом и школой, был для меня неизменно интересным и разнообразным.

Однажды я возвращалась из школы, не глядя по сторонам.

Я вообразила себя кенгуру и мчалась гигантскими прыжками, опираясь на хвост. Мимо прошел слон, полный пассажиров, по небу с карканьем носились пестрые попугаи, во дворе мне перебежал дорогу тигр, с мяуканьем скрывшийся в деревянном сарае.

На десятом году жизни мне впервые открылся незабываемый мир Брэма. Я влетела домой и, сбросив пальто, рванулась к толстой зеленой книге, раскрытой на сумчатых.

— Что у тебя с пальцем? — спросила мама. — У тебя палец в крови.

— Меня укусил тапир, — ответила я, пробегая мимо.

— Кто?

— Ну, собака.

— Какая собака?

— Маленькая, беленькая, — сказала я, пытаюсь наконец добраться до сумчатых.

— Нет, постой, — сказала мама.

Она стала очень серьезной и засыпала меня вопросами.

— Что это была за собака? Какой у нее был вид? Какие у нее были глаза и не текла ли у нее изо рта слюна?

Я ответила на все вопросы, кроме слюны, но маму это не удовлетворило. Она позвонила отцу на работу и что-то долго шептала в трубку. Я ломала себе голову, что бы это могло значить, но ничего не придумывалось.

Вскоре пришел папа. Он был встревожен и, осмотрев мой палец, тоже стал расспрашивать о собаке. Я так подробно описывала ее, что она была, как живая. Мне казалось, вот-вот она начнет скрестись в дверь. Тут папа задал мне вопрос, совершенно сбивший меня с толку:

— В каком положении у нее был хвост?

— Я не заметила, — вполне искренне ответила я. Действительно, трудно было заметить, в каком положении хвост у несуществующей собаки.

— Одевайся, поедешь со мной, — вдруг сказал отец тоном, не допускающим возражений.

Всю дорогу от дома до Пастеровского института на Песочной улице папа объяснял мне, что такое бешенство и как с ним бороться. Я поняла, в какой попала переплет, только когда увидела шприц, показавшийся мне с кефирную бутылку.

И тогда, уцепившись за папину руку, я сказала, мучительно переламывая свое самолюбие:

— Папа, я все выдумала, не кусала меня никакая собака. Просто я оцарапала палец о стекло.

— О какое стекло?

— Я могу тебе показать. У меня в пальто разноцветные стеклышки.

Папа огорченно посмотрел на меня своими добрыми усталыми глазами.

— Нехорошо,— сказал он,— нехорошо, доченька, говорить неправду, а тем более от страха.

— Правда же, папа, честное слово, не было никакой собаки. Я сама не знаю, почему я выдумала какую-то собаку.

Но папа был непреклонен.

— Я не могу проверять правду ценой твоей жизни,— сказал он..

И мне вкатили первый шприц вакцины, предохраняющей от бешенства.

На следующий день мне купили рулон трамвайных билетов, и я должна была ежедневно утром ездить на уколы, а в школу мне разрешили приходить ко второму уроку.

Так как я твердо знала, что мне не угрожает бешенство, то уже через два дня я начала просто совершать экскурсии в трамваях и вскоре изучила почти все маршруты города. Потом мне это надоело. Люди входили и выходили, а я ехала и ехала неизвестно куда. Уткнувшись в чью-нибудь спину и пошатываясь на поворотах, я стала вспоминать о том, что сейчас в класс входит учительница русского языка и литературы Мария Викентьевна. Она опять, как всегда, прочтет что-нибудь интересное в конце урока. А однажды, вспомнив, что Коля Мартьянов должен был принести мне «Таинственный остров» Жюль Верна, я сошла со своего неопределенного маршрута и поехала в школу к первому уроку.

В первый раз я не опаздывала.

Увидев впереди двух своих одноклассниц, я окликнула их, но они, оглянувшись, вдруг пустились бежать, так что я их еле догнала.

— Вы с ума сошли, почему вы удрали? — спросила я, сильно обидевшись.

И тогда Нина Николаева, открывая тяжелую дверь школы, сказала:

— Ты же всегда опаздываешь, мы и подумали, что уже поздно.

С тех пор, когда я вижу белую собаку, я вспоминаю об этом случае, когда моя невинная ложь внезапно обрушилась на меня с такой неожиданной силой. И теперь, через много лет, когда мне приходит в голову солгать, какой-то голос шепчет мне:

«Вспомни о белой собаке!»

Когда дует ветер...

В Ленинграде по улицам всегда слоняется ветер. То он скромно трогает листочки на деревьях, то устраивает из листьев маленькие хороводики в углах у стен домов, у водосточных труб, то винтит ямки в пыли. Он пробует, можно ли сорвать с вас шляпу, и, если вы зазевались, сорвет да еще швырнет вам в глаз колючую пылинку.

Когда Ленинград был еще Петроградом, а мне было мало лет, помню, как ветер попытался стать в городе хозяином.

В этот день я, как всегда, бежала в школу через Марсово поле. Ветер был такой, что только тяжелая сумка удерживала меня на земле. Мне казалось, что я вот-вот взлечу. Ветер тащил меня назад, вертелся вокруг, затягивал мое платье в невидимые воронки и, наконец, дал мне пощечину мокрым кленовым листом.

Взъерошенные тучи летели по небу мимо Михайловского шпиля, и вдруг он поплыл им навстречу...

В школе уроки шли через пень колоду.

Мы прислушивались к задыхающимся взвизгиваниям ветра. Листья неслись по улице, пересекая наши окна. Часто бухала пушка с Петропавловской крепости. На уроке географии учительница сказала нам:

— Не волнуйтесь, дети. Осенью в Петрограде всегда дуют сильные северо-западные ветры...

Бух! — раздался пушечный выстрел.

— ...они гонят воду Финского залива против течения в Неву, и мы ежегодно наблюдаем в это время некоторое повышение ее уровня.

Бух! — стукнула пушка.

Учительница замолчала...

— Как быстро прибывает вода, — сказала она тихо, — не было бы... — Она взглянула на нас. — На чем я остановилась?

— На наводнении.

— Нет, я не сказала «наводнение», я сказала, что мы наблюдаем повышение уровня воды.

Бух! — грохнуло за окном.

— Наблюдаем повышение... — повторила учительница, часто моргая и глядя куда-то вбок.

— ...воды,— сказала я.

— ...воды,— опять повторила учительница.— Да, так вот,— встрепенулась она,— каждый выстрел означает повышение воды на десять сантиметров выше ординара, то есть нормального уровня.

Бух! — равнодушно сосчитала пушка.

— Не волнуйтесь, дети,— протянула учительница каким-то жалобным голосом, схватила стакан и стала пить громкими глотками. Потом поставила стакан на место и заговорила:

— Последнее наводнение произошло ровно сто лет тому назад, в тысяча восемьсот двадцать четвертом году. Ему посвящен «Медный...»

Бух!

Учительница вздрогнула и замолчала... Вытянув шею, она стала двигать глазами, как бы прислушиваясь к чему-то.

— Всадник,— сказал кто-то.

— Да, «Медный всадник», — подхватила учительница. — В свое время вы будете проходить это произведение Пушкина.

Она взглянула на часы.

— Обычно через три-четыре часа ветер меняет свое направление и уровень воды снижается до нормы.

Бух! — опять раздался раскатистый бас пушки.

Учительница посмотрела на нас откровенно испуганными глазами.

— Я сейчас вернусь, дети! — неуверенно протянула она и выскочила из класса.

Кто-то сразу встал на голову у стены. Остальные начали прыгать по партам, визжать и возиться. Мы еще не успели как следует разгуляться, как вошла Галина Николаевна, наш завуч, и закричала:

— Дети, сегодня уроков больше не будет! Капитолина Валентиновна ушла немного раньше, потому что она живет на Васильевском острове, а это один из затопляемых районов города. Ветер, по-видимому, скоро утихнет, но вы сразу идите по домам, нигде не задерживайтесь.

Через минуту мы все были на улице.

Ветер не только не стихал, а, наоборот, усиливался. Он свистел в ушах, затыкал рот и нос, было трудно дышать. Я хватала воздух, отворачивая лицо от неожиданных вихрей. Женщины вертелись, опуская взлетающие юбки. Мужчины гонялись за кепками и шляпами. У Летнего сада я услышала треск. Медленно валилось толстое дерево. Оно обрушилось на белую

обнаженную статую. Статуя покачнулась и упала, продолжая стыдливо прикрываться руками.

— Чудовищно! — сказал старый высокий человек. Он стоял рядом со мной и смотрел на белые пятки, торчащие из-под желтых листьев. Волосы у старика косо стояли дыбом.

— Дитя мое, — обратился он ко мне, — почему ты на улице?

«Дитя мое» говорили только в книгах, и мне показалось, что старик шутит.

— Городу угрожает наводнение. Я рекомендую тебе... — продолжал он, как бы читая книгу, но не договорил и погнался за своей шляпой. Ветер покатиł ее по земле, пронес по воздуху и швырнул в набухшую водой Фонтанку.

По Марсову полю, в сторону Невы, быстро шел отряд милиции. Проехала пожарная машина. Какие-то люди несли на плечах лодку, как гроб. Промчался извозчик, нахлестывая лошадь. Деревья и кусты дрожали в покорном поклоне. Тугая вода стояла у краев Мойки, как в переполненном корыте.

Из люка на мостовой осторожно показались темные блестящие змейки. Они быстро расползлись, заполняя впадины между булыжниками. Из подворотен и парадных стали выбегать люди с узлами. Плакали дети.

— Подвал заливает! — крикнул человек с красным лицом. — С грунта вода прет!

Из подвального окна выскочила растерянная пышная кошка. Брезгливо озираясь, она пробралась в парадное.

Когда я шла мимо Пушкинского дома, вода Мойки уже перехлестывала через края и стала лизать гранитные плиты набережной бурными дрожащими языками. Мне показалось, что булыжники, окруженные водой, качаются на поверхности глубокой реки... Стало страшно, и я побежала домой без оглядки. Свистел ветер, бухала пушка, люди кричали что-то друг другу, высовываясь из окон, прохожие встревоженно бежали по улице. На реке показались лодки. Было странно видеть, как они плыли на уровне мостовой, мелькая сквозь решетку.

Кто-то крикнул:

— Тина!

Это была моя одноклассница, Женька Баландина. Она догоняла меня. Банты в косах летели за ней, как две синие стрекозы.

— Тина, пошли на Неву!

— Да ты что! Посмотри, как вода выливается из Мойки.

— Испугалась, домой бежишь?

— А что мы будем делать на Неве?

— Спасать.

— Кого спасать?

— Как ты не понимаешь? Там все сейчас тонуть начнут. Помнишь, дед Мазай и зайцы?

Я вспомнила доброго деда Мазая, его лодочку, полную зайцев, и подумала, что, конечно, надо бежать спасать людей, раз они тонут.

— Пошли, — сказала я.

Мы огляделись на Певческом мосту, у Капеллы. Перед нами открылась широкая Дворцовая площадь. Черный ангел на красной колонне смотрел вниз, крепко держась за крест. Далеко над крышами блестел Исаакий, как тусклое солнце. На площади ветер особенно ершил, гоняясь за осенними листьями из Александровского сада. Они стоймя бежали по булыжнику, как желтые цыплята.

Мы вышли на улицу Халтурина, где у входа в Эрмитаж неподвижно стояли обнаженные гиганты из темно-серого гранита. Я всегда очень их жалела. Зимой мне казалось, что они вот-вот запрыгают от холода, охло-

пываясь руками, как извозчики, летом я ждала, что они положат на землю тяжкий балкон, придавивший им плечи, и немножко отдохнут, выпрямив затекшее тело. Я знала, что это невозможно, и все-таки надеялась на чудо. Так и в этот раз я покосилась на их согнутые покорные фигуры — а вдруг они пошевелиются, а вдруг, если позвать, два громадных каменных человека, тяжело топая, пойдут с нами? Но чуда не произошло. «Наверное, все-таки чудес не бывает», — подумала я, пробегая мимо.

Мы вышли на Неву. Широким потоком через спуски вода катилась на мостовую. Вся сизая ширь реки завивалась белыми барашками. Они катались под ветром, строптиво подскакивая. Маленький буксирчик, с трудом расталкивая барашки, тащил за собой пустую баржу. Круглый белый дым косо слетел со стены Петропавловской крепости, и сразу же громко ахнул выстрел. Деревянная торцовая мостовая вспучилась, сломалась и кусками закачалась по мелкой воде. Зеваки, стоявшие на набережной, стали быстро расходиться.

— Пошли домой, спасти некого! — крикнула Женька.

— Это кого же вы спасти собрались? Правильно, бегите домой, а то утопнете. — Возле нас стоял усатый дядька. Он закатывал брюки. Ботинки, связанные шнурками, висели у него на плече. — Здесь спасти некого. Я сам за тем прибежал — медаль имею за спасение утопающих. Ну, ладно, отведу вас домой. Вы где живете?

— Нас спасти не надо, мы не тонем, — сказала Женька и чихнула.

— Что же мне ждать, пока вы тонуть будете? А ну, пошли! — Он сердито схватил нас за руки, и мы двинулись, прыгая по шатким торцам.

На середине мостовой наш спутник внезапно споткнулся, я упала в воду... Взвизгнула Женька, ее ноги мелькнули в воздухе, и сразу же возле своих глаз у самой воды я увидела испуганное мокрое лицо нашего спутника с обвисшими усами. Деревянные шашки торцовой мостовой качались вокруг его шеи. Мне показалось, что это голова качается на торцах, и неожиданно для себя самой я заорала сдавленным голосом, как во сне.

— Тише! — крикнул дядька, шевеля у моих глаз усами. — Чего орешь? Подальше от меня! Здесь люк открытый, черт бы его подобрал! Вода крышки с люков сбрасывает! Бегите к стенке скорей! Вам говорят? — Он вырастал из воды, охая и отплеываясь.

Мы с Женькой не уходили. Мы протягивали ему руки.

— Держитесь, дяденька! — кричала Женька, расталкивая шашки ногами. Наш спутник выпрямился, оперся о наши плечи, и мы подошли к стене Эрмитажа. Вода лилась по телу щекотными ручейками. Ветер сразу стал холодным и колючим, как зимой. Спутник наш обтер лицо, стряхнул воду с ладоней и сказал, удивленно моргая мокрыми ресницами:

— Ведь я чуть не утонул, а? Как баба в колодце. Понимаете вы это, пичужки? А если бы которая из вас? Прямым бы ходом через люк да в Неву! Спасибо, на руках задержался. Ну, теперь по стеночкам будем пробираться. Вы где живете?

— На Мойке, у Капеллы.

— Ну, слава богу, рядом.

И мы опять побрели по воде, рассекая лодыжками мутные быстрые потоки.

На Певческом мосту нас встретила моя старшая сестра Лена. Я увидела ее издали. Она медленно шла по мелкой воде, держась за ограду Мойки и тревожно оглядываясь по сторонам. Ксса ее расплелась, и волосы клубились по ветру, как черный дым.

— Лена! — крикнула я. Она увидела меня и побежала навстречу. Мы обнялись, и она сразу же принялась меня ругать.

— Ты с ума сошла! Куда ты девалась после школы? Идем скорей домой. Квартиру нашу уже залило всю. Пойдем наверх, во второй этаж, в детский дом.

— Я с вами пойду,— сказала Женька.— Все равно мама с двух часов на работе. Чего мне одной дома делать?

— Это сестра твоя? — спросил наш спутник, указывая на Лену.

— Сестра.

— Ну, значит, я вас доставил. Пойду в Гавань дело делать. Держите их крепче, барышня, утекут!

— Не утекем! — сказала Женька.

В нашем дворе было полно народу. В темной рябой воде длинной вереницей стояли девочки и взрослые. Они передавали на второй этаж вещи из подвалов и кладовых. Это были продукты, тюки материи, какие-то большие свертки. Мама, взлохмаченная, в подоткнутой мокрой юбке, заглядывала в кладовые, в дом и все время спокойно командовала резким властным голосом.

Со второго двора привели корову, Зорьку. Тетя Ньюша заманивала ее на лестницу, но она упиралась и подпрыгивала на ногах, похожих на козлы. Глаза ее, всегда кроткие, полуприкрытые прямыми русыми ресницами, стали громадными и бешеными, зрачки ошалело плавали по голубоватым вытарашенным белкам. Она подняла голову и тоскливо замычала.

— Труба иерихонская! — крикнула тетя Ньюша.— Ну что мне с тобой сделать, а? Утопишь, дура! — Она схватила корову за рог и шлепнула ее по мохнатой костлявой щеке. Зорька вдруг перестала мычать, заморгала и покорно подняла ногу на первую ступеньку лестницы.

Нас заметили, когда мы с Женькой, желая помочь, подхватили небольшой полосатый мешок и сразу же уронили его в воду.

— Сахар утопили! — завопила кухарка, вылезая из окна первого этажа. Она была без кофты. Могучее туловище ее стягивал ситцевый лиф. Между лифом и юбкой выпирало что-то розовое, похожее на спасательный круг.

— Он был тяжелый счень... — робко сказала я.

— А вы бы его еще раза два окунули. Он бы совсем легкий стал.— Она взмахнула мокрым мешком, шлепнула его себе на спину и скрылась в дверях.

— Тина! — Рядом со мной стояла мама. Лицо у нее было усталое, похудевшее.— Что же ты со мной делаешь?

— Мы на Неву бегали. Мы спасать хотели. Там человек в люке чуть не утонул.

— Я в школу звонила, все уже давно ушли. А мать знает, что ты здесь? — спросила она у Женьки.

— Она на работе.

— Папы нет до сих пор, а вода все прибывает... Ребята, все в дом! — крикнула мама неожиданно.— Что осталось, перенесут взрослые. А теперь — переодеваться, есть и отдыхать. Быстро, быстро!

Спотыкаясь о тюки, мешки и ящики, мы вместе с девочками поднялись во второй этаж детского дома. Я открыла тяжелую дверь и увидела на блестящем паркете зала толстую свинью с мягким зубчатым животом. Она исподлобья смотрела на себя в зеркало. Вокруг, разъезжаясь на паркете, бегали поросята.

— Хорошо живут! — сказала Женька.

Мы легли спать на столах в швейной мастерской. Мы долго не могли уснуть. Одна новенькая девочка все время плакала — ее тетка жила в Гавани. Женька свалилась со стола — она привыкла спать у стенки. Наконец все уснули.

Разбудил нас отчаянный стук в ворота. Это была Женькина мама.

— Вода спадает, я уже по колено шла, — говорила она, радостно обнимая Женьку. — Прихожу домой — ее нету. Куда идти? Мне сказали, с черненькой девчонкой видели ее. Я сюда. Господи! Вся ты в отца, такой же был — хоть за ногу привязывай!

Все молча сидели на столах и глядели, как Женькина мать гладит Женьку, ругает ее и плачет.

Потом все опять заснули.

Утром была тихая, безветренная погода. Невинно и ярко сияло солнце. Никаких облаков не было в небе. Мойка виновато пробиралась глубоко внизу по самому доньшку.

Может быть, все мне приснилось?

Я сбегала вниз и увидела мусор, груды торцов, лодку, торчащую из окна милиции, и папиросную будку с Невского. Будка лежала на боку у наших ворот.

Нет, это не сон. Все это было на самом деле.

Мама и Лена

Я сидела на пустых чемоданах в углу за шкафом и читала «Графа Монте-Кристо». Пыльный покой угла ограждал меня от окружающих. Шкаф был похож на дом или, вернее, на пивной ларек. Свет проникал в угол сверху — от лампы и сбоку сквозь узкую щель — от окна.

Необычайные приключения несчастного благородного графа были так увлекательны, что вся остальная жизнь на время приостановилась для меня. Я всюду таскала с собой растрепанную книгу с желтыми углами страниц. Граф зримо присутствовал на всех уроках, и основы дробей прозачно врывались в яростные мстительные клятвы моего героя. Его страстные монологи нарушались, когда меня вызывал учитель. У доски я стояла в том унижительном состоянии, когда даже подсказка не воспринималась взбудораженным сознанием. На географии, моем любимом предмете, я вышла к доске в слезах от жалости к Монте-Кристо. «Не надо так расстраиваться, Тина, — сказала учительница, — ты выучишь завтра».

И вот я наконец дома, за шкафом, сижу в каменной темнице, окруженная водой, и смотрю, как граф мечется от стены к стене, обдумывая побег... Но в этот раз мне пришлось прервать чтение — меня искала Лена. Она искала не меня, а свою книгу, потому что «Граф Монте-Кристо» — так же как и «Дон-Кихот», и «Три мушкетера», и почти все книги, которые я читала, — принадлежал моей старшей сестре Лене.

Я встала на чемоданы и смотрела в комнату сквозь узоры нелепой резьбы, обрамлявшей верх шкафа. Я думала, что Лена сразу уйдет, но она не уходила, а остановилась у окна, прислонившись лбом к стеклу. Я смотрела сквозь резьбу, боясь пошевелиться, когда хлопнула входная дверь и в комнату вошла мама. Лена хотела повернуться, но не повернулась и осталась стоять, упершись лбом в стекло.

Мама считала мою старшую сестру неискренней, скрытной и упрямой. Но я знала, что это не так. Просто Лена не могла простить отцу то, что он женился второй раз. Она не хотела любить нашу новую мать.

Мама заведовала одним из самых больших детских домов в городе. Она всегда приходила домой усталая, и, наверное, ее раздражали уклончивые глаза Лены, молчаливые вздохи, усмешки и нетерпимость к замечаниям.

Через деревянную завитушку я вижу, как мама садится на диван, устало вытирая ноги.

— Что с тобой, Лена? — спрашивала мама, — Может быть, ты нездорова?

— Нет, я здорова,— отвечает Лена, немного поворачиваясь к маме и глядя вниз.

— Тогда перестань страдать.

— Я не страдаю.

— Почему же у тебя всегда такой вид?

Лена молчит и смотрит в окно. Она следит за пролетающей вороной.

— Садись со мной, Лена, давай поговорим.

Мама сажает Лену на диван рядом с собой и смотрит на нее, не зная, как подступиться.

— Что же мне делать? — спрашивает мама, тревожно глядя на Лену. — Разве тебе нравятся такие отношения? Подумай о папе. Его это очень огорчает.

Лена молчит, подбородок ее упрямо прижат к шее.

— Лена, будь со мной откровенна, — мягко говорит мама. — Может быть, ты хочешь мне что-нибудь сказать? Может быть, я слишком занята, чего-то не замечаю? Конечно, с младшими я бываю больше, чем с тобой.

Лена все молчит и перебирает тонкими пальцами косу.

— Лена, — снова начинает мама, — тебе девятнадцать лет, и ты должна понять меня. Я вышла замуж за вашего отца, потому что любила его. Я знала, что мне будет трудно, но я поняла, что нужна вам, и пришла с чистым сердцем, с желанием заменить вам мать. Я рассчитывала на тебя, думала, что ты поможешь мне воспитывать твоих сестер. А свою новую сестру ты любишь? — неожиданно спрашивает мама.

— Да, очень, — говорит Лена, — она похожа на папу.

— А если бы она не была похожа на папу, ты бы ее не любила?

— Любила бы, — говорит Лена, помолчав.

— Зачем же ты сказала мне это?

— Просто так, — отвечает Лена и опять отводит глаза.

Мама сдвигает безымянным пальцем крошки на невытертой клеенке стола в узкую бороздку.

Я думаю за шкафом: «Лена, зачем ты всегда обижаешь маму?», а мама говорит:

— Может быть, мне надо было уйти с работы, но я не могу, Лена. Это дело моей жизни. Дети пришли в детдом после двух войн. Многих подобрали на улице. Почти все потеряли родителей. Среди них были девочки, похожие на деревенских старух: мудрые, невежественные и недоверчивые. Надо было вернуть им детство, здоровье. Сколько труда, Лена, сколько сил! Посмотри на них сейчас — они всегда заняты, учатся, работают в мастерских, веселые, поют. Младшие называют меня «мама»... Скажи мне, Лена, может быть, я тебя чем-нибудь обидела?

Лена молчит. Я знаю, почему она молчит. Она не может сейчас сказать маме те обидные, несправедливые слова. Те слова, что говорит о ней мне, упрекая меня в вероломстве.

Она молчит, но я чувствую, что если мама еще поговорит с ней так же ласково, не будет торопиться, как всегда, то Лена не сможет удержаться в своем замкнутом молчании. «Ну, Лена, Лена! — думаю я, балансируя на чемоданах. — Ну, скажи: «Ты хорошая. Я знаю, ты любишь нас. Я была неправа. Прости меня».

Но Лена молчит. Она смотрит на маму растроганно, доверчиво и готова заплакать. Мама не видит этого. Она видит горку крошек, собранную на клеенке. «Мама, посмотри на Лену! — опять думаю я изо всех сил. — Скажи ей еще что-нибудь по-хорошему».

Мама встает и говорит резким голосом, от которого Лена вздрагивает и испуганно замирает.

— Значит, ты, как всегда, не хочешь со мной разговаривать. Вот что, Лена, насильно мил не будешь. Мне трудно с тобой. В доме еще трое

младших. Мне нужно думать о них. Если тебе не нравится мой дом — уходи. Но пока ты живешь здесь, изволь относиться ко мне с уважением. Поняла?

«Мама, это несправедливо! Ужасно несправедливо. Лена учится. Она должна кончить университет. Все это ты говоришь, чтобы обидеть. Это не только твой дом, это наш дом».

Мысли бегут у меня в голове, и мне кажется, что под потолком собираются темные, тяжелые тучи...

Сестра молчит, опустив голову. Потом медленно поднимает ресницы и смотрит на маму. В глазах Лены угрюмый, насмешливый упрек.

Тут подо мной с грохотом рассыпаются чемоданы. Я падаю. Мама бросается ко мне. Лена убегает в свою комнату. В дверь звонят, она не заперта. Я слышу голос кастелянши детдома Синицыной.

— Софья Петровна! — кричит она. — Опять шести простынь не хватает! Что же это будет?

— Работать надо как следует, — говорит мама, вытаскивая меня из-за шкафа, — внимательно надо работать, вот и все. Как ты там очутилась?

— Я читала, — отвечаю я, потирая колени.

— Как так «вот и все»? — обиженно повизгивая, вопит кастелянша. Она очень близорука. Брови ее неаккуратно подведены: две бледненькие — свои и повыше черные, как пиявки, мрачные брови, заползающие на виски. Все четыре поднимаются и прячутся под завитой прозрачный клоч волос на лбу. — Как это «вот и все»! Да я все равно как свое берегу, а вы...

— Вот я и думаю, что как свое. А я вам предлагаю, чтобы вы относились к вверенному вам имуществу как к государственному. Вы меня поняли?

— Что вы хотите сказать подобными словами?

— Тина, выйди, — говорит мама.

Я ухожу за шкаф и начинаю собирать по листкам «Графа Монте-Кристо».

— Значит, вы не поняли моих слов? — обращается мама к Синицыной. — Тогда я скажу яснее. Чтобы завтра же были простыни. Если они окажутся на месте сегодня вечером, — еще лучше. Я не позволю обкрадывать детей.

— Нехорошо вам, Софья Петровна! — завывает Синицына. — Очень даже некрасиво с вашей стороны на меня такие подозрения...

— Хорошо, тогда я обращусь в милицию, — говорит мама спокойно и собирается уйти из комнаты.

Я не понимаю, как мама может быть такой жестокой. Мне жалко Синицыну. Ее нос блестит, как намазанный жиром. Плечи подняты, глазки растерянно щурятся. Я вспоминаю, что такое же выражение лица было у моего соседа по парте, Бобки Щепоткина, когда он клал мой ножичек себе в карман и встретился со мной глазами. Мне было тогда так стыдно, будто это я украла. Теперь Синицына была чем-то похожа на Бобку — так же растерянно кривила рот. Было непонятно, собирается она улыбнуться или заплакать.

— Погодите, Софья Петровна! — опять визжит Синицына. — Зачем же сразу такие репрессии применять? Поищем, посмотрим среди себя. Может быть, найдутся простыни. Кому они нужные?

Она разводит руками и смотрит по сторонам, как будто в комнате много народу.

— И чтобы это было в последний раз! — говорит мама. — Я уважаю ваш возраст и поэтому не расстаюсь с вами немедленно.

Я закрываю за Синицыной дверь, но кастелянша задерживается на

пороге. Она говорит, наклонив голову набок и глядя на меня слезливыми треугольными глазками:

— Жалко мне вас. Бедные вы сиротки. Трудно с такой мачехой. Во все проникнет и на все перстом укажет.

— А вы не воруйте! — говорю я ей.— И нечего нас жалеть. Вон вы противная какая, а мне вас ничуть не жалко!

Синицына набирает воздуха, чтобы ахнуть, а я захопываю дверь.

— За что ты ее любишь? — спросила меня Лена вечером, когда мы лсжились спать.

— За то, что она хорошая.

— А почему ты ей врешь?

— Я ей никогда не вру. Я ее обманываю.

— Какая же разница?

— А такая, что врут из трусости, а я всегда сознаюсь, если что-нибудь натворю. И если спросит, откуда я пришла, тоже правду скажу. Но когда она спрашивает, куда я иду, иногда приходится обманывать.

— Почему же приходится?

— Потому что она не пустит. Не могу же я сказать, что иду кататься на коньках на Неву.

— Все равно — врешь или обманываешь. Это одно и то же. И вечно разные истории придумываешь, смешно слушать.

— А я для смеху и придумываю.

Я лезу под одеяло. Лена собирает мои разбросанные вещи и аккуратно складывает их на стул. Потом садится на мою кровать, глядит на меня молча и, как всегда, перебирает косу.

— Я не могу полюбить Софью Петровну, — говорит Лена тихо, почти шепотом, и как будто не мне, — пусть она будет и хорошая. Вы были маленькие, вы ничего не помните про маму, а я все помню. И как они с папой пели на крыльце, и как она ждала меня внизу, под горкой, раскрыв руки, а я бежала вниз, как она ловила меня, и тискала, и целовала. Она много мне рассказывала и читала. А иногда приходила из школы грустная, усталая. Обнимет меня и молчит. И мы сидим тихо, а я ничего не спрашиваю — знаю, что она чем-то расстроена. Вас тогда еще не было... А когда она умерла, мне было пятнадцать лет. Как же я могу ее забыть?

Лена замолкает, а я смутно вспоминаю серый пуховый платок, добрые темные глаза, как у Лены, такой же высокий лоб, гладкий и блестящий...

Я держала ее за руку и смотрела на мир, который меня окружал. Я смотрела по сторонам. Я видела небо, солнце, деревья. Я следила за жуком, ползающим в траве, за кошкой, играющей с мотком шерсти. Я держала за руку свою мать, не глядя на нее. Я не знала, что мне надо запоминать слова ее и улыбку, потому что скоро настанет день, когда я увижу ее в последний раз...

Я помню высокое крыльцо дома, в котором мы жили. Уже неделя, как мама больна. В доме суетливая тишина и незнакомые запахи. Бегают сиделки в белых халатах. Ходят врачи, папины товарищи. Папа ни на кого не смотрит. Бабушка не выходит из маминной комнаты. Нас туда не пускают. Лена целыми днями стоит у двери.

Я сижу на улице у ворот нашего дома, свесив ноги в канаву, поросшую травой. Прохожие оглядываются на наши окна и тихо спрашивают, наклоняясь ко мне:

— Ну, как мама?

— Ничего, — отвечаю я, шелкая семечки и болтая ногами, — ничего, поправляется. Папа сказал, что скоро встанет.

Я помню, как распахнулась дверь и на лесенке показалась молодая заплаканная сиделка.

— Иди, иди скорей, — позвала она меня, и я побежала наверх.

Нас с младшей сестрой Маней привели в спальню. В комнате было душно, полутемно, и я не могла рассмотреть мамино лицо, провалившееся в подушку.

Мама положила мне на голову горячую руку. Рука не удержалась на моей голове и, вяло скользнув по лицу, задела за губы, как бы в шутку.

— Хочу к тебе! — сказала вдруг Маня. Ей было полтора года, и она иногда спала с мамой. — Хочу к тебе! — повторила она и подняла ручки, чтобы маме было удобнее ее взять.

Нас быстро увели. Передо мной мелькнуло искаженное папино лицо и растрепанные седые волосы бабушки.

Потом я услышала отчаянный крик Лены:

— Неправда! Не может быть! Посмотрите еще раз! Она спит, она просто заснула! Посмотрите еще раз!..

— Ты не можешь помнить ее, как я, — говорила Лена, глядя мимо моего лица куда-то в угол. — Я была неправа, когда сердилась на тебя. Просто я не могу слышать, как вы называете ее мамой, а папа...

— А за что ты обижаешься на папу?

— Я не обижаюсь на него.

— Нет, обижаешься.

— Об этом я не хочу с тобой говорить.

Открывается дверь, на пороге стоит мама — Софья Петровна, как ее называет Лена.

— Почему вы так поздно не спите?

Я думаю, что она сейчас погасит свет, но она входит и садится в кресло у стены. Ее крупные коричневые глаза устало прищурены. Гладкие темные волосы собраны в небольшую прическу, лежащую на шее под круглым затылком. Мы смотрим на маму и молчим — при ней нельзя продолжать наш разговор.

— Я вам помешала? — спрашивает мама и берется за ручки кресла.

— Нет, что ты, — говорю я, — ты совсем не помешала! Просто я сказала, что няня ушла, мы ребят уложили и теперь к ним в комнату нельзя входить, чтобы они не разбуркались.

Лена встает с моей постели и быстро выходит.

— Куда ты? — спрашивает мама.

— Разогреть вам ужин.

— Не надо, я ужинала в детдоме, — говорит мама, но Лена не возвращается. Мама смотрит ей вслед, и лицо ее покрывается неровными розовыми пятнами.

— Ничего, мама, — говорю я ей, — ничего, ты не расстраивайся. И не сердись на Лену. Просто она... она не может... А я тебя очень люблю.

Мама садится ко мне на постель, обнимает меня, прижимает мою голову к своей груди...

К Лене в гости стал приходиться военный. Я его уже видела. Он из Инженерного замка, там военная школа. Эта школа шефствует над детским домом. Мы бываем в Инженерном замке на вечерах и концертах. Курсанты приходят в детдом — помогают выезжать на дачу, устраивают выставки и беседы.

— Правда, он чем-то похож на д'Артаньяна? — как-то спросила меня Лена.

— Да, конечно, — ответила я запинаясь. — Конечно, д'Артаньян был когда-нибудь таким маленьким, но я думаю, что он никогда не был таким белобрысым и курносым.

— Ехидина! — говорит Лена.

Чем же я ехидина? Ну хорошо, я скажу — он похож на д'Артаньяна, такой же стройный высокий брюнет с усиками. Кто я тогда буду?

— Он очень хороший человек.

— Я его не знаю.

— Он очень хороший и добрый.

— Ну и пускай добрый. Я его совсем не знаю. Он приходит, и ты сразу запираешь дверь.

Лена вспыхивает и говорит:

— Что ты выдумываешь? Я никогда не запираюсь. Просто ты не видишь. Если бы ты вошла, то увидела бы...

— Я увидела бы, что вы целуетесь.

— Убирайся из комнаты, мне надо заниматься!

Я продолжаю сидеть и показываю Лене язык. Она хватается меня за шиворот и тащит из комнаты. Я упираюсь, волочу за собой стул, но сестра сильнее — она вышвыривает меня в коридор. Щелкает задвижка. Я кидаюсь на дверь, стучу в нее ногами и ору:

— Все равно он противный! Рот как у жуки! Он головастик! Головастик!

Лена сидит в комнате притаившись. Мне надоедает стучать, и я иду к младшим сестрам. Они набрасываются на меня, валят на пол, теребят за волосы, а я думаю: «Какой, правда, неприятный жених у Лены, какой-то пожилой, наверное, ему уже лет двадцать пять. Приходит — не здоровается со мной, как будто меня нет, уходит — не прощается. Встретил в коридоре маму, почему-то вдруг испугался».

— Ты будешь лошадь! — кричит Маня.

Я становлюсь на четвереньки, она лезет мне на спину, и мы едем. «Почему он испугался мамы?» — думаю я и ползу вокруг комнаты. «А когда мама приглашает его чай пить, он всегда...» Маленькая Наденька плачет — она тоже хочет покататься. Я катаю Наденьку, а Маня бежит сбоку и лает. «Почему он всегда отказывается пить с нами чай?» Я падаю на спину и лежу. Маня говорит что-то про Гулливера и лилипутов. Пока они с Наденькой связывают мне ноги скакалкой, я думаю, что Лена ужасно переменилась. Она стала раздражительная, веселая и тревожная какая-то и все время уходит, редко бывает дома. Наденька лезет ко мне на живот и сидит тихонько, а Маня привязывает мои волосы к ножке кровати. «И почему она с ним целуется? Я сама видела с улицы большущую тень на нашей занавеске. И все прохожие могли видеть. Лена никого не целует, ни меня, ни маму, ни папу, и вдруг с таким чужим человеком...» Хлоп! Наденька опрокинулась назад, я только успела схватить ее за ногу. От этого она еще стукнулась головой об пол. Я трясую ее на коленях и пою:

Едем, едем к бабушке,

Едем, едем к дедушке,

По кочкам, по кочкам!

По ямкам, по ямкам!

Она успокаивается, смеется, а я все думаю, думаю...

Ночью я пыталась заговорить с Леной, но она лежала, отвернувшись к стене, и не отвечала. Рано, рано — когда первые шаги простучали по тротуару у наших окон — я услышала шепот Лены:

— Ты спишь?

— Нет.

— Тиночка, я уезжаю.

— Куда?

— В Москву.

Я перелезла к Лене. Она укрыла меня своим одеялом.

— Зачем ты уезжаешь?

— Так нужно.

— Как ты будешь без нас, одна?

— Я все обдумала. Сначала я буду жить у тети Тани.

— А вдруг она не захочет?

— Что ты! Тетя Таня — мамина сестра.

— А университет?

— Потом когда-нибудь буду учиться. Я не могу здесь жить. Я здесь чужая.

— Неправда, неправда!

Я смотрю на Лену. Она рядом. Она моя сестра. Я люблю ее. Совсем близко, на подушке, лицо Лены. Я вижу профиль и дрожащие губы, и глаз, из которого скатилась слеза и упала в ухо.

— Лена, — тихо сказала я. Мне было страшно начинать говорить, но Лена молчала, глядя в потолок. — Лена, не надо уезжать. Мама любит тебя. А как же папа? Что он скажет? Как ты будешь жить одна?

— Ничего, проживу, — ответила Лена, — проживу. Она мне не мать. А папа привыкнет.

— Лена, не уезжай. Я буду тебя слушаться. Наверно, мне надо было вмешаться, когда вы с мамой говорили.

Я обняла Лену, повернула ее к себе, и вдруг она заплакала, беззвучно и горько, уткнувшись лицом в мои волосы.

И вот Лена уезжает. Мы стоим в передней. Папа едет с Леной в Москву. Вот он еще раз, последний, говорит ей: «Останься, доченька». Она подходит к маме, протягивает ей руку для прощания.

— Лена, что ты делаешь? — говорит мама. — Ты должна учиться, куда ты едешь, оставайся.

— Не забывай меня, Тина, — говорит Лена и быстро идет к выходу.

Я догоняю ее, она прижимается к моему лицу мокрой щекой, потом отрывает от себя мои руки.

Вот хлопает дверь — Лена навсегда уходит из нашего дома.

Мы с мамой стоим у окна и смотрим ей вслед.

— Я не нашла к ней дороги, — говорит мама.

Я возвращаюсь в нашу комнату. Теперь я старшая.

Книги Лены стоят на полке. Она взяла с собой только «Дон-Кихота». Недочитанный «Монте-Кристо» лежит на столе. Читать не хочется. Очень много в моей голове разных мыслей. Надо в них разобраться...

Стрекоза, кузнечик и аптечка

После школы я часто забегала в детский дом к подругам. Я оставляла дома школьную сумку, переходила через двор, поднималась по лестнице на второй этаж и открывала дверь большого зала.

В этот день я увидела за роялем старую пианистку, с волосами серыми, как пыльная паутина, скорбную и неряшливую. Она говорила нам, свесив руки и глядя на клавиши:

— Я потеряла все. И некому жаловаться, никого нет и ничего нет...

Она до сих пор продолжала все терять — то сумку, то ноты, то шляпку, как бы висящую в воздухе над ее головой. Пианистка была худенькая и плохо одетая, а ходила величественной походкой, как королева.

— Татьяна Александровна, у вас штаны видны! — услужливо кричали мы ей. Она оборачивалась, высоко подняв голову, глядела на нас из-под пенсне и говорила:

— Дамы не носят штанов. Это панталоны.

Чаще всего она играла «Где гнутся над омутом лозы», а девочки, стриженные, с сосредоточенными лицами, старались изобразить, как гнутся лозы и трепещут былинки. «Дитя, подойди, подойди же», — подманивали они кого-то растопыренными пальцами.

Учительница смотрела на них тусклыми презрительными глазами, ничего не объясняя и никого не поправляя. Она несла свой крест.

Дверь открылась, в зал вошел вожатый — в детдоме недавно организовался пионерский отряд.

— Знакомьтесь, девочки, — сказал вожатый, указывая на высокого немолодого человека, вошедшего вместе с ним, — знакомьтесь — это товарищ Трубин. Участник взятия Зимнего.

Учительница вскочила и стала собирать дрожащими веснушчатými пальцами сумку, ноты, шляпку...

— Вы извините, товарищ Долгорукая, что я прервал занятия. Товарищ Трубин расскажет девочкам о том, как рабочий класс брал власть в свои руки.

Татьяна Александровна с испуганным лицом продолжала хватать вещи. Она роняла ноты, поправляла пенсне и наконец вышла из зала своей высокомерной походкой, неся перед собой сумку и держась за нее обеими руками, как за перила.

— Не научился еще пролетариат на роялях играть, — сказал вожатый, — приходится приглашать бывших.

Товарищ Трубин внимательно оглядел нас. Мы стояли посредине зала и тоже его рассматривали. Лицо у него было крупное, заросшее густой сизой бородой. Он как бы пересчитал нас широко расставленными ласковыми глазами. Потом сказал грубовато:

— Вот что, девочки, грех вам здесь сидеть в доме и слушать про взятие Зимнего, когда он от нас рукой подать. Пойдемте на воздух, на площадь, ко дворцу.

Через несколько минут мы были на площади.

Много раз после этого мне приходилось слышать рассказы о взятии Зимнего. Но навсегда мне запомнился этот теплый, безветренный осенний денек, это белесое небо и красота строгих ампирических домов, окружавших нас.

Мы стояли у Александровской колонны. Сзади мчалась в небо буйная квадрига Главного штаба. Перед нами был дворец — красный, украшенный раковинами, завитками, колоннами и бесчисленными статуями на крыше.

Мы слушали рассказчика. Он не кричал, не бегал, не размахивал руками. Ни малейшей аффектации не было в его спокойном низком голосе.

Мы представили себе безлюдную настороженную площадь, баррикаду, юнкеров и девиц, одетых в военную форму, за узорными чугунными воротами дворца. Мы представили себе, как постепенно темнело, площадь стала заполняться вооруженным народом, как ударила пушка из-под арки Главного штаба, прогремел выстрел с «Авроры». Мы представили себе людей, бегущих на штурм Зимнего, туда, где засели враждебные народу министры.

— И с этого времени, девочки, — продолжал рассказчик, — и с этого времени началась в нашей стране Советская власть. Не все вернулись домой с площади. Вот там, где ты стоишь, черненькая, упал мой дружок Ваня Степанов. Да. Упал и не встал.

Я быстро отошла в сторону.

— Не бойся, нет там его крови. Давно уже ее дожди смыли. Но мы про нее помним. И вы помнить должны. Потому что для вас мы эту революцию делали — для счастья наших детей, внуков, правнуков и далеких потомков. Вот какое дело, товарищи молодые пионеры.

Вечером я сказала маме:

— Я хочу записаться в пионеры.

— Посмотри, какие у тебя руки, — сказала мама, — в твоих тетрадах одни кляксы. Учительница говорит, что на уроках ты вертишься и разговариваешь. Арифметику учишь перед самыми экзаменами. Пионер — человек сильной воли.

— У меня сильная воля. Мы в гляделки играли — кто кого переглядит, — я всех победила.

— Тина, ты понимаешь, какую глупость говоришь?

— Понимаю. А еще щипалки...

— Послушай меня, Тина, разве гляделками и щипалками определяется сила воли? Делом докажи, что ты достойна быть пионеркой. А иначе я не советую тебе и заявление подавать — тебя не примут. Только окажешься в глупом положении. Помни: пионеры — это лучшие из лучших.

Всю зиму я пыталась стать лучшей из лучших.

Мне это никак не удавалось. Руки мои как-то сами пачкались, волосы растрепывались, первый урок начинался слишком рано. Всегда мне больше хотелось прочесть не то, что было задано. Я прочла много книг, не предусмотренных школьной программой, но при этом плохо знала таблицу умножения. Я боролась, как могла, с кляксами — они неизвестно откуда попадали в мои тетради. Когда я делала уроки за столиком у окна, таинственные шарканья, крики, грохот телег по булыжнику, всплески на воде Мойки надолго отрывали мое воображение от двух крапов, одновременно наполняющих водой бассейн.

Я была трудным ребенком, что и говорить, — непоседливым, своевольным и слишком жадным до новых впечатлений.

И все же мне так хотелось быть тем новым поколением, на которое старшие оставляют страну. Мне хотелось быть тем потомком, для которого рабочие брали Зимний дворец, — и носить красный галстук, и стучать в барабан, и дудеть в серебряную трубу, и разводить костры, и ходить в далекие походы, и открывать в недрах земли неизведанные богатства, и мчаться на Северный полюс, и изобретать немыслимые машины, и драться с врагом, и всюду быть с первыми из первых, с лучшими из лучших...

Но пока я стала только немножко лучше учиться и записалась в школьный драмкружок.

Кружок вел бывший актер Сергей Сергеевич Дариллов. Это был высокий худой человек с вьющимися бровями, с бледной лысиной, утонувшей среди вздыбленных волос, как лесное озеро. Глаза его всегда удивленно улыбались, и углы рта были закручены кверху, как усы.

— Коллеги! — сказал он нам однажды голосом, гудящим, как рояль с нажатой педалью. — Коллеги, я принес вам немыслимо прекрасную пьесу. Все дети мира будут мечтать о том, чтобы увидеть ее у нас в школе в вашем исполнении. Роли — одна другой лучше. Играть вы будете хорошо. Играть хорошо — естественное желание актера. Такое же естественное, как желание выплыть у человека, брошенного в море. Пьеса эта — «Том Сойер» по Марку Твену.

— Ур-р-ра! — заорали мы, так как все знали и любили Тома Сойера и Гекльберри Финна.

«— Том! — никакого ответа. — Том! — никакого ответа», — начал читать Сергей Сергеевич, а мы стали слушать, усевшись в кружок. Уставая, он давал каждому по очереди читать дальше.

Все мальчики хотели играть Тома, а девочки — Бекки. Я не успела ничего захотеть, когда Сергей Сергеевич сказал, кто кого будет играть. Он дал роли всем, кроме меня, и вдруг добавил:

— Тина, ты будешь играть Тома Сойера.

Девочки ахнули, а мальчики сердито зашушукались.

— Но ведь я же... — начала я, замирая от счастья.

— Ты настоящий мальчишка, — ответил Сергей Сергеевич.

Больше всех сердился на меня Толя Захаров. Он мечтал быть артистом. Он выступал на всех школьных вечерах: читал стихи, жилаясь и закидывая голову. И вдруг вместо Тома Сойера ему дали играть какого-то мальчишка без имени.

— У тебя концертный номер, — сказал ему Сергей Сергеевич своим pedalным голосом, — сцена драки. Великолепная роль. Больше ко мне с этим не подходи.

И вот после долгих репетиций наступил день спектакля.

В зале собрались ученики, педагоги и родители. Сквозь тонкий занавес я слышала, как шевелится, двигает ногами, стучит стульями, взвизгивает и разговаривает публики.

Я подошла к большому зеркалу, чтобы посмотреть на себя.

Меня не было. Я смотрела на худенького смуглого мальчишка в широкополой шляпе, а он испуганно рассматривал меня, то отступая, то приближаясь. Он хотел убежать домой, пока не поздно. Ему было страшно. «Нет, — думал он, — ты не убежишь. Как говорит мама? Надо воспитывать силу воли, чтобы стать пионером. Где твоя сила воли?»

Сергей Сергеевич схватил меня за руку и сказал взволнованно:

— Самое главное — не волноваться.

Спектакль начинается. Раскрывается занавес. На нас дышит теплом темная пасть зала.

Я не вижу никого, меня видят все. Я — Том Сойер.

— Том!

Я молчу.

— Том!

Я молчу.

— Куда же запропастился этот мальчишка?.. Том!

Это кричит тетя Полли. Как мне надоела тетя Полли со своими бесконечными нравоучениями, лекарствами, наказаниями и молитвами.

В зале смеются.

Наступает сцена драки. Я вижу злое Толькино лицо.

— Ты трус и щенок! Я скажу своему старшему брату, он отколотит тебя одним мизинцем!

— Очень я боюсь твоего старшего брата! Мой брат швырнет тебя через тот забор!

— Врешь!

— Трусишь!

— Только стращаешь, а сам трус!

— Проваливай!

— Сейчас я оторву тебе голову!

Толька очень хорошо играет. Он накидывается на меня, вытаращив глаза и закусив язык. С размаху он больно бьет меня в ухо. Мне очень обидно. Он должен был промахнуться, а попал в ухо. Я размахиваю кулаками и колочу мимо, как было условлено, но Толька колотит меня по-настоящему. Я начинаю защищаться. Меня приводит в ярость Толькино вероломство. Бац! Толька схватился за нос. Я вцепляюсь ему в лицо обеими руками, я деру его за волосы, и мы валимся на пол.

Драка затянулась. Я уже укусила Тольку за палец. Толька завизжал: «Ах, ты кусаться!» — и стал драться ногами.

Под бурные аплодисменты мы укатились за кулисы. Там нас растащили. В зале стоял невероятный шум. Толька ревел. Мне надо было играть дальше.

Ухо горело, нос стал тяжелым, как чужой. «Сейчас убегу домой. А где

твоя сила воли? — слышала я спокойный мамин голос. — А еще хочешь быть пионеркой?».

Сергей Сергеевич вытер мне лицо мокрой тряпкой.

— Иди на сцену. Возьми себя в руки.

И вот Том красит забор. Спектакль идет дальше. Вот школа, Бекки Тэчер, кладбище с Гекльберри Финном, заклинания с черной кошкой, прогулка в пещере, найден клад индейца Джо, сцена суда... Конец.

Я снова стою у зеркала. Нос мой распух, под глазом синяк, два красных уха, как две розы, украшают мое лицо. Но я счастлива...

Мама говорит мне у самого дома:

— Я сразу заметила, что он колотит тебя по-настоящему.

— Ничего, — отвечает папа, — она хорошенько дала ему сдачи.

Я чуть не вылез на сцену, когда вы расквасили друг другу носы.

Мы приходим домой, и я говорю маме:

— Я подаю заявление в пионеры.

— Подожди, — говорит мама, — летом окрепнешь, поправишься и осенью подашь заявление.

Она берется за мои худые ключицы, как за ручки от ящика.

— Видишь, какая ты худющая. Пионер должен быть сильным и выносливым.

Летом детский дом выехал за город, под Лугу.

Мама после долгих поисков нашла там брошенную дачу купца Полудина — большое запущенное двухэтажное здание. Инженерная школа — наши шефы — прислала комсомольцев, и в две недели здание приняло жилой вид, — во всяком случае, летом в нем можно было жить.

Место было чудесное. Вокруг, схватившись за песок корнями, похоти на лапы громадных птиц, стояли сосны. Мимо дачи протекала небольшая речушка. Она была запружена, и водопад летел вниз из большого зеленого пруда, полного ручейников, головастиков и лягушек. По его поверхности бегали длинноногие ломкие пауки, жуки-плавунцы просвечивали сквозь воду.

Изгороди из ежевики и боярышника окружали дачу. В липовых аллеях жужжали тяжелые пчелы.

Я бегала на пионерские сборы, на костры, куда меня пускали потому, что я умела рассказывать сказки.

Девочки детского дома собирали для школы гербарии. У меня в спичечных и папиросных коробочках шевелились и трещали жуки, пестрые волосатые гусеницы пугали моих сестер, расползаясь по комнатам.

Однажды я ловила сачком стройную синюю стрекозу. Она неподвижно стояла надо мной в воздухе, как вышитая. Как только я замахивалась сачком, стрекоза изящно отскакивала в сторону и останавливалась поодаль, как бы поддразнивая меня. Ее крылья испуганно трепетали, блестя на солнце. Я все бежала за стрекозой, глядя вверх, и мне хотелось взлететь за ней и взять ее из воздуха двумя пальцами за синие прозрачные крылышки.

И вдруг — я лечу! Стрекоза стремительно поднимается вверх и исчезает. Я шагнула в водопад, и он потащил меня спиной по сучьям и камням.

Я лежу на животе в мягкой болотной жиже на низком берегу речушки. Опять мама скажет мне, что у меня нет сдерживающих центров и я ни в чем не знаю меры. Почему я не остановилась вовремя? Почему я дала ничтожной стрекозе перехитрить меня? Зачем мне эта стрекоза? Я бы могла поймать другую. Нет, все-таки эта стрекоза была мне нужна для коллекции. Ничего, заживет спина — поймаю. Все равно я ее поймаю, эту стрекозу.

Но что же все-таки там случилось? Двигаться я могу. Вот я встала на четвереньки. Вот поднялась на ноги. Мое мокрое платье измазано болот-

ной грязью. Что-то здорово щемит на спине... Ну-ка, потрогаю... Кровь... Ну что ж, ничего не поделаешь, надо идти домой.

Пионеры в детдоме готовятся к походу. Они собираются пойти в деревню Жаворонки, на озеро Белое, за пятнадцать километров от нас.

Они берут с собой продукты, они будут разводить костры, они идут с ночевкой в лесу. Идут самые крепкие, здоровые и самые старшие, младшие остаются дома.

Я ни о чем не прошу. Я только хожу за мамой хвостом.

— Ты знаешь, мама, — говорю я ей, — как это интересно — идти по лесу в поход.

— Да, — говорит мама. Она идет на кухню брать пробу обеда. Я иду за ней.

— Как это интересно — идти по лесу в поход, ночевать в лесу, сидеть у костра...

Мы с мамой стоим у широкой плиты.

— Суп недосолен, — говорит мама.

— Как это интересно, правда? Как Миклухи-Маклаи...

— Ты не пойдешь, — говорит мама. — Посмотрим-ка лучше, сколько Зорька сегодня дала молока для слабых.

Мы с мамой идем в коровник смотреть Зорьку. Зорька сама слабая — молока дает мало. Она смотрит на меня грустно и многозначительно, как будто понимает мои мысли. Мама выходит из коровника, я за ней.

— И не проси, пожалуйста, — ты не пойдешь. Здесь тоже можно развести костер, а завтра вскопаем клумбы, будем сажать цветы.

— Я не прошу, я только рассказываю, что поход — это интересно. Мне кажется, что это интересно очень.

— Да, это интересно, но ты не пойдешь.

— Я знаю, что не пойду, я ничего и не говорю, но почему бы мне и не пойти? Все идут, а я...

— Ты не пойдешь, доченька, — говорит мама. Она обнимает меня и объясняет, что мне это не под силу. — Как я могу тебя пустить, ты очень устанешь, потом ты такая неосторожная, свалилась в водопад, ободрала спину. За тобой еще надо следить — отстанешь, потеряешься...

— Я не буду теряться, я буду очень осторожная, я буду послушная.

— Нет, Тина, нет и нет.

В шесть часов утра пионеры ушли в поход.

Когда я проснулась, вокруг дачи было безлюдно. Младшие девочки играли в лапту возле липовой аллеи. Я бросилась в высокую траву, перевернулась на спину и долго лежала, глядя в небо.

Мне казалось, что жизнь моя с этой минуты стала неинтересной и серой. Ничто не радовало меня.

Солнце лежало на небе, как брошенный в море подсолнух. Крапива, лопух и кружевные зонтики дудок качались надо мной. По стеблю лопуха полз длинный красный жук. На спине его были нарисованы два черных глаза. Кто-то все время возился и хрустел в траве у моего уха. «Можете хрустеть, ползать, трещать, летать, скрипеть. Мне вас не нужно. Больше никогда я не буду собирать вас в коробочки. Не буду читать книг, не буду умываться, не буду качаться на двери, не буду чистить зубы... Все кончено...»

— Софья Петровна! Ребята аптечку забыли!

Я вскочила и увидела на террасе Асю Варравину. Она держала в руках небольшой чемоданчик и растерянно оглядывалась. Я подбежала к ней.

— Не кричи, — сказала я, — обожди, не зови никого.

— Так ведь нужно...

— Я их догоню, я отнесу!

— Вот так так — догоню! Они в шесть часов утра ушли, а сейчас десять скоро.

— Ничего, они ведь отдыхать будут. Дай мне аптечку, Ася! Дай, пожалуйста. Ведь кто-нибудь мог ногу поранить или руку, у них даже йода нет, ты подумай! Даже нет ни одного бинтика! А потом, знаешь, мама мне сказала, что я не могу в пионеры подавать, что меня не примут потому, что...

— Как это не примут? У тебя родители не буржуи.

— Нет, мама говорит, что я невыносливая и что у меня нет силы воли, а у меня есть. Дай аптечку, Ася. Вот увидишь, я донесу! Еще как они обрадуются!

— Это-то да, — Ася посмотрела на меня искоса, завязывая косичку, — да ты не дойдешь.

— Почему это я не дойду? Все дойдут, а я не дойду!

— А что я Софье Петровне скажу?

— А ты не говори маме. Я сама скажу, когда вернусь.

— А искать начнут?

— Когда хватятся, скажи, что я аптечку понесла.

— Попадет мне, пожалуй.

— А ты-то при чем?

— Да я, если хочешь знать, сама бы пошла, если бы не дежурство. И потом, нога у меня наколотая — на пятке хожу. Ну ладно, иди. Держи чемодан. Подожди, я тебе хлеба дам — проголодаешься по дороге. А как идти, знаешь?

— Конечно, знаю! Все туда и туда — по дороге, а потом свернуть на тропу через лес. Я знаю.

Ася вынесла мне пакетик, завернутый в газету.

— Возьми. А на ногах что?

— Сандали-и-и! — Я уже бежала по липовой аллее, потом скосила кусок через кусты, чтобы не попасться маме на глаза, выскочила на мягкую проселочную дорогу, и пошла по ней все прямо и прямо...

Солнце палило в макушку. Тень моя съежилась и спряталась под подошвы. Стало жарко. Я сошла на узкую тропинку между лесом и дорогой. По ней было прохладнее идти. Я проходила мимо зеленых лесных пещер, чешуйчатых рыжих сосен и мимо темных елей, как бы одетых в колючие широкие юбочки. В траве мелькали черника и земляника — щедрые лесные ягоды. Тихая собака прошла невдалеке и скрылась за деревьями. Долго я шла, глядя по сторонам. Из-под моих ног вылезла косая тень и побежала рядом.

Я устала, села в холодок на траву и развернула Асин пакетик. В нем оказался большой ломоть хлеба и огурец. Когда я начала есть, то нащупала три леденца, прилипших к хлебу. Это Ася отдала мне свои конфеты.

Я быстро съела завтрак. Очень хотелось пить. Вокруг было много черники. Я стала переползать от куста к кусту и рвать ягоды, пытаюсь утолить жажду.

Неожиданно черничник кончился, и я увидела перед собой гадюку, свернувшуюся, как диванная пружина. Она лежала на солнечной тропинке, бежавшей по черничнику. Скользкая плоская головка змеи была приподнята, неподвижные глаза, перечеркнутые узким зрачком, смотрели на меня с равнодушной жестокостью.

«Сейчас укусит. Сейчас укусит. Вот она меня сейчас укусит», — говорил во мне кто-то тоненьким голоском.

Лежа на животe с зажатой в руке черникой, я смотрела в отвратительные мрачные глаза змеи, боясь пошевелиться.

Внезапно змея начала медленно развинчиваться и темным ручейком влилась в черничник на другой стороне дорожки...

Когда перестала шевелиться трава, раздвигаемая упругими зигзагами змеиного тела, у меня забилось сердце, и я выдохнула воздух, судорожно зажатый в легких.

Я осторожно встала и долго шла по лесу на цыпочках, без дороги...

Деревья стали редеть, и лес кончился. Передо мной открылось большое пространство, поросшее вереском. Пахло разогретой землей и душистым запахом цветов. Нежный и мягкий на вид сиреневый ковер оказался жестким и колючим, а земля неровной и каменной. Ноги цеплялись за упругие густые кустики, сандалии скользили по ним. Я шла осторожно, чтобы не упасть и не разбить чего-нибудь в аптечке.

Из-под ног вылетали невиданные черные кузнечики. Они на лету раскрывали крылья на красной подкладке, с треском совершали полукруг и скрывались в вереске.

Красные трескучие полукруги мелькали передо мной, и я не смогла удержаться. Я поставила чемоданчик возле заметного кустика с высокой верхушкой и погналась за кузнечиком. «Поймаю только одного», — подумала я и хлопнулась на него всем телом, зарываясь носом в колючий душистый вереск. Но в ту же минуту красная мантия мелькнула у меня перед глазами и исчезла. Наконец, после многих неудачных попыток, я поймала одного зазевавшегося кузнечика. Он сучил длинными сухими ножками и все время что-то жевал. «Отнесу его в аптечку, заверну в вату и покажу девочкам», — думала я. Но где же кустик с высокой верхушкой? Его нет. Вернее — их много. Под которым из них стоит моя аптечка?

Долго я шарила по кустам, спускаясь с холмиков, поднимаясь на холмики, и наконец села на землю.

Нет, я не гожусь в пионеры! Мама права. Мне надо было нести аптечку. Мне надо было идти все прямо и прямо по дороге, а потом свернуть на тропинку и идти через лес. У меня нет никакой силы воли и сдерживающих центров. Где они находятся, эти центры? Почему у меня их нет? Почему я, вместо того чтобы съесть свой завтрак, отдохнуть и идти дальше, почему я вместо этого стала рвать чернику, ползать по земле, как бог знает кто? Если бы я не ползала, я бы не встретила со змеей, не помчалась бы, как одурелая, по лесу, не потеряла бы дорогу и не выскочила бы на это горячее розовое поле с кузнечиками. Какой-то дурацкий кузнечик отвлек меня от цели, и вот я сижу, усталая, исцарапанная, посредине вереска. Неизвестно, где мой дом, неизвестно, где наши ребята, неизвестно, где мой чемоданчик, из-за которого я пошла. Никогда из меня ничего не выйдет! Нельзя, чтобы все было интересно. Наверно, мимо чего-то надо проходить и делать вид, что тебе совсем не интересно.

Так я сидела под жарким солнцем на теплом жестком вереске, ругала себя и думала, как быть.

Может быть, лечь и умереть здесь, чтобы через много лет люди нашли мои белые кости? Но умирать не хотелось, и я пошла на крайние меры.

Я вспомнила, что кухарка детдома, тетя Маша, когда потеряла поварешку, привязала платок к ножке стола и сказала: «Черт, черт, поиграй и обратно отдай!» Поварешка нашлась, когда съели суп, — она оказалась на дне кастрюли.

Стола не было, и я привязала платок к своей ноге.

— Черт, черт, поиграй и обратно отдай! — тихо сказала я. Говорить неизвестно с кем было страшновато. Голос мой прозвучал незнакомо, как будто со стороны. Чемоданчика все равно нигде не было.

Я еще долго искала его, присаживаясь и поднимаясь. Нет, не найти мне его больше никогда!

В отчаянии я упала на землю... и сквозь кусты неожиданно увидела свою аптечку. Она спокойно стояла на месте, не шевелясь и не подавая

голоса. Она, наверное, хихикала и пряталась за куст каждый раз, когда я проходила мимо.

Я бросилась к ней, схватила ее за ручку и, счастливая, побежала по вереску, как по воде, к далекому лесу, туда, где кончалось поле и где мне чудилась близкая дорога.

Издали показались пестрые стволы берез, редкий осинник, и вскоре я вошла в сырой лесок, где пахло мокрыми листьями, грибами и откуда-то тянуло холодком.

Продираясь сквозь орешник, я спускалась и спускалась куда-то, прижимая к себе аптечку. Наконец я увидела небольшое озеро — как бы брошенный на траву голубой платок.

Скользкие плоские подошвы моих сандалий неудержимо везли меня к воде по травянистому склону. Наконец я съехала и села на берегу возле куста.

Вокруг меня на разные голоса гомонили птицы. На озере плавали холодные белые кувшинки среди плоских блестящих листьев. Я отвернулась, чтобы не броситься за ними в воду, и увидела в кусте, у самого своего лица, пухлое гнездо. Четыре маленькие желтые головки торчали из гнезда. Они вертелись на тоненьких обшипанных шейках и орали, разевая жадные клювы. В разинутых клювах болтались бледные язычки. Черные глазки, бессмысленные, как ягоды бузины, уставились на меня.

«Ни за что не дотронусь до них! Ни за что не выну ни одного птенчика, такого хорошенького, только на одну секунду. Ни за что не посмотрю, какие у него там лапки. Не загляну в гнездо, не проверю, есть ли там скорлупки и как они раскрашены. Может, они голубые, в крапинку, или рябые, как в веснушках? Только протянуть руку и взять этого смешного оралу и сразу же положить обратно. Что ему сделается? Только одного, только на минутку». И вдруг маленькая взъерошенная птичка пронеслась мимо моего лица и села на ветку. Она трепыхалась и дрожала на тонких ножках, пронзительно взвизгивая звуком, похожим на скрип ржавых петель.

«Это их мама, — подумала я, — она боится меня. Еще бы, я такая растрепанная и исцарапанная. Она меня боится. Не буду трогать никого. Буду думать, куда идти».

Я пошла вдоль берега по мелкой илистой воде, держа в руках чемоданчик и сандалии.

Только я задумала выкупаться, как наверху в лесу послышался треск ветвей, топот и мычание. Сквозь деревья шли красные коровы. Они шли по крутому склону вниз головой, раскачивая тяжелые животы, опустив рога и глядя исподлобья. Крепкие красные хвосты летали над их спинами.

Я еле успела влезть в первый попавшийся куст.

Стадо прошло мимо, и коровы стали шумно пить, втягивая воду и отфыркиваясь.

За ними из леса выбежал мальчишка в обтрепанных штанах и без рубахи. Она была завязана, как платок, — с головы свисали два рукава.

— Ты что тут делаешь? — сразу спросил он.

— Коров боюсь.

— Это я вижу. А зачем пришла сюда?

— Я дорогу ищу.

— А на што тебе дорога?

— До озера Белого дойти.

— Тю-ю-ю! Дотуда еще верст семь. И на ту сторону, надо перебраться.

— А как же я...

— А уж это я не знаю. А зачем тебе на то озеро?

— Я аптечку несю. Туда пионеры в поход ушли, а аптечку забыли.

— Вон чего!

- Я бы переплыла — здесь не широко, но из-за чемоданчика...
- Пойдем, я тебя на лодке перевезу. Ленья-я-я! — крикнул он.
- Чео-о-о? — ответил кто-то сверху.

— Я на ту сторону. Сейчас назад буду. Ты давай сюда спускайся. Пошли! — сказал он мне.

В камышах была спрятана небольшая лодочка. В ней пастух перевез меня на ту сторону озера.

— Пойдешь все прямо, через лес, тут рядом тропочку увидишь, по ней и иди. Мимо Тимофея пройдешь, спросишь, как дале идти. А то я тебе руками-то намахаю, а ногами не разбересся.

— Это кто — Тимофей?

— Дед один! — Мальчишка уже оттолкнул лодку и стал размахивать веслом.

— Спасибо тебе!

— Ниче-о-о-о! — крикнул он в ответ.

Опять побежала передо мной тропинка по редкому солнечному лесу. Она шла между папоротников, огибала пни и холмики, покрытые темно-зелеными клеенчатыми листьями и бледными незрелыми ягодами брусники.

Когда я уже хотела присесть и отдохнуть на одном из холмиков, между деревьями замелькала изгородь из редких некрашенных досок. Тропинка привела меня к калитке. Я вошла и оказалась на небольшом участке с бревенчатой избой, яблоневым садом и кустами черной смородины.

За избой оказался пчельник. Вдруг из-за кустов выбежал старик с развевающейся седой бородой. Он бежал не по дорожке, а прямо по кустам, глядя вверх, держа в одной руке ведро с водой, а в другой веник. Он мочил веник и брызгал им над собой, крича и причитая.

Я вгляделась и увидела над его головой темное прозрачное облачко. Оно золотилось и поблескивало на солнце, то поднимаясь, то опускаясь, и наконец село на нижнюю ветку рябины.

— Эй! — крикнул старик. — Неси скорей сито и метелку! На крыльце они!

Я побежала к крыльцу и принесла старику сито, в котором лежала небольшая метелочка.

— Куды вы расползлись все, что и не дозовесся!

Не глядя на меня, он схватил сито и побежал к рябине.

И тут я увидела, что на ветке висит не облачко, а рой пчел. Они держались друг за друга и образовали огромную грушу. Старик стал потихоньку стряхивать пчел метелочкой в сито. Потом открыл один из ульев и высыпал в него пчел, как песок.

В первый раз в жизни я видела, как роятся пчелы.

Закрыв улей, старик повернулся ко мне и удивленно спросил:

— Ты кто?

— Я пришла... я хочу спросить...

— А Нюрка где?

— Какая Нюрка?

— Внучка моя. Разбежались все. Разве ж это мое дело — рой ловить! Мой возраст другой. — Он сердито помолчал, потом добавил: — Артельные пчелы-то, нехорошо упустить. Скажут, своих бы догнал. Ты откуда явилась? Спасибо, помогла мне.

— Я с Полудиной дачи.

— Знал я Полудина купца. За границу удрал. Теперь на той даче приют. Пойдем в избу. Молоком тебя напою. Отдохнешь малость.

Мы вошли в избу. Вкусно пахло хлебом, яблоками и медом. Оказалось, что я очень хочу есть. Я села на лавку между столом и маленьким оконцем, украшенным вырезанной бумагой. Громадная печь стояла в комнате. Ее полукруглый рот был прикрыт черной заслонкой.

Дед дал мне молока в глиняной кружке, меду на блюде и кусок хлеба.

— Тебя как звать?

— Тина.

— Валентина или Алевтина?

— Просто Тина.

— Что спросить хотела?

— Как до озера Белого идти?

— Тебе зачем на озеро?

— Пионеры в поход ушли, аптечку забыли с лекарствами, а я несу.

— Это кто же тебя послал?

— Никто, я сама.

— То-то я и вижу, что сама. Убегла, значит. А вдруг бы тебя обидел кто? Змея бы укусила?

— Она не укусила, она уползла.

— Попалась на дороге все-таки. Змей тут много. Видишь — заплуталась ты, какого крюку дала. С крюком-то верст шесть прошла, а то и все семь. Говоришь, устала?

— Устала.

— Тогда так: мне туда в деревню надо по делу. Я тебя подвезу.

— Нет, спасибо. Я пешком пойду.

— Зачем пешком? Я тебе говорю — подвезу.

— Мне нельзя ехать.

— Это почему так — нельзя?

— Потому что все ребята идут, и я должна идти.

— Ага, значит честно хочешь своими ногами идти?

— Да. А то нехорошо будет — все идут, а я поеду. Получится, что не дошла.

— Значит, пока ты будешь своим ногам испытание делать, там будут без аптеки? Ежели побьется кто, или ногу зашибет, или сомлеет с устатку — никакой помощи нет, аптека пешком идет.

Дед говорил сердито, а смотрел на меня добро своими серыми глазками в мятых веках. Нос его шевелился, когда он говорил, а волосатые щеки дрожали.

— Да, правда, я не подумала...

— Ладно, — сказал дед, вставая, — генералы с неподумки сражения проигрывают, а тут дело помельче. Посиди на лавке, пожди. Я лошадь запрягу.

Дед вышел, нагнувшись в дверях и прикрывая голову ладонью.

Мы с дедом Тимофеем ехали по пыльной дороге. Я сидела в телеге на мягком сене, а дед сбоку, свесив ноги.

Ритмично, как бы приплясывая, бежала пегая лошаденка, сосны кружились по обеим сторонам дороги, дед говорил что-то, потряхивая вожжами, небо стало темнеть, солнце уже катилось по верхушкам сосен.

Я заснула нечаянно, незаметно для себя, и проснулась оттого, что дед покрикивал мне:

— Вставай, вставай! Приехали! Вон, в леску, ваши приютские пионеры бегают. Вставай, аптека! Слышь, вставай!

Я быстро села в телеге и увидела, что уже темно.

Тоненький кривой месяц закорючкой висел в небе.

В лесу горел костер. Он показался мне громадным. Черные силуэты сосен преграждали к нему дорогу.

Девочки в красных галстуках, белых кофточках и синих шароварах тащили со всех сторон хворост.

— Пойдемте со мной, дедушка Тимофей, а то мне одной как-то стыдно.

— Никакого стыда нет. Человек принес аптеку, и все тут.

— Ну, тогда спасибо, дедушка, — сказала я, соскакивая с телеги.

— Чего спасибо, лошадь моя сорок штук таких, как ты, свезет и не охнет. Ну, беги с богом, аптека!

Дед тронул лошадку, а я медленно пошла в лес, держа в руке чемоданчик.

Все уже сидели вокруг костра, и только дежурные подбрасывали ветки. Вскоре кто-то заметил меня.

— Глядите-ка, — Тина!

— Тина! Откуда ты?

Я протянула чемоданчик вожатой.

— Я аптечку принесла.

— Аптечку? Вот молодец! А как же ты дошла?

— Ребята, Тина аптечку принесла!

— Примите меня в пионеры, — сказала я, и в горле у меня пересохло...



КОСТЬ ГЕРАСИМЕНКО

★

ПАМЯТЬ

Кость Герасименко — украинский поэт, солдат Отечественной войны — погиб в 1942 году. Это был поэт в настоящем значении этого слова. У него был дар мыслить конкретно, мыслить образами, что и является, как известно, сутью поэта. Для своего вдохновения — я употребляю это слово без кавычек, в том значении, в котором употреблял его Пушкин, — он не искал непременно «высоких» предметов; черты поэзии, то есть мысль, воплощенную в образах, он черпал порою из самых прозаических источников. Одно его стихотворение, например, начинается строкой: «Положи-ка мне клубничного варенья...» А какая человеческая теплота, какая нежность к той, которая должна положить варенье, чувствуются за этой строкой и раскрываются в последующем тексте!

Впервые увидел и услышал я Костя Герасименко в Харькове на каком-то поэтическом совещании. Молодой парень, сын сельского учителя, сам в прошлом учитель, потом красноармеец, Герасименко с чудесным огоньком читал свое стихотворение «Кони».

А й зараз я бачу — шляхом,
По кручах та по ярах
Шумує твоя папаха,
На ній бойова зоря.
Це ж я її так пришила,
Це ж я її гладила,
Щоб кращою, ніж у Ворошилова,
Папаха твоя була.

Герасименко любил жизнь, нашу советскую жизнь.

Герасименко любил людей, наших советских людей. Он рисует ряд портретов «простых», «обыкновенных», «незаметных» наших современников.

В поэзии он ценил прежде всего правду, предельную искренность, своеобразие и самобытность. С его вкусами, с его увлечениями, порой скоропреходящими, можно было спорить. Но неизменной оставалась его глубокая любовь к Маяковскому, чьим учеником — не подражателем! — он, бесспорно, был. И трепетно всю свою жизнь любил он Тараса Шевченко.

Осенью 1942 года Кость Герасименко умер от тяжелых ран...

И последнее воспоминание мое про Костя Герасименко, с которым столько «снилось, говорилось», с которым столько было дружеских бесед и незлобных споров и которого все мы, его друзья, так сердечно любили. Это было в Уфе, куда приезжал Кость с фронта навестить жену. Был устроен литературный вечер, и Кость в солдатской одежде, в грубых простых сапогах читал свою «Песню», написанную в первый год Отечественной войны:

Я пройшов не одну дорогу
В дощ, у спеку, у сніговій,
І, як віра у перемогу,
Ходить пісня зі мною в бій.

.

Встану я і вперед побідно
 Понесу свій крилатий стяг.
 Слово радісне, пісне рідна,
 Йди за нами завжди в боях.

Этими прекрасными словами поэта, гражданина, бойца, человека, друга я и хочу закончить свое маленькое предисловие.

Максим Рыльский.

ПОРТРЕТ

Теперь бы ты была уже седою:
 Она давно прошла, твоя пора, —
 С утра натопавшись, вдвоем со мною
 Ты коротала б в кресле вечера.
 Варила б кофе, кашляла, вязала
 Иль старых писем гладила б листки,
 По временам бы, может быть, брюзжала, —
 Что ж, таковы ведь все вы, старики.
 Зима за окнами тревожно ляжет,
 Затянет вьюга заунывный вой.
 Часы идут. А пальцы вяжут, вяжут...
 Твоя утеха, скромный отдых твой.
 И, путаясь в расцветках пестрых нитей,
 Ты вечно б думала про сотни дел,
 Всплакнула бы, когда суровый критик
 Меня в журнале б где-нибудь поддел.
 Ты ласково шутила б надо мною,
 Но сетовала бы моим друзьям,
 Что годы мчатся, как ручьи весною,
 А сын еще не разобрался сам,
 Куда идти за славой, где те дали,
 В которые тернистый путь пролег,
 И кто она — сурова ли, нежна ли, —
 Та, что невесткой ступит на порог.
 И вот еще (о, как мне все знакомо!), —
 Когда зальется утром телефон,
 Хитрила бы: мол, сына нету дома,
 И тихо шла б сквозь мой тревожный сон.
 Упала книга — сердце б застучало...
 Потом, вздохнув, пеняла б на судьбу
 За то, что время врезало немало
 Морщинок ранних на сыновнем лбу.
 А днем корила бы, припомнив кстати,
 Что я дверей не почию никак,
 За лень, за то, что мало стал писать я,
 Да и пишу, как слышно, все не так.
 Плечом пожал бы я, а может, грубо
 Ответил бы на это сгоряча,
 А ты бы встала и, поджавши губы,
 Пошла к дверям, растерянно смолчав.
 И я тогда, сбиваясь, бестолково
 Вскричал бы вслед: — Не уходи! Постой!
 Я каждое твое исполню слово,
 Ты шутики, мать, не поняла простой.

Лишь прикажи — и здесь заплещет море,
И зацветут весенние луга,
И синий ветер, вея на просторе,
Здесь прозвенит, как ты мне дорога.
И образ твой узнав, с волнением, прямо
Сказал бы каждый: это вот она!..
И ты вздохнешь и улыбнешься, мама,
Нежданной лаской сына смущена.
А я... я встану, гордый и суровый,
Готовый в путь, на муки и в бои,
И горы солнцем опалить готовый
За все страданья долгие твои,
Готовый вновь исполнить долг солдата,
Где снегом все засыпала зима...
И горько вспомнить вдруг, что умерла ты,
Что все лишь было, как и ты сама.
Что это лишь портрет, каких немало,
С провинциальным штампом на полях,
Где у тебя — бутуз двухгодовалый —
Я сам сижу солидно на руках.
А все ж минута выдастся иная,
Когда мне кажется, что ты жива,
Что, может, где-то ты, моя родная,
Сидишь и чьи-то слушаешь слова.
Вот тут бы грудью встать за то, что свято,
И чувства гневом растревожить вновь,
Чтоб мать могла, хотя б чужая чья-то,
Почувствовать сыновнюю любовь.

* * *

Я любил профессора. Огромный,
Бородатый, белый, в очулярах,
Над подножьем кафедры массивной
Возвышался он, как монумент.

Он стоял, на томы опираясь,
Признанный, прославленный, и мерно
Моложавым теплым баритоном
Говорил про жизненный процесс.

Нас всегда он наставлял: до точки
Твердо помнить все, что прочитаем,
В памяти запечатлеть навечно
Слово каждое и каждый знак.
Нелегко нам было — мы не знали,
Как принудить память подчиниться,
Как сказать ей: будь всегда бездонной,
Ненасытной будь, как океан!

И профессор, грустный и суровый,
Освещенный весь лучами солнца,
Над подножьем кафедры массивной
Ставил «неуд» кой-кому из нас.

А за окнами аудиторий,
 По земле, светла и полноводна,
 Зыбля ветром голубые лужи,
 Шумно шла великая весна.
 Останавливалась в переулках,
 Обнимая ласково березы,
 Удивляясь журавлиным стаям,
 Талым водам, девичьим следам.
 Вся она гремела, вся дышала
 Жаркими газетными статьями
 И со стен плакатами кричала
 Про посев, про пятилетний план.

Выйдя из своих аудиторий
 И забыв все формулы и знаки,
 Мы с командировкою райкома
 Ехали в теплушках на село.

Мы вполглаза спали в сельсоветах,
 Мы вставали по ночам:
 В сарае
 Топором глушил
 Кулак-хозяин
 Мирных и задумчивых телят.
 И в потемках, в кутерьме весенней
 Путались и ветви и тенета
 И шумели бурные потоки
 Незабвенных мартовских ночей.

И за тыном,
 Молодой, горячий,
 Жизнью пахнувший,
 Землею, счастьем,
 На снегу,
 Сраженный подлой пулей,
 Умирал высокий бригадир.
 Мы несли густым тревожным ветром
 Молодость, и ненависть, и порох,
 Находили вдруг за образами
 В тайниках отборное зерно.
 Мы глядели, как хрипел от злости,
 Как дрожал, кидаясь на колени,
 Бородатый, хмурый и степенный,
 Самый алчный на селе паук.

И гремели грозно полустанки,
 И в чаду махорки ядовитой
 Мы взахлёб читали и дышали
 Свежей краской боевых брошюр.

Недоспав и недоев частенько,
 Бодрыми мы возвращались снова
 За свои столы, и с новым рвением
 Мы познать стремились мудрость книг.
 — Все понять, все взять и все запомнить, —
 Снова нам напоминал профессор, —
 Все — с азов и до последней точки —
 Будущий ученый должен знать!

Он старался, он хотел, профессор,
В нас полней развить такую память,
Чтоб мельчайшие из малых знаков
Жили в ней, дышали в ней, росли!

При настольной лампе в кабинете
Раз сидели мы вдвоем с ученым.
Только ветви бились в темень окон,
Робко нарушая тишину.
Оказался он простым и добрым.
После мнемонических занятий
Он спросил, о чем же я мечтаю.
И, подумав, все я рассказал...

Я сказал профессору:

— Я знаю,
Что не стану никогда великим,
Но в работе общей дам, что в силах,
Для отчизны, для великих дел.
Вечный памятник нерукотворный
Не воздвигнут над скупым дыханьем
Кропотливых, радостных и жадных,
Но невидных будничных трудов.

Я не стану...
Но другой — тот станет.
Молодой, обветренный, веселый,
Тоже нюхавший весну и порох,
Тоже знавший срывы и борьбу.

В нем-то вы бы и меня узнали!
Я ручаюсь — мы ведь с ним похожи.
Как любой из нас, такой же, где-то
Он живет и исподволь растет!

Вы узнаете его, профессор,
С первой фразы, с первого движенья,
Лишь войдет он в комнату и сядет
Под зеленый этот абажур.
То, что я лишь начал, он доскажет
О трудах великих пятилеток,
О пахучих лепестках жасмина,
О полях созревших, о любви!
И, запомнив твердо все до точки,
Помня гром могучий созиданья,
Он в иных и формулах и знаках
Вам раскроет жизненный процесс!

Вы спокойно скажете, профессор,
Что пора нам отдохнуть, пожалуй...
А за окнами аудиторий
Будут мчаться вешние ручьи.
Кровь пролитая взойдет навечно
Светлыми большими корпусами,
Расцветут невиданные ветви
Над широким солнечным окном.

Может, в этом-то и будет память!..
Память всемогущего народа,

Но иная, дорогой профессор,—
В новых формулах, в иных словах!

А случится: я ль, студент-ботаник,
Иль другой умрем от ярой бомбы,
Не закончив первого диплома,
На границе, в первом же бою,—
Встанет память о священном деле
Звоном и оружия и оркестра,
И найдет взволнованный ученый
В тех цветах, что вырастут над нами,
Формулы законов боевых.

Кровью, пеплом стойкого Клааса,
Житом, песнями, мартенном, лесом
Мы в великую вращаем вечность,
Где не забывается ничто!

Я умолк,
И стало тихо-тихо.
Только в темень окон бились ветви...

И тогда
Вдвоем с ученым вышли
Мы в бессонный город,
В звезды,
В ночь.

Шли по площадям,
По переулкам
И глядели за городом в небо,
Где падушие летели
Звезды...
Мы молчали.
Было ясно все.

БЕАТРИЧЕ

Не знаю, где ты ходишь, где живешь.
Блондинка ль ты? Задумчива? Сурова?
И как подруги попросту зовут
Тебя, моя нечаянная радость?
И где мы встретимся, когда-нибудь
Столкнувшись вдруг,— на улице?
В трамвае?

И как узнаю я тебя, и как,
Смутившись, тихо скажешь ты:
«Простите!»

А я тогда спокойно поклонюсь
И после первых слов скажу со вздохом,
Что на дворе уже давно весна
И ласточки, должно быть, прилетели.
И тут — во взгляде, в дрожи теплых губ —
То уловлю я сразу и навеки,
Чего не знал, не чувствовал, не ждал
В кипучей жизни, озаренной солнцем.
И мы расстанемся, чтоб завтра вновь

Ходить в толпе, искать, найти друг друга,
О чем-то смутном нежно говорить
И вдруг постичь, что навсегда все это.
По улицам же будет в самом деле
Идти весна, хмельна и беспокойна,
И каменщики будут, торопясь,
Достраивать какой-то дом высокий,
И с песнями пройдет веселый взвод.
Под ветром глухо зашумят каштаны,
А мы с тобой пойдем бродить вдвоем,
Забыв и про покой и про усталость.
Но кончится тот вечер... Ты уйдешь.
Ты ляжешь спать. И вот тебе не спится.
Ты раскрываешь книгу, и она
Плывет во мглу в каштановом тумане.
А я тем временем иду, иду...
Куда, зачем иду — и сам не знаю.
Курю, а папироска на ветру
Дымит каштановым весенним дымом.
Одно я знаю: в памяти твоей,
В спокойных снах твоих и в самой яви
Все, все, что пережил я, оживет
Такими самоцветными огнями,
Таким цветеньем придорожных трав,
Таким кипеньем голубого моря,
Что даже вспомнить будет нелегко,
Чем ты жила до нашей первой встречи.
Я мир создам из вдохновенных слов,
Рожденных мною в длительном молчанье.
Я мир создам, и назову его
Я именем твоим, таким певучим.
Всему свой срок, родная. А пока
Не знаю я, где ты живешь, где ходишь
И что в тебе так странно любил
Какой-то древний флорентиец Данте.

Перевел с украинского Борис Ирнин.



ИННА ЛИСНЯНСКАЯ

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Я говорю от первого лица
Не потому, что собственное ближе,
Не оттого, что с отчего крыльца
Я дальше, чем откуда-либо, вижу.

Жила в России девочка. Война
Обрушилась на мир девятым валом,
И воевала мирная страна,
И девочка с ней вместе воевала,
С ней вместе отбивала рубежи,
Шипящие гасила зажигалки,
Окопы рыла, рыла блиндажи
И скручивала раненым сигарки.

Жила в России девочка. Война
Дома сжигала и хлеба сжигала,
Была сама Россия голодна,
И девочка с ней вместе голодала.

Жила в России девочка. Не счесть
Тех верст, откуда детство выходил,
Тех зарубежных и недалних мест,
Где девочка с Россией победила.

И жизнь взяла законные права —
Земля латалась, и месилось тесто,
И, засучив в заплатах рукава,
Та девочка была со всеми вместе.

Живет в России женщина. Забот
Ей хватит до последнего дыханья.
Сейчас она в стихах своих ведет
От первого лица повествованье.

Все это было, есть в моей судьбе,
В моей душе, в быту, в самой природе,
И если говорю я о себе,
То говорю я о своем народе.

* * *

И в городах и в селах энских,
Всегда лицом к лицу с врагом,
Я научилась не по-женски
Затягиваться табаком,

Гасить окурки сапожищем
И спать в шинели на снегу,
Терять друзей на пепелищах
И пулей отвечать врагу,

Не замечать своих морщинок,—
Вершить российские дела,
Я научилась быть мужчиной,
Когда я женщиной была.

Я думала — так и останусь
Ни бабою, ни мужиком,
Не шегольну тончайшим станом
И высочайшим каблуком.

Я с удивлением глядела
На фотокарточку свою —
Да я ли это в платье белом
На школьном вечере стою? —
Как ты сейчас глядишь на фото,
Едва узнав мои черты:
— Пехота, сущая пехота!
Да неужели это ты?



Д. САМОЙЛОВ

★

РУБЕЖИ

(Из поэмы «Ближние страны»)

Он отходит уже, этот дух,
Этот дых паровозного дыма,
Этот яблочный смех молодух
На перронах, мелькающих мимо;
Огуречный ядреный рассол
На лотках станционных базаров;
Формалиновый запах вокзалов,
Где мешками заставленный пол
И телами забитые лавки,
Где в махорочном дыме и давке
Спят, едят, ожидают, скандалят,
Пьют, едят, ожидают и спят,
Балагурят, качают ребят,
И ругаются, и зубоскалят,
Делят хлеб и торгуют тряпьем...

Как Россия легка на подъем!
Как привыкла она к поездам —
От японской войны до германской,
От германской войны до гражданской,
От гражданской войны до финляндской,
От финляндской до новой германской, —
До великого переселенья
Эшелонов, заводов, столиц
В степь, Заволожье или Закамье,
Где морозов спиртовое пламя
Руки крючило без рукавиц.

Ну и после — от Волги к Берлину —
Всей накатной волной, всей войной
Понесло двухколейкой стальной
Эшелонную нашу былину.

Он отходит в преданье — вагон,
Обжитая, надежная хата,
Где поют вечерами ребята
Песни старых и новых времен:
Про Чапаева, про Ермака,
«Эх, комроты, даешь пулеметы!»,
«То не ветер...», «Эх, сад-виноград»,
«Три танкиста», «Калину», «Землянку»,
«Соловьи, не будите солдат»,
Вальс «Маньчжурские сопки», «Тачанку»...

Так мы едем в Россию, назад.
Сквозь вагонную дверь спозаранку
Видим — вот она, эта черта,
Здесь родная земля начата...

* * *

...Как такое бывает — не знаю:
Я почувствовал сердцем рубеж.
Та же осень стояла сквозная,
И луга, и деревья все те ж.
Только что-то иное — родное
Было в облике каждого пня,
Словно было вчера за стеною,
А сейчас принимало меня.
Принимало меня и прощало
(Хоть с себя не снимаю вины)
За суровое, злое начало
И за первую осень войны...

А вокруг все щедрее и гуще
Звездопадом летела листва.
И сродни вдохновенью и грусти —
Чувство родины, чувство родства.
Голубели речные излуки,
Ветер прядал в открытую дверь.

Возвращенье трудней, чем разлуки,—
В нем мучительней привкус потерь.

* * *

...Рано утром почувался снег.
Он не падал, он лишь намечался.
А потом полетел, заметался.
Было чувство, что вдруг повстречался
На дороге родной человек.
А ведь это был попросту снег,
Первый снег и пейзаж Подмосковья,
И врывался в вагонную дверь
Запах леса, зимы и здоровья.
А навстречу бежали уже,
Нам знакомые всем до единого,
Одинцово, Двдцатка, Немчиново...
Скоро Кунцево... Скоро Фили...
Мост... Москва-река в снежной пыли...

И внезапно запел эшелон.
Пели в третьем вагоне: «Страна моя!»
И в четвертом вагоне: «Москва моя!»
И в девятом вагоне: «Ты самая!»
И в десятом вагоне: «Любимая!»
И во всем эшелоне: «Любимая!»
Пели дружно, душевно, напористо
Все вагоны поющего поезда.

Паровоз отдышался и стал.
Вылезай! Белорусский вокзал.

КРЫЛЬЯ ХОЛОПА

Стоишь, плечами небо тронув,
Превыше помыслов людских,
Превыше зол, превыше тронов,
Превыше башен городских.

Раскрыты крылья слюдяные,
Стрекозным трепетом шурша.
И ветры дуют ледяные,
И люди смотрят, чуть дыша.

Ты ощутишь в своем полете
Неодолимый вес земли,
Бессмысленную тяжесть плоти,
Себя, простертого в пыли...

И гогот злобного базара,
И горожанок робких страх,
И божья, и людская кара!
О человек! О пыль! О прах!

Но будет славить век железный
Твои высокие мечты —
Тебя, взлетевшего над бездной
С всеильным чувством высоты!

* * *

Извечно покорны слепому труду,
Небесные звезды мнутся в кругу.

Бесшумно вращаясь на тонких осях,
Плывут по вселенной, как рыбий косяк.

Безмолвно стоит на земле человек,
А звезды искрятся и вьются, как снег.

И в чутком его человеческом мозгу
Такие же звезды мнутся в кругу.

В нас мир отражен, как в воде и стекле:
То кожу уколет, подобно игле,

То шоркнет по коже, как мерзлый рукав,
То теплою птицей трепещет в руках.

Но разум людской — не вода и стекло,
В нем наше дыханье и наше тепло.

К нам в руки летит, как птенец из гнезда,
Продрогшая маленькая звезда.

Берем ее в руки, над нею стоим
И греем и греем дыханьем своим.

ДУЕТ ВЕТЕР

Дует ветер однолучный
Из дали, дали степной.
Ветер сильный, однозвучный,
Постоянный, затяжной.

Этот ветер обдувает
Город с ног до головы.
Этот ветер навевает
Пыль земли и пыль травы.

И ему легко и гулко
Подпевают целый день
Все кларнеты переулков,
Все органы площадей.

Как оркестры духовые,
Трубы города гудят.
Даже окна слуховые,
Словно дудочки, дудят.

Окна с петель рвутся в гуде,
Двери бьют о косяки,
И бегут навстречу люди,
Распахнув воротники!

* * *

Я наконец услышал море.
Оно не покладая рук
Раскатывало у Бомбори
За влажным звуком влажный звук.

Шел тихий дождь на побережье,
И, не пугая тишины,
Пел только мужественно-нежный,
Неутомимый звук волны.

Я засыпал под этот рокот.
И мне приснился сон двойной:
То слышал я орлиный клеткот,
То пенье женщины одной.

И этот рокот, это пенье
И осторожный шум дождя
Сплелись на грани сновиденья,—
То приходя, то уходя...



Солнце большое
 глядит озабоченно
 в море ржаное
 за пыльной обочиной.
 Лиственный парус
 на мачте березовой.
 Свет ты мой белый,—
 зеленый и розовый!
 Родина, Родина,
 что за красоты
 ты возвела
 над путями пехоты!
 В высях посеяла
 звездные зерна,
 светятся звезды,
 как угли в золе.
 Как высоко,
 как светло и просторно
 тихое небо твое
 на заре.
 Птицы над нами
 летят
 перелетные.
 Пули над нами
 свистят
 пулеметные.
 В небе фугасном
 реет над нами
 честное,
 ясное,
 красное знамя.
 И
 разворачивается пехота —
 первая рота,
 вторая рота,
 третья,
 четвертая...
 сотая рота...
 Родина, Родина,
 нету нам счета!
 — Эй вы, ребятушки,
 где ваши жены?
 — В поле об этом у ветра спроси!
 Минами вспаханный,
 шар обожженный
 тяжело повертывается
 на оси.
 Мы его вертим
 своими ногами,
 топчем и топчем
 огонь
 сапогами.
 Следом за нами
 падают росы.
 Мальчик выходит
 на поле
 босый...

ГЕВОРК ЭМИН

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Богаче нет на свете человека:
в моих руках тяжелых — правда века,
и существо борьбы его жестокой,
и торжество судьбы его высокой.
Меня мое богатство возвышает,
оно мне уставать не разрешает.
Я стряхиваю с плеч моих усталость,
чтоб и следа на сердце не осталось,
тропой неторной весело шагаю,
грозою горной душу обжигаю.
Еще есть города, в которых не был,
и села под веселым ясным небом.
Есть прожитые годы и грядущие,
на смену этим прожитым идущие.
Есть межпланетных далей расстояния —
уже я жить без них не в состоянии.
Лишь горько мне, что жизнь

однажды кончится
и не успею сделать все, что хочется!
Меня так ветром века охватило,
что мне б и сотни жизней не хватило...
Пока я так на краткость жизни сетую,
мой спутник все летит орбитой светлою.
Летит орбитой светлою, вращается,
ко мне из дальней дали обращается.
Он говорит:

— Ты дымом был незрячим,
ты дымом был — а стань огнем горячим.
Ты был огнем — а стань гудящим пламенем,
чтобы тобой печаль людскую плавил.
Он говорит:

— Ты знался только с пешими —
а ты скачи под этим ветром бешеным.
Ты мчался, перемахивая пропасти,—
а ты лети.

Летать учись без робости.
Ты ощутишь, как шар земной вращается,
как много жизней

в жизнь твою вмещается.

* * *

Ты и ветер похожи: неумный и шумный,
Ты такой же бездомный и такой же бездумный,

То несешься вдогонку за неведомой тучей,
То на миг застываешь у ромашки пахучей.

С полевою ромашкой не закончив беседу,
Ты бросаешь беседу и несешься по свету.

Из долины — на кручу, на крутые камни,
Из заоблачной выси — в городское кипенье,

И другим уже бредишь и по улицам бродишь,
Подходящего дела для себя не находишь.

Заржавелым железом зазвенишь спозаранку,
С тополями бульвара заведешь перебранку,

Пешеходов спешащих на ходу задеваешь,
Под мостом пролетаешь, чехарду затеваешь.

Непонятым томленьем огорчаясь и мучась,
Ты свою проклинаешь беспокойную участь.

Что ты ждешь ежечасно, что грустишь повсеместно,—
Никому не известно, и тебе не известно...

Но послушай, приятель! Время мчится и тает.
Час за часом уходит, день за днем улетает.

Ветру думать не надо, он себя не тревожит.
Он себя не тревожит, ибо думать не может.

Ты же, вечным томленьем огорчаясь и мучась,
Все клянешь свою участь, все клянешь свою участь.

Облака грозовые над тобою нависли...
О приятель, опомнись, оглянись, поразмысли!

Перевел с армянского Юрий Левитанский

ОГНИ ЕРЕВАНА

В воды Севана упала звезда,
И утонула она без следа.

Сколько же звезд схоронило свой след
В водах Севана за тысячи лет!

Так поглощались звезда за звездой
Черной, озерною, горной водой.

Звезды, что гаснут порою ночной,
В небо воротятся все до одной.

Мы их добудем из дремлющих вод,
Чтоб никогда не мрачнел небосвод.

Ярко горят Еревана огни.
Разве не эти же звезды они?

Перевел с армянского В. Берестов.



АЛЕКСИС ПАРНИС

★

КОЧЕГАР ИВАН ПЕТРОВИЧ УХОДИТ НА ПЕНСИЮ

Иван Петрович,
ты проводил гостей.
Иван Петрович,
ты мог бы быть грустней,
но не печальный,
а счастливый ты,
и дышат в твоей комнате цветы...

Звенели песни,
и звенели рюмки,
а почтальон стучал опять,
опять...

Усталости не ведавшие руки
устали
телеграммы
принимать.

И ты с друзьями
песню пел за песней
и полон был,
как в молодости,
сил,—

как будто ты не уходил на пенсию,
а в новый путь далекий уходил!

Всех тостов за столом не перечислю...
Потом плясали даже —

лишь держись!

Да,
так, как надо,
праздник получился!
И так, как надо,
получилась жизнь!

Иван Петрович,
ты проводил гостей.

Иван Петрович,
ты в комнате своей.

В той комнате
картина на стене,
и на нее ты смотришь в тишине.

Там паровоз бессмертный
идет, к Петрограду
неслышно на холсте трубя,
и в старой кепке
стоит Ильич с машинистом рядом
и смотрит на тебя...

Иван Петрович,
Гордишься ты, прожил ты недаром!
Профессию такую, что был ты кочегаром.
ведь Ленин выбрать стоило —
тоже
Кочегар Истории!

«Ах да,—
уже не кочегар — вдруг вспоминаешь ты,— я, в сущности,
я слишком стар.
В таких годах ты к топке и не сунешься!
Свое откочегарил
кочегар...»

Иван Петрович,
Пока мы живы — дел найдется пропасть!
отдыха нам нет!
В твоем кармане есть почетный пропуск
туда, где проработал столько лет.
Почет,
конечно,
это дело лестное,
но бой милее
старому бойцу.
Нет,
не уйдет душа твоя
на пенсию —
ей быть пенсионеркой не к лицу!
Вновь думаешь сурово,
озабоченно,
что ты не все пути еще прошел,
и руки свои,
крупные,
рабочие,
кладешь ты
перед Лениным
на стол.

ФЕДОР ЕГОРОВ



НЕ СКЛОНИВ ГОЛОВЫ

В августовской книжке «Нового мира» за 1957 год была напечатана статья кандидата исторических наук Е. Бродского «БСВ». В статье излагались собранные автором исторические материалы о замечательной деятельности БСВ — Братского сотрудничества военнопленных. Эта организация военнопленных, созданная советскими людьми в южногерманских лагерях, к концу 1943 года насчитывала, как об этом писал Вальтер Ульбрихт, несколько тысяч человек. Она вела в лагерях военнопленных и в лагерях «восточных рабочих» активную борьбу с фашизмом, и, когда она в начале 1944 года была разгромлена агентами гестапо, десятки ее руководителей, главным образом советских офицеров, мужественно сложили головы, не выдав ни своих товарищей, ни тайн своей организации.

Среди людей, которые в статье Е. Бродского назывались в числе активнейших деятелей БСВ, было упомянуто имя ветерана гражданской войны майора Михаила Красицкого.

И вот через некоторое время в редакцию журнала пришло письмо из Алма-Аты от преподавателя алма-атинской партийной школы Федора Ивановича Егорова:

«С большим волнением я прочитал в восьмом номере журнала статью кандидата исторических наук Е. Бродского «БСВ». Статья эта волнует каждого советского человека, но меня — вдвойне. Дело в том, что я хорошо знал одного из виднейших деятелей БСВ — майора Михаила Львовича Красицкого.

Я служил в 1942 году под его началом (он был командиром 893-го стрелкового полка, а я — пом. нач. штаба и последние 12 дней — его адъютантом).

Далее Ф. И. Егоров сообщил, что майор Михаил Красицкий является одним из героев написанной им документальной повести «Не склонив головы», напечатанной в журнале «Советский Казахстан».

Получив письмо Ф. И. Егорова, я прочитал, и, добавлю, прочитал с большим интересом и волнением, его повесть. Мне кажется, что читателям «Нового мира», прочитавшим в свое время статью Бродского о БСВ, будет интересно прочесть страницы документальной повести Ф. И. Егорова, рассказывающие и о нем самом, и о его товарищах, и о его славном командире полка — Михаиле Красицком. Многие из того, что в течение ряда лет оставалось тайной, звено за звеном раскрывается перед нашими глазами, показывая всю меру страстного мужества и патриотизма, проявленных многими, многими советскими людьми, волею обстоятельств оказавшихся в фашистском плену. Одним из таких звеньев является повесть Ф. И. Егорова.

Мы публикуем несколько глав из нее, повествующих о жестоких боях на дальних подступах к Сталинграду, в которых участвовал Михаил Красицкий со своим полком, о гибели полка, о пленении Красицкого и о его мужественном поведении в плену до того последнего дня, когда Красицкий и Егоров расстались, чтобы уже больше никогда не встретиться.

Мне остается добавить несколько слов о самом авторе повести. Призванный в Красную Армию в январе 1942 года, он 12 августа, раненым, попал в плен, а 19 января 1943 года бежал из плена и вновь пошел сражаться в рядах армии. За свои боевые заслуги он был награжден орденом Красной Звезды и орденом Ленина.

Тому, кто захочет прочесть повесть целиком, следует обратиться к 6, 7 и 8-му номерам журнала «Советский Казахстан» за 1957 год.

Хочется добавить, что эта правдивая и мужественная вещь имеет все права на то, чтобы выйти отдельным изданием, и чем скорее — тем лучше.

Константин Сизонов.

НАВСТРЕЧУ ВРАГУ!

Являюсь на КП полка и докладываю.

— А-а, пеэнша! Ну, здравствуй, поздравляю,— говорит командир полка майор Красицкий, передавая телефонную трубку.

Он только что разговаривал со штабом дивизии и, как видно, остался очень доволен разговором. В его взгляде, движениях, резких и размашистых, сквозит радость, и это невольно передается всем, кто находится на КП. Он весело смотрит на меня и спрашивает:

— Доволен?

Мне кажется, что лучший случай отказаться от перехода в штаб полка вряд ли представится: веселый — значит, не обидится и не рассердится.

— Нет, недоволен, товарищ майор.

— Недоволен? — Его косматые брови поднимаются вверх дугой. — Это почему же?

— Я прошу вас, товарищ майор: пошлите меня командиром взвода в любую роту.

— В любую?

— Если можно, назначьте в третью...

В третьей роте я был командиром взвода до перевода в штаб батальона на должность адъютанта, и мне очень хочется снова попасть туда. Правда, моего взвода, который я привез с собой в эшелоне из Гурьева в январе сорок второго года, а потом обучал, уже нет: он почти целиком вошел в маршевую роту, сформированную нашим полком и отправленную на фронт. Но третья рота существует, меня там знают командиры и многие бойцы, и я их знаю. А ведь это очень важно — идти в бой с теми, кого ты знаешь.

Красицкий улыбается, а я в отчаянии. Снова прошу:

— Если можно, назначьте в третью. Воевать хочу, а тут с бумагами возиться.

— Силен! А я, по-твоему, что же — не буду воевать? И они все — тоже не будут? — говорит майор и смотрит на комиссара полка Свешникова, старшего агитатора и секретаря партбюро Сиваева, начальника штаба Ващенко и на его помощника Гарина.

— Сказывається влиняние комбата, — шутит Ващенко.

— Как бывший комиссар первого батальона могу сказать: Красильников — замечательный командир и прекрасный товарищ, — вмешивается в разговор Сиваев. — Мне и самому не хотелось уходить от такого комбата.

Я подумал, что Сиваев после этого скажет: «Давайте оставим его в первом батальоне». Но он смотрит на командира полка и загадочно улыбается. А Красицкий вдруг кладет мне на плечо свою тяжелую руку.

— Все это очень хорошо, но дела надо принять. Сегодня же. Там видно будет, может быть, и недолго будешь с «бумагами возиться». В Сталинграде всем дело найдется. В общем, решено и перерешать не будем. Принимай дела.

Я неохотно отвечаю:

— Есть, принять дела!

— Сегодня же, — настаивает майор. Свешников, Сиваев, Ващенко и Гарин смотрят на меня и улыбаются: вот, мол, и уломали.

— Сходите в первый батальон, попрощайтесь с товарищами — и за работу, — напутствует майор.

...Вечер. Полк только что смотрел музыкальную комедию «Свинарка и пастух» и сразу же после сеанса начал грузиться в эшелон на станции Прудбой, недалеко от Сталинграда.

Я только теперь понимаю, почему командир полка был чем-то взволнован после того, как говорил по телефону со штабом дивизии. Мы едем на запад, чтобы выгрузиться где-то совсем близко от фронта.

Приподнятое и немного торжественное настроение царит в вагонах. Разговоры только о предстоящих боях. Все уверены, что именно здесь, на дальних подступах к Сталинграду, гитлеровцы сломают себе шею. Поют песни, шутят и пишут письма

домой. Написал и я в далекий прикаспийский город Гурьев, где оставил семью и друзей, и на станцию Джаныбек, где прошло мое детство.

Написал письма и задумался. Как это все неожиданно! Вот я уже и не адъютант первого батальона, а помощник начальника штаба полка. Полюблю ли я штабную службу? Наверно, да, потому что ловлю себя на мысли: «А ведь штабники мне нравятся — хорошие ребята!»

Тогда мне и в голову не могло прийти, что со многими из них придется разделить горькую судьбу...

СТЕПИ ДОНСКИЕ

Глубокой ночью поезд остановился на станции Суrowикино. Выгружаемся бесшумно. Батальоны строятся поротно и выходят на южную окраину села.

Штаб полка расположился возле кукурузного поля. Рядом бойцы составляют оружие в козлы. «Какая это рота?» — думаю я и тут же догадываюсь: «третья», так как слышу голос лейтенанта Радько. Тихонько окликаю его:

— Сергей Андреевич!

— А-а, Федько! Здравствуй. Ну как, привыкаем к штабной службе? — спрашивает он, усаживаясь со мной на землю, еще не успевшую остыть от знойного июльского солнца.

— В штабе батальона чувствовал себя увереннее. Там, мне кажется, куда интереснее — каждый день в ротах, среди бойцов. А тут, — показываю на сейф, — возись с ним...

— Зря, — упрекает меня Сергей Андреевич. — Ты думаешь, штабисты — последние люди?

— Понимаю, но хочется в строй.

С Сергеем Андреевичем, несмотря на значительную разницу в годах — у него уже сын служит в Красной Армии, а моей дочери только что исполнилось два года, — меня связывает большая дружба. Это в его роте я командовал взводом зимой сорок второго года, когда наш полк еще стоял на формировании под Соль-Илецком. Наш первый батальон был в Григорьевке, и мы с Радько жили на одной квартире — у известного в тех краях комбайнера Воротникова. До войны Сергей Андреевич был председателем колхоза на Украине, и у него с комбайнером нашлось много общих интересов. Я любил слушать зимними вечерами их беседы, то мирные и задушевные, то переходящие в горячий спор.

Но особенно привлекает в Сергее Андреевиче то, что он уже успел побывать на фронте, в «самом пекле», и отлежаться в госпитале. Ранение было, правда, легкое. «пустяковое». В моих глазах он герой и уступает разве только старшему агитатору Сиваеву, единственному в полку орденосцу, который летом сорок первого года пробивался на восток с боями от самой границы.

Вот почему мне так хотелось в первый бой пойти вместе с лейтенантом Радько, под его началом. Я уже как-то говорил ему об этом, теперь снова напомнил.

Он стиснул мне руку.

Мы еще долго беседуем — хочется быть в эту ночь вместе. На прощание он говорит:

— Ну, бывай здоров. Не забывая третью роту, почаще навещай.

Он уходит к бойцам, а я ложусь на траву и гляжу в звездное небо. Опять нахлынули сомнения. Справлюсь ли? Какой из меня штабист!

В двух шагах от меня лежат полковой инженер Евгений Соколов и один из помощников начальника штаба — лейтенант Квашнин. Квашнин без умолку несет всякий вздор, и мне непонятно, как только Соколов слушает его.

— Смотри, как высоко поднялась Малая Медведица, — говорит он, показывая рукой на Стожары.

Я приподнялся на локоть. Щадя самолюбие Квашнина, разьясняю мягко:

— Это Стожары, а Малая Медведица вот. Видите Полярную звезду? Так вот, она крайняя звезда в «ручке» Малой Медведицы. А вот и ковшик — опрокинулся в сторону Большой Медведицы. Видите?

Квашнин даже не смотрит туда, куда я показываю. Он чуть-чуть поворачивает ко мне лицо и пренебрежительно говорит:

— Вы, товарищ младший лейтенант, знаете столько, сколько я забыл.

Я с раздражением ответил:

— А вам, видно, и забывать нечего. В полковую школу бы вас! Там каждый курсант умеет ориентироваться по звездам.

Наверно, много обидных слов наговорили бы мы друг другу, если бы из густой тьмы внезапно не появились помощник начальника штаба Чилингарян и командир роты противотанковых ружей Хахамов.

— О чем спор в офицерском собрании? — спрашивает Чилингарян.

— Да вот лейтенант Квашнин утверждает, что это Малая Медведица, а не Стожары.

Чилингарян и Хахамов раскатисто хохочут. Глядя на них, начинаем смеяться и мы с Соколовым, а Квашнин молча встает и тут же растворяется во тьме.

— Черт дернул спорить с Квашниным, — вслух упрекаю я себя. — Посмеяться бы — и все. Вы его прямо-таки убили своим хохотом.

— Не принимай к сердцу такие пустяки, — советует мне Чилингарян.

Жора Чилингарян, Леня Хахамов и Женя Соколов — еще совсем молодые ребята. Я с ними знаком всего лишь несколько дней, но, кажется, уже крепко подружился.

Они усаживаются около меня поболтать и покурить перед дорогой.

— Что нового в твоём сейфе? — спрашивает Хахамов. — Скоро тронемся в путь и куда?

— К чему такой вопрос, Леня? — перебивает Хахамова Чилингарян. — Ты ведь не к теще на блины приехал. Совершим марш на запад и с ходу — в бой.

— А по-моему, — задумчиво говорит Соколов, — где-то поблизости займем оборону.

— Полковому инженеру не терпится поглубже зарыться в землю, — язвит Чилингарян и толкает меня локтем в бок.

— Не стоит гадать на кофейной гуще, — советую я. — Вот придет сейчас начальник штаба — и все выяснится.

Я говорю так серьезно только потому, что старше любого из них лет на пять. В душе же целиком на стороне Жоры Чилингаряна, самой горячей головы не только из нас четверых, но и во всем штабе.

Полк выступил из Суровикина на рассвете. Но только идем мы не на запад, а на юг, потом поворачиваем на юго-восток, к Дону. Степь здесь волнистая: высотки, балки, овраги. Когда она выравнивается, то очень напоминает мне родные казахстанские просторы с их седыми ковылями, полынком и пряным чебрецом. Только вот балок таких у нас, в Прикаспии, я не встречал. Едешь по степи и далеко-далеко замечаешь какие-то темно-зеленые кусты. А когда подъедешь к ним вплотную, оказывается, что это не кусты, а дубовые рощицы, насаженные и выращенные на дне каменистых балок.

Занимаем оборону на высотах. День выдался безветренный и ясный. Бойцы роют траншеи, а кругом в степи стоит удивительная тишина, и в небе сияет жаркое солнце. Будто и нет войны. Но так продолжается недолго. На западе, у самого горизонта, появляется облачко пыли. Оно медленно растет и приближается, и вот мы видим обозы. На телегах сидят запыленные и измученные дальней дорогой старики, женщины, дети.

А потом идут и идут гурты скота.

Перед вечером мы с Леонидом Хахамовым едем на переправу, чтобы взять у какого-нибудь колхоза, эвакуирующего скот в глубь страны, несколько лошадей для наших артиллеристов. Я очень рад этой поездке — хочется посмотреть на Дон.

Степная дорога бежит на восток. Едем пять километров, десять. Ни домика, ни деревца, ни кургана. Но вот степь внезапно кончается, и вместе с нею исчезает и дорога. Впереди — крутой спуск и неповторимый по своей красоте вид: внизу раскинулась станция Нижне-Чирская, за нею — луга, а еще дальше синее море. Выходим из машины и несколько минут стоим молча, покоренные живыми красками, кажется, где-то виденной и в то же время незнакомой картины. А потом едем на переправу. Там все по-другому. Степь, Дон, станицу — все заслонило месиво людей, скотины, повозок в облаках пыли; плач детей, мычанье коров, ржанье лошадей, выкрики и ругань погонщиков слились в один оглушающий шум.

И ГРЯНУЛ БОЙ!

В штабе у нас необычное оживление. Ващенко и Гарин часто берут телефонные трубки, то и дело приходят и уходят связные и посыльные. Полк выступает. Куда — пока неизвестно. Батальоны оставляют траншеи и выходят в одну из балок неподалеку от штаба.

Меня вызывают к командиру полка. Являюсь.

— Возьмите карту, — говорит он.

Я достаю из полевой сумки карту местности и жду. Майор водит по карте карандашом.

— Вот совхоз «Победа Октября», — говорит он. — Там штаб дивизии. Доставите пакет. Вот дорога в совхоз. Возвратитесь по ней же — встретите полк. Ясно?

Повторяю приказание. Вручая мне пакет, майор говорит:

— Слышал, у тебя в совхозе живет сестра. Вот случай повидаться.

В совхозе «Победа Октября» действительно живет моя старшая сестра Анна. Работает учительницей. Но я никак не могу вспомнить, кому говорил об этом. Видимо, Сиваеву, еще в Григорьевске, когда мы служили в первом батальоне. А может быть, майор обратил на это внимание, знакомясь с моим личным делом? Как бы там ни было, а я удивлен и обрадован: случай замечательный!

Настроение у меня чудесное. Я уже представляю встречу с сестрой да к тому же догадываюсь, что все эти внезапные сборы и нынешний марш не обычные — близок бой.

Вот и совхозный поселок. Белые уютные домики. На окраине — длинное деревянное здание, видимо, склад. В нем-то и разместился штаб дивизии.

Дежурный по штабу, сухощавый стройный капитан, принимает от меня пакет и несет начальнику штаба. Тут же возвращается и спрашивает:

— Голодный?

— Не очень.

— Ну а все-таки? Может быть, поедим? В дорогу не помешает.

— Да у меня здесь сестра. Вроде как в гости приехал.

— Вряд ли найдете ее здесь, почти все работники совхоза эвакуировались за Волгу, — говорит капитан и мгновенно извлекает откуда-то банку свиной тушенки и краюху хлеба.

— Берите, ешьте! Только вот что, товариш младший лейтенант, отведите-ка своего коня вон в тот овраг. — Он подводит меня к окну и показывает. — Неровен час, самолеты налетят. Не были еще под бомбежкой?

— Не был.

— А нас сегодня уже два раза бомбили: утром и в полдень. Чего доброго, и к вечеру явятся.

Мне кажется, что капитан шутит. Уж очень весело он рассказывает. Но нет, он не шутит. Только я спустился в овраг, как послышался гул. Поднимаю голову и вижу самолеты с крестами на крыльях и фюзеляжах. Восемнадцать бомбардировщиков «Ю-87» хищно кружат над совхозным поселком. Вот они принимают боевой порядок — пристраиваются один другому в хвост. Получилась гигантская воздушная карусель. Она оборачивается вокруг невидимой оси раз, другой и вдруг как бы надламывается: ведущий самолет круто пикирует. Воеет сирена, и от самолета отделяются четыре черные точки. Не успел раздаться взрыв, как самолет взмывает вверх, а к земле идет, словно падает, другой, и от него тоже отделяются четыре черные точки.

Все восемнадцать самолетов повторяют то, что сделал первый. Бомбы летят вниз с ревом и свистом через равные промежутки времени. Мне кажется, что их посылает одна невидимая машина-автомат. Бомбы падают близко от оврага, в котором я с трудом удерживаю перепуганного коня. Всякий раз, когда рвутся бомбы, я всем телом ошущаю, как вздрагивает земля.

Из оврага мне ничего не видно, кроме самолетов и падающих бомб, и тем страшнее. Я думаю, что совхозному поселку пришел конец. Но вот самолеты исчезают так же внезапно, как появились. Рассеиваются клубы дыма и пыли. Вывожу коня из оврага и вижу, что ни один домик не пострадал. Немецкие летчики, видимо, догадались, что

в них никого нет, и не стали тратить на них бомб. Они бомбили батареи, окопавшиеся на окраине.

— Как самочувствие, товарищ младший лейтенант? — спрашивает капитан, от которого не ускользнуло, что я все еще опасливо поглядываю на небо. — Хорошее? Ну и прекрасно. Если давно не поили коня, — вон за балкой колонка. Этот пакет вручите командиру полка. На словах передайте: полку быть здесь до рассвета.

— Ну, счастливо, — говорит капитан на прощание и легонько хлопает по шее моего коня. — Тоже принял боевое крещение!

...У колонки берет воду немолодая, но еще и не старая женщина. Она задумчиво следит за тем, как медленно наполняется водой ведро. Я здороваюсь и спрашиваю, не знает ли она здешнюю учительницу Анну Ивановну Петрунину и не укажет ли мне ее квартиру. Женщина оживает.

— Анну Ивановну, говорите? Как же, я ее хорошо знаю, да и кто ее не знает? Вон деревцо, видите, а рядом домик под белой крышей. Там она и жила.

— А сейчас? — спрашиваю я и не узнаю своего голоса.

— Эвакуировалась недели две назад. Как скот погнали, так и она уехала. Да и мало кто здесь остался.

Женщина переменяла ведро и снова стала молча наблюдать за струей воды: чувствует, что у нее самой большое горе. Но я не могу уехать, не узнав все о сестре.

— А не скажете, куда она поехала?

— В Казахстан. Говорит, там у нее мать, сестра, да и братья были. Теперь-то, может, их уже и нет: вон что делается на свете...

Из рассказа женщины я узнаю, что сын сестры, Вася, убит, муж умер в госпитале. Вася был лейтенантом, разведчиком. Женщина смотрит на меня, и в ее глазах отражается испуг и догадка.

— А вы кто же будете Анне Ивановне, уж не брат ли?

— Брат, — говорю я. — Хотелось повидаться, да вот... Олоздал... Конечно, очень хорошо, что она уехала.

— А мне не удалось уехать, — говорит женщина и тяжело вздыхает. — Мать у меня старая, болеет... Совхоз опустел — глядеть на него жутко.

И вдруг она цепляется рукой за стремя и говорит срывающимся голосом:

— Что же с нами будет, если вы уйдете?!

Теперь она плачет, а я стараюсь ее утешить. Говорю, что мы не отступим, а если и уйдем, то только вперед, на запад. Говорю ей о Москве. Вон какой натиск выдержала и не сдалась, да еще и отбросила врага на триста километров.

Женщина утирает слезы концом белого головного платка, берется за ведро и говорит:

— Хорошо, если так.

Прощаемся у ее дома. Она, спохватившись, скрывается в сених и тут же выбегает с узелком. Никакие доводы не помогают, и, чтобы не обидеть ее, я соглашаюсь взять четыре яблока. «Угощу друзей!» Кладу яблоки в полевую сумку, прямо на автоматные патроны, и пускаю коня крупной рысью.

...Светает. Полк только что прибыл в совхоз «Победа Октября». Положив головы на скатки и вещевые мешки, дремлют усталые бойцы. Мне не спится. Иду по тихой улочке совхозного поселка. Вот он, домик под белой крышей, в котором жила сестра. Окна и дверь забыты. На дворе — запустение.

Возвращаюсь в штаб — он расположился возле стены одного из домов, — усаживаюсь на траву, рядом с Чилингаряном, кладу ему на плечо руку.

— Жора, проснись, дай закурить.

Он встряхивает красивой кудрявой головой, достает кисет и говорит:

— Сладко вздремнул, кацо...

Из штаба дивизии возвращаются майор Красицкий, комиссар Свешников и старший лейтенант Вашенко, и тут же во все концы поселка бегут посыльные. Через несколько минут полк построен. Командиры батальонов и специальных подразделений вызываются к командиру полка. И я впервые слышу, как отдается боевой приказ.

Разведка донесла, что в нескольких километрах северо-западнее совхоза «Победа Октября» противник накапливает силы для наступления. Мы должны выступить навстречу врагу и принять бой.

Конец учениям и томительным ожиданиям. Настал твой час, наш полк!

Вторую неделю, не затихая ни на один день, идут тяжелые бои.

Мне почему-то врезались в память слова комбата Красильникова, сказанные им, кажется, еще в Григорьевке: «Очень важно победить в первом бою. Враг поймет: на его пути встал сильный противник, а наши бойцы после удачного боевого крещения будут драться еще ожесточеннее, с верой в скорую и полную победу».

И первый бой мы выиграли.

Это был жаркий бой. Фашисты бросали против нас танки и самолеты, открывали сильный минометный огонь, но прорваться к совхозу «Победа Октября» и дальше, к Дону, им не удалось.

Вечером в ротах рассказывали о приказе командира дивизии. В нем говорилось, что враг остановлен и отброшен на несколько километров. В приказе особо отмечалось мужество артиллеристов, вступивших в единоборство с фашистскими танками. Комдив призвал всех бойцов и командиров следовать примеру отважных воинов артполка — бесстрашно встречать и уничтожать фашистские танки.

Но мы вели неравные бои. Сказывался большой перевес гитлеровцев и в численности войск и, особенно, в вооружении. Если немецким танкам здесь, на подступах к Дону, мы в какой-то степени могли противопоставить свои танки и артиллерию, то против вражеской авиации часто были бессильны: она господствовала в воздухе. С утра до вечера волна за волной налетали «юнкерсы». От восхода до заката взрывы сотрясали землю, поднимая высоко в небо столбы густого черного дыма, пламени и пыли.

— Где же наши самолеты? — спрашивали мы друг друга. — Ведь есть же у нас авиация! Где она готовит свой удар?

В нашем полку осталось два батальона. Третий, выполняя особое задание, попал в окружение и почти целиком погиб.

Два батальона вместо трех. А задача перед полком — ответственная и трудная: на рассвете внезапным ударом выбить противника из станицы Майоровской и с высоты, что примерно в полутора километрах на север от нее.

Нас поддерживает танковый батальон.

Глубокая ночь. Полк совершает марш. Штаб — в голове колонны. Сразу же за ним — первый батальон. Ему предстоит бить противника «в лоб», а второму батальону действовать в обход справа. Комбат Красильников идет рядом с командиром полка.

— Главное — не обнаружить себя до атаки, застать противника врасплох, — слышу я тихий голос майора. — В атаке действовать стремительно, выбить противника из станицы и на его плечах ворваться на высоту. Высоту взять обязательно, иначе станицы не удержать.

У комбата голос низкий, глухой. Я не слышу его слов, но о смысле их догадываюсь. Я знаю, что этот человек возьмет со своим батальоном и станицу и высоту и не отступит без приказа, хотя бы это стоило ему жизни.

Замедляю шаг. Пропускаю первую, затем вторую роту. Вот и третья. Окидываю ее взглядом и с грустью отмечаю: «Поредела...» Мерно шагает впереди роты лейтенант Радько. Беру его под руку, подлаживаю шаг.

— А-а, Федько, здравствуй, — оживляется он. — Жив Курилка?

— Жив. Рад и тебя видеть целым и невредимым.

Мы не виделись неделю, на войне это большой срок.

По колонне, от головы к хвосту, передается команда:

— Сто-ой! Привал!

Сворачиваем с дороги, ложимся на траву.

— Ну, а как здесь перед наступлением? — касаюсь я груди Сергея Андреевича.

— А у тебя? — спрашивает он с усмешкой и вдруг предупредительно толкает меня локтем.

Я настораживаюсь. Рядом с нами один боец вышучивает другого, а остальные слушают и смеются.

— Товарищи, посмотрите на Калиева — он против ночного марша. И вообще не хочет наступать. Лучше, говорит, сидеть в окопах.

— Кто это? — спрашиваю я у Сергея Андреевича.

— Истлеуов. Агитатор наш. Зубастый парень, хотя и молодой.

— А Калиев — гурьевский, что ли? Нефтяник?

— Нет, другой. Тот зимой сам напросился в маршевую роту. Да подожди, не перебивай.

Истлеуов продолжает напирать:

— А если немец придет и выгонит тебя из окопа? Что ты будешь делать?

— Другой выроет, — отвечает кто-то за Калиева.

— Значит, отступит и опять займет оборону, Сколько же ты будешь отступать, Карим?

Калиев молчит.

— Далеко зашли в нашу страну фашисты, Карим, очень далеко. И если не остановить и не прогнать их, они и в Казахстан придут. От Волги пешком за три дня дойдут.

— Дойдут, — соглашается Карим.

— Так что же, ждать этого будем? Только тогда начнем наступать? Нет, дорогой Карим, не хныкать надо, а бить фашистов, бить днем и ночью, не давать им отсыпаться. Бить надо!

— А я разве не бьюсь? — с обидой в голосе спрашивает Калиев.

— Конечно, бьешься, — говорит Истлеуов, и слышно, как он хлопает по плечу своего друга. — Конечно, бьешься. Только вот иногда немножко-немножко хнычешь. Не надо хныкать, Карим!

— Вот такую политбеседу... — говорит Радько и не успевает закончить фразы.

— Встать! Становись!

Мы идем с лейтенантом Радько впереди роты и молчим. У меня из головы не выходят слова Истлеуова: «От Волги в Казахстан за три дня дойдут». А ведь верно! От Волги до моего Джаныбека всего лишь сто пятьдесят километров.

— ...Вчера прислал письмо, — говорит Сергей Андреевич о своем сыне. — Просит не писать в Ташкент, обещает скоро сообщить новый адрес. Значит, скоро по соседству будет...

Тревожусь и я за свою дочь. Ей всего два года. Раскидала война мою семью. Жена в Гурьеве, работает дни и ночи, дочурка — у бабушки в станице Яманхалинской, а я шагаю в ночи по дорогам войны и не знаю, чем встретит меня завтрашний день.

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

Майор Красицкий, его адъютант лейтенант Воронин и я идем по косогору рослой спелой пшеницей. За нами цепью движется взвод автоматчиков — резерв командира полка. Справа, на восток от нас, лежит широкая долина, на противоположном ее крае темнеет стена молодого камыша, а за нею — опять косогор хлебного поля. Впереди, на север — селение, раскинувшееся, как кажется издали, почти у подошвы самой примечной в этих краях высоты и утопающее в зелени садов. Это станица Майоровская.

Тихое раннее утро. На востоке, почти сливаясь с горизонтом, низко нависли облака, между ними и землей проглядывает узкая полоска неба. С каждой минутой нижняя кромка облаков становится все краснее и наконец вспыхивает ослепительным пламенем.

Встает солнце.

Много раз встречал я восход и в джаныбекских степях, где еще семилетним мальчишкой пас телят, и на берегах Каспия, в кругу друзей-охотников, и часовым на посту в песках Туркмении, — и всегда он волновал меня.

Восход в донской степи мне кажется неповторимым. Но в это время я слышу слова майора, в которых звучит и гнев, и досада, и раздражение:

— Черт возьми, как мы опаздываем! И все из-за танкистов!

Я слышал ночью, как майор-танкист, командир танкового батальона, два раза говорил командиру полка, что никак не может найти брод через речушку, которую предстоит форсировать, а деревянный мостик едва ли выдержит вес танка. Пришлось

укреплять мост, теряя на это драгоценные предзакатные минуты. Сколько было волнений и у нас в полку и в штабе дивизии! Ведь, кажется, все готово: батальоны уже сосредоточились в балках, недалеко от станицы Майоровской, — заняли рубеж атаки, а у танкистов все еще что-то не ладится.

Ждать больше нельзя ни одной минуты. Враг может заметить, вызвать подкрепление, и тогда будет трудно брать станицу, не говоря уже о высоте, которая лежит по ту сторону.

В воздух летят одна за другой три красные ракеты, долина мгновенно оживает. Из балок поднимаются цепи, они быстро движутся к станице. И в этот миг где-то сзади нас взрвали моторы. На равнину вырывается танковый батальон. Шестнадцать боевых машин на большой скорости мчатся к станице, чтобы догнать пехоту и поддержать ее атаку.

И вдруг — беда! Из-за той самой высоты, которую полку предстоит брать, низко над землей летят легкие немецкие бомбардировщики. Вот они закружились над танками и обрушили на них бомбы. Восемь танков вышло из строя. Из них выскакивают обгоревшие танкисты и тут же падают, сраженные осколками рвущихся бомб или пулеметными очередями. Майор-танкист, которого ночью я даже не успел как следует разглядеть, погиб в этом бою.

Тяжелый урон нанес нам враг. Но остановить порыв полка он не в силах. Вот уже батальоны и вместе с ними уцелевшие восемь танков на окраине станицы. Нам с высоты хорошо видно, как из домов выскакивают немцы. Они мечутся, не зная, куда бежать, так как наши бойцы врываются в станицу с двух сторон — с юга и с востока. Немцы, беспорядочно отстреливаясь, устремляются на север, а вслед им несется, сотрясающая утренний воздух, раскатистое «ура». На несколько минут оно стихает, но потом снова грянуло где-то за станицей, и вот мы видим, как, рассыпавшись в цепь, батальоны поднимаются — все выше и выше, к самой вершине высоты.

Мы ускоряем шаг, потом бежим. Но бежать по хлебному полю очень трудно: стебли пшеницы путаются в ногах. Низко над нами пролетел снаряд и разорвался почти у самого гребня высоты, по которой мы идем. Второй снаряд разорвался, не долетев до нас.

— Вилка! — говорит майор и вдруг командует: — Ложись!

И как только все мы упали, на рыхлую почву хлебного поля шлепнулся тяжелый снаряд. Шлепнулся и завертелся, вольком в середине треугольника между майором, лейтенантом Ворониным и мною. Кажется, снаряд ползет к тому месту, где я лежу, прямо на меня, и если протянуть руку, то можно коснуться его.

— Встать, бегом вперед! — командует майор.

Срываемся с места и бежим метров тридцать—сорок. Опять по команде ложимся и опять вскакиваем и бежим — и так до тех пор, пока не скрываемся в балке.

— Да-а, видно, дома за нас много молятся, — шутит Воронин. — Не разорвался! А если бы...

Майор, не слушая Воронина, говорит тревожно:

— Удивительно. На той высоте, с которой по нас стреляли, должен быть не противник, а наш сосед. Тоже опоздал.

Вот и станица Майоровская. Идем по гнистой улице, по которой только что прошли наши бойцы. У забора лежит рослый белокурый немецкий ефрейтор. Он схватился руками за живот, да так и застыл со скрюченными пальцами и оскаленными зубами. А вот еще трое, скошенные, видно, пулеметной или автоматной очередью.

У колодца трупы двух красноармейцев. У одного из них перевязана голова, у другого — рука. Останавливаемся в недоумении. От ближнего дома к нам подходят трое легко раненых. Они очень возбуждены.

— Прихлопнули гада, товарищ майор, — говорит один из них. — Это он их застрелил. Залез на чердак и оттуда стрелял. В раненых, изверг, стрелял. Ну и мы его порешили!

Подбегает запыхавшийся и запыленный с ног до головы связной.

— Товарищ майор, — докладывает он. — Командир первого батальона старший лейтенант Красильников доносит: высота взята. Противник подтягивает подкрепления, готовится к атаке.

— Передайте Красильникову: высоту удержать. Ни шагу назад!

Связной повторяет приказание и бежит на высоту. Мы выходим на северную окраину станицы к фруктовому саду. Правее него протянулась старая, заросшая травой канава. Отсюда хорошо видно, как на западном склоне высоты окапываются бойцы. Окапываемся и мы.

Не слышно ни одного выстрела. Но мы знаем: за этим затишьем будут новые жаркие схватки. Непременно будут! Не смирится враг с потерей станицы и высоты.

Так оно и вышло. Часа через два немцы предпринимают попытку вернуть высоту. Под прикрытием сильного минометного и артиллерийского огня они идут в атаку. Наши бойцы встречают их ружейными залпами и гранатами. Немцы бегут вниз и скрываются где-то в балках.

Безуспешно оканчивается и вторая атака.

Снова наступает долгая подозрительная тишина. А нашего соседа справа все нет. Майор диктует мне донесение, пересчитывает его и отдает связному.

— Доставить на КП!

Связной бежит в станицу. Вскоре телефонист передает майору трубку.

— Идет подкрепление? — спрашивает майор. — Хорошо.

А я думаю: «Быстро дошло донесение. Наверно, по радио передали его в штаб дивизии».

И как раз в это время немцы наносят комбинированный удар. В воздухе появляются восемнадцать «юнкерсов» и начинают один за другим пикировать. Страшной силы взрывы сотрясают высоту, она словно раскалывается на части и горит. А как только самолеты развернулись и взяли курс на северо-запад, с высоты по телефону сообщили:

— Немцы пошли в атаку.

По сигналу с КП восемь наших танков вырываются из сада, бьют во фланг немецкой цепи. А с высоты на нее вновь обрушивается шквал ружейного и пулеметного огня.

И третья атака фашистов отбита.

Но полк несет большие потери. С высоты в станицу идут и идут раненые. Особенно много их после третьей атаки. Вот санигары несут лейтенанта Полещука, командира первой стрелковой роты. Левая нога у него без сапога, штанина разорвана до кармана, и из нее выглядывает наскоро наложенная выше колена повязка, покрытая пятнами запекшейся крови.

Я не сразу узнал Полещука, когда санитары поднесли его к нам на носилках и опустили на землю, чтобы передохнуть. Он сильно осунулся. Кожа на лице, обычно нежная, как у ребенка, приобрела землистый оттенок, губы побелели, нос заострился, а в глазах появился лихорадочный огонек.

— Что ж это делается, товарищ майор? — тихо заговорил Полещук; голос у него стал другой — глухой, срывающийся. Он устремил взгляд в голубое небо, по его щекам текут слезы. Он стыдится слез, смахивает их ладонью, а они бегут и бегут. — Сначала все так хорошо шло. Станицу и высоту взяли с ходу. Правда, танкисты понесли большие потери... А что делается там! — Он хочет приподняться на локоть и посмотреть последний раз на высоту, где оставил свою роту. — Ведь одним нам долго не продержаться...

— Продержимся. Обязательно продержимся. Вот подойдет соседний полк, и еще не такие атаки отобьем, — утешает майор.

Мы прощаемся с Полещуком, и санитары уносят его.

Третья атака, показавшаяся мне такой мощной и по натиску и по силе огня, меркнет перед четвертой. Начинается она тоже с налета «юнкерсов». Но совершенно неожиданно для немецких летчиков наш один-единственный истребитель «И-16», этот крошечный самолет, похожий на тупорылый снаряд, падает вниз из бездонной лазури. Он дерзко врывается в строй вражеских бомбардировщиков, и один из них тут же вспыхивает ярким пламенем и врезается в землю где-то за высотой. А вслед за тем другой «юнкерс» кренится на левое крыло и снижается на запад, оставляя за собой полосу густого черного дыма. Остальные шестнадцать самолетов беспорядочно бросают бомбы и разлетаются в разные стороны, словно воробьи при появлении ястреба.

На высоте бойцы кричат «ура», в воздух летят пилотки.

Но радость наша оказалась недолгой. «Ястребок» улетел, а вскоре появились двадцать девять «юнкерсов». На этот раз в сопровождении истребителей.

Высоту скрывают клубы дыма и пыли. Стоном стонет земля. Самолеты улетают, а на высоте все еще продолжает бушевать пламя.

— Товарищ майор, вас просят, — говорит телефонист.

Майор берет трубку.

— Танки? Сколько? Алло! Ничего не слышно! Сколько? Двадцать?

Он секунды две молчит и снова кричит в трубку:

— Пушки на прямую наводку! Приготовьте связки гранат. Атаку отбить!

Майор отдает телефонисту трубку, и я замечаю, как у него вздрогнула рука. Он поворачивается ко мне, словно хочет что-то спросить. Никогда еще он не был таким гневным. Брови почти сошлись у переносицы. Челюсти так стиснуты, что, кажется, вот-вот затрещат и рассыплются зубы. Он в ярости сжимает кулаки:

— Черт знает, что делается! Где же сосед? Где сосед?!

Противник делает артналет на высоту, и через несколько минут там завязывается рукопашная схватка. Наши бойцы отбиваются штыками и прикладами, а вверх по склону взбираются все новые и новые цепи атакующих.

С высоты бежит группа бойцов. Бежит и отстреливается. За ней показалась вторая. Через несколько минут они скрываются в саду. Майор говорит лейтенанту Воронину:

— Бегите, остановите их. Присоедините к резерву. Если есть кто-нибудь из командиров, пусть явится сюда.

Воронин бежит в сад и вскоре возвращается с комиссаром первого батальона.

— Товарищ майор, — докладывает комиссар, — прорвался с тридцатью бойцами. Батальон погиб.

— А вторая группа из какого батальона? — спрашивает майор.

— Из второго. Человек двадцать. Тоже провались с боем.

Майор молчит, кажется, очень долго. Потом говорит:

— Идите, товарищ комиссар, к взводу автоматчиков. Позаботьтесь, чтобы там был порядок.

Фашисты уже полностью овладели высотой и ведут с нее минометный огонь по саду и станице. И как раз в это время подходит полк, который должен был поддержать нас еще утром. Мне кажется, что майора Красницкого вот-вот хватит удар.

Полк с ходу идет в атаку, но откатывается на исходные позиции. Повторяет атаку — результат тот же. Начинает окапываться правее станицы. А противник подвозит на автомашинах подкрепление. Захватив высоту, он готовится вернуть и станицу.

Майор отодвинул свой командный пункт с северной окраины станицы на южную. Но мины долетают и сюда. С каждой минутой все отчетливее слышится перестрелка. Резервный взвод автоматчиков и комиссар первого батальона со своей горсточкой бойцов прикрывают отход раненых. Каждый квартал, каждый дом они уступают врагу только после упорного боя.

Но вот дома кончаются. Невдалеке виднеется балка. К ней и отходят остатки полка. А стрельба усиливается, и уже нельзя понять, где свои, где враг. Пули летят оттуда, куда мы идем. Идем и совершенно неожиданно сталкиваемся лицом к лицу с противником. Нас разделяет отлогая впадина шириной метров в сто — сто двадцать. Путь к отступлению отрезан. Нас — немногим более полусотни, немцев — не менее двухсот. Что делать?

— Давайте зайдем оборону, — предлагаю я. — Скоро зайдет солнце. До темноты продержимся, а там — прорвемся.

— Начнем окапываться, а их подойдет еще столько. Окружат — тогда попробуй прорвись, — говорит комиссар первого батальона. — Нет, прорываться, так сейчас.

На «военный совет» у нас нет ни одной минуты. Немцы сначала смотрят на нас молча и не стреляют, полагая, что мы хотим сдаться. Вот они загадели:

— Рус, плен!

— В атаку на левый фланг — вперед! — командует майор.

Взрывы гранат, автоматные очереди, и немецкая цепь уже позади нас. Балка разветвляется. Я, майор Красицкий, командир взвода связи младший лейтенант Рохленко, комиссар первого батальона и тридцать бойцов, с которыми он прорвался с высоты, бежим по левому «рукаву» и вскоре оказываемся на равнине. Майор, которому за пятьдесят, заметно отстает. Я хватаю его за ремень справа, а комиссар — слева и опять бежим. Рохленко и красноармейцы поминутно отстреливаются. Немцы ведут сильный огонь. Вокруг нас пули взбивают пыль. А из станицы Майоровской бьет орудие, и высоко над нами рвется картечь.

Нет с нами Воронина: он опять сказал бы, что дома за нас здорово молятся, — никто из нас, несмотря на такой огонь, не убит и не ранен.

Бежим к речушке. На ее берегу, в том месте, где она делает крутой поворот и почти касается дороги, нас нагоняет броневик и становится поперек дороги. Из него выскакивают солдаты.

— В воду!.. — командует майор.

Мгновенно оказываемся на другом берегу и залгаем в густом зеленом камыше.

Удивительно, до чего нагло ведут себя фашисты. Закованные в броню, они считают, что перед ними никто не устоит, все должны трепетать. Даже этот горячий день ничему не научил немецкого офицера, который гнался за нами на броневике. Вот он выходит из машины и становится в картинную позу: левая рука на бедре, а правая призывно вытянута вперед.

— Рус, ком плен! — доносятся до нас его слова.

— Федя, — шепчет майор, касаясь рукой моего плеча, — спиши его.

Раздвигаю камыши и прицеливаюсь. То же самое делает Рохленко, который лежит рядом со мной. Одновременно раздаются две автоматные очереди. Офицер хватается за грудь и грузно падает в речку, лицом в воду. Перепуганные немцы прячутся за броневик.

— Больше не сунутся! — говорит майор вслух. — Спесь сбита.

Ох, как хочется нам с Рохленко захватить броневик! Да и не только нам — все красноармейцы готовы вновь броситься в речку. Но майор показывает рукой вправо и говорит:

— Цепь наступает. Надо немедленно уходить.

Солнце уже скрылось за горизонтом. В пойме речки быстро сгущаются сумерки. Мы выходим из зарослей камыша и берем курс на юг.

Сердце гложет тоска, как будто я в чем-то виноват. Страшно вспомнить, что мы не отступали, а прямо-таки бежали, прорывались и снова бежали. Почему так получилось: началось хорошо, а закончилось поражением? Все ли группы прорвались, как мы?

И впервые в душу западает сомнение: а все ли у нас благополучно? Почему танкисты провозились всю ночь? Ведь только из-за них пришлось начать наступление не на рассвете, а уже на восходе солнца. Почему так долго подходил соседний полк, который, как я слышал, должен был наступать правее станицы Майоровской, развивая наш успех? И еще тревожит вопрос: сколько же сил сосредоточил на Сталинградском направлении враг, если он против одного нашего полка не раз бросал сегодня самолеты, потом ввел в бой танки и непрерывно подвозил на автомашинах пехоту?

Почему-то не выходят из головы и слова офицера-интенданта, руководившего этой ночью эвакуацией продовольственного склада. Когда я подошел к нему и от имени командира полка просил выдать нам несколько банок консервов и немного хлеба, он посмотрел на меня, как на человека не от мира сего, и сказал, показывая на склад:

— Да заберите хоть все!

«Грустит, что ли, или в самом деле приходится торопиться?»

На восходе солнца мы оказались около штаба армии. Дежурный офицер, выслушав майора Красицкого, берет карту и показывает на ней место, куда направляются бойцы и командиры нашего полка, отошедшие от станицы Майоровской группами и в одиночку.

Майор приказывает комиссару первого батальона вести туда нашу группу.

— Вы оставайтесь со мной. Посидите вон у того колодца, отдохните, — говорит мне майор и уходит в один из блиндажей.

Вскоре он возвращается. Садится на траву рядом со мной и молчит. Видимо, неприятным был разговор. Но вот он встряхнулся.

— Чего же мы сидим? Давай умоемся и позавтракаем.

Ведро у колодца нет. Прицепляю к журавлю каску и достаю воду, лью ее майору на шею и на лопатки. Потом он полнивает мне.

— Хорошо! — говорю я. — А еще бы лучше в реку, в такую, как наш Урал.

— В Неве бы тоже недурно искупаться! — усмехается майор.

Слава богу, погеселел!

Хлеб с рыбными консервами запиваем водой. Майор подмигивает мне и достает из полевой сумки флягу.

Наливая, он продолжает:

— Хотя и неудачно кончилось, а все же враг долго будет помнить нас, и не один фриц сконфузится, когда зайдет разговор об этой станице: в нижнем белье пришлось убежать!

Мне хотелось сказать, что и мы бежали, но я смолчал.

— Похвалили нас за храбрость и стойкость, — кивает майор в сторону блиндажа, в который он ходил с докладом. — А все же горько, что не удержались. Говорят, человек сто всего вернулось. вместе с нашей группой. Ну, ладно, еще повоюем! Может быть, пополнение дадут. Ядро у нас крепкое — не в одном бою обстрелянное! А теперь поговорим о другом. Просьба у меня к тебе есть большая.

Я удивился: какая может быть просьба у командира полка к подчиненному офицеру? А майор кладет мне руку на плечо, как тогда в Прудбое, перед отъездом на фронт.

— Согласился бы ты добровольно быть моим адъютантом? Только, повторяю, добровольно.

— Если прикажете, товарищ майор, буду выполнять какие угодно обязанности.

— «Если прикажете»! А я, понимаешь, не хочу приказывать, хочу, чтобы ты сам согласился. Ведь я мог там, в Майоровской, отстать от вас, погибнуть или попасть в плен, а ты да комиссар просто уволокли меня. Разве вы по приказу спасали меня? Воронин должен был это делать, а он о самом себе побеспокоился...

— Я согласен, товарищ майор.

— Вот за это люблю! Пошли! Сейчас нам подадут коней — поедем в полк. — И уже на ходу он продолжает: — А Воронина под суд отдам. Бросил командира полка!

— А может, он погиб...

— Не верю!

Я больше не стал возражать, и остаток пути мы едем молча.

Полк расположился на берегу степной речушки. Одни купаются, другие стирают портянки, трети отдыхают в тени кустов. Тут же под повозкой, утыканной ветками, расположился штаб. Я еще издали увидел Жору Чилингаряна и Женю Соколова. Рад, что они живы и даже не ранены. Из-за куста приветственно машет рукой Леонид Хахамов. И этот в строю. А вот и сержант Рипка, полковой писарь, на почечнике которого я оставил, по приказанию майора, сейф. Молодец Рипка — сейф цел.

Очень смутился при встрече с нами лейтенант Боронин.

Командиру полка докладывает пезнша Гарин. Тяжело слушать его доклад. От полка осталось около ста человек. Без вести пропали комиссар полка Свешников и начальник штаба Ващенко. От первого батальона, кроме комиссара и тринадцати бойцов, никого не осталось. Командира батальона старшего лейтенанта Красильникова кто-то видел на высоте тяжелораненым. Без вести пропали также старший адъютант Суворов и командир третьей роты Радько. Во втором батальоне убиты или ранены почти все офицеры.

Рассказывали о мученической смерти бойца Истлеуова. Он погиб в рукопашном бою, погиб на немецких штыках. А Карим Калиев, бросившийся на выручку к другу, был сражен автоматной очередью. Так умирали однополчане.

И все-таки полк живет. Комиссаром стал старший политрук Сиваев, начальником штаба — старший лейтенант Гарин. Хотя и малочисленные, но есть и роты. Командуют ими те из командиров взводов, которые уцелели в бою за станицу Майоровскую и

высоту. Во главе некоторых взводов поставлены сержанты. Лейтенанта Воронина командир полка, как я и думал, не отдал под суд, а пожурил и назначил адъютантом в первый батальон.

Полк живет. И он еще будет драться!

КЛЕСИСТОВСКАЯ

Дремлет прибрежный камыш. Утренний ветерок, такой вялый, точно никак не может проснуться, чуть покачивает косматые метелки. Низко над водой, отразившей одинокое облачко, пролетели кудики. Пролетели, удивленно свистнули, и снова — тишина. Не слышно ни обычного для войны гула моторов танков и самолетов, ни выстрелов. И, видимо, ничего подозрительного не находят в этой утренней тишине наблюдатели противника, окопавшегося на высоте юго-западнее станицы Клесистовской.

Недалеко от высоты в густой траве ночью залег и окопался наш полк, и сейчас он ждет сигнала атаки. А справа от него, за речушкой, вот так же лежат, готовые каждую минуту рвануться вперед, другие полки дивизии.

Мы с майором Красицким, прикрываясь камышами и часто останавливаясь, идем по берегу речушки, выбирая место, с которого было бы удобно наблюдать за полком и управлять им. Бесшумно ступая и ежась от утренней сырости, за нами идут связные и автоматчики. Автоматчиков уже не взвод, как было при наступлении на Майоровскую, а только одно отделение; три других отделения пришлось послать на пополнение батальона. Замыкает шествие коновод, в поводу у него три оседланные лошади.

Майор останавливается, смотрит на часы, потом на восток, как бы сверяя с ним время.

— Пора. Давай: две красные и одну белую.

Я даю две красные ракеты и одну белую — установленный на сегодня сигнал атаки. Не успела догореть последняя ракета, как из травы поднялись бойцы и, стреляя на ходу, устремились к высоте.

Опять фашисты проспали, оказались застигнутыми врасплох. Не сразу открыли они огонь. А по скатам высоты, к самой ее вершине, бежит, обгоняя атакующих, могучее «ура» и, как эхо, откликается за речушкой.

— У-а-а-а-а!

Нет, это не эхо. Там тоже полки идут в атаку.

Враг не выдержал. Нам хорошо видно, как черные фигурки выскакивают из окопов и бегут на северо-запад. Еще миг — и наши переваливают за гребень высоты, скрываются из виду. Майор ищет глазами коновода, укрывшегося в камышах.

— Коней!

Мы галопом мчимся к высоте: впереди майор, за ним — я и почти рядом со мной — коновод. Недалеко от нас разорвался снаряд, потом второй, третий. Мчимся еще быстрее, а снаряды рвутся все чаще. И вдруг моя лошадь падает на колени и переворачивается через голову, а я, едва успев освободить ноги из стремян, лечу несколько метров вперед. Тут же вскакиваю. Лошадь моя бьется в судорогах. Коновод спрыгивает со своей лошади, подводит ее ко мне.

— Товарищ младший лейтенант, вы не ранены? Садитесь, догоняйте командира полка!

Вскакиваю в седло и беру с места в галоп. На скаку оглядываюсь — коновод снимает седло с убитой лошади. Вот какой хозяйственный!

Майор придержал свою лошадь, и я поравнялся с ним. Он смотрит на меня и шутит:

— Ты точно заколдованный — не ранен и шею не сломал.

У сада нас внезапно атаковали два немецких самолета-истребителя. Они, как видно, возвращались на аэродром, потому что летели с восточной стороны. Мы еле успеваем скрыться под кронами яблонь и вишен. Привязываем лошадей к деревьям в самой густой части сада и бежим к высоте. Но вверх по склону долго не пробежишь! Идем пригнувшись. Майор оглядывается и показывает на сад.

— Смотри, что он делает! С ума сошел!

Коновод, казалось, и в самом деле рехнулся: бросился в сад, который в это время начали обстреливать из пулеметов истребители.

Немцы опомнились, открыли беглый артиллерийский и минометный огонь. Чем ближе к гребню высоты, тем огонь становится сильнее. Приходится часто ложиться, ползти и перебегать. Сквозь грохот доносятся шум, голоса. Вскоре разрывы снарядов и мин стихают, а шум, наоборот, усиливается. Голоса не наши — чужие. Майор прислушивается.

— Контратакуют. Поспешим!

Выбегаем на вершину, и все становится ясно. Немцы действительно идут в атаку. С северо-запада движется цепь. Правда, редкая, не то что в Майоровской. Где-то внизу застрочил наш станковый пулемет, потом второй. За ними открыли огонь автоматчики. Немецкая цепь ложится и больше не решается атаковать.

Поздние сумерки. В ложину, которая лежит у самой подошвы высоты, подали кухню. Отсюда кашу в термосах несут на передовую. И к нам на КП ординарец командира полка и коновод принесли ужин. Увидев коновода, майор оживает.

— А-а, Теренков! Как поживают наши кони? Жарко было в саду?

— Кони живы, товарищ майор.

— Смотри ты! А ведь огонь-то какой вели самолеты.

— А что огонь, товарищ майор? Сад густой — сверху не видно, что в нем делается.

Наугад стреляли. Обстреливают восточную часть сада — я с конями в западной. Когда самолеты начинают стрелять по западной части, — я в восточной. Так и бегал.

Майор говорит:

— Да вы молодчина, товарищ Теренков.

Коновод, ободренный похвалой, словно оправдывается:

— Жалко лошадей, товарищ майор. Сколько их уж у нас побили!

— Ну, давайте ужинать, — приглашает майор всех, кто находится на КП. — Кого нет?

— Лейтенанта Чилингаряна, — отвечает начальник штаба. — Из первого батальона сообщили: был у них и уже минут сорок как вышел. Не заблудился бы — один пошел.

— Оставьте ему, потом поужинает, — говорит майор, — а за то, что один ходит такой ночью, взгреть его надо как следует.

Мне хочется сказать: «Не заблудится. Это вам не Квашнин — сумеет отличить Малую Медведицу от Стожар». Однако Жоры все нет и нет, и я тоже начинаю волноваться. Звоним во второй батальон. Отвечают: не приходил. Где же он бродит?

Чилингарян явился на КП в полночь в окровавленной гимнастерке и с перевязанной рукой. И пока ему подбинтовывали руку, рассказал нам о неожиданной встрече.

...Из первого батальона Чилингарян пошел в штаб полка. Но дорогой передумал и решил сперва заглянуть в соседний батальон. Он повернул назад, пригнулся и посмотрел на серевшую вершину высоты, потом на звезды и на компас. Сориентировался: вот первый батальон, второй должен быть правее. Прошел метров сто и почти столкнулся в темноте с тремя. Сначала они не вызвали никаких подозрений — бойцы как бойцы. Спросили, кто он и куда идет ночью один. Вызвались проводить: они как раз из второго батальона. Но хотя и темно было, Чилингарян не мог не заметить, что гимнастерки и брюки на них не выгоревшие и не запыленные, а почти новенькие, да и скаток и вещевых мешков у них нет. И Жора догадался: перед ним вовсе не бойцы второго батальона, а чужие, враги — власовцы. Они трусят и хитрят, не решаются напасть на него, а стремятся сбить с дороги и незаметно увести к немцам или хотя бы за передний край, где не опасно выдать себя стрельбой.

Чем дальше, тем больше Жора убеждался, что это власовцы. Они перешептываются, делают друг другу какие-то знаки. Жора вскоре догадался, что им удалось все-таки немного сбить его с нужного направления. По времени пора бы уж прийти во второй батальон. Тогда он решил, что надо немедленно, сейчас же, что-то предпринять.

— Мы заблудились, — сказал он им. — Дальше идти нельзя — там немцы. Нам надо, товарищи, взять вправо.

Как только Чилингарян сказал это и показал, что хочет повернуть и идти направо, один из трех грубо взял его за рукав гимнастерки и прошипел:

— Мы тебе не товарищи. Иди с нами и не вздумай кричать.

Резким ударом в скулу Чилингарян сбил власовца с ног, выхватил из кобуры пистолет, не целясь, выстрелил в двоих других и бросился бежать. Но вдруг упал, настигнутый пулей. Он вскочил, почувствовал сильную боль в руке и опять побежал. Вслед ему еще несколько раз выстрелили — пули просвистели над самой головой.

Недалеко справа в небо взвилась ракета и послышались голоса. Жора лег и, пока ракета, рассыпаясь на сотни искр, описывала в воздухе дугу, осмотрелся и прислушался. Вот это действительно свои. Он встал и пошел туда, откуда доносились голоса.

Это был второй батальон. Там его наскоро перевязали и проводили в штаб полка...

— Важную новость вы сообщили. До сих пор враг не засылал к нам власовцев,— говорит майор и оборачивается к Гарину. — Донесите об этом в штаб дивизии, а в батальоны позвоните: пусть усилят наблюдения. Всех подозрительных доставлять в штаб. — Потом опять обращается к Чилингаряну: — Не могу больше задерживать вас. Поезжайте сейчас же в медсанбат. Скорее вылечивайтесь и возвращайтесь в полк. Спасибо за службу.

Жора растрогался, засуетился. Мы с ним простились наспех, совсем не так, как хотелось. И если бы наутро со всеми нами не случилась страшная беда, я долго упрекал бы себя за такие проволочки друга.

В ОКРУЖЕНИИ

Лег я на рассвете и сразу заснул крепким сном, а на восходе проснулся от грехота, способного поднять даже мертвого. Выглянул из окопчика и оторопел: через наш КП идут немецкие танки, в воздухе кружат бомбардировщики «Ю-87». С криками, которые мне кажутся улюлюканьем, идет густая цепь немецких автоматчиков, а далеко за нею виднеются грузовые автомашины, переполненные солдатами. Наши бойцы, отстреливаясь, бегут почему-то не к нам на КП, а куда-то влево, на запад. Вспоминаю, что там глубокая балка. Мы тоже все, кто находился на КП, перебегаем туда и скрываемся в балке.

Стрельба мгновенно стихает. Ослабевает, удаляясь, гул танков и грузовиков.

И вдруг раздается команда, которую я давно уже не слышал:

— Полк, становись!

Подавал ее майор. Он стоит на самой середине балки, вытянув в сторону руку, и рядом с ним строится полк.

— Направо — равняйся!.. Смирно!.. Вольно!..

«Как на учении», — думаю я. В памяти всплыли Григорьевка с ее заснеженными полями и перелесками, станция Прудбой. И еще почему-то вспомнился вишневый домик, одиноко затерявшийся в степи между Волгой и Доном. Там полк ходил на учения в полном составе. Всякий раз, когда он разворачивался и принимал боевой порядок, у меня захватывало дух. И вот что осталось через две недели тяжелых боев. Теперь у нас в строю каких-нибудь семьдесят человек, и на вооружении, кроме винтовок и автоматов, ничего нет. Правда, чудом уцелела одна сорокапятимиллиметровая пушка, но снарядов — в обрез.

Не один я с грустью думаю об этом. У многих такие усталые глаза и на лицах можно прочесть, что творится в душе. Майор понимает, как важно в эту тяжелую минуту поднять дух людей, внушить им, уже повидавшим смерть в глаза, что ни один не должен поддаваться усталости и панике.

— Товарищи! — говорит Красицкий. — Мы в окружении. Враг прорвал нашу оборону и развивает наступление. Обстановка, как видите, куда сложнее, чем она была вчера, чем она была даже час назад, когда только начинался бой.

Майор окидывает взглядом строй и продолжает:

— Да, обстановка сложная, и нас мало. Но ведь полк почти в таком же составе взял два дня назад высоту, с которой только что отошел. Мы тогда заставили противника бежать. Полк в окружении, но он остается полком. Пусть никто и не думает,

что можно спастись в одиночку. Мы совершим обходный марш на юго-восток и в одну из ближайших ночей с боем прорвемся к своим...

...Мы все молча идем за командиром полка. Мы верим ему, но обстановка безжалостно ломает наши расчеты. Противник наступает быстрее, чем мы полагали. Наступает он на восток, а мы идем на юго-восток, и поэтому путь наш гораздо длиннее. Враг продвигается днем, а мы днем скрываемся в балках и в прибрежных камышах и только короткими летними ночами совершаем марши. Так с каждым днем полк оказывается все дальше от линии фронта.

Сегодня восьмое августа. Пошли третьи сутки, как мы в окружении. На рассвете остановились недалеко от хутора Попова в глубокой балке, заросшей могучими дубами. Я лежу под одним из них, заложив руки за голову. Думы все об одном и том же: когда же мы прорвемся к своим? Фашисты, наверно, уже за Доном, а мы все еще не достигли его правого берега. Прошедшие три дня и две ночи вспоминаются до мельчайших подробностей.

Нас преследует множество неудач. В первый же вечер, шестого августа, нам не удалось объединиться с каким-то другим полком, потрепанным еще больше, чем наш. Его командир и слушать не хотел об обходном марше. Он повел горсточку своих бойцов прямо на восток, по следам наступающего противника.

— Может быть, принять его план? — посоветовал кто-то из нас майору.

— Я думал об этом, — сказал Красицкий. — И все-таки считаю, что невозможно прорваться здесь, где противник сосредоточил такие большие силы.

Неудавшаяся попытка объединиться огорчила всех нас. А тут еще не вернулась посланная в одну из станиц разведка. Кроме основного задания, ей было поручено раздобыть хлеба — ведь бойцы целый день без пищи. Направленная вслед другая группа бойцов во главе с лейтенантом Ворониным только что вернулась и доложила, что в станице расположилась немецкая часть и наши разведчики, по-видимому, схвачены.

Пришлось сниматься с бивуака и уходить, пока противник не обогрнул нас. Но погони нет, значит разведчики, если они и попали в плен, нас не выдали.

Всю ночь шли степной дорогой. На другой день отлеживались в камышах на берегу той самой речушки, у которой останавливались накануне. Опять весь день были без пищи. Только поздно вечером в каком-то небольшом хуторке, где мы сделали короткий привал, женщины и дети всех нас напоили молоком и угостили помидорами и огурцами. Это был легкий ужин после двух голодных дней.

Зато сегодня хлопоты интендантов увенчались успехом. Им удалось раздобыть где-то телку. Мяса было вдоволь, но соли — ни щепотки. И если несоленое мясо хоть и неохотно, но все же ели, то от бульона все отказались. Интенданты и старшины — самый хозяйственный среди военных народ — с грустью наблюдали, как этот жирный навар бойцы выплескивали из котелков...

— Ты что молчишь? — спрашивает у меня майор — Грустишь? Лучше поспал бы часок-другой...

— Не спится, товарищ майор.

— Ну, тогда оседлай коня да прокатись вдоль ближайших балок, посмотри, не прячется ли кто в них так же, как и мы. Особенно далеко не уезжай, заблудишься еще.

...Проехал я вдоль одной балки — ни души. Еду вдоль второй — то же самое. Тихо и задумчиво, не шелохнув листочком, стоят дубы; на самом дне балки, у могучих корней, звонко журчат ключи. Поднимаюсь вверх по скату высоты, с которой сбегает вниз балка и где дубы становятся реже и ниже. Вдруг останавливаюсь, удивленный и растерянный: прямо в лицо мне уставились сволы орудий двух танков. Тут же соображаю, что танки эти — наши, и мне становится до боли в сердце страшно за танкистов. Как же они отсюда вырвутся? Подъезжаю ближе. Навстречу выходит молодой загорелый лейтенант в замасленной гимнастерке. Около машины замечаю еще троих танкистов. Они, как видно, не очень-то удивлены встрече со мной. Объясняю, кто я и зачем тут появился. Теперь они смотрят на меня с любопытством. Как же, я представитель полка, хоть в нем и не более семидесяти человек. Положение у тан-

кистов — хуже не придумаешь: вышло горячее. Они собираются вывести танки из строя и пробираться к своим пешком.

— Ну, коли так, присоединяйтесь к нам, — советую я им и рассказываю, как найти полк.

Еду дальше. Вот параллельно двум предыдущим балкам протянулась третья, такая же глубокая и сплошь заросшая дубами. Через их макушки мне видна равнина, на которой там и сям стоят деревья с раскидистыми темными кронами. Из-под одного дерева встали трое. Двое из них сильно хромают, опираются на палки. Не идут, а ползут. Ползут на восток.

— Э-ге-ей! Сюда идите! — кричу им и машу пилоткой.

Услышали, оглянулись, заспешили прочь и вскоре скрылись за другими деревьями.

— Вот чудачки! — говорю я самому себе. — Тоже собираются выйти из окружения. Шли бы к нам — у нас пэвозки...

Сам не зная почему, я посмотрел на небо и высоко-высоко увидел парашютиста. Белый купол парашюта ярко выделяется на голубом фоне и очень быстро удаляется на восток.

«Чей же это парашютист? — думаю я. — Наш или немецкий? И почему не слышно самолета? Видимо, издалека летит...»

Однако пора возвращаться. Вот просмотрю эту балку — и в полк. Еду вдоль нее с полкилометра и упираюсь в крутой обрыв. Сворачиваю влево и еду ко второй балке, надеясь переправиться через нее, а потом через первую и тем самым сократить путь. Но расчеты мои не оправдались. Вторая балка оказалась в этом месте такой же крутой, как и третья. Приходится снова подниматься на высоту и объезжать их. Вот и танки, где я останавливался. Увидев меня, лейтенант спрашивает:

— Слушай, дружище, где же ваш полк?

— Как где? Я же объяснял. Около хутора Попова, в самой ближней от него балке.

— Там остался только пепел от костра. Не веришь — спроси наших ребят, они туда ходили.

Меня стало бросать то в холод, то в жар. Отстал от полка! Да что подумают обо мне майор, начальник штаба Гарин, Леонид Хахамов, Женя Соколов? Скажут: сам о себе позаботился, свою шкуру спасает. Нет, конечно, никто из них так не подумает. Разве вот только Квашнин? Этот, пожалуй, и подумает и скажет.

Раздумывать некогда. Прощаясь с танкистами, пускаю коня в галоп. Вниз по склону конь бежит легко. Вот ога, та самая балка, где мы сегодня стояли. Зола от костра, назерное, еще горячая. Выскакиваю из балки на равнину, смотрю на юго-восток и далеко над горизонтом замечаю облачко пыли. Сомнений нет: туда ушел полк.

— Ну, дорогой, выручай! — говорю я коню и снова пускаю его в галоп.

Догоняю пслк и докладываю майору, что задание выполнил. Он смотрит на меня сердито и говорит:

— Вам следовало бы натреть уши, как мальчишке. Ведь предупреждал, чтобы далеко не уезжал.

Я, конечно, оправдываюсь. Говорю, балки такие крутые, что обязательно надо объезжать. Рассказываю про танкистов, и про раненых, что испуганно спрятались, увидев всадника, и про парашютиста.

— Но почему вы снялись засветло? — спрашиваю я, видя, что майор меняет гнев на милость. — Ведь это рискованно.

— Посылали разведку на хутор Попова. Противника там нет. Дальше дорога идет степью — там тоже некого опасаться. А идти только ночью — вряд ли скоро перейдем линию фронта. Вот и пошли засветло. А тебя не стали ждать, потому что семеро одного не ждут, а тем более семьдесят.

«Вот разворчался», — думаю я про майора, а он вдруг поворачивается в седле и спрашивает:

— Небось струсил, когда нас не застал? А?

— Еще как!

Ракета вспыхнула и повисла на парашюте. И сразу раздается команда:

— С дороги — в сторону! Ложись!

Приглушенный рокот самолета. Вот рокот совсем стихает, и самолет планирует. Ракета гаснет, но тут же вспыхивает и повисает в воздухе другая. Когда и она гаснет, снова ревет самолет, постепенно удаляясь.

— Встать! Продолжать движение!

Через несколько минут над нами снова кружит невидимый в темноте самолет, снова одна за другой вспыхивают ракеты. Снова мы разбегаемся и ложимся в траву. Потом встаем и идем по пыльной дороге.

Мы-то ложимся, прячемся в траве, а лошади, повозки, пушки? Их куда не спрячешь в голой степи, и они маячат на дороге.

Противник обнаружил нас, самолет неотступно следует за нами, а значит, и сообщает на аэродром о направлении нашего движения. Случайно он нас обнаружил или кто-то нас предал? Об этом некогда и подумать. У всех одно желание — идти вперед и вперед, найти какую-нибудь балку или овраг, где бы можно было укрыться, — ведь скоро рассвет.

Правый дозор вскоре обнаружил неглубокую балку недалеко от дороги. На нашу беду, в ней ни деревьев, ни кустика. Но делать нечего: уже светает. Приходится здесь располагаться на отдых и готовиться к схватке с врагом, которая теперь всем нам кажется неизбежной.

Откуда может напасть враг? Угадать это совершенно невозможно. Мы в окружении. Враг всюду — на западе и на востоке, на севере и на юге. Поэтому занимаем круговую оборону. Откуда бы ни пришел он, мы должны драться. Если потребуется, драться весь день, чтобы ночью попытаться вырваться и опять идти вперед, к своим.

ГИБЕЛЬ ПОЛКА

И вот наступил этот неизбежный бой, навстречу которому мы шли. Правда, все произошло совсем не так, как хотелось. Нам нужен был ночной бой, дерзкий налет на противника под прикрытием темноты, чтобы ошеломить его, прорваться и уйти к своим. Надежды на такой исход рухнули. Противник сам обнаружил нас и навязал нам бой — бой неравный, гибельный для нас.

Против нас, семидесяти красноармейцев, к тому же слабо вооруженных, противник бросил минометы, пушки и даже танки, бросил большой карательный отряд. Его развернутая цепь заняла не один километр. Враг, как видно, надеялся на то, что мы сочтем свое положение безнадежным и сдадимся на его милость без единого выстрела.

Как только взошло солнце, цепи поднялись и двинулись на нас.

Фашисты идут сразу с трех сторон — с востока, с севера и с юга. Особенно много их с восточной стороны. Идут не спеша, с автоматами и винтовками наперевес. Наши бойцы изготовливаются к бою, но огня пока не открывают — ждут, когда немцы подойдут поближе: патронов у нас мало, их приходится беречь. Я тоже устриваюсь поудобнее в своем окопчике, в нескольких шагах от командира полка, пробую взять на мушку одного из вражеских солдат. Солнечные лучи бьют в глаза, мешая целиться. «Ах, гады, — думаю я, — не случайно зашли с востока». Поворачиваюсь лицом на север и прицеливаюсь в четвертого с левого фланга. Цель видна хорошо. Однако не стреляю: как и все, жду команды.

Немцы тоже не стреляют и даже не кричат, как обычно они это делают во время атаки. Идут молча, размеренным шагом.

— Психическая атака, — говорит кто-то.

Вдруг вся наша балка вздрагивает, как от сильного подземного толчка, и наполняется грохотом взрывов мин и едким дымом. Мой конь дико ржет, встает на дыбы и, оборвав узду, бросается в степь. За ним выскакивают из балки другие лошади. И только конь нашего коновода, как ни силится, не может оборвать поводья. Теренков выскакивает из окопчика, снимает с коня узду и, ласково хлопнув его по крупу, говорит:

— Беги, дружок, спасайся, делать тебе тут нечего...

Сказал и спрыгнул в окопчик, стал целиться.

Немцы уже понимают, что мы не пойдем им навстречу с поднятыми руками, не выбросим белый флаг. Теперь они ведут сильный огонь. Пули свистят у нас над головами, визжат и рвутся мины, надрывно ухают снаряды.

— Огоны! — командует майор.

Справа и слева от меня раздаются короткие автоматные очереди и редкие винтовочные выстрелы. Вот в немецкой цепи, которая идет с севера, упал один, потом второй... пятый...

— Так их, гадов! — говорю сам себе и целюсь в того, которого «облюбовал», в четвертого с левого фланга. Стреляю. Он только головой мотнул и продолжает идти. «Значит, пролетела мимо уха, — думаю я, — сменю прицел». Стреляю второй раз. Немец падает, точно обо что-то споткнулся, но тут же поднимается и ковыляет прочь.

С востока фашисты насаждают дружнее. Они открывают такой огонь, что и головы не поднять. И танки совсем близко. Наши артиллеристы выкатили пушку для стрельбы прямой наводкой. Но она успела сделать только два-три выстрела: танки разбили ее.

Потери у нас огромные. Много убитых. Раненых перевязывать некому — санитары либо убиты, либо ранены.

— Быстро на правый фланг, — говорит мне майор и показывает рукой на запад. — Все, кто уцелел, пусть отходят.

Бегу по балке в южном направлении. Навстречу мне идет, раскачиваясь из стороны в сторону, точно пьяный, политрук одной из наших рот. Он ранен в грудь. Вся правая сторона его гимнастерки залита кровью, лицо белое-белое.

— Идите вон туда, на запад, прячьтесь в хлебах! — кричу ему, но он ничего не слышит. Еще раз кричу. Кажется, понял, повернул туда, куда я показал рукой.

Я добежал до того места, где должен быть наш правый фланг. Все уже отошли. В окопах только убитые. Возвращаюсь назад и нигде не могу найти командира полка. Спрашиваю у бойцов, которые стреляют по врагу и отползают. Один из них говорит:

— Ранен командир полка. У скирд ищите.

Западный спуск в балку более пологий, чем восточный, изрезан узкими неглубокими овражками. По одному такому овражку пытаюсь выползти к скирдам, чтобы разыскать командира полка. Попытка оканчивается неудачно: немецкие автоматчики обстреливают этот овражек, отрезают огнем путь к отступлению. Спускаю снова на самое дно балки, делаю сильный разбег и выскакиваю на равнину. Бегу и вижу: впереди три скирды, майор и еще кто-то трое — не пойму, кто именно, — ползут к правой скирде.

Сильный удар в голову, и я с разбегу падаю вниз лицом. В голове звон, по правому виску и щеке бежит струйка крови. Снимаю пилотку и ошупываю голову. Ничего особенного: пуля вырвала клочок кожи и задела кость. Замечаю в пилотке две дырочки, точно ее проткнуло чем-то насквозь. Ползу по колее старой дороги. Второй удар. В шею. Сильнее прежнего — голову словно кто-то рывком повернул назад. Видно, какой-то немецкий автоматчик задался целью добить меня. И добьет, если буду ползти.

Эх, была не была, перебегу к скирде! Вскакиваю и бегу так, как, бывало, бегал стометровку во время спортивных соревнований. Скирда вдруг задымилась и вспыхнула: немцы подожгли ее зажигательными пулями. Пули свистят, срывают траву у самых ног. Кажется, вот-вот подкосят и меня. Напрягаю последние силы. Еще рывок — и я за скирдой. Прислоняюсь к ней спиной с западной стороны, куда еще не дошло пламя. Стою в изнеможении минуту-другую, потом поворачиваюсь направо. Майор делает мне знак рукой и показывает на просяное поле. И все мы, пригнувшись, перебегаем туда.

Итак, нас осталось пятеро: майор Красицкий, лейтенант Воронин, я и двое красноармейцев — Носов и Петухов. Майор ранен в обе руки и в бок, у Петухова раздроблена кость правой руки, чуть выше локтя, у меня в шее застряла пуля. Шея опухла; чтобы посмотреть в сторону, приходится поворачиваться всем туловищем. Не ранены только Воронин и Носов. Что бы мы без них делали? Они за нами ухаживают.

вают: перевязали раны и уложили отдохнуть, а сами — на часах, прислушиваются, посматривают по сторонам.

В полдень в густом высоком просе стало очень душно. Мучит жажда. Особенно сильно хочется пить мне, майору и Петухову: дает себя знать потеря крови.

— Так больше нельзя, — говорит майор. — Надо найти воду. Иначе пропадем, обессилеем и не сможем идти. Товарищ Воронин и вы, товарищ Носов, пройдите на край поля и осмотритесь, что делается вокруг и нет ли поблизости воды.

Воронин и Носов уползли, а мы лежим и с нетерпением ждем их. Солнце как будто остановилось — никак не может перевалить за полдень. Жара нестерпимая. Хотя бы ветерок подул, пусть самый легкий, — дышать нечем. И еще тревожат стук колес и голоса, которые изредка улавливает наш обогранный слух. А что, если пропадут Воронин и Носов или вдруг вздумается немцам прочесать просяное поле? Но голоса и стук стихают, и мы успокаиваемся. Думы только об одном — о воде.

Наконец Воронин и Носов возвращаются, и каждый из нас с надеждой смотрит на них.

— Товарищ майор, — докладывает Воронин. — Ваше приказание выполнено. Обстановка такова: мимо поля проходит дорога. Мне кажется, это та самая дорога, по которой мы ночью шли.

Майор кивает утвердительно, а Воронин продолжает:

— Только что по ней прошел немецкий обоз, направляется в тыл. За обозом шла под конвоем группа пленных красноармейцев. Много раненых. Сейчас вокруг тихо. За дорогой, метрах в двухстах, виднеются заросли камыша — вероятно, там есть вода.

При слове «вода» мы все приподнялись на локти. А майор твердо говорит:

— Пошли.

«Пошли» означало — поползли. Путь кажется долгим и очень утомительным. Майор еле передвигается, и мы вынуждены то и дело останавливаться. Спелое просо путается в волосах, сыплется за ворот. Но вот поле кончается, и перед нами открытая степь, по которой вьется пыльная дорога, а за нею вдали виднеется молодой темно-зеленый камыш.

— Пошли, — снова говорит майор.

Теперь это слово сказано в прямом смысле, так как ползти по голой степи нет никакого расчета. Лучше перейти или перебежать. Мы поднимаемся с земли, быстро идем и вскоре скрываемся в зарослях камыша.

Воды в камышах — по щиколотки, и в ней кишмя кишат головастики. Но что поделаешь? Мы несказанно рады и этому. Разгребаем руками головастиков — осторожно-осторожно, чтобы не взмутить воду, — и пьем. Пьем с наслаждением, долго. В желудках у нас начинает булькать. Потом выбираем где посуше и ложимся отдыхать.

Мне снится сон.

...Танийский лиман, раскинувшийся неподалеку от Джаныбека, из края в край залит мягким лунным светом. Под телегами и на копнах сена отдыхают после трудового дня косари. Одни лежат молча, заложив руки за голову, другие мирно о чем-то беседуют. Кашевары готовят ужин. В середине лимана, где даже в самое жаркое лето сохраняется вода, у костра собралась молодежь. Гармонист Петька Морозов, губастый, но, как находят девушки во всей округе, симпатичный и очень озорной парень, сидит на опрокинутом вверх дном ведре и лихо играет на тальянке «Волжские матанечки». Потом он встряхивает своим роскошным темно-русым чубом, растягивает гармонь так, что она, кажется, вот-вот разорвется, и над лиманом плывет мелодия «Страдания». Задорно звенят девичьи голоса.

Ну, а где музыка и песни, там непременно и мы — самое юное, озорное и любопытное поколение среди тех, кто выехал на сенокос. Нас целая ватага, и возглавляет ее тринадцатилетний Сашка Морозов, такой же шустрый, как и его старший брат, только лицом не похожий на него — белобрысый, веснушчатый, тонкогубый. Мы тоже поем, вернее — орем во все горло, и попадаем в немилость к девушкам.

— Эй, сосунки, марш спать! — бесцеремонно обращается к нам чернобровая смуглянка Маруся. — Торчите до полуночи, а начнешь будить на заре — хнычете.

Но мы и не думаем расходиться: стоим себе и поем.

— Как вам не стыдно! Сейчас же идите спать! — налетают на нас девчата, а парни смотрят, посмеиваются.

— А ну их! — говорю я Сашке. — Давай устроим лягушиный концерт.

— Давай! — соглашается Сашка, которому мое предложение явно по душе. Обращаясь ко всей ватаге, он говорит: — Айда!

Мы подходим к воде и начинаем на разные голоса квакать.

— Ква, ква, тр-р-р-р, — отозвалась одна лягушка.

За нею заквакала другая, третья, и вдруг поднялся такой гвалт, что все мы покатились со смеху. Хохочем и посматриваем на девчат: как, мол, нравится? Не мешает это вам «страдать»?

Девушки смотрят на нас укоризненно, а парни, как и мы, весело хохочут. Видя, что с нами ничего не сделаешь, Маруся обращается к девчатам:

— Давайте покидаем их в воду, пусть там квакают вместе с лягушками!

Девушки и парни, как по команде, вскакивают и устраивают на нас облаву. Мы бросаемся враспынуто: за одним погонятся — другие продолжают лягушиный концерт.

За мной гонится двоюродная сестра Лида. Догнала, схватила в охапку и приговаривает:

— Вот я тебе нарву уши, будешь знать, как баловаться...

Я знаю, что Лида добрая, и потому не боюсь за свои уши.

Лида садится к костру, берет меня к себе на колени и, тихо раскачиваясь из стороны в сторону, точно убаюкивая, напевает:

Вниз по Волге-реке
С Нижня Новгорода
Снаряжен стружок,
Как стрела летит.
Как на том, на стружке,
На снаряженном
Удалых гребцов
Сорок два сидят.

К костру снова собираются девушки и парни, все мои друзья — мальчишки; в одиночку и группами подходят косари. Садятся кто на валки, кто прямо на землю и слушают песню, а она плывет над водой, в которой притихли лягушки, над копнами сена, над лиманом и замирает далеко в степи, где притаились в траве юркие перепелки да пугливые стрепеты.

Как один-то из них,
Добрый молодец,
Призадумался, пригорюнился.

Призадумались и мои друзья-приятели Сенька и Амирка, нахохлились Мишка и Зейнюш. Даже Сашка, этот балагур и весельчак, и тот притих. Он лежит на животе, подперев кулаками щеки, отчего курносый его нос еще больше вздернулся, а веснушки слились в два сплошных рыжих пятна.

Лида кончила петь, но все еще тихо покачивает меня и задумчиво теребит мои давно не стриженные волосы. Я полулежу у нее на коленях с закрытыми глазами и слышу, как кто-то говорит таким знакомым-знакомым мужским голосом:

— Крепко уснул...

Открываю глаза и вижу темный камыш, кусочек звездного неба и чью-то протянутую к моему лицу забинтованную руку. И слышу надоедливый стон лягушек...

— Ну, вставайте, — тихо говорит майор. — Пора идти.

Перед тем как тронуться в путь, совещаемся. Положение у нас отчаянное. Повязки на ранах пропитались кровью, а запасных бингов нет. Весь день мы не ели, и на дорогу у нас нет никаких продуктов. Воды — на пятерых две фляги.

Воронин и Носов заявляют, что будут терпеть от речки до речки, а к флягам не прикоснутся, пусть эти две фляги воды достанутся нам троим — раненым. Мы отвергаем их великодушное предложение и говорим, что все будем пить хоть понемножечку, но поровну.

— Не будете пить — обессилеете, — говорит майор, — и тогда всем нам будет еще хуже.

— Ну ладно, — идет на уступку Воронин. — По глоточку, когда будет невозможнo. Так, товарищ Носов?

— Так, — соглашается тот.

О пище, словно по уговору, молчим. Каждый понимает, что достать ее невозможно. В станицы заходить рискованно — можно напороться на немцев.

Самый главный вопрос, который нам предстоит решить, — это как идти: ночью и днем или только ночью, и в каком направлении.

— О том, чтобы идти днем, не может быть и речи, — говорит майор. — Если бы местность была лесистая, тогда другое дело...

— Будем идти ночами, — немного помолчав, продолжает майор, — а днем — отдыхать в балках или, как вот сейчас, в камышах. Пойдем прямо на восток, так быстрее выйдем к Дону.

...Светает. Сколько мы прошли за ночь, сказать трудно. Мне кажется, очень мало — не более семи километров. Мы шли и по дороге и прямо по степи, по спелым хлебам и посевам подсолнечника. Подсолнуху сначала обрадовались, но тут же разочаровались. Семечки оказались пустыми: ядрышки в них еще не начали наливаться. Попробовали вытирать из колосьев и жевать пшеничные зерна, но сухое зерно усиливало жажду.

Путь нам преградил степной пожар. Горит огромный пшеничный массив. Мы остановились и несколько минут молча смотрим на это страшное зрелище. Хлеб горит! Хлеб, выращенный и выхоженный. Хлеб, который осталось только скосить и обмолотить. Догадываясь, о чем я думаю, майор шепчет:

— Это не случайный пожар. Наши подожгли, чтобы врагу не достался.

Пришлось обходить пожар, менять маршрут.

Идем на северо-восток. Надежды найти речушку или глубокую балку, на дне которой была бы вода, не сбываются. У нас осталась одна фляга. Как же мы проведем день? Да и найдем ли воду следующей ночью, когда опять тронемся в путь?..

Спускаемся уже в третью балку, но и она сухая. Дальше идти нельзя: совсем светло. Останавливаемся на дневку — ложимся кто за кустик, кто за камни. Стараемся поскорее заснуть, чтобы не думать ни о воде, ни о хлебе. Солнце поднимается и начинает припекать. Переползаем туда, где есть тень. Но вскоре оказывается, что от горячих лучей негде спрятать голову.

Часам к четырем дня у нас не осталось ни одного глотка воды. Ждем не дождемся, когда в балке снова появится тень и станет хоть чуть прохладнее...

...Опять ночь. Опять идем хлебами. Где-то далеко слышны голоса: кто-то кого-то зовет. Впереди, тоже далеко-далеко, пролетел огонек и исчез. Что это значит? Через минуту он показался снова.

Да ведь это ракеты!

— Неужели так близко? — спрашивает Воронин. — Даже не верится, что там линия фронта.

— Видимо, немцы не продвинулись или наши их потеснили, — неуверенно говорит майор. — Может, и не зря мы повернули на северо-восток...

Снова идем. Но только вышли из пшеничного поля — сзади послышался шорох. Оборачиваемся — перед нами овчарка. Так, значит, это ее только что звали. Идут по нашему следу!

Так мы рассуждаем, не зная, что и делать: бежать или ждать стычки с врагом? А собака стоит и смотрит недоуменно. Не бросается и не лает.

— Э-э, да она молодая, плохо обученная, — говорит майор. — Воронин, берите ее за ошейник.

Воронин неуверенно шагает к овчарке и протягивает к ней левую руку; в правой он держит пистолет. Собака чуть попятилась, но не убежала.

Воронин берет ее за ошейник, прикрепляет к нему свой поясной ремень, и мы спешим туда, где дважды мелькнули ракеты.

Одиннадцатое августа. Опять не нашли воды. День провели в такой же балке, как и десятого. От жажды у всех потрескались губы. Собаку тоже мучит жажда, она ску-

лит, вырывается, грызет ремень. Что же с ней делать? Если отпустить, она может вернуться и тем самым выдать нас. Поручаем Воронину отвести ее подальше и пристрелить.

Перед вечером над нашей балкой, над тем местом, где мы лежим, с запада на восток низко пролетел немецкий бомбардировщик. Через несколько минут пролетел второй самолет — так же низко, почти на бреющем полете.

Опять недоумеваем: что все это значит?..

Глубокая ночь, тихая и душная. Сколько мы прошли с тех пор, как село солнце? Километра два, три? Мы еле-еле переставляем ноги, то и дело падаем на землю в изнеможении. Вот и сейчас лежим. Лежим, кажется, дольше, чем положено. Надо встать и идти, но ноги так болят!

— Почему же ракет сегодня не видно? — спрашиваю я тихо, ни к кому не обращаясь.

— Наверное, линия фронта снова отодвинулась, — отвечает мне Воронин.

— А может, ракет и не было? Может, нам просто показалось? — не унимаюсь я.

— У всех сразу, Федя, не может быть галлюцинаций, — шепчет Красицкий. — Носов, вы видели ракеты?

— Видел, товарищ майор.

— А вы, Петухов?

— И я видел, товарищ майор.

— Ракеты были — это факт. А почему их не видно сейчас, не пойму, — говорит майор.

Наступает тягостное молчание. Лежим несколько минут, не зная, чем утешить, ободрить друг друга. Тихо вокруг, лишь изредка из груди майора вырывается еле слышный стон. Подползаю к нему и шепчу в самое ухо:

— Вам плохо, товарищ майор?

Он испугался своего стона. Открыл глаза и улыбнулся.

— Нет, ничего... Ничего, Федя... Вот только рука болит, а то бы совсем хорошо. Сейчас пойдем...

Встаем и идем. Мы с Ворониным поддерживаем под руки майора. Носов несет винтовку Петухова и свой автомат. Идем, потом опять ложимся и опять идем.

А ракет не видно...

Рассвет застал нас в глубокой балке. Такой глубокой балки мы еще не встречали. Тут должна быть вода, непременно должна быть. Но, спустившись на дно, разочаровываемся — сухо! Огорченные садимся на редкую колючую траву. Петухов свернулся калачиком и сразу заснул. Мне тоже очень хочется спать, голова так и клонится на колени. Сквозь сон слышу, как майор говорит Воронину и Носову:

— Возьмите фляги и пройдите по балке вниз, поищите воду...

Потом слышу автоматные очереди и крики. Вскрываю с земли — тишина. Уж не приснилось ли? Но нет, это не сон. Рядом стоят майор и Петухов, стоят, как и я, ошеломленные. А Воронин и Носов не возвращаются. Майор говорит дрогнувшим голосом:

— Пропали ребята, на немцев наткнулись...

Что же нам делать? Ведь немцам, чего доброго, вздумается прочесать всю балку! Они с минуты на минуту могут появиться оттуда, куда ушли Воронин и Носов, — с северной стороны.

— Надо немедленно уходить, — говорит майор. И мы, напрягая последние силы, идем по балке на юг.

Балка становится все мельче и мельче, и вскоре мы оказываемся на открытом месте, на скате какой-то высоты. Стоим у дороги, уходящей на юго-восток, далеко к горизонту. Хорошо бы снять кирзовые сапоги, связать их, перекинуть через плечо и идти по прохладной дорожной пыли, идти к своим. Но и босиком не пойдешь: сил нет, да и светло стало — всходит солнце.

Сзади, совсем близко, раздается гул автомашины. Обращиваемся: из-за ската высоты медленно показывается макушка кабины и вдруг опять исчезает, а мотор гудит еще громче, надрывнее. Машина буксует.

У нас и секунды нет на размышление. Падаем в бурьян и ползем прочь от дороги — на запад, где бурьян гуще и выше. И когда отползаем метров на двадцать, по дороге, мимо нас, мчится грузовик с немецкими солдатами, а потом идут и идут дру-

гие грузовики — целая автоколонна! Идут они на большой скорости на юго-восток, на фронт.

Нам повезло: ветерок дует с востока и сносит поднятую автомашинами пыль в нашу сторону. Ни с одного грузовика не заметили нас. Одно плохо — пыль лезет в уши, в нос, в глаза.

Идут четвертые сутки с тех пор, как мы последний раз поели. Уже двое суток нет воды. К голоду, кажется, привыкли, но к жажде призывкнуть невозможно. Обычно, когда затрудняются объяснить что-либо, говорят: «Этого объяснить нельзя — надо испытать самому». Я тоже затрудняюсь описать наши муки от жажды.

В этот день мы поняли, что идти дальше не сможем: воды не найти. Значит — смерть.

Из нас троих один я коммунист, кандидат в члены партии. Впервые задумываюсь: как же поступить с кандидатской карточкой? Рано или поздно фашисты обнаружат нас и либо добьют, либо подберут, беспомощных, полумертвых. Мой партийный документ может оказаться в руках врага. Мне хочется посоветоваться с майсром. Он старший товарищ, командир полка. Но я колеблюсь. А вдруг майор заподозрит меня в трусости? В полдень, когда я стал бредить, Красицкий коснулся моего плеча и сам сказал о том, о чем я не решался спросить:

— Давай зароем документы. Если доживем до ночи, — отроем.

И мы зарываем удостоверения личности, расчетные книжки и мою кандидатскую карточку. Потом опять ложимся и с негерпеннем ждем вечера. Чтобы не думать о воде и как-то скоротать время, я считаю в уме до шестидесяти — отсчитываю минуту, потом снова и снова считаю до шестидесяти, считаю до тех пор, пока не засылаю.

— Ауф!

Открываю глаза. Немцы! Как их много! И еще бегут справа и слева. Окружили нас со всех сторон, галдят, смеются, делают знаки: надо, мол, подниматься и идти.

Куда идти? У одного из них на лице что-то вроде сочувствия. Он смотрит, как поднимаемся мы, окровавленные, давно не бритые, запыленные, качает головой и произносит:

— О-о!

Какая нелепость! Мы, сами того не подозревая, оказались в полутора-двух километрах от полевого аэродрома противника. Значит, это на него шли на посадку два бомбардировщика, которые пролетели вчера низко-низко над нами? И вот сейчас, перед закатом, взвод автоматчиков, прочесывая прилегающие к аэродрому балки и бурьяны, обнаружил нас.

Это было двенадцатого августа сорок второго года.

ПЛЕН

Нас почесму-то ведут не в обход, а прямо через аэродром — из конца в конец. На аэродроме много самолетов. Распластав крылья, стоят «юнкерсы», к самой земле прижались «мессершмитты». У тех и других на фюзеляжах четко выделяются черные кресты. А вот ряды палаток. Они камуфляжные, сверху их не видно. За палатками виднеется копна соломы. Около нее взад-вперед ходит часовой.

— Хальт!¹ — говорит старший конвоя, когда мы оказываемся около копны (на ней четыре раненых красноармейца и лейтенант). Потом он смотрит на часы и что-то говорит одному из конвоиров. Тот щелкает каблуками, козыряет и уходит.

Мы валнимся на солому. Красноармейцы подползают поближе, расспрашивают, рассказывают о себе. Их, как и нас, немцы подобрали в балках и бурьяне в районе аэродрома.

Конвоир возвращается с термосом, ставит его возле копны и говорит:

— Вассер!²

С каким наслаждением пьем мы холодную ключевую воду! Я выпил две кружки и вновь наклоняюсь над термосом. Конвоир касается моего плеча и говорит что-то.

¹ Хальт! — Стой!

² Вассер — вода.

Это тот самый солдат, который там, на высоте, воскликнул «О-о!», когда мы поднялись из бурьяна.

Видя, что я не понимаю, он объясняет жестами, показывает на горло: вода, дескать, холодная, простудитесь.

— Ферштеен?¹

Я понимаю.

Потом он ведет нас к палаткам, останавливает возле крайней и показывает на скамейку:

— Зетцен!²

Из палатки выходит санитар. Начинается перевязка. Мне он удалил косточку, которую пуля отколола от черепа и поставила торчком. Показываю на шею и говорю:

— Там пуля, нельзя ли извлечь?

Он не понимает. Пробую объяснить знаками, что не пуля, а осколок,— только бы вытащил. Показываю полмизинца.

— Вот такой, от гранаты.

— Граната? О-о! — качает головой санитар.

Он показывает на Петухова, на меня и на майора и говорит:

— Лазарет.

Так и отказался извлечь пулю.

Конвойр снова ведет нас к копне. Там что-то уж очень людно. Оказывается, это летчики после ужина пришли посмотреть на военнопленных. Они стараются казаться добрыми, угощают сигаретами. Узнав, что лейтенант немного разговаривает по-немецки, летчики просят его переводить. Говорят они только о своем наступлении. Немецкие войска форсировали Дон, вот-вот возьмут Сталинград. На что мы надеемся, почему сопротивляемся? Везде России скоро капут.

Больше всех говорит худой высокий легчик с усиками. Говорит захлебываясь. Нам он сулит всяческие блага. Если верить ему, то жизнь в немецком плену — райская. Нас отправят в госпиталь, будут лечить. А потом мы поедem в Германию.

Немы расходятся поздно. Нам приносят три буханки хлеба. Но хлеб сплошь покрыт плесенью, и есть его невозможно. Мы зарываемся в солому, прижимаемся плотнее друг к другу и стараемся поскорее заснуть. Но сон не приходит.

— Много насещали,— шепчет мне Петухов,— только вот ужинать не позволили. А как хочется есть!

Да, есть очень хочется. После того как мы утолили жажду, голод стал главным нашим мучителем.

Раннее утро. Нас разбудил рев моторов. Один за другим поднимаются в воздух самолеты и берут курс на восток. Что они будут бомбить, эти летчики, которые вчера вечером улыбались нам, угощали сигаретами: наш передний край, армейские штабы или тылы? Или сбросят бомбы на Сталинград, где еще так много женщин и детей?

Приходит вчерашний конвойр, говорит «гутен морген» и ведет майора и меня к командиру авиачасти.

Входим в палатку. За столом сидит полковник, за спиной у него стоит молодой офицер, а рядом на двух табуретках примостился солдат с пишущей машинкой. Он заложил в машинку лист бумаги — приготовился печатать. Полковник только что побрился: щеки лоснятся, волосы зализаны. В палатке — запах духов и дорогого табака.

Допрос короткий. Полковнику, видимо, любопытно взглянуть на русского старшего офицера, за которого он, может быть, получит награду. Не поворачивая головы, он что-то говорит молодому офицеру, и я догадываюсь, что тот — переводчик.

— Как ваша фамилия, имя и отчество? — обращается переводчик к майору.

— Красицкий Михаил Львович.

— Звание?

— Майор.

— Должность?

— Командир полка.

¹ Ферштеен? — Понимаете?

² Зетцен! — Садитесь!

— Партийность?

— Беспартийный.

Пауза. Полковник криво усмехается и говорит переводчику, а переводчик — майору:

— Командир полка — и беспартийный?

— Да, командир полка — и беспартийный, — отвечает майор.

Снова пауза. Потом переводчик спрашивает:

— Место жительства?

— Ленинград.

— Гут¹, — говорит полковник.

Переводчик спрашивает у меня, кто я и откуда.

Отвечаю.

— Звание и должность?

— Младший лейтенант, адъютант командира полка.

— Ваш адъютант? — спрашивает переводчик у майора.

— Мой адъютант, — отвечает майор и одними глазами улыбается мне: держись, мол, не робей.

Допрос окончен. Полковник велит увести нас.

Возвращаемся к копне соломы. Там стоит грузовая автомашина, в которую уже погрузились лейтенант и красноармейцы. И Петухов с ними. У кабины на лавке сидят два конвоира.

— Шнель! Шнель! — торопят они нас.

Как только взбираемся в машину, она трогается..

Едем, наверно, уже целый час по разбитой дороге. Пыль, чад, запах бензина. Тошнит. Машина вдруг останавливается, и меня тошнит еще сильнее.

Оказывается, машину остановили три солдата, которых мы нагнали в пути. Они взбираются в кузов, садятся на лавку рядом с конвоирами, разговаривают с ними, а на нас поглядывают с нескрываемым презрением.

Впереди какое-то село, все в зелени: за деревьями почти не видно домов. Въезжаем и останавливаемся. К машине подходят офицер и два солдата. Майора и меня высаживают, а остальных везут дальше. Офицер и один солдат куда-то уведут майора, второй солдат остается караулить меня.

Сажусь на траву и осматриваюсь. В глубине парка замечаю под деревьями палатки. Из той, что поближе, доносятся голоса и стук пишущей машинки. Мимо по тропинке идет немец в одних трусах. Солдат, охраняющий меня, щелкает каблуками и выкрикивает:

— Хайль Гитлер!

— Хайль! — отвечает немец в трусах и выбрасывает руку вперед и немного вверх.

Только он скрылся в палатке — идет другой, тоже в одних трусах. И опять часовой щелкает каблуками и восклицает: «Хайль Гитлер!»

«Неужели так далеко фронт, — думаю я, — что они чувствуют себя, как на пикнике?»

Приводят майора. Он еле держится на ногах.

— Зетцен, — говорит ему конвоир и показывает два пальца: — Цвай минуте.

— Опять был допрос? — спрашиваю я у майора.

— Да, — отвечает он. — И наверно, не последний.. Допытывались, куда я партбилет спрятал. Не верят, что беспартийный. И еще обвиняют в том, что мы девятого августа не сдались без боя. Я, командир полка, должен был внушить солдатам, что положение наше безнадежное, уговорить их сдаться в плен. Следовательно стучит кулаком. «Все вы, — говорит, — коммунисты, фанатики!»

Конвоир смотрит на часы и говорит:

— Ауф!

...Нас приводят в лагерь. Часовой закрывает за нами откидные ворота, и мы оказываемся за колючей проволокой.

¹ Гут — хорошо.

Лагерь гудит, как улей. В балке, обнесенной рядами колючей проволоки, сотни военнопленных. Сквозь толпу к нам пробираются Петухов и какой-то сержант. Сержант машет над головой пилоткой и кричит:

— Товарищ майор! Товарищ майор! Сюда идите!

Оборачиваемся на крик. Майор улыбается:

— Рипка!

Ну да, это он — Рипка, наш полковой писарь! Он берет нас под руки и ведет через балку, к противоположному забору. Там стоят и смотрят на нас трое. Двое из них мне кажутся знакомыми, особенно вот тот, атлетически сложенный. Да это же Гарин! Тоже ранен: рука висит на ремне, перекинутом через шею. А второй — Квашнин. Третьего я не знаю — кажется, никогда с ним не встречался. Но с майором он здороваётся, как с давно знакомым. Нам он говорит без обиняков:

— Я, товарищи, из особого отдела дивизии. Смотрите не проболтайтесь. Если немцы узнают, шкуру с меня сдерут.

Чекист сообщает нам тяжелую весть: седьмого августа, то есть на второй день после того, как немцы прорвали оборону, погиб командир дивизии.

— Как же вы думаете дальше скрываться? — спрашивает майор чекиста.

Тот усмехается:

— При первой же возможности сбегу... Обязательно убегу и перейду линию фронта.

— Сколько дней мы шли к ней! Чуть ли не ползком, и вот чем кончилось, — грустно говорит майор.

— А я, Михаил Львович, — говорит Квашнин, — тоже сбегу. Махну на Кубань, а там видно будет.

Мне резнули слух эти слова, и я думаю о Квашнине с неприязнью: «Домой собрался! И Красицкий для него уже не «товарищ майор», а просто «Михаил Львович»...

...К воротам подходит взвод солдат. Почему их так много? Заметив на наших лицах удивление, Рипка говорит:

— Сейчас будут строить на обед. Я тут третий день — насмотрелся.

Открываются ворота. В лагерь входит рыжий немец с длинным бичом, с какими выходят на арену цирка дрессировщики зверей. Он, как и те два офицера, которых я мельком видел утром в парке или в роще, — в одних трусах. Немец щелкает бичом и кричит:

— Рус, по пять! Рус, по пять!

— Эсэсовец, — говорит Рипка. — Сволочь!

Строимся в колонну по пять. Немецкие солдаты выстраиваются в две шеренги, образуя длинный коридор — от ворот до речушки, что в семидесяти—восемьдесятиметрах от лагеря. На берегу речушки стоят возле наполненных чем-то мешков пять девушек в гимнастерках и юбках защитного цвета.

— Пленные санитарки, — поясняет Рипка.

Когда голова колонны выходит из ворот, эсэсовец орет во все горло:

— Стой!

Потом он отделяет первых пять красноармейцев, бьет их всех сразу бичом и кричит:

— Рус, бегом!

Красноармейцы бегут сквозь строй под улюлюканье немецких солдат, на миг останавливаются возле санитарок, что-то берут из их рук и направляются к речке.

Рыжий эсэсовец отсчитывает вторую пятерку. Снова свист бича и команда: «Рус, бегом!»

В голове колонны нет раненых. Каждая пятерка бежит быстро, отделяясь одним ударом бича. Фашистским молодчикам это не доставляет большого удовольствия. Улюлюканье постепенно затихает.

Но вот опять вспыхивает смех. Он становится все громче, переходит в дикий рев. Колонна в этот миг изгибается, и я вижу: низенький, шуплый красноармеец далеко отстал от своих четверых товарищей; опираясь на палку, он припадает на правую ногу, еле плетется. А солдаты бьют его хворостинами и кричат:

— Рус, шнелы!

— Рус, давай, давай!

Подходит наша очередь. Я со страхом думаю, что сейчас фашисты вот так же будут глумиться надо мною или над майором, скорее всего над ним, так как у него совершенно нет сил бежать. Я показываю Рипке знаками: будем тащить майора за ремень. Потом шепчу двум другим красноармейцам, которые оказались в одной пятерке с нами:

— Давайте бежать вместе, не обгоняя друг друга.

Они кивают головами.

— Рус, быстро, бегом! — кричит эсэсовец и бьет нас бичом.

Мы трогаемся, видимо, очень медленно, потому что эсэсовец обгоняет нас, оборачивается (я вижу перед собой его злое лицо и еще рыжие волосы на груди) и жесточно бьет нас хлыстом.

Но вот и берег. Девушки-санитарки запускают руки в мешки, стараются побольше захватить зерна. Мы подставляем пилотки и получаем по пригоршне ржи. Тут же отходим к воде, садимся на корточки и пьем. Надо бы захватить воды в лагерь, но у нас нет ни фляг, ни котелков. Завидуем тем, у кого есть каски. Нам же придется сидеть без воды целые сутки. Подбегают солдаты и начинают прикладами толкать тех, кто вздумал умываться в речушке.

В лагерь заходим через другие ворота. А у тех, из которых мы выходили, все еще стоит большая очередь и над головами измученных людей мелькает бич. Долго еще слышны хриплые выкрики эсэсовца: «Рус, бегом! Рус, быстро!» — и хохот солдат.

Раздача зерна заканчивается незадолго до заката. Солдаты гонят от речки последнюю партию красноармейцев, вталкивают их в лагерь и закрывают ворота. Рыжий эсэсовец и взвод солдат уходят, у провололочной изгороди остаются только часовые.

В лагере вспыхивают редкие костры. Это кипятят воду и варят рожь те, у кого есть котелок или каска. Они спешат с приготовлением ужина: с наступлением темноты костры строжайше запрещены, заслушание — расстрел. У нас нет ни котелков, ни касок. Мы садимся у провололочного забора, там, где сидели днем, и начинаем жевать твердое зерно.

У главных ворот опять какое-то оживление. Раздается команда:

— Встать!

В лагерь входит немецкий офицер. Поднимает руку, несколько секунд держит ее над головой, потом опускает и начинает речь. Коверкая русские слова, перемешивая их с немецкими, он говорит:

— Ви получаль... э-э... получаль эссен. Мало эссен — только роген. Мы понимай. хлеба нет — плохо, флайш... э-э... мясо нет — плохо. Мы просим населений помогайт вам — немножко давайт хлеб, мясо. Он не давайт, он вас не любит — ви плохо воеваль, не умейт воеваль. Плохо воеваль — не может ферланген... э-э... не может требовайт. Скоро вас отправаляйт большой лагерь. Там ви хорошо работат, много эссен²... хорошо кушайт. Здесь ви не работайт. Надо э-э... умейт терпейт голод.

Видимо, довольный тем, что его слушает огромная толпа, офицер говорит и говорит, выдавливая из себя такие трудные для него русские слова. Ему, конечно, никто не верит — лица у всех хмурые. В заключение офицер говорит:

— Сегодня ви получайт мясо. Русики самолет утром бросал бомб, убиваль ейн лошадь.

Он поворачивается к часовому, что-то говорит ему и уходит. Часовой широко открывает ворота, и сейчас же в лагерь въезжает странная упряжка. Две лошади волокут третью, которая привязана к валькам. У нее распорот живот, и из него вываливаются в пыль кишки. Над ними вьются крупные зеленые мухи.

— Брешет, гад, что сегодня убита, — говорит уже немолодой красноармеец с забинтованной головой. — Кабы сегодня, то не раздулась бы, как бочка.

— Конечно, брешет. — соглашается Рипка, который стоит тут же. — Сегодня и бомбежки то не было слышно...

¹ Рус, шнелы — Русский, быстро!

² Эссен — есть. Роген — рожь. Флайш — мясо. Ферланген — требовать.

Кто-то гневно кричит:

— Дохлятиной угощают!

Часовой, прохаживающийся вдоль проволочного забора, осганавливается, смотрит удивленно и снова лениво шагает.

К лошадиной туше никто не прикасается, и немцам ничего не остается, как увезти ее из лагеря.

...Сегодня произошло два события, которые потрясли всех нас. Утром умер от тяжелых ран один красноармеец. Говорят, что он долго мучился, «весь так и горел». Вероятно, было заражение крови. А тут еще солнце палит, и некуда от него спрятаться — на территории лагеря нет ни одного кустика. На больного красноармейца показывали часовым, просили доложить, позвать доктора. Часовые покатывались со смеху. К каждому пленному звать доктора? Да где же это видано!

Так и умер он, не дождавшись медицинской помощи. Часа через два пришли солдаты с носилками и унесли труп.

— Всех вот так перетаскают, всех замучают, — говорит кто-то у меня за спиной.

Оборачиваюсь — это тот самый красноармеец с забинтованной головой, который первым отказался прикоснуться к убитой лошади. А сидящий рядом усатый пехотинец, у которого на правой петлице я замечаю два прокола и треугольные отпечатки знаков различия, зло бросает ему:

— Конечно, замучают и перетаскают, если сидеть и ждать. Бежать надо.

— Как побежишь, когда в три ряда колючая проволока? — спрашивает раненный в голову.

— Не обязательно отсюда. Дорогой, когда будут перегонять в другой лагерь... Рискнем?

— А что ж? Рискнем!

— Отважные ребята, — говорю я майору и киваю на них. — Особенно тот, усатый. Как вы думаете: убегут?

— Если верить в себя, непременно убегут. — Майор пододвигается ко мне вплотную и шепчет: — Ты тоже должен убежать. Слышишь? Должен!

— А как же вы? — спрашиваю тревожно.

Он смотрит на меня грустно и говорит глухо:

— Недолго нам придется быть вместе. Меня они запычужат.

Наступает тягостное молчание.

Вдруг раздается выстрел, и я вижу, как часовой бежит вдоль проволочного забора к тому углу лагеря, куда никому из нас не разрешается заходить. Оттуда бежит какой-то паренек.

— Хальт! — кричит часовой, снова стреляет и тут же перезаряжает винтовку.

Паренек спотыкается и падает, поднимает что-то с земли и прячет за пазуху. Вскрывает, снова хочет бежать, но, видимо, соображает, что не успеет скрыться в толпе, и останавливается. Стоит, как вкопанный, под наведенной на него винтовкой.

— Товарищ майор, это Рипка! — говорю я.

— Да, это он, — отвечает майор. — Не утерпел, за сухарями пошел.

На выстрелы прибегают солдаты. Часовой, что у ворот, объясняет им, в чем дело: показывает то на угол, где стоят мешки с сухарями, то на Рипку. А тот часовой, что стрелял, продолжает держать его на мушке.

Солдаты отбирают у Рипки сухари, выталкивают его за ворота, ведут вдоль проволочного забора на южную сторону лагеря и ставят на пригорке, на виду у всех. Один из солдат отмеряет двадцать шагов, чертит лопатой на земле прямоугольник. Потом подзывает к себе Рипку, дает ему в руки лопату и знаками показывает: копай!

Лагерь замер. Стоим, затаив дыхание. Что они делают, изверги, с мальчишкой? Неужели расстреляют?

А Рипка роет. Вот он уже по грудь в земле... Вот скрылся совсем — видно только, как изредка мелькает лопата.

Солдат велит Рипке вылезть из могилы и стать спиной к ней. Даже показал, как надо стоять,

«Вот сейчас», — думаю я со страхом.

Солдаты стоят против Рипки, щелкают затворами, ставят винтовки к ноге. Они ждут кого-то. Так проходит несколько минут.

Наконец мы начинаем понимать, что Рипку не расстреляют. Над ним потешаются. Приносят умершего красноармейца, и Рипку заставляют похоронить его.

Рипку заводят в лагерь и ставят на том месте, где он был застигнут и остановлен часовым, лицом к нам. Приходит офицер, тот, который вчера произнес речь, призывая нас потерпеть, смириться на некоторое время с голодом. Сейчас он разыгрывает великодушие.

— По закон великий германский государстф этот зольдат, — показывает офицер на Рипку, — подлежит расстрел. Он воровал. И мы хотел расстреляйт. Он молодой, и командований прощайт.

Офицер делает паузу, обводит взглядом толпу, словно изучая, какой эффект произвели его слова. Потом показывает рукой на свежий могильный холмик и выкрикивает, точно лает:

— Больше ми не прощайт! Там закопайт, кто будет воровал!

Поворачивается и уходит.

По толпе прокатывается ропот. Слышны возгласы:

— Самих вас, собаки, надо закопать!

— И закопаем!

— Сами подбивают на воровство! На виду поставили сухари — умри с голоду, а не трогай!

— Это для них тоже забава...

Мы подходим к Рипке. Он еще не опомнился — бледный и возбужденный. Делает несколько шагов, опускается в изнеможении на землю, прячет лицо в коленях, и худые плечи его начинают часто вздрагивать.

Гарин наклоняется над Рипкой, хочет поднять его, но майор делает знак: не надо мешать, пусть поплачет.

Мы прощаем Рипке слезы — ведь он самый молодой из нас.

Вечереет. Только что закончилась раздача пищи. Замолкли свист бича и хохот солдат. Мы сидим и жуем твердое-претвердое просо.

Открываются ворота, и слышится команда: «Встать!» В лагерь входят офицер и группа солдат. Офицер объявляет:

— Кого вызову, должен выходить за ворота!

Он копается в сумке, достает список и начинает выкликать незнакомые мне фамилии. И вдруг мы слышим: «Красицкий Михаил Львович...»

Майор прощается с Гариным, Квашниным, Рипкой. Мне он говорит:

— Проводи до ворот.

Беру его под руку и веду. Майор вдруг останавливается и смотрит мне в глаза:

— Беги отсюда, иначе пропадешь.

А офицер кричит:

— Кто есть Красицкий?

— Я! — отвечает майор и шепчет мне: — Прощай, Федя. Запомни все это. Убежишь — опиши. Ну, еще раз прощай...



Ф. РЯБОВ

★

МАРКС И ЕГО ЛЮБИМЫЕ АВТОРЫ

В юности Маркс пробовал свое перо в прозе и стихах. Он начинал писать юмористический роман (упомянутый в его письме к отцу) и цикл стихов, посвященный невесте — Женни фон Вестфален.

В зрелые годы Маркс рассказывал дочерям интереснейшие, по их словам, сказки, к сожалению, никем не записанные, и одно время собирался написать драму о братьях Гракхах.

Но если научная деятельность, политическая борьба, напряженная работа в области публицистики не позволили Марксу осуществить свои литературные замыслы, то все его произведения, — хоть и не художественные в прямом смысле этого слова, — несомненно, являются великолепными литературными образцами.

Маркс был очень требователен к стилю всякого произведения, к какому бы жанру оно ни относилось. Тщательно отделявая свои труды, он стремился к ясности и четкому изложению мысли.

«Никогда он не был доволен своей работой, всегда он впоследствии делал в ней изменения и постоянно находил, что изложение не достигает той высоты, до которой доходит его мысль», — писал друг и зять Маркса, выдающийся деятель рабочего движения Поль Лафарг. «В отношении чистоты и правильности языка он был добросовестен до шепетильности... Он старательно и долго подыскивал нужное выражение», — отмечал Вильгельм Либкнехт.

Маркс следил за всеми новинками мировой литературы, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы в его переписке. Литературная эрудиция Маркса столь же поразительна, как и его эрудиция в области науки. Недаром он говорил, что рыться в книгах — его любимое занятие.

Научные работы Маркса примечательны количеством и искусством использования образных примеров из художественной литературы. Например, только в «Господине Фогте» Маркс ссылается на произведения Кальдерона, Шекспира, Данте, Попа, Рабле, Гёте, Боярдо, Шиллера и многих других авторов.

Литературные вкусы Маркса были чрезвычайно разносторонни — от поэтов античности до его современников. Мы знаем о его интересе к роману XVIII века, особенно к творчеству английского романиста Генри Филдинга. Очень высоко он ценил Сервантеса и Бальзака.

У Бальзака Маркс отмечал исключительно тонкое и верное отражение общественных отношений во французском обществе эпохи реставрации и июльской монархии, а также превосходные описания механики биржевой спекуляции и разоблачение финансовой олигархии. Недаром некоторые примеры Бальзака Маркс использовал в «Капитале». Маркс писал, что Бальзак замечателен «по глубокому пониманию реальных отношений». Слова Бальзака из «Приходского священника»: «Если бы продукты промышленности не имели стоимости вдвое большей, чем стоимость их изготовления, то торговли не существовало бы», вызвали у Маркса лаконичное, полное восторга замечание в письме к Энгельсу: «Что ты скажешь на это?» Маркс ценил Бальзака и за то, что тот сумел заметить во французском обществе двадцатых — сороковых годов XIX века такие фигуры капиталистических хищников, которые впоследствии стали характерными для Франции эпохи второй империи. Восхищение Маркса Бальзаком

было столь велико, что он даже намеревался написать о нем пространную критическую работу. Замысел этот, к сожалению, не осуществился.

Поселившись в Лондоне, Маркс серьезно занялся современной английской литературой. Из представителей английского критического реализма XIX века Маркс отмечал Диккенса, Теккерея, Бронте, Гаскел. Он считал, что их «наглядные и красноречивые описания... разоблачили миру больше политических и социальных истин, чем это сделали все политики, публицисты и моралисты, вместе взятые...»

Весьма почетное место в литературных привязанностях Маркса занимала поэзия. Его любимыми поэтами были Данте, Бернс, Шамиссо, Рюккерт и Кальдерон, причем последнего Маркс любил читать вслух в кругу семьи. Маркс был близок с многими поэтами своего времени. На творчество некоторых из них он оказал большое влияние. Общеизвестна история отношений Карла Маркса с Генрихом Гейне. Гейне сотрудничал в некоторых редактируемых Марксом изданиях. Под прямым влиянием великого революционера написаны «Силезские ткачи» и «Германия. Зимняя сказка».

Русская литература, бурно развивавшаяся в прошлом столетии, тоже не прошла мимо внимания Маркса. Это объясняется не только ее мощью и значимостью, но и тем интересом, с каким Маркс и Энгельс относились к России, придавая особое значение русскому революционному движению.

О том, насколько Маркс знал Пушкина, говорит тот факт, что «экономическое разногласие» Онегина с отцом упомянуто в «X критике политической экономии». В воспоминаниях Франциски Кугельман рассказывается о взглядах Маркса на творчество Тургенева и Лермонтова: «Маркс находил, что Тургенев несобычайно верно изобразил своеобразие русского народа с его славянской сдержанной эмоциональностью. Он считал, что вряд ли кто из писателей превзошел Лермонтова в описании природы, во всяком случае редко кто достигал такого мастерства». Восхищение Маркса вызывала общественно-политическая и литературная деятельность Добролюбова и Чернышевского.

Были у Маркса, естественно, и устойчивые литературные антипатии. Он, например, постоянно издевался над сентиментальной и пустозвонной поэзией Г. Кинкеля. Всякий оттенок мещанства, слащавости в литературном произведении вызывал с его стороны резкую отповедь.

Кого же сам Маркс считал своими любимыми авторами?

В середине прошлого века в Англии и Германии широкое распространение получили так называемые «книги-исповеди». В кругах интеллигенции увлекались составлением своеобразных анкет, заключающих ответы на вопросы о вкусах, симпатиях и антипатиях, о девизах и тому подобное.

В 1865 году Маркс по просьбе своих дочерей Женни и Лауры ответил в полусуфлированной форме на поставленные ими вопросы. Отвечая на них, Маркс назвал своими любимыми поэтами Шекспира, Эсхила и Гёте, а любимым прозаиком — Дидро.

Что касается творений Шекспира, то они для Маркса на всем протяжении его жизни были не только любимым чтением, но и излюбленным «старым, но грозным оружием». Цитаты из Шекспира, его образы и замечания о нем встречаются в работах и письмах Маркса едва ли не чаще, чем упоминания о всех других авторах. Творчество Шекспира Маркс, по свидетельству Поля Лафарга, изучал специально.

Шекспировская сатира в руках Маркса была столь же острым оружием, как и гневная страстность трагедии. Он тонко чувствовал как трагическую, так и комическую стороны в творчестве «эвонского барда».

Галерея шекспировских образов входит в работы Маркса широко и разнообразно. Мы встречаем здесь и героев великих трагедий — Лира, Гамлета, Макбета; и комически видоизмененных Шекспиром персонажей гомеровского эпоса — Аякса, Ахиллеса, Гектора, Терсита; здесь и живые типы Англии конца XVI — начала XVII века — «афинские», а в действительности английские ремесленники из «Сна в летнюю ночь», и медник Слай из «Укрощения строптивой», и пронырливая и живая миссис Кункли, которая в «Капитале» юмористически сравнивается со стоимостью товаров, и, конечно, один из самых ярких героев Шекспира — «жирный рыцарь» сэра Джон Фальстафф.

Фальстаф — один из самых любимых шекспировских героев Маркса. Конечно, прежде всего за бесконечную живость и яркость, с какой выписан его характер, не менее многогранный, чем характер Шейлока, разносторонность которого восхищался Пушкин. И, во-вторых, без сомнения, за свою социальную типичность. У Маркса «жирный рыцарь» имеет самые различные воплощения. В «Гражданской войне во Франции» с ним отождествляется Эрнест Пикар, одновременно биржевой спекулянт и министр финансов, один из членов «правительства национальной измены» и палач Коммуны. Для Маркса Фальстаф выступает и как «персонифицированный капитал» — прообраз будущего бесстыдного и ловкого буржуа. Но самым ярким из Марксовых Фальстафов является «всемирно известный ученый» Карл Фогт, один из «героев» революции 1848—1849 годов в Германии, впоследствии платный бонапартистский агент.

Тип безжалостно жадного ростовщика, воплощенный Шекспиром в Шейлоке, также использован Марксом. Шейлока, готового вырезать из груди должника «законный и договоренный!» фунг мяса, требующего «суда законного» и «уплаты по векселю», Маркс вспоминает в «Капитале», когда говорит о бессовестной эксплуатации английскими капиталистами детского труда на основе жульнического толкования закона о продолжительности и регулировании рабочего дня.

В образе Шейлока выступают в «Гражданской войне во Франции» соединенные в одно лицо прусская военщина и дипломатия, грабившие на основании права сильного французский народ и в прямом смысле и при помощи контрибуции и процентов на просроченные платежи.

Говоря о власти денег в капиталистическом обществе, Маркс несколько раз цитирует знаменитый обличительный монолог Тимона из трагедии Шекспира «Тимон Афинский». Маркс отмечает те места, где золото называется «причиной вражды и войн народов», «орудием любезным раздора», «осквернителем», и делает вывод: «Шекспир превосходно изображает сущность денег».

Высокая типичность героев Шекспира позволяла Марксу называть их именами своих современников. Например, К. Шрамма, члена Союза коммунистов, он назвал «Перси Готспером партии». Маркс нередко прибегал к репликам Шекспира для выражения своего мнения. Резкими и насмешливыми словами Готспера: «Я бы предпочел быть котенком и кричать «мяу», чем таким рифмоплетом!» — характеризовал он неудачное и политически ошибочное стихотворение Фрейлиграта. Шекспировский Ричард III был для Маркса олицетворением преступного характера.

Одна из подруг Элеонора Маркс, Марианна Комин, оставила воспоминания о Марксе, где много строк посвящено Шекспиру. В начале восьмидесятых годов в Лондоне существовал кружок для чтения Шекспира. По-видимому, кружок этот носил шуточный характер, так как назывался «Догберри». Догберри — в русских переводах «Клюква», а иногда «Кизил» — ворчливый старый служака из «Многос шума из ничего», кстати, часто упоминаемый Марксом. В этот кружок входили Элеонора Маркс, драматург Эдвард Роз, поэтесса Долли Рэдфорд, Фридрих Энгельс. Членские взносы шли на приобретение билетов на шекспировские спектакли. Раз в две недели члены кружка собирались для чтения в лицах шекспировских драм. Чаще всего эти чтения происходили в доме Маркса. Сам он в чтениях не участвовал, но, по свидетельству Комин, охотно на них присутствовал и был очень внимательным слушателем. Чтения обычно заканчивались веселыми играми и шарадами, доставлявшими «доктору Марксу» большое удовольствие.

Вторым после Шекспира в числе своих любимых поэтов Маркс указал Эсхила.

В начале 1841 года молодой ученый Карл Маркс представил в Иенский университет диссертацию на тему «Различия между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура». Будущий доктор философии написал работу, пронизанную боевым атеистическим духом, заявив об этом уже в предисловии. Вместе с Эпикуром он говорит: «Нечестив не тот, кто отвергает богов толпы, а тот, кто присоединяется к миссии толпы о богах». И вместе с легендарным титаном Прометеем произносит: «По правде, всех богов я ненавижу». Слова эти принадлежат великому греческому трагику Эсхилу.

Почему же полюбился Марксу Эсхил, почему он считал, что его главный герой — Прометей — «самый благородный святой и мученик в философском календаре»?

В том же вопроснике, где одним из любимых поэтов Маркса назван Эсхил, есть вопрос: «Ваше представление о счастье?» Ответ: «Борьба».

На вопрос: «Ваше представление о несчастье?» Маркс ответил: «Подчинение».

Вот что привлекло к Прометею симпатии Маркса. Вся жизнь Маркса была подтверждением этого гордого ответа. Прометей Эсхила, несомненно, импонировал Марксу своей гордостью, твердостью, отказом подчиниться злой воле — теми чертами, которыми отличался и сам Маркс. Недаром в том же предисловии к своей диссертации Маркс привел гордые слова прикованного титана, обращенные к вестнику богов Гермесу:

«Знай хорошо, что я б не променял
Своих скорбей на рабское служенье:
Мне лучше быть прикованным к скале,
Чем верным быть прислужником Зевеса».

По иронии судьбы, всего два года спустя по Германии ходила литография, изображавшая в аллегорической форме борьбу демократической газеты «Рейнише Цейтунг», редактором которой тогда был Карл Маркс, с прусской цензурой. На этой литографии изображен Прометей, прикованный к... типографскому станку.

Наконец, третьим своим любимым поэтом Маркс назвал Иоганна Вольфганга Гёте. По свидетельству близко знавших Маркса современников, произведения великого немецкого поэта были его постоянным и каждодневным чтением. В разговоре он его часто цитировал. Если речь шла о сентиментальности, которую Маркс презирал, он при случае приводил слова Гёте: «Я никогда не был высокого мнения о сентиментальных людях, в случае каких-нибудь происшествий они всегда оказываются плохими товарищами».

Но литературное оружие из арсенала Гёте Маркс употребляет несколько иначе, чем материал произведений Шекспира. Если у Шекспира Маркса привлекают главным образом его персонажи — их замечательная яркость и выразительность, то из Гёте он использует большей частью небольшие выдержки, пользуясь ими для выражения, пояснения и развития собственной мысли.

В «Экономическо-философских рукописях 1844 года», объясняя роль денег в капиталистическом обществе, Маркс приводит слова Мефистофеля:

«Тьфу пропасть! Руки, ноги, голова
И зад — твои ведь, без сомненья?
А чем же меньше все мои права
На то, что служит мне предметом наслажденья?
Когда куплю я шесть коней лихих,
То все их силы — не мои ли?
Я мчусь, как будто б ног таких
Две дюжины даны мне были!»

Эти слова приведены для пояснения того, что можно сделать в капиталистическом обществе с помощью денег, для примера их власти в этом обществе.

Словами Гёте Маркс часто выражает собственную мысль. Его привлекало умение великого поэта и мыслителя схватить самую суть вещей и событий, его историческое чутье.

Круг произведений Гёте, упоминаемых Марксом, очень широк — стихи, романы, публицистика, но чаще всего он обращался к «Фаусту». В упоминавшемся вопроснике Маркс назвал своей любимой героиней Маргариту. По-видимому, из «Фауста» Марксу больше всего нравилась сцена Мефистофеля и Вагнера, если судить об этом по количеству упоминаний.

С Гёте связана еще одна страница биографии Маркса. Известно, что Гёте, всеми корнями связанный со свободолюбивыми и гуманистическими идеями буржуазного просвещения XVIII века, поборник атеизма, подвергался многочисленным нападкам немецких клерикалов. Одним из наиболее яростных критиков был пастор Ф.-В. Пустухен-Глянцов, написавший целые тома бездарных пародий на произведения Гёте, в частности на «Годы странствия Вильгельма Мейстера».

Зимой 1836—1837 года Маркс, студент юридического факультета Берлинского университета, написал несколько эпиграмм на Пусткухена в защиту Гёте. Эти эпиграммы показывают, что восемнадцатилетний юноша прекрасно понимал Гёте, отметив, что «образы из жизни он берет».

Молодой Маркс издевался над пастором, рассматривавшим произведения Гёте с точки зрения религиозной морали и приличий, ставившим на первое место вопрос: «Он проповеди дал ли что церковной?» Тезис пастора «Без господа преуспеянья нет!» зло осмеян Марксом в нескольких эпиграммах, а бездарные писания Пусткухена так оценены в заключительной эпиграмме:

«Пеки ты пирожки¹ свои и впредь
Старайся пекарем успех иметь!
А оценить великого поэта
Не можешь ты — да и понятно это:
Профаном был он в ремесле твоём,—
Недаром гения мы видим в нём».

Своим любимым прозаиком Маркс назвал Дени Дидро. Любовь и интерес Маркса и Энгельса к Дидро были частью их отношения к эпохе просвещения, к тем людям, которые, по выражению Энгельса, подготовили «во Франции умы для восприятия грядущей могучей революции» и «сами выступили в высшей степени революционно». Известно, что Маркс и Энгельс высоко оценивали французскую материалистическую философию XVIII века — основу одного из трех источников марксизма, французского утопического социализма. Про Дидро Энгельс писал: «Если кто-нибудь посвятил всю свою жизнь служению «истине и праву» (в хорошем смысле этих слов), то именно Дидро».

Из всех французских просветителей XVIII века Дидро был единственным, кого Маркс отметил не только как философа и общественного деятеля, но и как писателя. В числе любимых книг Маркса были «Жак фаталист» и «Племянник Рамо» Дидро. Эти произведения Маркс читал и перечитывал много раз, особенно последнее.

О «Племяннике Рамо» Маркс писал в 1869 году Энгельсу: «Сегодня я *by accident* (случайно.— *Ф. Р.*) обнаружил, что у нас дома имеются два экземпляра «*Neveu de Rameau*» («Племянник Рамо». — *Ф. Р.*), поэтому посылаю тебе один. Это неподражаемое произведение еще раз доставит тебе наслаждение».

В том же письме к Энгельсу Маркс приводит заинтересовавший его философский комментарий Гегеля к «Племяннику Рамо» и весьма резко отзываясь об инсценировке романа французского писателя Ж. Жанена «Конец одного мира и племянник Рамо», которую, по-видимому, видел в Лондоне.

Несомненно, что Маркс ценил «Племянника Рамо» не только за «высокие образцы диалектики» Дидро. Повесть Дидро — одно из ярчайших произведений, в котором отражено разложение французского общества XVIII века. Сам племянник Рамо (лицо реально существовавшее) воплощает в себе психологические качества не только «старого режима», но и будущего хозяина Франции — хищнической буржуазии XVIII века.

Итак, любимые авторы Маркса и их произведения были и его любимым оружием. Созданные ими образы неразрывно вошли в труды Маркса. Они использованы для конкретизации, пояснения, для популяризации мысли, наглядного примера и разоблачения врага. В этом смысле Маркс оставил нам замечательные примеры понимания и использования сокровищ мировой литературы для дела пролетариата.

¹ Игра слов. По-немецки «кухен» (Kuchen) — пирог.



ШУБА И ШИСТИКА

Г. СОКОЛОВ

★

У ЛУКОМОРЬЯ

Замечательные перспективы определены январским Обращением ЦК КПСС и Совета Министров СССР к работникам сельского хозяйства. Это относится, в частности, к птицеводству. В Обращении говорится, что в нынешнем году, по сравнению с прошлым, необходимо в два-три раза увеличить число кур и водоплавающей птицы в колхозах и совхозах.

Бесчисленные озера, пруды, реки, морские заливы дают неограниченные возможности для разведения водоплавающей птицы. Миллионы гектаров полей после уборки превращаются в щедрую кормушку для кур и гусей.

Однако до последнего времени птицеводством у нас занимались мало. А между тем развитие его — один из надежных путей к решению мясной проблемы, к подъему благосостояния советского народа, к повышению доходности сельского хозяйства.

Это доказано опытом не только отдельных колхозов и совхозов. Целые районы, области и края по достоинству оценили выгоду птицеводства и за короткий срок добились больших успехов в этом деле.

О том, что я наблюдал на птицеводческих фермах одной из таких областей, мне и хочется рассказать.

НА МОРСКИХ ПАСТБИЩАХ

— Было море как море, — загадочно сказали мне в городе Сталино, — а стало оно... Побывайте — посмотрите сами.

Поехал я в Буденновский район Сталинской области и увидел там удивительную картину: мелководный залив и берег Азовского моря, разделенный вольерами, сплошь заполнены утками. Дымчатые селезни с атласными темно-зелеными головами и бархатистой грудью, светло-кофейные, с черными пестринами, самки. Одни плавали, другие сидели на берегу и хором так зычно кричали, что разговаривать приходилось очень громко.

— Теперь-то, осенью, что — одни остаточки, — гренебрежительно говорит Степан Иванович Запасников, заведующий птицефермой колхоза имени Буденного. — А вот летом что тут творилось! Уток было как букв на газетном листе.

Ему, видать, под шестьдесят. Маленькая, легонькая фигурка, костлявое, скуластое лицо обтянуто гладкой коричневатой, словно дубленой, кожей. Быстрые черные глаза прячутся под нависшими бровями. В гражданскую войну он командовал красными конными отрядами, воевал в буденновской армии, а Отечественную закончил капитаном кавалерии.

Степан Иванович сидит на скамье возле домика на берегу залива и тем же манером, как ставил, бывало, боевые задачи, внятно, только, подробно объясняет краснощеким птичницам тактику и стратегию подсчета уток.

— Ты, Надежда, обходи их, только тихонечко-тихонечко, сзади. Вместе с Марьей прижимайте к воротам. Только остороженько, не то они подуются, а если умно поведет наступление, по одной будут входить. Ты, Варя, стань за ворота и считай.

Варя насчитала две тысячи голов — остатки после последней осенней распродажи. Летом было двадцать пять тысяч.

Вся эта птица была выращена из утят, вылупившихся в инкубаторах. Свет и тепло электричества вполне заменили им живых мам. А когда утята попали в колхоз имени Буденного, вместо материнского пуха их обогрело солнце, лучи которого проходили через сплошную стеклянную стену длинного строения — брудергауза. Тепло шло и от пола, под которым были проложены трубы с циркулирующей в них горячей водой.

В колхозе несколько таких брудергаузов. В их стенах на уровне пола устроены лазы, закрывающиеся заслонками. Отодвинут птичницы заслонки — и потекут живые желтые струйки в выгульные дворики. Нагуляются, парезвятся — и опять домой. Проголодаются — им щедро предлагают всякие угощения: творог, обрат, траву, дробленое зерно. Примерно в двухнедельном возрасте утята пускаются в плавание и начинают лакомиться дарами моря.

При таком благополучном образе жизни утята быстро подрастают. В два с половиной месяца они уже выглядят вполне взрослыми птицами. Их, одну партию за другой, размещают в грузовых машинах и — в город, на мясокомбинат или на базар. Что ни грузовик, то три — три с половиной тысячи рублей в колхозную кассу.

До весны 1956 года не было на этом берегу ни помешений для уток, ни домика для птичниц, а на море не было ни одной домашней птицы. Правда, временами оно и тогда напоминало птичий базар, но то были дикари, пролетные и гнездящиеся, — чирки-трескунки, чирки-свистунки, крупные кряковые, они же крыжнии. На водах залива отдыхают и лысухи — птицы с туловищем утки и клювом курицы.

Чирки гнездятся в богатых здешних камышах, крыжнии — больше по сенокосам, а землеройки-огари выдалбливают своими носами норы в высоком берегу; птенцов огари спускают на воду, держа их на лету в лапах. Обитают здесь иногда и галагазы — очень крупные и нарядные. у белого селезня черно-синяя голова, коричневая перевязь на груди, изогнутый клюв ярко-красный, а в крылья словно вставлены отдельные черные перья. Мясо галагаза отдает болотом, но запах этот можно оттянуть влажной глиной погребя, главная же ценность птицы — пух, не уступающий по легкости и теплоте пуху знаменитейшей поставщицы его — гаги.

Бывает немало и диких гусей; утрами и вечерами они пасутся на окрестных хлебах, остальное время проводят на воде. Налетают и лебеди.

Но как ни много всех этих чирков и крыжней, как ни быстры они в полете, а догнать на них Америку в производстве мяса на душу населения невозможно. И колхозники правильно рассудили, что для этой цели лучше всего воспользоваться домашней серой украинской уткой. Она очень способный «фуражир», то есть в порядке самообслуживания отлично добывает себе фураж.

Развитию этой способности особенно содействуют условия того водоема, возле которого я и познакомился с птицеводами из колхоза имени Буденного.

Водоем этот является частью Таганрогского залива. Встарь такие изгибы морского берега звались лукоморьем.

У лукоморья дуб зеленый,—

писал Пушкин.

Дубы и сейчас у села Буденновки посажены, но пока они еще очень молоды, зато у самого залива, за птицефермой, зеленеет лесополоса из больших шелковиц. Они тоже пригодились птицам: утки подбирают сладкие ягоды, в изобилии осыпающиеся на землю, и отдыхают в тени густой листвы.

Но главный их даровой корм — морской.

Рачки, водяные черви, прибрежные насекомые, одноклеточные животные, рыбы мальки служат любимым кормом водоплавающей птицы. Кроме того, в Азовском море необычайно много растительности. Одних лишь водорослей сто пятьдесят видов. В период их цветения, когда, как говорят, «море цветет», на каждом квадратном метре его поверхности скапливается два килограмма зеленой массы. Поэтому-то во время осеннего и весеннего перелетов дикие птицы так охотно отдыхают в здешних лиманах и заливах, многие же остаются на все лето.

Когда наша страна решила догнать Америку в производстве молока, мяса и масла на душу населения, жители лукоморья по-новому взглянули на морское хозяйство: надо использовать природные корма для разведения домашней птицы!

Буденновцы закупили около тысячи разнопородных взрослых уток, полученные от них яйца сдали на инкубаторную станцию, принялись за постройку утятников, брудергаузов. В апреле 1957 года Запасников привез и выпустил в брудергауз первые сотни звонкоголосых пуховичков. Здесь их поджидали молодые утятницы, уже получившие специальную подготовку в уходе за птицей.

Несмотря на то, что новое дело было развернуто сразу в большом масштабе, поговорка, что первый блин обычно выходит комом, не оправдалась. С некоторыми результатами я ознакомился в правлении колхоза имени Буденного.

Высокий человек с очень светлым лицом, к которому плохо пристает загар, усердно шелкает на счетах, перелистывает бухгалтерские книги. Это заместитель председателя и парторг колхоза Самсонов. Он сообщил мне, что колхоз запланировал получить на каждые сто гектаров сельскохозяйственных угодий по 36 центнеров всех видов мяса, а уже теперь, к сентябрю, когда год еще не кончился, получили по 58 центнеров! Помогло этому успеху многое, не в малой мере и утка — 45 тонн птицы сдали и продали государству и на рынках. Пух и перья — тоже ценность. В общем, от одного только этого колхоза за одно лишь лето 1957 года Донбасс получил примерно 225 тысяч порций сочного утиноного мяса (если считать на порцию двести граммов). Неплохая добавка к шахтерскому обеду! Неплохая и выручка колхоза — она составила 306 тысяч рублей за мясо и 13 тысяч рублей за яйца.

— Как же все-таки большинство колхозников оценивает эти доходы? — спросил я.

— А так оценивает, — ответил Самсонов. — Нынче вырастили двадцать пять тысяч уток, а в 1958 году решили удвоить поголовье.

И УТКА И СЕВРЮЖКА

Из колхоза имени Буденного еду в Приморский район Сталинской области.

Снова пред глазами морской лиман. Впереди — или это мираж? — совершенно как в картине Айвазовского, по воде несется четверка коней. Ею, точь-в-точь как в той картине, управляет высокий мужчина, а вокруг него вьются белые чайки. Оказывается, по едва заметной с этого берега косе, стоя в телеге, едет колхозник: «Нептун» сельскохозяйственной артели имени XX партсъезда отправился за камышом.

Еще сравнительно недавно на эту косу ездили главным образом на охоту. Теперь она служит естественным забором, отгораживающим от открытого моря мелководный лиман, весь покрытый утками.

На следующий день заведующий птицефермой Иван Константинович Ребро разбудил меня задолго до рассвета, и мы отправились в его владения.

Небо то и дело озарялось ярким бело-багровым пламенем — это в городе Жданове, находящемся отсюда в восемнадцати километрах, выливали расплавленный шлак из домен. В багровых отвешах двигаются фигуры птичниц. Они ловят отбракованных уток и сажают их в кузов грузовика.

Пока грузят птицу, старшая утятница Ксения Сидоровна Константинова рассказывает мне, как создавалась колхозная утинная ферма. Отчасти это и ее собственная история, история о том, как бывшая батрачка стала свободным человеком, зачинательницей интересного дела, прославившего ее по всей Украине и за ее пределами.

Ксении Сидоровне двадцать восемь лет. Родилась она в Тульчинской околии Румынии, в старообрядческой семье, когда-то бежавшей туда от русского царизма. В 1947 году староверы вернулись на родину.

Они приехали в места, где еще недавно полыхала война, но уже восстанавливались домны и мартены Мариуполя, возрождались разоренные колхозы. Новенькие каменные дома вырастали на сельских улицах, зашумели молодые сады.

Одна дочь Константиновых стала учиться в десятилетке, другая поступила на завод, а Ксения колхоз доверил тогда еще новое дело — птицеводство. В 1948 году было всего-навсего полсотни уток. Сейчас насчитывается семьдесят пять тысяч. Таков путь, проделанный утиным хозяйством артели.

За первый год работы Ксения вырастила триста уток, на следующий — еще столько же. Девушку послали поучиться на опытную птицеводческую станцию.

С каким радостным волнением отправилась Ксения в 1955 году на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Она стала ее участницей и в последующие годы. Серебряная медаль, Малая Золотая медаль, дипломы и подарок — швейная машина — все это в память о выставке.

Молодую птичницу учили не только мастерству своего дела. Друзья помогли ей изучить историю своего народа, пробудили стремление к общественной работе. Ксения Константинова стала членом Коммунистической партии.

Слушая рассказ Ксении Сидоровны о перспективах колхозного птицеводства, вместе с нею радуясь заманчивым цифрам, я невольно следил за яркими ответами на утреннем небе и думал о новой жизни древнего лукоморья...

В январском Обращении ЦК КПСС и Совета Министров СССР к работникам сельского хозяйства говорится: «Замечательную инициативу в этом деле проявили колхозы Сталинской области, которые в 1957 году вырастили и сдали на мясо около 6 миллионов голов птицы».

В приазовских колхозах почувствовали вкус к птицеводству. Если, например, колхоз имени Буденного в нынешнем году намерен дать удвоенную продукцию, откормить и продать пятьдесят тысяч уток, то в колхозе имени XX партсъезда такой план: в 1958 году вырастить до восьмидесяти пяти тысяч, а в следующем — до ста тысяч уток, в 1960 году — сто пять тысяч уток.

Задумались прибрежные колхозы и о сочетании морского птицеводства с рыбоводством.

В колхозе имени Буденного, говорил мне Запасников, твердо решили организовать на лимане лов рыбы и следить за ее сохранностью.

— Раньше мы не обращали внимания на это дело, а ведь тут и морской карп, и линь, и окунь, и красноперка, и тарань, и даже, — Запасников сложил пальцы щепотью, поднес их ко рту и причмокнул, — рыбец! А недавно еще и мальков красной рыбы запустили, севрюга будет. Но у нас ведь тут мелководье, и зимой, когда лиман замерзает, много рыбы задыхается подо льдом. Вот теперь будем для нее продукты делать... Так что надеемся, — заключил Степан Иванович, — что скоро будем потчевать шахтеров и утятиной, и дичью, и севрюжкой.

В другом месте лукоморья я увидел не менее любопытное проявление заботы о «севрюжке». На улицах деревни Коски то там то сям лежали на боку большие рыбацкие лодки. Тоскливое, прямо сказать, зрелище. Одно дело, когда лодка лежит на берегу моря или реки, а другое, когда видишь ее на пыльной улице. Что-то противоестественное и обидное в этом для морской посуды.

— Не осеннего ли наводнения ждут здесь? — спросил я моего спутника.

— Какое там наводнение! Раньше рыболовецкий колхоз был, а теперь его ликвидировали.

— А почему так получилось?

— Слишком неумеренно рыбу ловили — и малька и других возрастов. Поиссякли рыбные запасы, вот и решено вовсе рыболовство здесь прекратить — конечно, временно, пока снова рыба размножится.

В этом хорошем начинании, подумалось мне, вероятно не последнюю роль сыграли и выступления печати в защиту азовской рыбы.

«НА КРАСНЫХ ЛАПКАХ ГУСЬ ТЯЖЕЛЫЙ...»

Не только приморские, но и другие районы Сталинской области стали за последнее время разводить много уток и гусей. Один из них — Старомлиновский. Это типично степной район, прорезанный рекой, носящей странное название «Мокрые Ялы».

С председателем колхоза имени Кирова Иваном Емельяновичем Гончаренко мы ехали на птицеферму в отличнейшем автомобиле. Из репродуктора лились проникновенные звуки фортепьянного концерта Рахманинова.

Слушать в дороге музыку, да еще такую, да еще среди необозримых степей, — удовольствие особенное. Но мои мысли неотступно вертелись вокруг цели нашей поездки, и я задал председателю какой-то вопрос о птицеферме.

— Нравится? — кивнул Гончаренко головой на приемник вместо ответа.

— Нравится.

— Мне тоже. — Он поуютнее устроился на своем переднем сиденье и снова обернулся ко мне. — А вообще эта машина?

— И вообще эта машина нравится. Но какое отношение имеет это к вашей птицеводческой ферме?

— Самое прямое, — улыбнулся Гончаренко. — Наш колхоз премирован этой машиной за то, что сдал потребительской кооперации сто тысяч яиц,

— Сто тысяч?!

— Вот именно, сто тысяч, — с особым удовольствием повторил Иван Емельянович. — Нам их нанесли главным образом куры. Этой птицы у нас двадцать семь тысяч голов. Да и водоплавающей немало — пятнадцать тысяч, в том числе тысяча триста гусей. Заботы немало, зато живая копейка каждый день колхозу.

Уже совсем завечерело, когда мы вошли в дом птичников. Бросились в глаза чистота и порядок; на столиках стопки книг — зоотехническая литература, художественные произведения.

— Вот как, и Пушкин здесь, — заметил я небольшой томик.

— А как же, ведь он тоже авторитет по части птицеводства, — задорно подхватила Валентина Бондаренко, недавно окончившая десятилетку, и продекламировала из «Евгения Онегина»:

На красных лапках гусь тяжелый,
Задумав плыть по лону вод,
Ступает бережно на лед...

— Слышите — «гусь тяжелый»! Это значит Пушкин агитирует: «Ухаживайте за гусями хорошо, чтобы они были тяжелыми, жирными». И мы, конечно, прислушиваемся — берем курс на гуся. Кстати сказать, в наших условиях им заниматься выгоднее, чем уткой.

Совсем недавно разводить птицу, да еще водоплавающую, которая по сравнению с курами несет мало яиц, считалось невыгодным. И вдруг за один-два последних года многие колхозы начали откармливать десятки тысяч утят и гусят. Почин сделали Сталинская область и Краснодарский край. Теперь водоемы забелели, запестрели массами уток и гусей в Белоруссии, Молдавии, Ростовской, Воронежской и других областях. В прошлом году колхозы и совхозы СССР выращивали уже тридцать миллионов утят и гусят. Так подъем сельского хозяйства, достаток зерна, потянул за собой и птицеводство.

У трудящихся обед стал сытнее, разнообразнее, дешевле. Во многих городах Донбасса, начиная с июля и до поздней осени, на базарах бойко продавали уток с колхозных грузовиков. Многие рабочие, живущие отдельным домком, особенно если усадьба спускается к речке, брали по десять, двадцать и даже пятьдесят голов птицы.

Заметно увеличились доходы колхозов — инициаторов крупного птицеводства. Колхоз имени XX партсъезда, например, в 1957 году получил от продажи уток свыше одного миллиона двадцати двух тысяч рублей дохода. Продажа мяса государству стала настолько выгодной, что колхозы везут уток на базар лишь потому, что заготовители не могут принять столько птицы, сколько им предлагают.

Секретарь Старомлиновского райкома партии Иван Захарович Кряж рассказывал мне:

— Было у нас во всем районе тридцать восемь тысяч голов птицы. Решили дерзнуть: доведем поголовье до ста тысяч. Вскоре стало ясно, что колхозы готовы шагнуть дальше, но где птицу взять? Местный инкубатор не мог вывести столько птичьего молодняка, сколько вдруг потребовали колхозы.

Иван Захарович рассказывает о телефонных звонках, телеграммах, докладных записках в Сталино, Киев, Москву.

И полетели цыплята и утята в самолетах в Старомлиновку. К половине августа на берегах реки Мокрые Ялы и на сжатых полях задорно распевало, кудахтало, крикало и гоготало более четырехсот тысяч пегушков, курочек, уток, гусят. Шеф старомлиновских колхозов — металлургический завод в городе Сталино — соорудил передвижные лагерные домики для кур в поле, а колхозы строили брудергаузы, утятники и другие

помещения для птиц. Министерство сельского хозяйства СССР прислало из Москвы зоотехника-птицевода Г. М. Колобова — помочь в организации птицефермы. В 1957 году район имел уже полмиллиона голов птицы и из них двести тысяч уток. Меньше чем за полтора года поголовье птицы увеличилось в двенадцать раз!

А впереди еще больший расцвет. Недавно Старомлиновский район получил три новых инкубатора. Теперь не придется завозить утят и цыплят со стороны. Раньше инкубаторы работали только весной и летом, сейчас решили выращивать молодняк и зимой. В 1958 году намечено сдать и продать государству и на рынках не менее семисот тысяч уток, кур, гусей, индеек.

Думается, что сюда следовало бы пренести за опытом представителям сельскохозяйственных артелей других мест.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПТИЦЕВОДСТВА

В большинстве случаев лишь из половины утиных яиц, заложенных в инкубатор, выводятся здоровые утята. Остальные яйца пропадают. Самые лучшие инкубаторные станции получают из отдельных партий яиц до восьмидесяти процентов утят.

Как видим, потери большие. Неизбежны ли они?

Прежде всего необходимо усовершенствовать конструкцию инкубаторов. Аппараты, выпускаемые, например, Пензенским заводом, настолько недоброкачественны, что их приходится переделывать и улучшать самим работникам инкубаторных станций.

По-видимому, большой счет надо предъявить ученым. У нас есть Всесоюзный научно-исследовательский институт птицеводства, Центральная испытательная инкубаторно-птицеводческая станция, Украинская опытная станция птицеводства и другие подобного рода учреждения. Как же могут они мириться с ежегодной гибелью десятков миллионов утиных яиц? Ведь это значит, что из-за невылупившихся птенцов государство ежегодно теряет тысячи тонн птичьего мяса.

Следует упорядочить работу инкубаторных станций, тем более, что число их должно в ближайшие годы увеличиться. Там вечно не хватает запасных частей, нередко прерывается подача электрического тока. Как это ни парадоксально, но сама техника инкубирования утиных яиц известна далеко не всем, кто этим делом занимается. Нужно сказать еще и о том, что многие инкубаторные станции стали теперь просто слабыми и немощными в связи с повышенными требованиями.

В колхозе имени XX партсъезда жаловались:

— Из Ждановского инкубатория мы получаем утят слишком маленькими партиями. За лето 1957 года мы взяли там тридцать две партии!

Это очень существенное неудобство. Ведь каждую возрастную группу надо содержать в отдельной вольере, для каждой группы приходится составлять отдельный кормовой рацион. Наконец, вопрос о рабочей силе: чем больше будет число птичьих отрядов, тем больше потребуется и командиров — колхозных птичников.

Но почему инкубаторные станции не могут отпускать утят крупными партиями? Потому, что их не хватает для всех потребителей. Значит, каждый большой выводок надо отпускать сразу в один колхоз, следующий выводок — в другой и т. д. Конечно, это лишь временная мера. Главное же, надо сильно расширить сеть и увеличить мощность инкубаторных станций.

Таким образом, возникает срочная необходимость серьезной реорганизации инкубаторного дела. Нужны новые конструкции инкубаторов, новые методы инкубирования яиц водоплавающей птицы.

Никакую другую домашнюю птицу не удастся так быстро вырастить и откормить, как утку. Однако во время линьки она сильно худеет. Поэтому птицеводческие хозяйства стараются продать утку до того, как на ее теле начинает пробиваться основа новых перьев, то есть до линьки.

— Тут как с яблоком, — говорил мне один зоотехник, — созрело — срывай. Как исполнилось утке два, два с половиной месяца — самая лучшая и дешевая из нее утиятина получается!

Пока цыпленок станет курицей, проходит пять месяцев; пока индюшонок приобретет полное индюшечьё достоинство, надо ждать полгода. Столько же времени длится превращение гусенка в гуся. А утка получается из утенка втрое быстрее.

Во многих колхозах утке предпочитают гуся. Он, говорят, прямо из яйца бежит на траву. А утка зернышко любит.

Ясно, что в птицеводстве стандарт не менее опасен, чем в любом другом деле. Там, где есть морские лиманы, реки, озера, пруды, богатые растительным и мелким животным кормом, самая выгодная водоплавающая птица — это утка. Она прожорлива, но в значительной мере утоляет свой голод даровыми кормами. Там же, где их нет, гусь, конечно, предпочтительнее.

Но, повторяю, даже в подлинно «утиных» местах утка дает настоящую выгоду, только когда ее сбывают до первой линьки. А между тем птицекомбинаты, мясокомбинаты, заготовительные пункты принимают далеко не всю «созревшую» птицу — некуда ее принимать. Птица скапливается на фермах, худеет, приходится тратить на нее много дополнительного корма. Труднее всего совхозам, так как они не имеют права продавать свою продукцию на рынке, а государственные заготовители всегда просят подождать со сдачей.

Нельзя ли наладить приготовление птичьих тушек на самых птицефермах?

— Пробовали, — ответили мне в одном из колхозов, — но очищать всю птицу вручную это слишком трудное дело, пальцы болят.

Однако женские пальцы можно заменить машиной! Речь идет об организации птицеперерабатывающих пунктов непосредственно в колхозах.

Вместе с тем нужно, видимо, искать выход и в другом: в расширении всех птицекомбинатов, в создании цехов по забою птицы при всех мясокомбинатах, в устройстве простейших механических приспособлений по приготовлению птичьих тушек в самых колхозах.

«Утка море выпила» — эту фразу я услышал в колхозе имени XX партсъезда. Если разобраться по существу, в ней таится серьезный смысл. Лиман, заполненный утками этого колхоза, отгорожен от открытого моря длинной косой. Глубина лимана — взрослому человеку ниже колена. И когда берег и лиман загрязняются десятками тысяч птиц, то вода начинает напоминать какое-то месиво. В этом смысле и говорят, что «утка море выпила», — оно все больше заиливается.

Это печально сказывается прежде всего на самцах птицах.

— Им не столько плавать, сколько по грязи лазить приходится, — говорит заведующий птицефермой Иван Константинович Ребро. — Особенно плохо поздним выводкам. Лиман все больше мелеет, малыши выйдут на берег, начнут очищаться и вместе с грязью пух выдергивают.

Массовое разведение водоплавающей птицы заставляет говорить о проблеме, внимание к которой не должно ослабевать. Я имею в виду борьбу с обмелением рек и других водоемов.

Если рассматривать все это даже только в свете тех задач, какие уже продиктовала нам утка и какие она вместе с гусем будет повторять все настойчивее, так и то нужно безотлагательно сделать самые решительные выводы. Картина, нарисованная Иваном Константиновичем, типична не только для Приазовья, но и для мест, удаленных от моря.

Река Мокрые Ялы, омывающая земли Старомлиновского района, еще пятнадцать лет тому назад широкая и глубокая, все больше пересыхает. Требования же к ней непрерывно возрастают. Все больше воды выкачивается механическими насосами для полива огородов и подачи в скотные дворы, все больше разводится скота — нужна вода для водопоя. Между тем во многих местах образуются болотистые островки, у берегов заболачивается и обнажается недавнее дно.

То же самое происходит и на многих прудах. «Вода в них тухнет», как говорят местные жители. И для наглядности приводят такой случай. Как-то летней ночью на дачном Удачным Старомлиновского района выпал сильный дождь. Он смыл в пруд весь гусиный и утиный помет (тут развели много птицы). А утром вся поверхность пруда была покрыта «задохшейся» рыбой.

Есть немало способов борьбы с обмелением водоемов — создание привражных, прибалочных и полезащитных лесополос, обсадка деревьями, кустарником речных и морских берегов, устройство «зеленых колец» вокруг водоемов. Кроме того, необходимо регулировать речной сток сооружением плотин, шлюзов, превращать овраги и балки в пруды.

Пересекая в разных направлениях степные области — например, Сталинскую, — видишь, как много сделано для того, чтобы голая в прошлом степь зеленела всевозможными насаждениями. Первое в мире степное лесничество — Великоанадольское — было создано на территории нынешней Сталинской области еще в сороковых годах прошлого века. В наше время его леса все глубже проникают в степь. В степных районах области встречаешь также много лесополос, дороги обычно обсажены здесь аллеями, садами.

Но сегодня всего этого мало. В Больше-Новосельском районе некоторые колхозы обсадили берега реки несколькими рядами деревьев. Так могли бы сделать все прибрежные хозяйства. Зеленый щит на протяжении всей реки, конечно, сильно мешал бы ее заилению.

Никогда не строилось так много, как в наше время, новых прудов. Однако, исходя из сегодняшних задач развития птицеводства, водоемы нужно делать быстрее, больше и лучше.

А балки и овраги? У многих из них склоны и дно не обсажены. К чему это приводит, показывает такой пример. В мае прошлого года в Буденновском районе Сталинской области выпало 96 миллиметров влаги — почти четверть всего годового количества осадков. После ливня на склонах балок, на некоторых полях образовались сплошные разливы щебня — почвенный покров смыло, а щебень нанесло сверху...

В совхозе «Керменчик» Старомлиновского района недавно было вырыто три пруда, их заполнили водой, однако вскоре она вся ушла в грунт. Таких случаев немало в Воронежской и других областях. Невольно вспоминается, как боролись в старину с просачиванием воды в водопроницаемое дно. Поверхность крымской яйлы состоит большей частью из очень пористых известняков. Когда в этих местах выпасали много скота, то известняковые впадины выстилали... войлоком. Во время снеготаяния в войлочных чашах скапливалась и никогда не уходила из них вода.

Странный, конечно, способ с точки зрения современной техники. Но я рассказал об этом приеме только для того, чтобы напомнить: ведь и в прежние времена умели мешать просачиванию влаги в почву, почему же такими беспомощными оказываются наши современные гидростроители?

Здесь указаны далеко не все препятствия, мешающие развитию водоплавающей птицы. Но в своих заметках автор преследовал иную цель: он хотел привлечь внимание общественности к столь перспективной проблеме, как утководство, дающее возможность стране получить много питательного и вкусного мяса.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ ДОКУМЕНТЫ

К 140-летию со дня рождения Карла Маркса

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

Из альбома молодого Маркса

Ниже публикуется перевод ряда народных песен, записанных в альбоме Карла Маркса, фотокопия которого хранится в Институте марксизма-ленинизма. Альбом этот Маркс посвятил своей невесте, Женни фон Вестфален.

На заглавном листе альбома рукой Маркса написано:

«Народные песни

немецкие (на всех немецких наречиях), испанские, греческие, латышские, ланландские, эстонские, албанские и т. д., отобранные и переписанные из различных сборников и т. п. для моей сердечно-любимой Женни.

К. Г. Маркс
Берлин, 1839».

Собранные в рукописном альбоме народные песни как бы открывают для читателя новую страницу юношеского периода биографии Маркса. Они ярко говорят о его глубоком интересе к народному творчеству, о его тонком понимании народной поэзии и народного юмора.

Перевод песен на русский язык сделан писательницей Еленой Ильиной. Деятельное участие в подготовке этой публикации принял старший научный сотрудник Института марксизма-ленинизма Илья Исаакович Прейс. Недавно умерший И. И. Прейс был крупным специалистом в области истории марксизма, подготовителем ряда научных изданий Института и автором многих трудов, среди которых видное место занимают исследования о раннем периоде деятельности Маркса.

Институт марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС.

* *

Изучая материалы, связанные с биографией Карла Маркса, убеждаешься в том, что он был одним из самых ревностных ценителей народной поэзии.

В те времена, когда многие поэты и ученые, занимавшиеся фольклором, зачастую включали в свои сборники псевдонародные песни и баллады, молодой Маркс умел безошибочно отличать подлинно народные тексты от подделок.

Убедительным доказательством этого может служить замечательный альбом — сборник песен, лирически-любовных и шуточных, созданных разными народами. Этот альбом народных песен Маркс посвятил в 1839 году своей невесте, Женни фон Вестфален.

Марксу шел в то время двадцать первый год. Но это был уже настоящий ученый. Еще до того, учась в Бонне (1835—1836 годы) на юридическом факультете, он одновременно с юридическими науками, философией и историей занимался мифологией греков и римлян, историей искусств, работал над вопросами, связанными с изучением Гомера. Теперь, в Берлинском университете, он еще больше углубляется в занятия науками и искусством.

Наряду с научными занятиями молодой Маркс пробует свои силы и в области литературы (в стихах, в драме).

В эту пору он жил по-студенчески, работал с утра до ночи и, вероятно, занимался отбором и перепиской народных песен ему приходилось урывками, поздними вечерами.

Мы можем себе представить обстановку, в которой жил Маркс, по одному из писем к нему его отца (от 9 декабря 1837 года). В этом письме идет речь о невесте и будущей жене Карла — Женни Вестфален:

«...Создать для этой девушки достойное ее будущее — такова простая и практическая задача, которая должна быть разрешена в реальном мире, а не в дымной комнате при свете коптящей масляной лампы, у которой сидит одичавший ученый».

Альбом предназначался всего лишь для одной читательницы, и, однако, Маркс не жалел отдавать ему считанные минуты досуга, остававшиеся у него после лек-

ций и собственной научной работы над «Тетрадиями по истории эпикурейской, стоической и скептической философии». Какое значение он придавал сборнику, видно по стихотворному посвящению на заглавном листе альбома:

«Я о тебе не забываю.
Всегда с тобою мы вдвоем.
В моем ты сердце,
сердце, сердце,
Как роза на стебле своем.

Старинная народная песня».

Невеста Маркса, Женни, девушка из знатной, но обедневшей семьи барона фон Вестфален, жила в Рейнской провинции Пруссии, в городе Трире, на расстоянии 700 километров от Берлина.

Людвиг фон Вестфален, разносторонне образованный человек, был в давней дружбе с адвокатом Генрихом Марксом, отцом Карла Маркса. Карл и Женни дружили с детских лет, несмотря на то, что Женни была старше Карла на четыре года. Позже их еще теснее связала любовь к литературе, к поэтическому слову.

«Женни фон Вестфален, — по воспоминаниям ее дочери Элеоноры Маркс-Эвелинг, — выделялась из тысяч своей необычайной красотой — красотой, которой Маркс всегда восхищался и гордился и которая приводила в восторг таких людей, как Гейне, Гервег и Лассаль, — своим умом и остроумием, столь же блестящими, как и красота ее»¹.

Маркс всю свою жизнь свято чтит места, где встречался с Женни в детстве и в юности. Спустя много лет (в 1863 г.) он писал из Трира домой в Лондон (в Трир он ездил по случаю смерти матери): «Каждый день хожу на поклонение святым местам — старому домику Вестфаленов (на Римской улице): этот домик влечет меня больше, чем все римские древности, потому что он напоминает мне счастливое время юности, он таил когда-то мое самое драгоценное сокровище. Кроме того, со всех сторон, изо дня в день, меня спрашивают, куда девалась первая красавица Трира и царица балов. Чертовски приятно мужу сознавать, что жена его в воображении целого города продолжает жить как зачарованная принцесса»².

Альбом народных песен, посланный Марксом Женни, ярче всего характеризует отношение его к невесте.

«Мой отец, — писала Элеонора Маркс, — говаривал, что он был в ту пору настоящим неистовым Роландом»³.

Целых семь лет Марксу пришлось ждать своей Женни. Трудно представить себе, сколько терзаний должны были испытать они оба, прежде чем родственники Женни дали согласие на этот брак. Тут играла роль и молодость Маркса (Марксу было всего 18 лет, когда он и Женни были тайно помолвлены) и то, что Маркс был всего только скромным студентом, без высокого общественного положения и обеспеченного будущего. У первой красавицы Трира было достаточно претендентов, которые, с точки зрения ее аристократической родни, могли обеспечить ей жизнь, полную роскоши. Карл писал к Женни тайно от ее семьи. Как видно из писем отца Маркса, нередко он сам или сестра Маркса, Софи, передавали Женни письма, которые Карл посылал домой. Отца немало тяготила и смущала роль посредника — ведь он был другом отца Женни. К тому же, любя Женни, как родную дочь, он беспокоился за нее, за ее будущее и в то же время всей душой понимал сына и сочувствовал ему.

Женни подолгу не решалась отвечать Марксу, и ее молчание было для него источником бесконечных тревог и огорчений. Альбом песен, который он посвятил своей невесте, явился своеобразным любовным посланием.

Из фольклорных сборников Маркс отобрал главным образом песни о верности, о глубокой любви, способной преодолевать всякие препятствия.

Все, что было в песнях филистерского или мещанского, он безжалостно отбрасывал. В немецкой шуточной песне «Сказал он» Маркс пропустил первые четыре строчки, воспевающие хорошее пиво, деньги и т. д. Эту песню он начал прямо со второй строфы:

«Пó небу, сказал он, месяц плыл, сказал он.
Озарил, сказал он, горы над селом.
У окна, сказал он, девушка, сказал он,
Вот бы с ней, сказал он, посидеть вдвоем!»⁴

По мере углубления революционно-демократических взглядов молодого Маркса его интерес к поэзии, в том числе и к народному поэтическому творчеству, все возрастал.

¹ Сборник «Воспоминания о Марксе и Энгельсе». Госполитиздат. Москва. 1956, стр. 260.

² Там же, стр. 264.

³ Там же, стр. 263.

⁴ См. «Литературную газету» № 100 от 20 августа 1957 г.,

Богато одаренной натурой была и Женни. Любовью к поэзии она прониклась, как и Маркс, с самых ранних лет.

Женни рано сумела понять и оценить своего гениального друга. Под его влиянием интересы Женни становились все шире и глубже. Когда она порвала, наконец, с аристократической средой, в которой родилась и выросла, у нее появились и новые, захватившие ее целиком интересы — к философии, к политике. Женни стала верным соратником Маркса на всем его жизненном пути. В своей речи над могилой Женни Энгельс сказал: «...она не только разделяла участь, труды и борьбу своего мужа, но и активно участвовала в них с величайшей вдумчивостью и с пламенной страстью».

Елена ИЛЬИНА.

К ЛЮБИМОЙ

(Немецкая народная песня)¹

Проходят чередою ночи, дни...
Одной мечтой заполнены они —
Мечтою о тебе, о нашем счастье.
Судьба моя в твоей всецело власти.

Когда звезды последней гаснет свет
И солнце шлет нам утренний привет,
В тиши один тоскую я, не зная,
Что делает сейчас моя родная.

Едва утихнет шумный, яркий день
И спустится на землю ночи тень,
Сжимает сердце мне тоска ночная:
Что делает сейчас моя родная?

Любимая, тобой душа полна,
Мечтою о тебе живет она.
Так будь же непреклонна пред судьбою!
Твой верный спутник — я всегда с тобою.

ЗИМНИЙ ЦВЕТОК

(Немецкая народная песня)²

Глубокий снег окутал
Окрестные холмы.
Как раздобыть мне розу
В морозный день зимы?

Такой цветок нашел я.
Теперь навек он мой.
Он стужи не боится,
Цветет он и зимой.

Цветок — моя невеста.
С утра поет она.
В глазах ее весенних —
Небес голубизна.

Ты спросишь: как же розу
Тебе зимой найти?
Ищи ты к сердцу милой
Заветные пути.

¹ Песня взята Марксом из «Сборника немецких народных песен» Фридриха Эрлаха (Die Volkslieder der Deutschen. Herausgegeben durch F. K. von Erlach. V. erster Band. Mannheim, 1835, стр. 390 (песня относится к группе аллеманского наречия).

² Относится также к группе аллеманского наречия. Взята из «Сборника немецких народных песен» Эрлаха (т. 4, стр. 396).

ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ

(Старинная рейнская баллада)¹

Под липою, в густой тени,
Сидели двое, и они
Слова любви шептали оба
И клятвы верности до гроба.

Он говорил: — Любовь моя!
Я еду в дальние края
И буду странствовать семь лет...
— Я буду ждать! — она в ответ.

И вот, когда пора пришла,
Невеста в локоны вплела
Цветы — и в лес пошла зеленый,
Весенним солнцем озаренный.

Шумел прохладный лес листвою...
Вдруг показался верховой.
Лицо он шляпою прикрыл.
— День добрый! — он проговорил.—
Скажи мне — отчего, грустна,
Ты бродишь по лесу одна?

— Я жду здесь друга дорогого.
Ко мне вернуться дал он слово.
Но вот прошло семь долгих лет,
Я друга жду, а друга нет...

— Его ты долго стала ждать бы.
Я прискакал сюда со свадьбы.
Не на тебе, а на другой
Женился друг твой дорогой.
Скажи: какие на прощанье
Е:у пошлешь ты пожеланья?

Она промолвила в ответ:
— Желаю другу долгих лет
И столько радостей прекрасных,
Как много звезд на небе ясных.

Тут всадник приоткрыл лицо
И, сняв с руки своей кольцо,
Склонился ласково над ней:
— Надень кольцо и будь моей!
Тебе недаром дал я слово,
Твой верный друг с тобою снова.

Слова влюбленным не нужны.
Как первый ливень в день весны,
Поток девичьих светлых слез
Печаль недавнюю унес.

¹ Эта песня имеется в различных вариантах. У Эрлаха в 3-м томе (стр. 140—141) песня носит название «Испытание любви», в 4-м томе (стр. 5—6) название «Возвращение» и в этом же томе — «Испытание любви» (стр. 255—257). В сборнике Кречмера «Немецкие народные песни» (Deutsche Volkslieder mit ihren Original-Weisen. Herausgegeben von A. Kretzschmer. Erster Teil. Berlin, 1840, S. 62—64) она дана вместе с мелодией. Маркс перевел эту песню на верхненемецкий диалект, положив в основу вариант Эрлаха (т. 4). В названии песни у Маркса описка — песня называется у него «Сновидение». Отнесена эта песня Марксом к группе «рейнских». Эрлах (т. 3) называет эту песню «старинной».

— Не плачь, — промолвил он невесте, —
 С тобой всегда мы будем вместе.
 Но испытать хотел я вновь,
 Как велика твоя любовь.
 И если б мне при нашей встрече
 Пришлось услышать злые речи, —
 Клянусь, что с нынешнего дня
 Ты не видала бы меня!

ОХОТНИК

(*Рейнская народная песня*)¹

Над озером ночью он долго стоял,
 В раздумье и грусть погруженный.
 А ветер охотничий плащ развевал,
 Сверкал его рог золоченый,
 На поясе рог золоченый.

— О, выйди, русалка! Отрада одна
 Ты в жизни моей одинокой.
 Не будь же к признаньям моим холодна,
 Не мучь меня пыткой жестокой,
 Не мучь меня пыткой жестокой.

Так жалобно пел он. Тут голос глухой
 Нарушил молчанье ночное:
 — Приди, мой желанный! Любовь и покой
 Навек обретешь ты со мною!
 Навек обретешь ты со мною!

Он бросился в воду, в холодную тьму,
 Пучина его поглотила.
 На дне его встретила та, что ему
 Любовь и покой посулила.
 Любовь и покой посулила.

О СТРАСБУРГ!..

(*Рейнская народная песня*)²

О Страсбург, ты на диво
 Прекрасен и богат!
 Ты ранние могилы
 Готовишь для солдат.

¹ Эта песня взята Марксом из сборника Кречмера (стр. 135—136), где дана также и мелодия к ней. К группе рейнских песен отнес ее Маркс.

² Эту песню Маркс отнес также к группе рейнских. Взял он ее из сборника Эрлаха (т. 4, стр. 185—186) или же из сборника Кречмера (стр. 1—3). Тексты в обоих сборниках совпадают. Скорее всего Маркс взял эту песню из сборника Кречмера, так как в сборнике Эрлаха она называется «Легион чужеземцев», у Маркса же этого заголовка нет. В альбоме Маркса песня носит название: «О Страсбург, о Страсбург!», как и у Кречмера. Тем самым песня приобретает более широкий смысл: речь идет в ней не только о наемных солдатах.

О широком распространении этой песни можно судить по тому, что у Кречмера приводятся три мелодии на ее слова: рейнская, вестфальская и северонемецкая.

Эту песню очень любили в семье Маркса в ту пору, когда семья жила в Англии, в Лондоне. Нередко дети Маркса, возвращаясь с прогулки домой, пели ее вместе с Еленой Демут, «Ленхен», — служанкой и другом семьи Маркса (см. сборник «Воспоминания о Марксе и Энгельсе», статью Вильгельма Либнехта «Из воспоминаний о Марксе», стр. 115).

Для смелых и для статных,
Красивых молодцов...
Идут, идут солдаты,
Покинув край отцов.

Идут, идут солдаты,
На смерть обречены.
* Все новые солдаты
Для Страсбурга нужны.

У дома командира
Ломают руки мать:
— Единственного сына
Молю не отнимать!

— Молчи, не плачь, старуха.
Скажи ему: прощай...
Еще сегодня ночью
Уйдет он в дальний край.

И вот солдат уходит
С полком своим в поход.
А юная невеста
Горюет, слезы льет.

Горюет и тоскует —
Надвинулась беда...
— Прощай, моя голубка,
Быть может, навсегда!..

ПЕСНЯ О ЛУННОМ СВЕТЕ

(Рейнская народная песня)¹

В тиши, тайком взошла луна.
Голубой цветок-цветочек,
Ходит по кебу она,
Голубой цветок-цветочек.

Много роз в долине красных,
Много девушек прекрасных,
Роза — краше всех цветов!²

Струит луна прозрачный свет,
Голубой цветок-цветочек,
Облака плывут вослед,
Голубой цветок-цветочек.

Много роз в долине красных,
Много девушек прекрасных,
Роза — краше всех цветов!

Луна, в окошко загляни,
Голубой цветок-цветочек,
Мою голубку помани,
Голубой цветок-цветочек.

¹ Немецкая народная песня. Маркс взял ее из 3-го тома Эрлаха (стр. 194). Отнесена Марксом к группе рейнских народных песен. Эта же песня вместе с нотами приводится в сборнике Кречмера (стр. 56—57). У Кречмера песня дается без названия, указано только, что эта песня — нижнерейнская. Название («Песня о лунном свете») дается у Маркса в соответствии со сборником Эрлаха.

² После слова «Роза» Маркс всюду в припеве вписал в скобках имя «Женни».

Много роз в долине красных,
 Много девушек прекрасных,
 Роза — краше всех цветов!

Луна, всю землю обойдешь,
 Голубой цветок-цветочек,
 Вернее сердца не найдешь,
 Голубой цветок-цветочек.

Много роз в долине красных,
 Много девушек прекрасных,
 Роза — краше всех цветов!

ПЕСНЯ МОНАХИНИ

(Северонемецкая народная песня)¹

Как тяжко мне под сводом кельи,
 И как судьба моя горька!
 Ко мне весна не заглянула,
 Не подарила и цветка.

Ко мне весна не заглянула,
 Не подарила и цветка.

Внизу, в долине, два ягненка
 На воле прыгают сейчас.
 Так будьте счастливы, ягнята,
 Весну встречая в первый раз!

Вы будьте счастливы, ягнята,
 Весну встречая в первый раз!

Мне сквозь решетку видно небо,
 Я слышу щебет птичьих стай.
 Ну, в добрый час! Летите, птицы,
 Летите смело в лучший край!

Ну, в добрый час! Летите, птицы,
 Летите в дальний, лучший край!

ПЯТНАДЦАТЬ ПФЕННИГОВ

(Северонемецкая народная шуточная песня)²

Лицом девица неплоха,
 Но где найти ей жениха
 И хоть пятнадцать пфеннигов?

Искала всюду, где могла,
 И писарька себе нашла,
 А с ним — пятнадцать пфеннигов.

¹ Песня взята Марксом из сборника Кречмера (стр. 193). У Кречмера дана также мелодия песни.

² Из сборника Эрлаха (т. 2, стр. 110—111).

Был писарь, видно, богатей:
Подарков накупил он ей —
На все пятнадцать пфеннигов.

Он долго денежки копил,
И поясок он ей купил —
За те пятнадцать пфеннигов.

Купил ей ленточки для кос,
Большую шляпу ей поднес —
За те пятнадцать пфеннигов.

— Ты хочешь стать моей женой?
Пойдешь ли ты к венцу со мной
За все пятнадцать пфеннигов?

Я предлагаю не шутя —
Я дал тебе, мое дитя,
Свои пятнадцать пфеннигов!

— Твоих грошей не надо мне!
Даешь ты будущей жене
Всего пятнадцать пфеннигов?!

— Я за тобой и не гонюсь,
Я дам другой, когда женюсь,
Свои пятнадцать пфеннигов.

К моим признаньям ты глуха,
Ищи другого жениха,
А с ним — пятнадцать пфеннигов!

ПРОЩАНИЕ

(Верхненемецкая народная песня)¹

На горе — старинный замок,
В замке девушка живет.
И по ней тоскует парень
Дни и ночи напролет.

Парню девушка сказала:
— Не грусти, моим ты будь.
Но пришлось им разлучиться,
Перед ним — далекий путь...

Он ей молвил на прощанье:
— Возвращусь к тебе я вновь.
Пусть проходит год за годом, —
Не пройдет моя любовь.

Посмотри — мерцают звезды,
Шлют вечерний свет земле.
Так звезда любви восходит
В опускающейся мгле.

¹ Песня эта взята Марксом из 4-го тома сборника Эрлаха (стр. 308). Она же вместе с мелодией дана в сборнике Кречмера (стр. 195—196). В настоящем переводе учтен также текст, приводимый Кречмером (в 4-й строфе), так как у Эрлаха смысл этой строфы неясен.

ПЕСНЯ РЫБАКА

(Испанская народная песня)¹

На берег набегая,
 Неслись морские волны.
 А скалы днем и ночью
 Стояли непреклонно.

На выступе скалистом
 Сидел рыбак, а невод
 У ног его валялся...
 И пел рыбак, склонившись.
 О, как печально пел он!..

Пред ним вздымались волны,
 О скалы разбиваясь.
 Вокруг стонали ветры,
 Печальной песне вторя:

«Тебя, моя беглянка,
 Люблю и ненавижу!
 Скалы ты непреклонней,
 Изменчива, как ветер».
 О, как печально пел он!..

«Ушла моя невеста,
 Оставив этот берег.
 Он стал с тех пор пустынным,
 Как я осиротелым.

Из рук уходит невод,
 Так дни мои уходят.
 И, как волна о берег,
 В тревоге бьется сердце».
 О, как печально пел он!..

«Любовь, ты легче птицы.
 Летя на быстрых крыльях,
 Беглянку бы настигла,
 Куда б она ни скрылась.

Но мне ты не поможешь.
 Твои бессильны стрелы.
 Похитила беглянка
 Последнюю надежду».
 О, как печально пел он!..

Пред ним вздымались волны,
 О скалы разбиваясь.
 Вокруг стонали ветры,
 Печальной песне вторя...

¹ Из сборника Гердера «Голоса народов в песнях» (Herder's Sämtliche Werke. Zur schönen Literatur und Kunst. Siebenter Teil. Stuttgart und Tübingen, 1828), стр. 193—194. В подлиннике песня называется «Скорбящий рыбак».

Я СКАЖУ МОЕЙ ЛЮБИМОЙ*(Эстонская народная песня)¹*

Я скажу моей любимой:
 — Ты прекрасней всех цветов!
 Матушке твоей родимой,
 Твоему отцу родному
 Долго я служить готов.
 И тебя, кто всех милей,
 Назову тогда своей.
 Мой цветочек полевой,
 Я пока еще не твой.

ДОРОГА К ЛЮБИМОЙ*(Лапландская народная песня)²*

Лучи, озарите вы озеро Орра!
 Взберусь на сосну и увижу просторы
 Широкого озера Орра.

И вот я взобрался и сверху гляжу я,
 Ищу я глазами свою дорожную.

Я срезал все ветки, и срезал я сучья,
 Чтоб видеть подальше, чтоб видеть получше.

О, если б летал я, как птица, как ворон,
 Я взмыл бы к далекому озеру Орра.

Но нет у меня даже крыльев утиных,
 И нет у меня даже лапок гусиных.

Как весла, гребли бы две лапки гусиных,
 Меня бы держали на водах глубинных.

Ты любящим сердцем и ласковым взором
 Ждала меня долго за озером Орра.

Тебя разыщу я за озером Орра,
 И наша разлука окончится скоро.

Прочнее и крепче любого металла
 Те узы, какие любовь нам сковала.

Как ветер на воле, летающий в поле,
 Легка, ненадежна у юноши воля.

И если бы верной не шел я тропюю,
 Тогда бы навек разлучился с тобою.

Но нет, неизменной дорогой иду я
 И знаю, что верное счастье найду я.

¹ Песня эта взята Марксом из сборника Гердера «Голоса народов в песнях» (стр. 104).

² Из сборника Гердера (стр. 99—100).

ПЕСНЯ СВОБОДЫ*(Древнегреческая песня)¹*

Пусть миртовы ветви мой меч украшают,
 Как древле мечи украшали герои,
 Низвергшие власть тиранни жестокой
 И давшие снова Афинам свободу.

Армодий отважный! О нет, ты не умер!
 На острове светлом вкушаешь блаженство.
 Поэты твой подвиг в стихах воспевают,
 Поют они славу тебе и Ахиллу.

Пусть миртовы ветви мой меч украшают,
 Как древле мечи украшали герои,
 Тирана Иппарха низвергшие с трона
 В овейный славою праздник афинский.

Тебе, Аристогитон, вечная слава!
 И вечная слава тебе, наш Армодий!
 Тирана низвергли вы мощной рукою,
 И родине вновь обрели вы свободу.

НОЧНАЯ ПЕСНЯ*(Итальянская народная. Рим)²*

Смокли все дневные звуки.
 Песня скорби и разлуки,
 Донеси мои ты муки,
 Улетая в дальний путь —
 До моей красотки спящей...
 Нет, утихни на минутку:
 Спит возлюбленная чутко,
 Я боюсь ее вспугнуть.

Ветер, ветерок весенний,
 Ты одним прикосновеньем,
 Осторожным дуновеньем
 Дорогую разбуди!
 И тогда-то я осмелюсь —
 И спою моей любимой
 О судьбе неумолимой,
 О тоске в моей груди.

¹ Маркс послал эту древнегреческую песню своей невесте Женни в немецком переводе, помещенном в сборнике Гердера «Голоса народов в песнях» (стр. 143—144). В примечании к этой песне Гердер указывает на то, что имена «Тидид» и «Диомед» даны неправильно. Поэтому в переводе «Песни свободы» на русский язык эти имена опущены.

² Из сборника «Народные песни на всех наречиях Италии и ее островов» (Agrumi. Volkstümliche Poesien aus allen Mundarten Italiens und seiner Inseln. Gesammelt und übersetzt von August Kopisch. Berlin, 1838), стр. 13.



ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ К. МАРКСУ

Сто десять лет назад, 1 июня 1848 года, жители Кельна с интересом читали первый номер «Новой Рейнской газеты».

В самые напряженные месяцы буржуазно-демократической революции 1848—1849 годов эта газета, выходившая под руководством Карла Маркса, ее главного редактора, и Фридриха Энгельса, стала не только трибуной, с которой вожди европейского пролетариата обращались к широким народным массам Германии, пропагандируя идеи научного социализма, давая тактические лозунги, но и организационным центром, своеобразным революционным штабом, вокруг которого сплачивались все передовые, демократические элементы Германии.

Боевая газета Маркса и Энгельса явилась одним из основных предшественников революционной пролетарской прессы нового типа. Здесь впервые зародились многие формы и методы редакционной работы, связи с читателями, «подачи» газетных материалов, впоследствии развитые и обогащенные в практике пролетарской журналистики. Выступления «Новой Рейнской газеты» немедленно получали отклик в многочисленных изданиях, выходивших в различных районах Германии, а также во Франции, Англии, Бельгии, Швейцарии, Италии и других странах.

Высокую оценку этой газете дал В. И. Ленин, назвав ее «лучшим, непревзойденным органом революционного пролетариата».

В Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС хранится более двухсот писем, присланных Марксу и Энгельсу и другим работникам редакции «Новой Рейнской газеты». Некоторые из них, свидетельствующие о том влиянии, которое оказывала «Новая Рейнская газета» на всю революционно-демократическую печать Германии, мы предлагаем вниманию читателей. Подготовка материала к печати и комментарии — кандидата исторических наук С. М. Гуревича.

Письма, приведенные ниже с сокращениями, на русском языке публикуются впервые.

Гонения на демократическую печать Германии особенно усилились после поражения народного восстания в Вене в октябре 1848 года и последовавшего вслед за этим контрреволюционного переворота в прусской столице — Берлине. Именно к этому периоду относится письмо в «Новую Рейнскую газету» Хр. Бюргера — редактора «Галлеской демократической газеты», выходившей в саксонском городе Галле. Впоследствии он был приговорен к тюремному заключению за систематическую перепечатку материалов из «Новой Рейнской газеты».

«...Вскоре здесь будет установлено осадное положение. Я прилагаю 2 экземпляра нашей газеты, чтобы вы убедились, какой у нас царит полицейский произвол. Не известив меня, безо всяких церемоний конфисковали экземпляры, готовые к отправке на почту, и поставили у печатной машины полицейского, чтобы помешать дальнейшей печати. Когда я услышал об этом, я сейчас же пошел к типографу (книготорговцу Шмидту), который, однако, уже был вызван в полицию. Но здесь, конечно, несмотря на все усилия, ничего нельзя было поделать; напротив, на основании свода мартовских и апрельских законов эти господа чувствовали за собой полное право привлечь меня к судебной ответственности... Я прошу уважаемую редакцию сообщить об этом случае в вашей газете...»¹

¹ Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ), ф. 23, ед. хр. 7/26.

В декабре 1848 года в Пруссии развернулась подготовка к выборам в ландтаг. Естественно, что немецкие мелкобуржуазные демократы пытались усилить свое влияние на массы. Член Центрального комитета демократов Германии Карл Д'Эстер пишет в «Новую Рейнскую газету»:

«С целью предвыборной агитации в духе нашей партии Центральный комитет издает в Галле до окончания выборов [газету] «Демократический избиратель» и отдельные листовки. Первый номер только что напечатан тиражом в 15000 экземпляров. Широкое распространение пробного номера является крайне необходимым в интересах дела. Поэтому я прошу Вас принять меры к тому, чтобы пробный номер был бесплатно приложен к «Новой Рейнской газете», с этой целью я уже позаботился о высылке необходимых экземпляров в Кельн. Одновременно вы получите пакет для «Трирской газеты»...»¹.

Интересные данные о роли «Новой Рейнской газеты» и значении выступлений Маркса и Энгельса в печати дают некоторые письма в редакцию демократа Э. Мюллера-Теллеринга. Один из венских корреспондентов газеты, Теллеринг поддерживал с Марксом оживленную переписку, подробно сообщая о всех перипетиях революционной борьбы рабочих австрийской столицы и получая от Маркса указания и советы. Позднее, после поражения германской революции, Теллеринг разошелся с Марксом и Энгельсом и бесславно сошел с политической сцены. В своем письме от 20 января 1849 года он писал К. Марксу:

«Вчера я получил также Вашу венгерскую статью² вместе с письмом. Первая чрезвычайно заинтересовала меня, я перечитал ее много раз. В настоящее время никто в Европе не может превзойти Вашу манеру в трактовке политических вопросов. После победы во Франции перед Вами должно открыться блестящее будущее. Ваши передовые статьи означают для врагов проигранные сражения. Какой жалкой болтовней занимаются остальные наши демократические газеты по сравнению с «Новой! Рейнской! газетой!»! Большинство из них — просто близорукие чиновники безо всякого соображения. Если газета просуществует хотя бы 2 года, то вся Рейнская провинция окажется под вашим влиянием. Не будь руководители во Франции такими ослами — я имею в виду даже некоторых красных, — они должны были бы всеми силами поддерживать «Новую! Рейнскую! газету!», ведь она является превосходнейшим форпостом французских идей»³.

Маркс стремился привлечь в качестве авторов «Новой Рейнской газеты» наиболее активных участников революционного движения в Германии. Таким был Густав-Адольф Шлеффель, берлинский студент, пользовавшийся большой популярностью у рабочих прусской столицы. В издававшейся им газете «Друг народа» он призывал пролетариев к вооруженной борьбе против феодальной монархии.

В марте 1849 года Шлеффель прислал Марксу письмо, в котором говорилось:

«Возвратясь из Венгрии, где я имел несчастье в результате предательства одного немца в Коморне попасть в плен, я нашел, к сожалению, — я говорю: к сожалению, — что на родине я ничего не пропустил, кроме того, что делает нам мало чести. Может быть, тот момент, когда Фридрих-Вильгельм IV будет провозглашен императором половины Германии и этим закончатся действия реакции, произвольной распоряжающейся народами, еще раз даст народу возможность воспрянуть...

Если Вам это угодно, я приму участие в Вашей газете, прежде чем мне удастся с помощью небольшой народной газеты восстановить то влияние на массы, которое было прервано в результате 11-месячного заключения»⁴.

Адресованное лично Карлу Марксу письмо Л. Виля, редактора «Вестфальской газеты», издававшейся в городе Падерборн, характеризует ту обстановку, в которой тогда приходилось действовать демократическим журналистам.

«Местная реакция думает, что она получила, наконец, в свои руки тот камень, с помощью которого может ниспровергнуть «Вестфальскую газету», являющуюся для нее бельмом на глазу. Ее ярость против редактора достигла последней степени после недавней [публикации] его стихотворения «Революция»...

¹ ЦПА ИМЛ, ф. 23, ед. хр. 7/45.

² Речь идет о статье Ф. Энгельса «Борьба в Венгрии», напечатанной в «Новой Рейнской газете» № 194 от 13 января 1849 года.

³ ЦПА ИМЛ, ф. 23, ед. хр. 5/8.

⁴ Там же, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 214.

Меня упрекают в том, что я пошел еще дальше «Новой Рейнской газеты», издателя осаждают требованиями поврать со мной, наконец на меня доносят и хотят навязать мне на шею судебный процесс.

...Я могу, конечно, ожидать, что свободомыслящая пресса поддержит меня, в той мере, как она может это сделать. Поэтому я прежде всего обращаюсь к Вам [человеку], которого я глубоко уважаю, с просьбой время от времени уделять мне местечко в Вашем органе, где я мог бы высказаться по поводу здешнего убожества¹.

Весной 1849 года германские контрреволюционеры перешли в решительное наступление. Прежде всего они обрушились на демократическую печать. Используя любые предлоги, полицейские власти расправлялись с революционными газетами и журналистами. В апреле 1849 года в Берлине не осталось ни одного демократического органа.

Редактор газеты «Берлинская читальня» Г. Юлиус писал:

«Дорогой Маркс! Посылаю Вам копию письма, которое я получил с некоторым опозданием из Берлина, но которое все же можно использовать. Весь персонал моей редакции в конце концов разогнан, последний номер выпускался одним-единственным человеком, а я помогал издали! В последнюю неделю квартала все находилось в состоянии такого полного разложения, что печатание должно было прекратиться... Вообще, красивую же штучку откололи наши л е в ы е, открыто признававшие газету почти своим органом и затем совершенно спокойно, даже не пошевелив ни одним пальцем, позволившие погубить ее. Однако это вовсе не удивительно, если они могут играть в палату среди штыков в Берлине и под давлением этих правых, этой массы юнкеров и чиновников, и этой демократии à la Кирхман и à la «Nationalzeitung»! Что можно предпринять с такими людьми, в жилах которых вместо крови течет болотная вода? Нет, все эти люди, такие как они есть, слабосильные буржуа, ничего не сделают! Д'Эстер, может быть, единственный, кто имеет будущее, но и он уже, к сожалению, слишком мудрствует и привыкает к соглашательству; этот парламентский воздух — яд. Я напишу Вам, возможно, когда у меня будет что-нибудь, что покажется мне пригодным для вашей газеты...»².

В эти трудные дни «Новая Рейнская газета» горячо выступала в защиту демократической прессы, бичуя либеральные буржуазные органы, молчаливо соглашавшиеся с антинародными мерами правительства и безропотно принимавшие удары реакционеров.

«Новая Рейнская газета» вела большую агитационную работу среди солдат прусской армии, пытаясь привлечь их на сторону революции. О влиянии и популярности газеты Маркса и Энгельса свидетельствует письмо, написанное 15 марта 1849 года солдатами 34-го пехотного полка, расквартированного в Кельне, в редакцию газеты.

«Мы, солдаты 34 пехотного полка, не можем долее медлить с выражением нашей искренней и глубокой благодарности многоуважаемой редакции «Новой Рейнской газеты...»³.

Письма демократических журналистов в «Новую Рейнскую газету» были одним из важных источников ее информации о положении в Германии. Маркс и Энгельс использовали их при подготовке своих выступлений в газете, при оценке обстановки, сложившейся во время революции в различных районах страны.

¹ ЦПА ИМЛ, ф. 23, ед. хр. 6/24.

² Там же, ед. хр. 6/29.

³ Там же, ед. хр. 14/14. На фотокопии документа рукой неизвестного написано: «На оригинале письма стоит 1 700 подписей».

В. МОСОЛОВ

★

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РАРИТЕТЫ

Бiblioteca Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС собирает и бережно хранит первые и прижизненные издания произведений классиков марксизма-ленинизма, а также нелегальные издания их произведений, вышедшие как в России, так и в других странах, периодические издания, в которых сотрудничали Маркс, Энгельс, Ленин.

Эти издания попадали в библиотеку из самых различных мест: здесь книги из партийной библиотеки ЦК РСДРП в Женеве и книги из библиотеки историка социализма Грюнберга, из архива «Бунда» и из коллекции нелегальных изданий, собранной бывшим агентом царской охраны Меньшиковым. В фондах Института хранятся издания Маркса и Энгельса, находившиеся в личной библиотеке друга Маркса Л. Кугельмана, и книги с печатями жандармских управлений.

В библиотеке хранятся очень редкие первые издания ранних произведений К. Маркса и Ф. Энгельса.

Вот перед нами знаменитый двойной номер «Немецко-французского ежегодника» (1844) со статьями Маркса «К еврейскому вопросу» и «К критике гегелевской философии права. Введение», в которых совершается окончательный переход Маркса от идеализма к материализму и от революционного демократизма к коммунизму. В. Г. Белинский писал А. И. Герцену после ознакомления с «Немецко-французским ежегодником»: «Истину я взял себе, — и в словах Бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут, и люблю теперь эти два слова, как следующие за ними четыре».

Большую ценность представляет собой первое издание первого совместного труда К. Маркса и Ф. Энгельса «Святое семейство, или Критика критической критики. Против Бруно Бауэра и компании», вышедшего в 1845 году во Франкфурте-на-Майне. В этой книге, по словам В. И. Ленина, заложены основы революционно-материалистического социализма.

В библиотеке имеется также первое издание книги К. Маркса «Нищета философии», вышедшей в 1847 году в Брюсселе на французском языке тиражом в 800 экземпляров.

Настоящей жемчужиной коллекции произведений Маркса и Энгельса является собрание изданий «Манифеста Коммунистической партии», единственное в своем роде по полноте. Только в фонде архивного хранения находится 119 изданий «Манифеста», из них 73 на русском языке и других языках народов СССР. «Эта небольшая книжечка стоит целых томов: духом ее живет и движется до сих пор весь организованный и борющийся пролетариат цивилизованного мира», — писал В. И. Ленин в 1895 году.

Вот первое издание «Манифеста». На книжке автограф друга и соратника К. Маркса и Ф. Энгельса — Фридриха Лесснера. Перелистываем чуть-чуть пожелтевшие страницы; последняя — двадцать третья — заканчивается лозунгом, который звучит сейчас так же по-боевому, как и в 1848 году: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Имеется и другой вариант первого издания — тридцатистраничный.

Энгельс писал, что «Манифест Коммунистической партии» был переведен на ряд языков уже в 1848 году. В библиотеке ИМЛ хранится редчайший шведский перевод «Манифеста», вышедший в 1848 году в Стокгольме.

Все эти издания «Манифеста» вышли без указания авторов.

Впервые Маркс и Энгельс названы его авторами в редакционном предисловии к первому английскому переводу «Манифеста», который был напечатан в 1850 году в журнале «The Red Republican», издававшемся одним из вождей левого крыла чартизма Джорджем Джулианом Гарни.

Перед нами первое издание «Манифеста» в Австралии, вышедшее в 1893 году. На титульном листе книги резиновой печаткой оттиснута знакомая по нелегальным листовкам надпись: «Прочти и передай дальше».

В фондах библиотеки имеется очень интересное издание «Манифеста» — свидетельство мужественной борьбы немецких коммунистов с гитлеровским режимом... Небольшая книжечка, отпечатанная на тонкой бумаге. На обложке указано, что брошюра вышла в известном германском издательстве «Reclam». На обложке указано «Dr. Hermann Gackenholtz. Das Diktat von Versailles und seine Auswirkungen» («Доктор Герман Гакенхольц. Версальский диктат и его последствия»). Переворачиваем несколько страниц и читаем... первые строки «Манифеста»: «Ein Gespenst geht um in Europa — das Gespenst des Kommunismus» — «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма». В библиотеке хранится еще одно «камуфляжное» издание. Под невинным заголовком «Ernst Wiechert. Das Spiel vom deutschen Bettelmann» («Эрнст Вихерт. Пьеса о немецком нищем») напечатана «Критика Готской программы» Маркса с замечательными предвидениями будущего коммунистического общества.

А вот комплект «Новой Рейнской газеты», «дныне остающейся лучшим, непревзойденным органом революционного пролетариата», как писал В. И. Ленин в 1914 году. Последний — триста первый — номер этой газеты, главным редактором которой был К. Маркс, вышел 19 мая 1849 года. Он напечатан красной краской как символ непобежденной революции.

В 1852 году в неперинодическом журнале «Die Revolution», издававшемся в Нью-Йорке Иосифом Вейдемейером, была напечатана работа К. Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», явившаяся одной из важнейших вех в развитии марксистского учения о государстве.

Смотришь на первый выпуск этого журнала и невольно вспоминаешь историю «Восемнадцатого брюмера». Средств на типографские расходы ни у Маркса, ни у Вейдемейера не было. Выпуск журнала в свет был поставлен под угрозу. Но вот один из немецких рабочих-эмигрантов, имя которого осталось неизвестным, пожертвовал все свои сбережения — 40 долларов — на печатание книги. Так увидела свет одна из лучших работ Маркса.

В 1867 году в Гамбурге вышел первый том «Капитала». Коллекция первых изданий «Капитала» на различных языках — русском и французском, английском и польском, итальянском и голландском, датском и других — служит убедительной иллюстрацией широкого распространения, которое получил этот гениальный труд еще при жизни Маркса и Энгельса.

Заговор молчания, которым буржуазная пресса встретила выход «Капитала», оказался безрезультатным. Передовые рабочие горячо приняли «Капитал» и использовали его как практическое оружие в борьбе против капиталистов. Большой интерес представляет хранящаяся в ИМЛ листовка под названием: «The workingmen's voice on the normal working day» («Голос рабочих о нормальном рабочем дне»). Это сделанная в Лондоне в 1872 году перепечатка листовки, вышедшей в Нью-Йорке. Поль Лафарг в своих воспоминаниях о Марксе писал: «...В Америке во время одной вспыхнувшей в Нью-Йорке крупной забастовки выдержки из «Капитала» распространялись в форме прокламаций для того, чтобы побудить рабочих к стойкости и доказать им справедливость их требований». Текст этой листовки представляет собой отрывок из 8-й главы первого тома «Капитала» — страстный обвинительный акт против варварской эксплуатации трудящихся со стороны капиталистов.

Английского перевода «Капитала» тогда еще не существовало, и поэтому перевод листовки сделан прямо с немецкого издания листовки 1867 года.

Большую библиографическую редкость представляют собой русские нелегальные издания произведений основоположников научного коммунизма, имеющиеся в библиотеке ИМЛ. Эта часть коллекции носит уникальный характер.

В 1844 году Маркс писал: «Подобно тому как философия находит в пролетариате свое материальное оружие, так и пролетариат находит в философии свое духовное оружие...» Русский пролетариат, как и пролетариат других стран, нашел это оружие в философии марксизма.

Гектографированные и рукописные, напечатанные на машинке и литографские издания работ Маркса и Энгельса; маленькие книжечки плехановской «Библиотеки современного социализма»; жирные сургучные жандармские печати, приклепанные на обложки книг; написанные ровным казенным почерком слова: «Из вещественных доказательств по делу...»,— все это приводит на память ленинские строки: «В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории... Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине выстрадала полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма...»

Остановимся на нескольких изданиях из коллекции русских нелегальных изданий «Манифеста». В Институте хранятся все три находящиеся в Советском Союзе экземпляра первого русского перевода «Манифеста Коммунистической партии», вышедшего в Женеве в 1869 году. Издание представляет очень большую редкость, хотя научная ценность перевода низка.

На большинстве нелегальных изданий, вышедших в России, не указаны место и год выхода книги. Определить их иногда помогают пометки на книгах. Вот одно из гектографированных изданий «Манифеста». На обложке чернилами написано: «Белинской». Эта надпись — одно из звеньев последующих поисков. «Обзоры важнейших дознаний, производившихся в жандармских управлениях Империи... по делам о государственных преступлениях» позволили установить, что данное издание было выпущено народовольцами в Харькове в 1883 году. В одном из томов «Обзора» читаем: «При обыске Белинской найдено... и гектографированный «Манифест Коммунистической партии».

Перед нами «Манифест», напечатанный на гектографе в Петербурге 75 лет тому назад — в 1883 году. Он прошнурован и скреплен сургучной печатью полицейского надзирателя сибирского городка Киренска. Как он попал туда — неизвестно. Может быть, какой-нибудь сосланный революционер привез его с собой. Во всяком случае, это еще один штрих, показывающий распространение «Манифеста» в России в 80-х годах прошлого века.

Среди гектографированных изданий имеется издание, сброшюрованное в виде небольшой книжечки в 149 страниц. На ней значатся все выходные данные (разумеется, вымышленные), вплоть до адреса литографии, и даже довольно ядовитая пометка: «Дозволено цензурою. Вологда. Января 6-го дня 1902 года».

Интерес к работам Маркса и Энгельса в России был очень велик и, конечно, не ограничивался «Манифестом Коммунистической партии». В этой связи очень знаменательно редакционное примечание к одному из нелегальных изданий работы Энгельса «Научный социализм»¹, вышедшему в начале 80-х годов прошлого века: «Помещение настоящего перевода обусловлено тем соображением, что вопрос о социализме в настоящее время является вопросом дня. Каждому из нас придется по всей вероятности столкнуться с ним в той или иной форме, а потому и необходимо, как можно точнее, определить свое отношение к нему... Для человека, желающего составить твердое убеждение о каком-нибудь предмете, нужно знать все за и против по возможности из первых рук».

¹ «Научный социализм» — одно из названий, под которым в России выходила нелегально работа Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке».

Не случайно поэтому, что первым переводом «Капитала» на иностранные языки был русский перевод первого тома, вышедший уже в 1872 году тиражом три тысячи экземпляров. Через полтора месяца было продано девятьсот экземпляров — цифра по тем временам немалая.

Труды Маркса русские народники пытались использовать против марксистов. В фонде библиотеки хранится литографированное издание 1885 года известного письма Маркса в редакцию «Отечественных записок», где он высказывался о судьбах общины в России. Энгельс говорил об этом письме, что оно «...долгое время циркулировало в России в рукописных копиях с французского оригинала... Письмо это, как и все, что выходило из-под пера Маркса, обратило на себя большое внимание в русских кругах и подверглось разнообразным толкованиям...» Об одном из подобных толкований свидетельствует примечание издателей: «В виду появления и в нашей революционной литературе «более марксистов, чем сам Маркс», печатаем это письмо, как интересный документ, нигде еще не обнародованный». На первой странице стоят штампы: «Книжн[ая] агентура Нар[одной] Воли». Но большая часть этого издания попала в руки полиции.

Труды Маркса, Энгельса, Ленина давно уже выходят миллионными тиражами. Но тем ценнее для нас старые книжки первых изданий — свидетели рождения той искры, из которой возгорелось пламя победоносной пролетарской революции.



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

УКРАШАТЕЛИ ГРЯЗИ

США

Чтобы скушать Красную Шапочку, Серому Волку, как известно, пришлось переодеться доброй Старой Бабушкой. Видимо, и в сказке маскарад был несовершенным, потому что маленькая Красная Шапочка сразу же начала задавать недоуменные вопросы.

«Сатердей ревью» («Субботнее обозрение»), критико-библиографический еженедельник, № 3 от 18 января 1958 года. Год издания 35-й. Нью-Йорк. Редактор Норман Казенс.

Хищные волки не перевелись, и сегодня они пытаются надевать на себя чепсы и очки, выдавая себя за милейших старушек.

★

Вскоре после войны американская пресса начала кампанию: «Нужен образ положительного бизнесмена!» Кампания под этим лозунгом потерпела неудачу. Большой литературы о «большом бизнесе» не получилось. Но попытки продолжаются. Вот уже в который раз выступает на этом поприще литературно-критический журнал «Сатердей ревью».

Недавно этот журнал снова посвятил специальный номер состоянию и перспективам американского «большого бизнеса». Не забыты, конечно, и произведения художественной литературы.

Со страниц «Сатердей ревью» держат речь главы могущественных монополий, доктора коммерческого права, руководящие деятели бизнеса. В отличие от прежних своих выступлений на эту тему, журнал наряду с американскими магнатами капитала рекламирует и зарубежных — английских, французских, итальянских, западногерманских.

Снова — в третий раз — выдвигается «бизнесмен года», избираемый редакцией «Сатердей ревью» как образец для подражания. В этом году выбор пал на Дивре Джозефса — главу Страховой компании, занимающей десятое по счету место среди американских монополий. Сопоставим только две цифры: бизнесмен 1956 года Генри Форд II даровал «Фордовскому фонду» для «нужд просвещения» 500 миллионов долларов. Дивре Джозефс по всем правилам аукциона довел свой дар до 5 миллиардов долларов. Журнал называет сообщение об этом даре «исторической сагой», но не напоминает читателю ни того, что капиталы, вложенные в подобные фонды, обеспечивают вкладчику льготные условия налогообложения, не говоря уже о громкой рекламе, ни того, что цели этих фондов подчас весьма далеки от «нужд просвещения».

О чем же говорили всеильные короли нефти и автомобилей, угля и стали со страниц литературного журнала?

В редакционной статье сказано: «Руководители современного американского бизнеса несут ответственность перед американским народом за то, чтобы продолжалось процветание и не было бы безработицы, за то, чтобы наша страна вновь обрела первенство в области науки и образования, которое мы хоть и временно, но уступили Советской России, за то, чтобы демократический капитализм победил бы в соревновании с советской экономической системой на зарубежных рынках, и за мудрую социально-экономическую политику здесь на родине».

Задачи весьма величественные, что и говорить! Президент «Дженерал электрик» Ролф Кординер углубляет и поясняет редакционную статью так: «Народ ждет, что бизнес удовлетворит не только его материальные нужды и стремления, но также и запросы в области психологической и нравственной... Американский бизнес должен

двигаться вперед такими темпами, чтобы коммунисты никогда не смогли догнать его... Урок современной истории заключается в том, что система свободного предпринимательства должна либо научиться жить в этом мире, либо рискует быть им поглощенной».

Итак, речь идет о моральном и материальном господстве «большого бизнеса» над американским народом и над всем миром. Журнал выступает с призывами утвердить его в то время, когда это господство становится все более проблематичным, а его влияние в «области психологической и нравственной» все слабеет. Вот откуда стремление представить хищников в виде добродетельных духовных пастырей, властителей народных дум и чаяний. Профессор коммерческого права Берль явно намекает в своей статье, что современными «lords spirituals» — духовными пастырями — должны стать руководители монополий. Задача не новая, но и не легкая.

В недавнем прошлом империалисты высказывались цинично и откровенно. Они не скрывали своего стяжательства. Они даже гордились своей грубой силой. Таков был в соответствии с жизненной правдой пушечный король Андершафт в пьесе Шоу «Майор Барбара», Тимон в «Очарованной душе» Роллана, Антони Глостер в поэме Киплинга.

Хищническая природа империализма нашла наиболее откровенное выражение в теории и практике фашизма. Недаром Геббельс в одной из своих речей в августе 1942 года прямо заявил: «Хватит болтать об идеях и мировоззрениях. Мы воюем, чтобы обогатиться. Мы воюем за пшеницу, за уголь, за нефть».

Но сейчас — иное время и поэтому иные песни. Надо заставить людей забыть истинный облик бизнеса, грязную правду. Надо попытаться доказать, что бизнесмен не таков, каким уже на протяжении десятилетий его видит и представляет народ. Хотя для выполнения этих задач приведена в действие мощная пропагандистская машина США, результат мало соответствует затраченным усилиям. После огромного количества статей, призывов, разъяснений специальных номеров «Лайф», «Форчун», «Сатердей ревью» создано десятка полтора романов и пьес, отнюдь не украсивших американскую литературу. Даже когда такие талантливые писатели, как Марканд («Искренне, Уиллис Уэйд») или О'Хара («Северный Фредерик, дом 10»), принимаются выполнять заказ «большого бизнеса», они, несмотря на мастерство деталей, в целом терпят неудачу. И это не случайность, а закономерность, еще одно неопровержимое доказательство того, что буржуазная пропаганда ни приказом, ни заказом, ни подкупом не может создать подлинной литературы.

Американская литература развивается своим путем, наследуя традиции Твена, Драйзера, Синклера Льюнса.

Известные писатели Америки, когда они касаются в своем творчестве бизнесмена, создают образы «разбойных рыцарей», а отнюдь не «положительных героев». Протест против власти бизнеса проявляется в литературе США последних лет по-разному, чаще всего в довольно сложно опосредствованных формах. Это может быть трагедия коммивояжера у Артура Миллера или авторская интонация Хемингуэя в противопоставлении простого рыбака Сант-Яго и пунктиром намеченной иностранной туристки-миллионерши; это могут быть веселые бедняки Сарояна, всем своим образом жизни, мироощущением отрицающие буржуазную респектабельность, и это едкая ирония Стейнбека по адресу буржуазных политиканов в его «Пипине IV»; это, наконец, отвратительный стяжатель Флем Снопс, да и вообще обличение «снопсизма» в последнем романе Уильяма Фолкнера «Город».

Вполне респектабельный буржуазный профессор Райт Миллз, преподающий социологию в Колумбийском университете, выпустил недавно книгу «Власть избранных», в которой дал глубокую и всестороннюю характеристику правящему классу США на современном этапе. С этой книгой то и дело полемизируют те, кто выступает на страницах январского номера «Сатердей ревью», и это вполне понятно. Выводы Миллза — а его исследование основано на огромном фактическом материале — прямо противоположны задачам трубадуров бизнеса. Миллз опровергает множество распространяемых в США мифов: миф о «народном капитализме», миф о более «равномерном» распределении богатств и миф о «непомерных налогах на крупный капитал», миф о

том, будто Америкой правят люди, заслуживающие быть на вершине власти и богатства благодаря своим личным достоинствам. Он пишет:

«Люди, принадлежащие к высшим кругам, отнюдь не являются выдающимися лицами; их фантастический успех не связан непосредственно с их способностями. Те, кто сидит наверху, у власти, отбираются и формируются с помощью силы, богатства, рекламной механики, которые господствуют в их среде. Эти люди отобраны и воспитаны не на службе обществу, связанной с духовным миром, с миром знания. Они выходят не из рядов партий, ответственных перед народом, которые открыто и ясно обсуждают проблемы, так неумно решаемые сейчас у нас. Эти люди заняли свои ответственные места не с помощью большинства, полученного в добровольных ассоциациях, которые связывают публику с органами, принимающими решения. Люди, обладающие властью, не превзойденной в истории человечества, преуспевают благодаря американской системе организованной безответственности».

Было бы непростительным упрощенчеством утверждать, что капиталист не может быть героем современного романа. Спору нет, огромный размах деятельности капиталистических монополий — это возможная тема для художника. Но положительным героем? Отнюдь нет! У людей, стоящих во главе монополий, — поскольку их помыслы и чаяния сосредоточены на бизнесе, на прибыли, — душа «скукоживается», как шагреневая кожа.

Профессор Миллз весьма точно формулирует тот вывод, который обстоятельно и многообразно доказывает многоголосая, многонациональная реалистическая литература XIX и XX веков, — каждый шаг делового и материального преуспеяния человека в капиталистическом мире есть шаг духовного, нравственного обнищания...

Драйзер в «Стоике» с большой силой показал бессмысленность жизни Каупервуда, этого титана американского стяжательства. Если в первых частях эпопеи («Финансист», «Титан») у писателя сквозили нотки любования своим героем, то здесь, в последней книге, обогащенной новым историческим опытом, Драйзер глубоко, изнутри, всесторонне обнажает не только личную, но и общественно-историческую бесцельность жизни, прожитой в погоне за миллионами. Человечески Франк Каупервуд интересен, поскольку и он начинает если не прозревать, то предчувствовать конец — не как смерть физическую, а как умирание не заслуживающего бессмертия дела.

Журналисты и бизнесмены стремятся доказать на страницах «Сатердей ревью», что сложившееся представление о бизнесмене устарело. Слов нет, все движется и изменяется в мире, и, конечно, современный американский бизнесмен тоже претерпевает изменения. Связь бизнеса с политикой раньше, как правило, маскировалась. И это вполне понятно — простые люди любой страны не хотели, не могли считать национальной целью преуспеяние, умножение богатств «шестидесяти» или «двухсот семейств». И еще менее хотели бы они умирать за это в империалистической войне. Поэтому, повторяем, связь бизнеса с политикой маскировалась самым тщательным образом, сложными декоративными покровами из «демократии», «свободы», «всеобщего блага».

Но теперь, по выражению одного из тех, кто выступает в этом номере «Сатердей ревью», бизнесмены выходят из долларовой башни в самую гущу общественной жизни.

Куртни Браун, декан коммерческого факультета Колумбийского университета, заявляет: «Может быть, именно современные корпорации и являются единственными совместимыми с политической свободой организациями, которые могут выполнить большую часть дел в современном мире».

Статья, славословящая «бизнесмена года» Дизре Джозефа, заканчивается так: «Г-н Джозеф полностью соответствует новому образу бизнесмена-гражданина в нашей демократической экономике» (подчеркнуто мной. — Р. О.). А о главе английской автомобильной фирмы Уильяме Рутсе сказано прямо: «Сэр Уильям — выдающийся образец современного британского бизнесмена, который сегодня, укрепляя свою собственную фирму, укрепляет тем самым свою нацию, укрепляет тем самым весь свободный мир».

Так, без всяких промежуточных ступеней, — делая деньги, ты укрепляешь весь свободный мир!

Но обратимся снова к профессору Миллзу. Его книга заканчивается такими вещными словами: «Из всех возможных ценностей человеческого общества в Америке одна и только одна действительно властна, действительно универсальна, действительно ясна, действительно и полностью принята как цель человеческой жизни. Эта цель — деньги, и пусть те, кто их лишен, говорят, что «виноград зелен».

Сделать деньги целью жизни для большого числа людей еще можно. Но сделать их предметом поклонения, священного трепета уже много труднее.

Как известно, у колыбели современного буржуазного общества стояли титаны. И тем не менее уже тогда, в XVIII веке, перед искусством встала проблема, что изображать, живописуя этих людей, — некрасивую реальность или неправдивую красоту.

Изобразить буржуа рыцарем «без страха и упрека» не удавалось даже тогда. Тем менее это возможно в наши дни.

И это отлично понимают и те, по чьему приказу ныне прославляются бизнесмены, и те, кто эти приказы должен выполнять.

Сквозь густой слой лака все время проступают черные краски, за неистовыми звуками фанфар слышится глубокая тревога. Все время маячит призрак кризиса. Ведь недаром за два года так упало промышленное производство в США, недаром увеличилось число безработных — обо всем этом говорится и на этих ликующих страницах. Недаром в период, который американская печать выразительно именует «послеспутниковым», так возросло беспокойство, что в США пришлось созывать срочную конференцию по экономическим вопросам. Выступление отнюдь не либерально настроенного Минни на этой конференции весьма симптоматично.

Недаром почти на каждой странице упоминается СССР или спутник, и упоминается с ужасом и завистью.

Главная, основная причина этой явной тревоги — не падение рыночной конъюнктуры, которое может быть и временным, и не «советская луна», проносищаяся над Землей. Главная причина тревоги заключается в том, что почти миллиард людей на Земле живет и вполне благополучно обходится без этих «духовных пастырей» с чековыми книжками вместо четок. Современная история уже доказала практикой социалистической жизни: можно управлять промышленностью, транспортом, сельским хозяйством без буржуазии. И социалистические страны при этом не только не терпят многократно предсказанного краха, но, наоборот, успешно перегоняют заповедный монополистический рай, о чем со скрежетом зубным приходится писать самим привратникам этого рая...

На заре XX века в США возникло антибуржуазное движение интеллигенции, вошедшее в историю под названием «разгребателей грязи».

Один из самых ярких и талантливых представителей этого движения — Линкольн Стеффенс — рассказывает в поразительно интересной «Автобиографии» о своих настоячивых и сложных исканиях истины. Уже активно и смело разоблачая царящую политическую коррупцию, подкуп, разбойный захват власти, взяточничество в огромных размерах, Стеффенс, как и большинство его современников, не мог еще ответить на вопрос о причинах этих бедствий. Ему казалось, что все дело в плохих людях, которых надо заменить хорошими. Потребовалось много времени, потребовалась сложная духовная эволюция, прежде чем Стеффенс понял, что дело не в отдельных людях, а в порочности системы, и пришел к окончательному выводу: «Биг бизнес» — большой бизнес — вот подлинное лицо дьявола, вот корень зла и в области политики и в области экономики.

Те, кто выступает со страниц «Сатердей ревью», тоже пытаются убедить читателей, что причины всех бед кроются в плохих людях. Президент «Дженерал электрик» заявляет с пафосом: «Я решительно отвергаю оскорбления тех, кто утверждает, что бизнесмен по самой сути своей есть жестокое создание, продавшее душу за деньги и власть». Но он же невольно опровергает себя, самокритично признаваясь: «Мы вряд ли можем рассчитывать на самоуважение или общественную поддержку, если наши собственные поступки обнаруживают низкие побуждения, мелкие мысли или двойной счет».

То, что было заблуждением, исторически обоснованным заблуждением, полвека тому назад, в наши дни становится самой бесстыдной спекуляцией.

Еще не видя, не осознавая, теоретически не осмысливая причин зла, Стеффенс и его единомышленники «разгребали грязь» буржуазного свинства, беспощадно разоблачая отдельных представителей системы. Их деятельность, при всей ее реформистской ограниченности, приносила весьма ощутимые частные результаты, была даже общественно полезной.

Недаром ведь после синклеровских «Джунглей», вызвавших шумный скандал, положение рабочих на чикагских скотобойнях явно изменилось к лучшему.

Можно себе представить, с каким негодованием Стеффенс и его соратники отнеслись бы к предложению — не разгребать, а украшать эту грязь, славить монополистов.

Современные «украшатели грязи» тоже, вероятно, войдут в историю общественной мысли: геростратова «слава» стойко держится в веках. Но повернуть колесо истории вспять им не удастся.

Все заверения продажных социологов и экономистов, что в Америке уже нет частной собственности («Вместо этого у нас такая система, которая отличается от русской или социалистической системы только по своему философскому содержанию», — пишет профессор Берль), мало кого обманут сегодня.

Никакие «капиталистические манифесты» не заставят народы поверить в ангелов-монополистов. Нет, не помогут хищным волкам наряды добрых бабушек!..

Читая оды бизнесменам и их собственные речи на страницах «Сатердей ревью», невольно хочется задать детски наивный, но и детски обоснованный вопрос Красной Шапочки: «Бабушка, бабушка, почему у тебя такие большие зубы?»

Р. ОРЛОВА.

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА

Один из участников встречи советских и итальянских поэтов, состоявшейся в Риме в октябре прошлого года, сказал, что между выступлениями гостей и хозяев «дистанция астрономического масштаба», на что Карло Салинари, главный редактор прогрессивного итальянского еженедельника «Контемпаранео», остроумно заметил, что в наши дни не приходится бояться даже астрономических расстояний. Благодарному делу сокращения расстояний между народами и призвана служить армия переводчиков, этих, по крылатому пушкинскому выражению, «почтовых лошадей просвещения».

Перед нами орган Международной федерации переводчиков (FIT)¹ «Бэбел». Это несколько необычный журнал: издается он в Париже, печатается в Бонне и публикует статьи на английском, французском, немецком, испанском и итальянском языках, что, однако, не представляет особых неудобств, потому что все его читатели — полиглоты.

Но этим не исчерпывается его своеобразие. «Бэбел» не только многоязычный, но, если можно так выразиться, и многоголосый журнал. Вообще говоря, это следовало бы только приветствовать, если бы с его страниц порой не раздавались совсем уж странные голоса. Так, например, не может не озадачить читателя опубликованная в одном из последних номеров журнала статья Лоренцо Ланца ди Трабия, известного итальянского переводчика, председателя Федерации, под многозначительным названием «Искушенный грех гордыни».

¹ Международная федерация переводчиков, основанная в 1953 году, объединяет национальные ассоциации переводчиков и ставит своей задачей защиту профессиональных интересов переводчиков, а также содействие переводческой деятельности и развитию теории перевода.

«Бэбел» («Вавилон»), ежеквартальный журнал международной информации и изысканий в области перевода, том III, № 1—4, 1957. Париж. Год издания 3-й. Издатель — Международная федерация переводчиков. Директор Пьер-Франсуа Кайе. Главный редактор Эрвин Г. Боттен.

★

«Бэбел» в переводе означает «Вавилон», а насчет Вавилона в библии сказано: «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с Востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там... И сказали они: построим себе город и башню высотой до небес; и сделаем себе имя, прежде нежели расеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ и один у всех язык; и вот что начали они делать и не отстанут от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон...»

На гранитном фундаменте этих неопровержимых исторических данных и зиждется самой важной теорией перевода, изложенная в статье Ланца ди Трабиа.

Теория эта в общих чертах сводится к следующему: как явствует из приведенных стихов священного писания, крушением вавилонской башни и разноязычием бог покарал сынов человеческих за грех гордыни. Отсюда видно, в чем состоит истинная миссия переводчиков: в их лице человечество и поныне искупает сей грех, ибо они смиренно трудятся не ради собственной славы, а ради вящей славы другого творца, сиречь, автора оригинала.

Уже сам по себе этот благочестивый вывод весьма примечателен. Но Лоренцо Ланца ди Трабиа не останавливается на этом. Исходя из своей концепции перевода как искупления, без коего, вполне понятно, нет и спасения, Лоренцо Ланца ди Трабиа ополчается на все то, в чем ему мерещится пагубное возвращение на стезю греха, то есть непосредственного общения и взаимного понимания.

«Те, кто хочет ныне создать всеобщий язык, который может быть лишь мертворожденным или воскрешенным из мертвых, покушаются на преступление против природы — преступление гордыни. Они не причастны к тем силам, которые противостоят Вавилону; они враги нашего переводческого духа. Прикрываясь обманчивым щитом прогресса, легионы обуюнных гордыней людей, тоже верящих, что они творят благо, создали всемирный язык науки, техники и математики, навевающий ослепительные фантазии, измыслили хитроумные формулы, интегралы, кванты и положили, таким образом, основание новому Вавилону, подготовив в то же время новое бедствие, которое явно предвещает расщепление атомного ядра, и развязали могучие силы, ускользающие из-под нашего контроля, — короче, совершили новый грех гордыни, который может повлечь за собой лишь новую кару. И все это происходит из пагубной идеи всеобщего языка».

Филиппика Ланца ди Трабиа нуждается не только в переводе с английского языка на русский, но и с «высокого штиля» на «низкий». Если ди Трабиа тревожит деятельность эсперантистов и угроза вытеснения живых языков древнегреческим или латынью, мы можем его успокоить: ни то, ни другое не представляет непосредственной и неминуемой опасности. Но если его пугает и взаимное обогащение языков путем заимствований, калек, «интернационализации» терминов и т. д. — хотя отсюда еще очень далеко до всеобщего языка, — если его наводит на черные мысли тот факт, что, скажем, слова «социализм», «кооперация», «советы», «большевик», «спутник» и многие другие, относящиеся к самым различным сферам общественной жизни и культуры, уже не нуждаются в переводе, то человечество так давно вступило на этот путь, что его вряд ли остановят даже предостережения Ланца ди Трабиа.

Что же касается «легионов обуюнных гордыней людей», создавших всемирный язык науки и техники, то, во-первых, несколько странно, что Ланца ди Трабиа обрушивается на них в том самом журнале, который ратует за всемерную унификацию научно-технической терминологии, а во-вторых, почтенный председатель FIT напоминает здесь ребенка, который, ударившись об угол стола, бьет его кулачком.

Даже как-то неловко доказывать, что «хитроумные формулы, интегралы и кванты» так же неповинны в бедствии Хиросимы, как неповинен в объявлении войны человек, который перевел для своего правительства неприемлемый ультиматум враждебной державы, хотя с тем же успехом перевел бы и ноту с предложением союза, экономического сотрудничества и расширения культурных связей.

По выражению Маркса, человеческий прогресс под властью капитала уподобляется тому отвратительному идолу, который не желал пить нектар иначе, как из черепа уби-

того. Но из этого отнюдь не следует, что надо отречься от прогресса, а следует лишь, что надо обуздать жрецов капитала.

Если рассуждения Ланца ди Трабиа довести до логического конца, то его идейную позицию придется определить термином «обскурантизм», который, кстати сказать, тоже не нуждается в переводе. Об этом не стоило бы и говорить всерьез, если бы в тирадах Ланца ди Трабиа не звучал отголосок пресловутых нападок на прогресс, подкрепляемых ссылками на преступления против человечества,—нападков, которые слишком часто имеют своей практической целью снять ответственность за эти преступления с их истинных виновников.

Справедливости ради, сразу же оговоримся, что как о Ланца ди Трабиа-переводчике нельзя судить по его философии перевода, так и о журнале «Бэбел» еще нельзя судить по статье Ланца ди Трабиа. Уже не говоря о богатом информационном материале, мы найдем здесь немало ценных и интересных теоретических и исторических работ, нередко выходящих за пределы той специальной области, на которую, естественно, прежде всего обращено внимание журнала. К таким работам относится, в частности, статья генерального секретаря FIT Эдмона Кари «Перевод и поэзия» («Бэбел», т. III, № 1, март 1957).

Возможен ли адекватный поэтический перевод? Более или менее категорический отрицательный ответ на этот вопрос уже почти стал общим местом.

«Поэзия в большинстве случаев неперевоима,—заявляет, например, голландский исследователь Шоттман в своей работе «О трудном искусстве перевода»,—и это в особенности относится к лирической поэзии».

«Красота рождается из чудесной гармонии между содержанием и формой,—поясняет другой теоретик перевода, А. Вейман.—Чтобы перевести поэтическое произведение, приходится жертвовать либо тем, либо другим, и эта гармония неизбежно нарушается».

«Всякое стихотворение,—замечает Андрэ Моруа,—есть чудесное совпадение между ритмом и мыслью. Поэтому перевести стихотворение трудно, а перевести его стихами почти невозможно. Вероятность того, что будет достигнуто четверное совпадение между двумя ритмами и двумя мыслями, чрезвычайно мала».

Можно было бы привести еще множество аналогичных высказываний.

Если бы Э. Кари, сославшись в опровержение этой точки зрения на «Короля Туле» Гёте в переводе Жерара де Нервала, на «Морское кладбище» Поля Валери в переводе Сесиль дей Льюис, на сонеты Шекспира и стихи Бернса в переводах С. Маршака, уже не говоря о переводах Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Шлегеля, Драйдена, Попа, тем и ограничился, он только лишний раз подтвердил бы не менее избитую истину, которая вошла в поговорку и всеми молчаливо подразумевается. Но не вступая в схоластический спор, бесплодность которого предreshена уже относительностью понятия «адекватный» применительно к поэтическому переводу, Э. Кари пытается вместо этого рассмотреть те реальные трудности — а они огромны, — с которыми неизбежно сталкивается поэт-переводчик и с которыми связан пессимистический взгляд на самую возможность поэтического перевода.

Проблема поэтического перевода состоит прежде всего в том, чтобы передать на родном языке, не нарушая единства («гармонии», «совпадения») формы и содержания, поэтическое произведение, принадлежащее к другой, иногда очень далекой культуре, которая характеризуется иным строем мышления, иным строем речи, иной литературной традицией и т. д. и т. п.,—передать, сохранив его национальное своеобразие и вместе с тем сделав его достоянием своей национальной культуры, — короче, дать сколок с оригинала, как раз настолько верный модели, чтобы она «просвечивала» сквозь него, и как раз настолько отличный от этой модели, чтобы мертвая экзотика фактуры не заслонила от нас «частицы живого».

Всю сложность этой задачи, решение которой невозможно без проникновения в «душу» оригинала, без глубоких, разносторонних, отнюдь не только лингвистических знаний, без виртуозной техники и непрерывных творческих исканий, Э. Кари показывает на примере переводов из классической китайской поэзии. Здесь все — от богатства и своеобразия ассоциативных связей, нередко делающих непосредственно данное содер-

жание стихотворения лишь скорлупой его скрытого смысла, до синтаксической функции ритма, неповторимой оркестровки, мелодического звучания стиха и даже его графического изображения, которое в китайской поэзии играет роль первостепенной важности, — требует от перевода таких средств выражения, которые, не будучи сами по себе эквивалентны средствам оригинала, тем не менее в своей совокупности, в своей органической связи вызывают если не тождественное, то приближающееся к нему восприятие целого.

И все же приведенные в статье Э. Кари переводы на французский, немецкий, английский, итальянский, испанский и русский языки стихов великого китайского поэта VIII века Ли Бо, которого современники называли «бессмертным пришельцем с неба», не оправдывают, как они ни далеки от совершенства, риторического вопроса автора, которому принадлежат, кстати сказать, едва ли не лучшие из этих переводов: «Не рискуем ли мы в лучшем случае разминуться в безбрежном море поэзии с нагруженным золотом и драгоценностями прекрасным кораблем, плывущим в сказочные края на развернутых парусах, переливающих всеми цветами радуги, и увидеть лишь его плоский серый силуэт, вырисовывающийся на горизонте, не подозревая о его пленительных красках, о грузе, который он везет, и о волшебных берегах, к которым он держит путь».

Читатель всегда «рискует», но «в лучшем случае», продолжая красочное сравнение Кари, переводчик, правда, не переносит нас взмахом волшебной палочки на прекрасный корабль, но дает нам волшебный бинокль, созданный его знаниями, интуицией и мастерством, чтобы сделать для нас далекое близким.

Во всех странах теория и практика художественного перевода претерпели длительную эволюцию. Так, во Франции в те времена, когда, по выражению одного французского писателя прошлого века, она носила мантию литературного монарха, а французский вкус считался абсолютной нормой, приодеть по французской моде немецких и английских «писак» значило оказать им услугу. Вольтер с помощью «французской логики» исправлял беспорядочного Шекспира, а Ламонт-Удар переписывал наново «Илиаду», делая ее такой, «какой создал бы ее Гомер в наши дни». В XX веке от этих «вольностей» не осталось и следа. Между переводом в собственном смысле слова и переделкой установились строгие различия. Безусловная верность оригиналу стала первым требованием, предъявляемым не только к прозаическому, но и к поэтическому переводу. Чем менее субъективна интерпретация подлинника переводчиком, тем ближе он к цели.

С другой стороны, отмечает Кари, не менее радикальные изменения, однако прямо противоположного характера, за последнее столетие претерпели поэзия и самые принципы стихосложения. «Ясным поэтам, как известно, пришли на смену поэты-герметики; тем, кто пользовался языком, подчиненным законам разума, — те, кто признает лишь иррациональное, подсознательное, мечту, автоматическое письмо; тем, кто еще цеплялся за синтаксис, — те, кто полностью избавляется от него. Вольно читателю думать, «что слова имеют смысл», — со снисходительной улыбкой роняет Леон-Поль Фарг¹. Но нужны ли еще слова? Вот стихи известного поэта, ныне члена Французской академии (имеется в виду Жан Кокто.— К. Н.):

эо иэ иу иэ

и так далее на четырнадцать строках. А вот и леттристы, которые возвели в догму упразднение слов».

Поэт — это звонкое эхо в сердце вселенной, чей голос внятен всем людям, писал когда-то Гюго.

В наше время Жан Кокто провозглашает: «Поэзия — это особый язык, на котором поэты могут говорить, не опасаясь, что они будут поняты».

Это сопоставление как нельзя лучше выражает суть того «кризиса поэзии», который, по словам Э. Кари, влечет за собой убийственные последствия для перевода. «Каждый поэт отныне считает себя вправе создавать свой собственный язык, не похо-

¹ Леон-Поль Фарг (1876—1947) — французский писатель, автор поэм, написанных прозой или свободным, нерифмованным стихом. Для творчества Фарга характерны бегство от действительности, стремление к иррациональному.

жий ни на какой другой, не понятный ни одному человеку, и эта субъективность языка... становится первым мерилом поэзии. Как же при этих условиях может работать переводчик поэтов? Ведь переводить — значит перелгать на язык, известный читателю, текст, написанный на языке, ему не известном. Если изначально нет общности языка, эта операция становится неосуществимой».

С этим нельзя не согласиться. Требования объективности, предъявляемые переводу, вступают в неразрешимое противоречие с субъективистской поэтикой. Но дело не только в этом. Подобно тому, как перевод, построенный на произвольных толкованиях и домыслах, перестает быть переводом, так и поэзия, утрачивая свойство «эха, внятного всем», перестает быть поэзией. Нет ничего проще, чем перевести на любой язык такие «стихи», как «эо из иу из», — их достаточно транскрибировать, — но от этого они не станут стихами.

Однако, отвергая такого рода «тайнопись», чтобы не сказать мистификацию, в ее крайнем выражении, Кари, как это ни странно, утверждает ее в правах, коль скоро она не принимает такой вызывающей и издевательской формы.

Еще лет тридцать назад католический писатель Анри Бремон, автор трудов «Литературная история религиозного чувства во Франции», «Чистая поэзия» и других, вешал на публичной сессии академии: «Мы уже не говорим: в стихотворении есть живые картины, высокие мысли или чувства, есть то-то и то-то, а еще — нечто невыразимое; мы говорим: в нем есть прежде всего и главным образом невыразимое, впрочем тесно связанное с тем-то и тем-то». И во имя «невыразимого» как истинного содержания поэзии он призывает с презрением пренебречь «бубенчиками рифм, приливом и отливом аллигеаций, каденциями, то предугадываемыми, то диссонансирующими, словом, всеми побрякушками, чей шум не доходит до той глубокой зоны, где бродит вдохновение, где мы внемлем, подобно шекспировскому Периклу, одной лишь музыке сфер».

Кари принимает на веру эти сомнительные откровения. Вслед за Бременом он утверждает: «Поэзия — это невыразимое, только невыразимое», превозносит поэтов, отказавшихся от «кодифицированной версификации», от «звонкого манка» звуковой выразительности стиха, от «слышимой музыки», и советует переводчикам, если они не глухи к «невыразимому», по примеру поэтов обходиться без этих «костылей».

«Музыка сфер», надо думать, прекрасная вещь, и очень может быть, что «слышимая музыка» не идет с ней ни в какое сравнение. Но как же все-таки следует понимать невыразимое, которое призвана выражать поэзия? На этот счет ни Анри Бремон, ни Эдмон Кари не дают нам никаких пояснений, и мы даже не можем быть уверенными, что они имеют в виду одно и то же. Определение «поэзия — это невыразимое, только невыразимое» дает нам не больше того, что почерпнул господин Журден из урока изящной словесности, узнав, что он всю жизнь говорил прозой. «Это определение, — замечает известный французский филолог Андрэ Менье в своей статье «О статье Эдмона Кари», — досадным образом напоминает мне «свойства души» старой психологии... Всем известно, что эти свойства души имели своим главным назначением заменять собой объяснение психических процессов всякий раз, когда психология оказывалась в затруднении. «Невыразимое» аббата Бремона, боюсь, играет примерно ту же роль... Это столь туманное, столь субъективное понятие, что каждый может подразумевать под ним все, что ему заблагорассудится».

Действительно, определение Кари, ровно ничего не определяя, открывает полный простор для субъективизма поэта, помноженного на субъективизм переводчика. Более того, оно не только освещает ту самую «субъективность языка», в которой Кари, делая уступку здравому смыслу, видел смертельную опасность для перевода (почему бы не усмотреть выражение невыразимого и в стихах «эо из иу из?»), но и выводит поэзию, а с нею и перевод за пределы искусства. В самом деле, если поэзия не должна быть выражением жизни в широком значении этого слова, если содержание поэтического произведения не имеет прямого отношения к поэзии, если к ней не имеют отношения и формальные элементы стиха, способствующие выражению этого содержания, то что же остается от поэзии, кроме голой абстракции, высокопарно именуемой «невыразимым»? А «абстрактная поэзия» — такое же сочетание взаимоисключающих понятий, как «абстрактная живопись».

Менье глубоко прав, когда говорит, что те, кто изгоняет из поэзии мысли, чувства, образы, музыку и предается разрушению стиха во имя «чистого невыразимого», на деле «предлагают читателю отбросы, настоящие экскременты пошлого ума, бездушные поделки, лишённые всякой ценности», и в своих поисках поэтического абсолюта «напоминают тех жалких импотентов, которые признают лишь любовь, свободную от всего чувственного, а кончают тем, что предаются самым омерзительным мазохистским извращениям».

Говоря о «кризисе поэзии» и о «полном ниспровержении» традиционного стихосложения, Кари по существу принимает наиболее крикливые и наиболее бесплодные течения от сюрреализма до леттристов не только за характерные (они действительно характерны), но и за определяющие для французской поэзии XX века. Но это значит не видеть как раз самого жизненного и самого значительного в творчестве выдающихся французских поэтов от Аполлинэра до Арагона.

Говоря о «параличе» поэтического перевода и предлагая лекарство, которое едва ли не хуже болезни, Кари обходит вопрос о критерии надобности, целесообразности перевода, а это вопрос не праздный, поскольку нередко речь идет о произведениях, представляющих интерес лишь для той или иной литературной группки. Стихи того же Кокто, построенные на сплошной игре слов, поставят в тупик любого переводчика. Но, как справедливо замечает Менье, не надо смешивать поэзию с каламбуром. А если нет нужды заботиться о том, чтобы такие опусы перешагнули национальные границы, иные неразрешимые проблемы окажутся и не требующими решения. Ведь переводчика, если он сознает свое назначение (не боимся сказать — высокое назначение), должно волновать не только как переводить, но и что переводить.

А Франция не оскудела талантливыми поэтами и переводчиками, верными своей миссии посредников между культурами.

И Эдмон Кари и Андрэ Менье — выдающиеся переводчики и знатоки русской литературы. Их статьи, опубликованные в журнале «Бэбел» — «Русские переводчики до Пушкина» Менье и «Советские теории перевода» Кари, — во многом интересны и для русского читателя. Правда, некоторые положения, выдвигаемые в этих статьях, нам представляются спорными. В частности, работа Андрэ Менье, на наш взгляд, страдает известной односторонностью: стремясь показать первостепенной важности роль, которую играли переводчики в культурной жизни России XVIII века, и популярность, которой пользовалась в то время переводная литература, он впадает в преувеличения, искажающие ход развития нашей национальной культуры. Что «большинство писателей XVIII века, оставивших свое имя в истории русской литературы, отдали более или менее значительную дань переводу» — это факт, который никто не станет опровергать. Но утверждать, что вплоть до Пушкина и Лермонтова «русская литература жила почти исключительно подражаниями и переводами», значит за деревьями не видеть леса. Радищев перевел в свое время «Размышления о греческой истории» Мабли, а Фонвизин — басни Гольберга, но стоит ли доказывать, что действительно эпохальными произведениями были не эти переводы, а «Недоросль» и «Путешествие из Петербурга в Москву».

Русская читающая публика даже в начале XIX века, пишет Менье, проявляла интерес «почти исключительно к иностранной литературе», и он ссылается на «взятый наугад» номер «Вестника Европы» за 1802 год, где были помещены почти одни только переводы с французского, немецкого и итальянского. Однако этот пример вряд ли можно признать убедительным. «Вестник Европы» по самому «профилю» своему должен был печатать по преимуществу иностранные материалы. Но достаточно обратиться, скажем, к «Зрителю» за 1792 год, чтобы убедиться в том, что русские журналы, а значит, и их читатели далеко не всегда оказывали предпочтение иностранной и подражательной литературе: в «Зрителе» печатались и пользовались признанием переводной части русского общества не сочинения мадам де Жанлис, а «Ночи», «Похвальная речь в память моему дедушке», «Речь, говоренная повесой в собрании дураков» Крылова, «Портреты» и «Прогулки» Клушина и «Нечто о врожденном свойстве душ российских» Плавильщикова, где, между прочим, дается горячая отповедь «одному весьма скоро говорящему французу», который утверждал, что у нас «нет собственного свойства» и что мы «способны только перенимать».

Но при всем том и статья Менье и статья Кари в отличие от философических размышлений Ланца ди Трабна оставляют в целом отрадное впечатление. И не только потому, что в них отдается должное русской и особенно советской переводческой школе, которая, по мнению Кари, впервые со времен гуманистов Возрождения стремится утвердить перевод на прочном фундаменте накопленного опыта и зрелой теории, но прежде всего потому, что статьи эти свидетельствуют о глубоком интересе и пристальном внимании к нашим традициям, к нашей культурной жизни, к нашей теоретической мысли. Такое внимание — залог знания и понимания, а в наши дни самое главное, самое важное для народов именно взаимное знание и понимание.

Нельзя не пожелать поэтому журналу «Бэбел» наряду с защитой профессиональных интересов переводчиков еще более деятельного участия в упрочении и расширении культурных связей между народами мира.

К. НАУМОВ.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. ЭВЕНТОВ

★

ЭСТЕТСТВУЮЩИЕ РЕВИЗИОНИСТЫ И ТРАДИЦИИ МАЯКОВСКОГО

1

В прошлом году журнал «Лондон мэгэзин» провел среди писателей анкету на тему, которая была сформулирована примерно так: считаете ли вы правильным критиковать писателя за его равнодушие к животрепещущим проблемам человеческой свободы и за то, что его произведение могло бы быть написано в любое время из последних пятидесяти лет?

На этот вопрос откликнулись девять английских писателей и среди них поэты Д. Дж. Энрайт, Рой Фуллер, Филипп Ларкин, Стивен Спендер. Ответ первого из них был уклончивым: Энрайт уверял, что два крайних мнения, которые могут быть высказаны по вопросу об участии писателя в социальных и политических делах своего времени, одинаково ошибочны. «По-моему, истина, — писал он, — где-то посредине между ними». Ответы других поэтов более определены. Филипп Ларкин заявил, что произведения современной литературы в массе своей скучны, банальны, претенциозны, вымучены, поверхностны. Если попадает роман или стихотворение с противоположными признаками, то есть захватывающее, оригинальное, честное, писал Ларкин, я благодарен автору независимо от темы, мотивов и материала, который он освещает.

Это тяготение к искусству «нейтральному», оторванному от общественной жизни, весьма характерно для современных английских поэтов. Литературовед Джон Бергер имел, по-видимому, все основания писать в одной из рецензий, напечатанной в газете «Дейли уоркер», что «мелкий эгоцентризм большинства современных английских поэтов притупляет их талант».

Не удивительно, что на почве программ-

ной и воинственной безыдейности возникают игрушечные поэтические школки и течения, с необыкновенным азартом воюющие друг против друга, но одинаково бесплодные и в теоретическом и в творческом отношении.

Не так давно на страницах английской печати гремела полемика между двумя непримиримо враждующими группами поэтов. Одна из этих групп («Маверикс») обвиняла другую («Мувмент») в недостатке поэтического вдохновения, выдвигая свое понимание поэзии как «тайны, беседующей с тайной», а процесса творчества как «страшной борьбы между поэтом и стихом». Таким образом, «Маверикс» придерживается откровенно-идеалистических взглядов на искусство. Казалось бы, их противники должны были бы стоять ближе к жизни, теснее связывать свое творчество с проблемами, волнующими широкий круг читателей, решительно отрицать книжную романтику, идеализм.

Но если ознакомиться с манифестом группы «Мувмент», а также с произведениями ее участников, опубликованными в сборнике «Новые строки», то легко можно убедиться, что принципы жизненности искусства им совершенно чужды. Стихи этого сборника далеки от современности, их образная структура сродни отвлеченной поэзии классицизма, а наблюдения холодного, рассудочного ума подменяют живое проявление творческой мысли. И, пожалуй, прав обозреватель «Таймс литерэри саплемент», который находит много общего в творческой практике враждующих групп: ни одна из них не выдвигает жизненно важных, принципиальных вопросов, ни одна не поощряет глубокого анализа явлений действительности, социальной сатиры.

«Хотя эти школы и представители школ,— пишет обозреватель,— выбирают разные объекты для материализации своего вдохновения, они принадлежат к одной категории: категории тривиального». И далее: «Некоторые склонны рассматривать такое отношение поэтов к общественной жизни и истории как апатию, ложный либерализм или безвредное мудрствование. Но «Мувмент» и «Маверикс» вовсе не безвредны. В стране, которая приближается к большим решительным событиям, они представляют собой потенциал хаоса...»

Конечно, в наше время различные школы и течения буржуазной поэзии переживают разную судьбу. Иные из них распадаются, не успев принести плоды, хотя бы и кислые, а есть и такие, которые живут десятилетиями, имеют поклонников, издаются альманахи и сборники, а потом порождают своих отрицателей не только вовне, но и внутри самих групп. Бывает и так, что сторонники некоторых течений высказывают мысли и создают вещи более широкие по своему значению, чем все подписанные ими манифесты.

Все это свидетельствует о том, что модернизм с его излюбленным принципом отторжения художника от действительности далеко не прочен, не монолитен. Все чаще в речах буржуазных писателей можно уловить нотки неуверенности в том, что социальная жизнь и искусство существуют якобы изолированно друг от друга.

И все же в нашей статье мы уделим преимущественное внимание тем ошибочным представлениям о природе и назначении поэтического искусства, которые живут и в среде теоретиков и в среде самих стихотворцев как в странах буржуазных, так и в тех странах, которые уже вступили на путь социалистического развития. Ибо активизация поборников формализма и декадентства, голоса трубадуров эстетского изоляционизма — это лишь одна из форм идеологической борьбы, которую мир капитализма ведет против мира социализма. И несмотря на ярые ревизионистские атаки против метода социалистического реализма и многочисленные попытки исказить историю советской литературы начались синхронно с притязаниями всяческих горе-теоретиков объявить устаревшими коренные положения марксистско-ленинской науки в области теории революционного движения и социалистического строительства. Именно в силу этой прямой связи со всем антиде-

мократическим ревизионистским фронтом нападки на лучшие традиции прошлого и на передовую литературу нашего времени представляют серьезную опасность, преуменьшать которую нельзя. Ибо влияние мутной волны декадентства сказывается в конечном счете на творчестве ряда прогрессивных поэтов зарубежного мира и на работе некоторых советских поэтов.

Искусственное отторжение поэтов от жизни — основной признак всякой антиреалистической эстетики.

Один из американских поэтов довольно образно определил тот мир ощущений, в котором живет лирик-индивидуалист: «Интимная лирика,— заявил он,— это призыв от пленника к пленнику из одиночных камер, в которых они обречены на пожизненное заключение». Если вспомнить, что сборничек стихов одного из таких поэтов носит название «Вопль», то легко понять, что их творчество превращается в иступленные вопли людей, заточивших себя в темные подвалы субъективизма и находящих там источник своего вдохновения.

Изоляция поэта от общества, в каких бы формах она ни проявлялась и какую бы интонационную окраску ни приобретала — то ли восторженного самообмана, то ли загроможденного бормотания, — всегда ведет к расцвету формализма, к изощренной и бессмысленной игре поэтической техникой.

Обоснованием формализма занимаются не только авторы стихов и поэтических манифестов, но и опытные филологи, солидные педагоги. Так, например, «Вестник Интернационального центра по изучению поэзии», выходящий в Бельгии, опубликовал статью стразбургского профессора Жоржа Гусдорфа о роли слова в поэзии. Этюд свой профессор начинает с утверждения, что «всякая истинная поэзия темна», что назначение стихотворца убеждать читателя, «не заимствуя средств у логики разума». Поэт, по словам Жоржа Гусдорфа, не может быть революционером, и творчество его несовместимо с пропагандой политических идей. Общественная роль художника заключена в том, что, «маневрируя словами», он может «воздействовать на самого себя и на весь мир»¹.

¹ Нечто подобное еще ранее выразил западногерманский горе-теоретик Лотар фон Баллусек. В книжонке, посвященной поэтам Германской Демократической Республики, решительно осуждая всякий реализм, он заявляет, что истинным поэтом может быть

Концепция страсбургского ученого не содержит никаких открытий. Она была известна импрессионистам и декадентам больше чем полвека назад. Но, высказанная сейчас, в обстановке тягостных идейных блужданий буржуазных поэтов, она служит теоретическим подкреплением тех антиобщественных тенденций, которые отравляют творчество многих из них.

Печальнее всего то, что идея «маневрирования словами» доходит и до некоторых поэтов социалистических стран, сбивая их с толку и лишая их реальных ориентиров в поэзии. Несомненно, условием, которое способствует распространению формалистических идей среди поэтов стран народной демократии, является активность ревизионистов. Под лозунгом «свободного» искусства ревизионисты проповедают уход писателя от реальной действительности, от насущных задач общественной борьбы. Под флагом борьбы с догматизмом в политике, с «косностью» и «эпигонством» в искусстве они насаждают псевдонаторство, безыдейность, словесную заушь.

Это особенно отчетливо можно было увидеть на рубеже 1956—1957 гг. на примере ряда польских литературных еженедельников, художественных выставок и студенческих клубов, где ревизионизм свил свои гнезда, порождая реальную опасность формалистического вырождения творчества ряда поэтов и художников. Печальные плоды такой уступки идейных позиций польская литература продолжает пожинать до сих пор. Теперь даже многие из тех писателей и поэтов, которые и сами поддались влиянию ревизионистов, вынуждены отмечать, что декадентские декларации оказались на поверку лишенными реальной конструктивной программы и принесли в литературу лишь художественное убожество и идейную опустошенность. Характерным примером была дискуссия вокруг творчества М. Хласко, возникшая в связи с выдвижением его кандидатуры на Варшавскую литературную премию. Ряд старых писателей высказался в том смысле, что Хласко, натуралистически обнажая язвы и пороки, усмотренные им на теле общества, несет читателю лишь

безверие и отчаяние, и поэтому творчество его, по сути, антиморально. Эта премия ему присуждена не была, несмотря на то, что согласный хор поклонников таланта Хласко дружно объявил его «Хемингуэем современной польской литературы».

В декадентской литературе гибнет не только человек, в ней исчезает и здравый смысл; и таких примеров утраты здравого смысла в сочинениях современных польских поэтов сколько угодно. Взять хотя бы сочинения М. Бялошевского, напоминающие давно отброшенные временем заушные футуристические упражнения. В стихотворении «Пол, благослови!» М. Бялошевский обыгрывает причудливые мысли и ассоциации, которые вызывает у него слово «пол» (пол — в смысле настила, по-польски — «подлога»). Он заявляет, что пол — это «лежащая сторона нашего будничного бога обычных дней», это — слово, звучащее «со dna нашего языка», это — источник благословения и еще что-то, совсем уже непереводаемое на нормальный человеческий лексикон.

В Югославии литературный критик Драган М. Еремич, обычно публикующий свои работы в журнале реалистов «Современник», решил декларировать новое направление в поэзии и сочинил «Тезисы о неосимволизме», которые предложил для печати уже другому органу — газете «Поля», выходящей в городе Нови Сад. «Неосимволизм» объявлен им течением еще более современным, чем какой бы то ни было модернизм. «По сравнению с ним, — пишет критик, — и кубизм, и дадаизм, и сюрреализм выглядят стариками». Критик ратует «за интегральный реализм, за синтез того лучшего, что дало искусство нашего времени и всех времен».

Итак, интегральный, высший, совершеннейший реализм... Может быть, и в самом деле Еремич придумал нечто высшее, чем критический и социалистический реализм? Ведь он не отрицает достижений искусства в прошлом и в настоящем и даже говорит о значении для художника идей социализма и братства народов. Но все дело в том, что он тшится превратить эти идеи в мировые абстракции, а отражение их в искусстве возвести в некий ультрасимволизм, призванный объять все существующее и несуществующее на нашей планете. Мы, говорит теоретик, за то ключевое содержание литературы, которое «имеет емкие

лишь «тот, кто, отрекшись от жизни, погружается в глубину, темноту, реальность нереального, области, лежащие вне сознания». Об этом уже писалось в журнале «Новый мир» (№ 1 за 1953 год. В. Стеженский «Ниспровергатель социалистического реализма из ФРГ»).

универсальности и касается человека на всех континентах, включая сюда и Атлантиду и Утопию».

Эти «откровения» насчет «универсальности» и «неосимволизма» не новы. Чтобы увидеть, как они могут отзываться в творческой практике поэтов, советскому читателю достаточно лишь оглянуться лет на тридцать пять назад и перечислить примеры такой именно космической символики в стихах ряда поэтов Пролеткульта — символики, от которой читатель рвался к реализму, как рвется к хлебу человек, которого долго и настойчиво пытались накормить ватой. При этом надо, однако, подчеркнуть главное, решающее отличие: Пролеткульт и «Кузница» прибегали к средствам абстрактной символики в поисках выражения определенных идей, — а именно идей Революции, — и определенных образов, — а именно образов мирового пролетариата. И такие вневременные, внеисторические категории, как «человек вообще» или «справедливость вообще», вне классов и классовой борьбы, были им не только чужды, но и враждебны.

Помня об этом опыте давно минувших лет, нужно ли еще доказывать то, что доказано самой историей прогрессивной литературы ряда стран и прежде всего Советского Союза, что идеи социализма отвечают принципам реалистического искусства, в основе которого лежат требования жизненной правды, конкретности, историзма; они предполагают и развитие романтических тенденций в творчестве художника, призванных отразить пафос созидания и героики борьбы, уверенность в будущем и устремленность к нему. Но все это трудно и невозможно примирить с абстрактной символикой, с желанием «интегрировать» реализм, а тем более с призывами «переплюнуть» кубизм, дадаизм и сюрреализм.

На протяжении 1956—1957 годов накат той же ревизионистско-модернистской волны испытала на себе и чешская поэзия. Отрезвляющие голоса раздалась почти сразу. Журнал «Кветень» выступил еще в прошлом году с передовой статьей, напоминавшей, что в чешской литературе был период, когда наряду с хорошими произведениями поощрялись совершенно напрасно — только за актуальность тематики — и сухая риторика и поэтическое фразерство. А затем, говорилось в статье, пришла иная мода: не принимать всерьез политических задач литературы, иронизировать над общественными

ми идеалами и подкреплять свои выпады теоретическими рассуждениями о «красоте», «гуманизме», «субъективизме» и т. д.

«Это было, — продолжает журнал, имея в виду поэзию начала 1957 года, — кратковременной реакцией на вульгарное толкование политического искусства. Мода лирики настроений, воспоминаний, пейзажей, миниатюр. Стремление к покою, протест против тех, кто полемизирует, критикует, требует. Когда мы видим яркие тенденции современного искусства — советского, польского, немецкого — и читаем книги прогрессивных писателей Франции, США, Италии, нам становится стыдно, потому что в нашей литературе за последнее время стало меньше политической серьезности, гражданского пафоса, беспокойных вопросов...»

Но автор цитируемой нами передовой статьи винит во всем тех теоретиков, которые «тащат нашу поэзию назад, прежде чем она освободилась от цепей догматизма и схематизма». В статье не говорится о том, что ревизионизм под маской борьбы с догмой и схемой явился главной опасностью для литературы и главным источником бесплодного, отравляющего нигилизма. Отмечая этот коренной недостаток статьи, нужно вместе с тем согласиться с совершенно справедливым утверждением автора, что нельзя вести борьбу за социалистический реализм, тормозя развитие политической лирики и потакая безыдейности, формализму.

Не успели, однако, прозвучать эти трезвые слова, как в различных чехословацких изданиях («Новый живот», «Гость до дому») снова стали появляться статьи о поэзии, явно рассчитанные на движение вспять; лирике индивидуалистической, беспроblemной в них отдается предпочтение перед лирикой социально значимой, прогрессивной. Например, Яр. Яну в «Нескольких заметках о современной чешской поэзии» пишет, что искусство имеет «карантинные», очистительные функции. От каких же нежелательных привязанностей или чувств должно очищать читателя искусство? Если судить по анализу, которому критик подверг «Монологи» поэта Кундеры, то получится, что искусство должно освобождать человека от... активного участия в жизни. «Очистительное» значение воспетой автором любви критик видит в том, что она отвлекает читателя от реальной действительности, побуждает его бежать от людей.

Суммируя смысл статей о поэзии, опубликованных в названных выше журналах

(статей Яр. Яну, Я. Гроссмана, Эд. Гержмана), Вл. Достал в еженедельнике «Культура» (1957, № 48) писал:

«Все три программы, вместе взятые, каждая по-своему и с неодинаковой решительностью, ратуют за отделение политики от искусства, называя неактуальной и устаревшей ту поэзию, которая посвящает себя политической тематике. Эти программы также ратуют, правда якобы в интересах глубины поэтического проникновения, за сужение взгляда поэта на жизнь».

Следует сказать о настроениях, характерных и для части словацких поэтов. Не так давно на это обратила внимание словацкая газета «Правда». «В журналах Союза словацких писателей,— отмечала она,—...не уделяется достаточного внимания литературе, устремленной своей тематикой к сегодняшнему дню и формой — к широким слоям народа».

В конечном счете все блуждания и ошибки поэтов, все порочные концепции критиков, расцветшие и на чахлой почве идеалистической буржуазной эстетики и на зыбком болоте ревизионизма (черпающего свои доводы у тех же идеалистов), сводятся к извращенному толкованию вопроса о природе, материале и назначении искусства, о месте художника в обществе. Чем, в самом деле, должен быть художник, в данном случае поэт: магом, фокусником, витией, созерцающим глубины своей замкнутой души и поражающим нас игрою субъективных эмоций и невиданной магией слов,— либо же он должен быть мыслителем, тружеником, творцом, черпающим поэзию из самой жизни и напряженной работой мысли, вдохновенным трудом создающим искусство жизненной правды?

Интересно, что вопрос этот давным-давно стоял и дебатировался в советской поэзии, и один из величайших ее представителей, Маяковский, выразил сложную и запутанную проблему в очень краткой полемической формуле:

П о п и л и м а с т е р ?

Спор этот разгорелся более тридцати лет тому назад. С тех пор советская поэзия прошла большой путь плодотворного развития, лишь время от времени сталкиваясь с рецидивами буржуазного эстетизма. Но формула Маяковского так и не была расшифрована во всей ее эстетической значимости. Одни догадывались о том, что она таила в се-

бе, другие давали ей (как мы увидим ниже) слишком скудное и элементарное толкование. Между тем за нею крылась страстная, длительная и непримиримая борьба Маяковского за передовые принципы искусства.

Раскрыть эту формулу нам представляется своевременным и нужным и для того, чтобы оттенить важнейшую сторону эстетической системы Маяковского, и для того, чтобы дать ответ тем ревизионистским декламаторам и хранителям модернистского старья, которые пытаются увести поэтов с пути реализма на то бездорожье, по которому можно выйти лишь в лагерь врагов социализма.

2

Впервые слова «Поп или мастер?» появились на афишах вечера Маяковского, объявленного в Ростове-на-Дону 24 ноября 1926 года. Та же афиша была использована для вечеров, которые состоялись 25 ноября в Таганроге, 27 ноября в Новочеркасске и 29 ноября в Краснодаре. В верхней части афиши были сообщены дата и место выступления, в центре — слова «Поэт Владимир Маяковский», а нижняя часть поделена вертикальной чертой, слева от которой сказано: «I. Выступит с докладом: «Поп или мастер?», а справа: «II. Прочтет новые поэмы и стихи». Под левым подзаголовком, набранным жирными прописными литерами, были перечислены тезисы доклада, под правым — названия стихов.

Затем слова «Поп или мастер?» вошли в тезисы доклада, который Маяковский читал в 1927 году во многих других городах. Доклад назывался «Лицо левой литературы». Наконец, слова эти мы находим в начальных строчках стихотворения Маяковского «Моя речь на показательном процессе по случаю возможного скандала с лекциями» профессора Шенгели», опубликованного в марте 1927 года:

Я тру
ежедневно
взморщенный лоб
в раздумьи
о нашей касте,
и я не знаю:
поэт —
поп,
поп или мастер?

Ни одно из названных выступлений Маяковского не было застенографировано, про-

токолы не велись. Других упоминаний этих слов в текстах Маяковского мы не находим.

Казалось бы, надо прежде всего обратиться к тезисам доклада, обозначенным на афише самим Маяковским. Но они дают нам немного, ибо скорее походят на поэтические заголовки, чем на тезисы, и представляют в большинстве своем результат творческого переосмысления и образного, броского, привлекающего читательский глаз выражения каждой темы.

В периферийных газетах сохранились отклики на доклад Маяковского «Поп или мастер?». Они проливают некоторый свет на его содержание, но раскрывают лишь одну часть дилеммы, выдвинутой Маяковским («мастер»). Вторая остается во многом затемненной, а потому теряется принципиальное эстетическое значение формулы в целом.

Так, ростовская газета «Советский юг» в номере от 26 ноября 1926 года (заметка Л. Максимова «Вечер Маяковского») сообщает, что поэт, начиная доклад, заговорил о «литературном поповстве». Он обрушился на длинноволосых бардов, пишущих по вдохновению и гнусаво, нараспев читающих свои стихи. Он сетовал на угрожающий рост неподготовленных к делу и лишенных таланта поэтов, на изобилие плохих стихов, которое превращается в «стихийное бедствие». Причину этого он видел в распространении превратных взглядов на поэтический труд как на труд ремесленный, немудреный.

«Неверно,— заявил (по словам отчета) Маяковский,— что поэзия — легкое дело, которому можно обучиться в несколько уроков по книжке Шенгели... Моя задача — не в пять уроков научить писать стихи, а отучить — в один. Литература, которая должна вести рабочий класс на борьбу,— труднейшее дело в мире. Не всякого надо считать поэтом из этих нахрапистых ребят, много печатающихся и имеющих свои книги. Рифма — это хорошая плеть со свинцом на конце, которая вас бьет и заставляет вздрагивать».

«Сняв с поэзии поповскую оболочку,— продолжал докладчик,— увидим, что делание стиха — такая же черная работа, как и всякая иная, что вдохновение присуще всякому виду труда, что... на поиски одной рифмочки приходится тратить 1½ суток, и что нормально Маяковский не может сделать в день более шести—восьми доброкачественных строк.— Отцеживай рифмы!

— Я хожу по улицам и собираю всякую словесную дрянь, авось через 7 лет пригодится! Эту работу по заготовке сырья надо продельвать постепенно, по принципу 8-часового рабочего дня, а не в минуты отдыха. Дело не во вдохновении, а в организации вдохновения. Стихи в газету (срочные) писать, поэтому, особенно трудно; нужно быть и политически грамотным».

Несколько больше дает нам заметка Л. Ленча, помещенная в краснодарской газете «Красное знамя» в день приезда туда Маяковского, то есть 28 ноября 1926 года.

«Маяковский,— сказано там,— подошел к поэзии, как к производству, подчиняющемуся всем законам выработки продукта... К черту разговорчики о «божественном» вдохновении, привет — суровому пафосу трудного мастерства стихотворца. Маяковский ставит вопрос о поэте так: поп или мастер? И говорит — мастер, и говорит — НОТ — в поэзию»¹.

Итак, писание стихов Маяковский считал не причудой «вдохновения» и не ремесленным занятием, а трудом. Труд этот непрерывен, упорен, мучителен, радостен, организован для подлинного творца. Маяковский неоднократно говорил о «производственном» характере поэзии, нисколько не умаляя при этом ее художественной специфики. Он сравнивал поэта то с каменщиком, то со шлифовальщиком, то с добытчиком радия. Ему важны были эти сравнения, чтобы обезоружить тех, кто насаждает в искусстве субъективизм, беспринципность, вкусовщину. «Только производственное отношение к искусству,— писал он в 1926 году,— уничтожит случайность, беспринципность вкусов, индивидуализм оценок». И в том же году он написал целый ряд стихотворений, в которых именовал себя «мастеровым» («Послание пролетарским поэтам»), призывал писателей «выкрепить мастерство» («Четырехэтажная халтура»), говорил о невидимых простым глазом трудностях и превратностях поэтического труда («Разговор с фининспектором о поэзии»).

¹ НОТ — научная организация труда. Добавим еще, что в поездках 1926—1927 годов Маяковского сопровождал П. Лавут, который в своих воспоминаниях о поэте («Маяковский едет по Союзу» — журнал «Знамя», 1940, № 4—5, стр. 208—209) приводит содержание доклада «Поп или мастер?». Но это изложение сделано на основе отчетов ростовских газет и дополнено лишь некоторыми не относящимися к данной теме подробностями.

Мастерство, в понимании Маяковского, было всегда антитезой творческой вялости, кустарщины, рутины. Быть поэтом — значит дерзать, искать, обновлять. «Изобретательство, новаторство — остаются нашим лозунгом», — писал он в ответе на вопросы журнала «Жизнь искусства» (1928) и сурово упрекал тех, кто забыл, что «лаборатория — это жизнь и мозг всякого ремесла». Новизну Маяковский считал условием обязательным для поэтического произведения.

Все эти мысли настойчиво повторялись поэтом в его стихах и публицистике 1926—1928 годов. Доклад «Поп или мастер?» был одним из этапов убежденной и страстной защиты Маяковским поэзии как мастерства. Эту сторону дела отразили (в какой-то степени) и тезисы Маяковского и газетные отклики.

Но все же остается непонятным — при чем тут «поп»? И что скрыто за словами: «Сняв с поэзии поповскую оболочку...» — словами, почти невзначай брошенными корреспондентом «Советского юга» и заключающими, на наш взгляд, существо того идейного спора, который вел Маяковский.

В наспех составленных корреспонденций и в мемуарах все дело сведено к полемике Маяковского с Шенгели и с авторами других пособий и самоучителей по технике стиха. Но в их легковесных, дилетантских трудах, написанных на эти темы, не было никакого «поповства». Вопрос о природе творчества, как и другие вопросы эстетики, не освещался в них вовсе, либо же ставился в крайне упрощенной, поверхностной форме. «Художественное произведение, — писал Шенгели, — дает «общий портрет» жизни, и для нас важно видеть жизнь в ее общих, повторяющихся, а не случайных чертах. Другие же произведения, вроде названной повести Жюль Верна («Путешествие на Луну». — И. Э.), удовлетворяют потребность в занимательном чтении... Наконец, те произведения, в которых писатель рассказывает о своих личных чувствах и переживаниях, ценны для нас потому, что мы узнаем в писательских переживаниях наши собственные или похожие на наши».

Каждому видно, что в этих вульгаризаторских рассуждениях нет ни шаманства, ни мистики. В них — предельное выражение ремесленнического, школярского подхода к искусству. Шенгели давал готовые рецепты овладения поэтической квалификацией. «Практически же учиться стихосложению, — писал он, — следует так: хорошо разобрав-

шись в изложенных правилах (то есть в правилах метрики. — И. Э.), надо заняться определением размеров... Научившись безупречно определять размеры, надо начать писать упражнения... Затем — перейти к задачам по рифмовке, по звукописи, по строфике».

Маяковский недаром приходил в ярость, читая эти «предписания» и «советы». Он был глубоко прав, говоря, что лучше отучить писать за один урок, чем научить за пять. Но с кем же, в таком случае, воевал он, утверждая, что поэт не знахарь и не поп? Очевидно, он имел в виду не одни лишь аптекарские рецепты, скрепленные профессорскими именами, а и нечто еще более вредное и опасное¹. Что именно? Ответ на этот вопрос и представляется нам особенно актуальным и важным.

3

Еще в 1921 году Маяковский писал: «Мастера, а не длинноволосые проповедники нужны сейчас нам» («Приказ № 2 по армии искусств»). После этого он неоднократно нападал на тех, кто «подменяет диалектику художественного труда метафизикой пророчества и жречества». В одной из деклараций того времени («Товарищи — формовщики жизни!») он обличал «жрецов искусства, берегущих эстетические границы своих мастерских». В другом выступлении (статье) он призывал «господ поэтов слезть с неба на землю».

Теория «жречества», стремление поставить художника над миром, изобразить его чудодейственным вещуном, всегда вызывала в Маяковском активный протест. Но особенно широко боролся он против этих концепций в 1926—1927 годах. Менее чем за два месяца до выступления с докладом «Поп или мастер?» он опубликовал в «Известиях» стихотворение «Мечта поэта», которое начал словами: «Поэзия любит в мистику облекаться, говорить о вещах едва касаемо». Декадентскому блудословию, мистическому шепотку он противопоставляет прямую, ясную речь, насыщая ее разговорной и политической лексикой.

¹ Приведем, кстати, замечание сотрудника ростовской газеты, реферировавшего доклад Маяковского: «Вред «патентованных» руководств в литературе действительно неисчислимо. Но элементы мистики, поповства и всего прочего можно найти и в других, более солидных трудах...» («Молот», 26.XI. 1926).

Чтению доклада «Поп или мастер?» предшествовали также выступления Маяковского с лекциями на тему «Как делать стихи?». В них он тоже обрушивался на тех, кто выдает творческий труд за шаманство и покрывает загадочной тайной процесс литературной работы. Вместо «мистических рассуждений на поэтическую тему» он предлагал внедрять уже знакомое нам «производственное отношение к искусству».

В «Моей речи на показательном процессе...», написанной в период чтения названных докладов, Маяковский гневно высмеял поэтических богомольцев и мистиков:

В их песнях
поповская служба жива,
они —
зарифмованный опиум.
Для вас
вопрос поэзии —
нов,
но эти,
видите,
молятся.
Задача их —
выделка дьяконов
из лучших комсомольцев.
Скрывает
ученейший их богослов
в туман вдохновенья радуго слов,
как чаши
скрывают
церковные.
А я
раскрываю
мое ремесло,
как радость,
мастером кованныю.

Слова «поповская служба», «зарифмованный опиум», «выделка дьяконов», «ученейший богослов», «чаши церковные» — все это не просто локальные образы данного стихотворения: это последовательное обозначение тех явлений в искусстве, которые нужно было обезвредить любой ценой. Свое непримиримое отношение к ним поэт выразил и в стихах-лозунгах к спектаклю «Баня», написанных незадолго до смерти:

Долой
жрецов искусства,
шевельюрой заросших густо.

И:

вытряхнем индивидуумов
из жреческих ряс!
Иди, искусство,
из массы
и для масс!

Все эти факты не оставляют никаких сомнений насчет того, что понимал Маяковский под «поповской оболочкой» в поэзии и каким именно концепциям он противопоставлял свою концепцию мастерства.

Вспомним, что именно тогда, в середине двадцатых годов, были особенно активны «перевальцы», насаждавшие культ «чистого» вдохновения. Творчество художника, утверждали они, — это подсознательный, иррациональный процесс, во время которого происходит реализация в образах «самых первоначальных и непосредственных впечатлений». Отсюда вытекали требования «очистить» искусство от мысли, от логики, от нравственных идей, от общественных интересов. В искусстве, объявили «перевальцы» в своей декларации (она была опубликована как раз в 1926 году), художественные чувства подчиняют себе все остальные.

И тогда появились на свет воинственные статьи и глубокомысленные трактаты, которые во много раз сильнее извращали вопрос о природе искусства, чем десятки брошюр, предлагавших рецепты стихописания.

«Искусство не нуждается в сращивании с этой действительностью, в установлении связей с ней», — провозгласил тогда Д. Горбов. Поэт-романтик прошлого века Евгений Баратынский считал, что нимфа Галатея должна увлечь, увести за собою творца. По словам Д. Горбова, назвавшего свой труд «Поиски Галатен», призыв Баратынского является «четкой формулой художественного процесса, обязательной для всякого художника любых времен и классов... Писательское счастье — найти ее (Галатею. — И. Э.). Задача художника не в том, чтобы показывать действительность, а в том, чтобы строить на материале реальной действительности, исходя из нее, новый мир — мир действительности эстетической, идеальной».

Было объявлено, что основа искусства — образ, основа образа — интуиция, что художественную эмоцию составляет бескорыстное наслаждение миром. Искусство, утверждал А. Воронский, «заставляет умолкнуть рассудок, оно добивается того, что человек верит силе самых примитивных, самых непосредственных своих впечатлений... Отвлеченное — смерть для искусства». Художник должен сорвать некие покровы с вещей и увидеть свой особый «эстетический мир», ощущение которого и передать чита-

телю. Труд А. Воронского так и назывался: «Искусство видеть мир».

В этих теоретических построениях не было ничего оригинального. Они отдавали идеологической поповщиной и восходили к не так давно отзвучавшим, в свое время модным философским откровениям субъективиста Анри Бергсона. По уверению Бергсона, интуиция — это сущность нашего духа; в простейшем виде она реализуется у детей, а в наиболее ярком и развернутом виде — в искусстве; независимая от логики, практики, жизненных интересов, она вводит нас в самые недра бытия, с помощью художника открывает нам мир. Теоретики «Перевала» повторяли зады упадочной буржуазной философии, процветавшей на Западе. Они приспособляли ее к советской литературе, стремясь оторвать писателя от жизни народа.

Другим явлением, побудившим Маяковского к усилению борьбы с идеалистической эстетикой, была «есенинщина». Скорбные воздыхатели и прямые наши недруги стремились использовать трагическую гибель Есенина для нападок на идейные основы советской литературы, для насаждения пессимизма, для проповеди лирики «чистого чувства». Свое отношение к этим попыткам Маяковский выразил сперва в стихотворении «Сергею Есенину», а затем в докладах «Как делать стихи?» и «Поп или мастер?».

Наконец, одним из прямых толчков к выступлению Маяковского были упоминавшиеся работы по стихосложению, опшлявшие и примитивизировавшие писательский труд. Им легко было процветать на почве субъективистских теорий, не требовавших от писателя ни мысли, ни знания, ни труда.

Такова сумма явлений, вызвавших настоятельную необходимость со всей силой поставить и до конца разрешить вопрос: поп или мастер? Маяковский отвечал на это: «мастер», но если дело заключалось бы только в споре с профессором Шенгели, он мог бы, пожалуй, ограничиться доказательством того, что не кустарной выделкой, а сложным трудом создается истинное произведение поэзии. Маяковский не ограничился этим. Обратим внимание на то, что всякий раз, когда он выступал против легковесного отношения к поэтическому труду, он неизменно захватывал широкие проблемы эстетики.

Он подчеркивал великое призвание искусства служить человечеству «сотни лет», двигать «миллионы сердец». Он гово-

рил о великой действенной силе слова, могущей поднять человека на подвиг, на смерть, на борьбу. Высмеивая поэтов-фокусников, извлекающих «строчку изо рта», Маяковский противопоставлял им поэтов-мастеров, добывающих «драгоценное слово из артезианских людских глубин». Он дал классическое определение поэта как слуги народа и водителя масс. Он высказывал эти мысли и раньше, в стихотворении «Верлен и Сезан». Отвечая на слова некоего ученого мужа, уверявшего, что поэт «это ж — просто кустарь. простой кустарь без мотора», Маяковский восклицал:

Перо
такому
в язык вонзи,
прибей
к векам кунсткамер.
Ты врешь.
Еще
не найден бензин,
что движет
сердцец кусками.
Идею
нельзя
замешать на воде.
В воде
отсыреет идеяка.
Поэт
никогда
и не жил без идей.
Что я —
попугай?
индейка?

Понятие мастерства для Маяковского, таким образом, — широкое и сложное понятие. В него прежде всего входит идейная вооруженность художника, связь его с жизнью, понимание им действенной роли искусства, сила его творческого вдохновения, культура труда. Развенчивая эстетизм, обличая «поповство», Маяковский боролся за искусство смелой мысли, высокого гуманистического пафоса и зрелого мастерства. В спорах об искусстве он защищал не только профессиональную сторону работы поэта, но и в первую очередь политические, моральные, философские основы его деятельности. Он был за поэта-мыслителя, поэта-борца, за поэта — строителя коммунизма.

Заметим еще, что с этим кругом вопросов связано понимание Маяковским свободы художника и своеобразия его творческого лица. Как поэт Маяковский резко отличался от многих своих современников и считал, что без выявления глубоких, самобытных черт личности художника его творчество лишается подлинной ценности. В одной из своих бесед он отметил, что «ни один поэт

не должен быть похож на другого, но каждый должен иметь свое лицо и голос¹. Сознание величия писательского долга и широты своих творческих возможностей давало Маяковскому ощущение радостной и неподдельной свободы. В первый свой приезд в Варшаву, в 1927 году, Владимир Владимирович ответил на ряд вопросов писателей и журналистов и, если судить по отчету газеты «Польска вольность» от 22 мая 1927 года, приводимому В. Катаняном в его хронике, между прочим, сказал: «Я свободный человек и писатель. Я ни от кого материально не завишу. А морально я связан с тем революционным движением, которое переустраивает Россию на началах социальной справедливости».

О том, что такое свобода искусства и свобода художника в буржуазном обществе, Маяковский хорошо знал и по собственному опыту жизни в дореволюционной России и по прежним своим заграничным поездкам. Посетив в 1922 году парижский Салон (художественную выставку), Маяковский заметил: «Эстеты кричат о свободе творчества! Каждый ребенок в Париже знает, что никто не вылезет к славе, если ее не начнет делать тот или иной торговец. Этот торговец всемогущ. Даже Салон подбрасывает он».

Ту же тему затронул поэт, описывая свое пребывание в Варшаве и встречу с Юлианом Тувимом, благодаря которому польский читатель уже тогда, в 1927 году, знал «Облако в штанах» Маяковского. В очерке «Поверх Варшавы» Маяковский писал о Тувиме:

«Ему, очевидно, нравилось бы писать вещи того же порядка, что «Облако в штанах», но в Польше и с официальной поэзией и то не просуществуешь,— какне тут «облаки»!..

Что же делать Тувимам? Тувимы пишут тексты для певцов и певцов варьете. Глупые скажут: «А сам про Моссельпром писал?» — Я про Моссельпромы хочу писать потому, что нужно. А ему для варьете и не нужно, и не хочется.

И варьете прекрасно, если писать хоть немного «что хочешь»... Правда, можно писать и против того, что видишь. Но тогда кто тебя будет печатать?»

Юлиан Тувим впоследствии с благодарностью вспоминал о советском поэте. Он

указывал, что Маяковский расчистил ему путь к пониманию роли искусства, помог ему избавиться от эстетических догматов, на которых он был воспитан.

«Поэтическое потрясение, которое я испытал, читая впервые Маяковского,—писал Тувим,— я могу сравнить только с потрясением, пережитым мною, когда я слышал и видел раздираемое молниями небо. Мятёж, переворот, громы, пламя — все ново, беспрецедентно, чудесно, поразительно, революционно... Не осталось камня на камне от эстетических законов и догматов, на которых я был воспитан... Да, это был переворот, это была революция в поэзии. И сразу — и уже навсегда — Маяковский слился для меня с Октябрьской революцией».

Нечто подобное произошло после встречи Маяковского с Луи Арагоном, состоявшейся в Париже 5 ноября 1928 года. «Это,— вспоминал Арагон,— была та минута, которая должна была изменить мою жизнь. Поэт, который сумел очутиться на гребне революционной волны, этот поэт должен был оказаться связью между миром и мною. Это было первое звено цепи, которую я приемлю и показываю всем сегодня, цепи, соединившей меня снова с внешним миром. Некоторые философы научили меня отрицать его. Поэт Владимир Маяковский научил меня, что надо обращаться к миллионам людей, к тем, которые хотят переделать этот мир».

Маяковский звал за собою и современников и потомков. В стихах своих и с трибуны он беседовал не только с теми, кто его непосредственно слышит, но и с теми, кто услышит через десятки, сотни лет. Давно уже канули в Лету воробьиные песнопения «искателей Галатен», а голос Маяковского продолжает звучать. Он и сегодня, как тридцать лет назад, убеждает, борется и зовет. И всем тем на Западе, кто еще проповедует «литературное попование», кто считает поэта шаманом или жрецом, кто пытается оторвать его от жизни и погрузить в мистический туман, кто твердит ему о «реальности нереального» и о «тайне, беседующей с тайной». и всем тем у нас, кто еще не вырвался из плена субъективизма, кто отдаст весь свой талант завитушкам надуманной формы,— им всем Маяковский говорит: поэт — это мастер; он — мастер вождения масс и служения делу народа; он — искатель, путешественник, друг, собеседник, учитель; он — вдохновенный мастер слова и неутомимый чеканщик стиха!

¹ Об этой беседе сообщила газета «Молот» (Ростов) 10 февраля 1926 года.

4

Имя Маяковского известно многим людям Земли. Произведения его — самобытные по форме, оригинальные по структуре стиха, необычайные по лексике, — произведения, трудно переводимые на другие языки, стали теперь достоянием десятков народов. Количество произведений Маяковского, издаваемых за рубежом, растет с каждым годом. По неполным данным, сочинения Маяковского переведены на тридцать семь языков зарубежных народов и на двадцать языков народов СССР.

Творчество Маяковского резко противостоит той поэзии «затемненного смысла», которую культивируют некоторые «деятели» литературы на Западе. Вся система взглядов Маяковского на искусство опровергает домыслы и представления о «тайниках духа», из которых рождается слово. Вот почему так часты попытки скрыть или извратить истинное значение поэзии Маяковского, которая становится достоянием миллионов. Литераторы, которым претят благородные принципы служения народу, стремятся «ревидовать» Маяковского, изобразить его непохожим на самого себя или, в лучшем случае, похожим на старого, до-революционного Маяковского.

В русской критике давно пытались растворить Маяковского в футуризме. Но М. Горький еще в начале 1915 года, при первом своем знакомстве с футуристами, выделил из их среды Маяковского. Его в первую очередь имел в виду Горький, когда отмечал, что «среди них есть, несомненно, талантливые люди, которые в будущем, отбросив плевелы, вырастут в определенную величину». Весь дальнейший путь Маяковского настолько отличался от пути «будетлян», что смешивать поэта с его спутниками стало невозможно без очевидного расхождения с истиной. Некоторые советские критики были склонны преуменьшить значение тех твердых и бесповоротных шагов к реализму, которые проделал автор «Облака в штанах», но глубокое исследование творческого пути поэта рассеяло и эти сомнения.

Минули годы, и за старую идейку ухватились ревизионисты и модернисты на Западе. В одном из последних за прошлый год номеров издающегося в Югославии модернистского журнала «Дело» была напечатана статья Наны Богданович с обещающим названием «Большевики слова».

В ней подробно излагается история русского футуризма, говорится о творчестве Маяковского, Бурлюка, Крученых, Василия Каменского, Бенедикта Лившица, Хлебникова и других.

Как же охарактеризовано течение, объединившее под одним флагом столь различные величины в поэзии? Что сказано о течении, которое в своих манифестах отвергало реализм, топтало классику, возглашало культ поэтической формы?

В статье Наны Богданович это течение представлено как воплощение... большевизма в поэзии (отсюда и название статьи, которое оказалось таким обманчивым!). Мало того: все лучшее в Маяковском — в певце советской эпохи — автор связывает с футуризмом. «... всю энергию своих порывов, — пишет Н. Богданович, — он подчинил историческому моменту и новой формой, новым ритмом продолжил одну из линий футуристической новой поэзии...»

Маяковский, как известно, вскоре после революции вышел из рула футуристического движения, потом он перерос многие другие окружавшие его «левые» группки вроде комфутов, лефов. Он объявил себя «левее Лефа», боролся за социалистическое искусство и утверждал его не столько декларациями, сколько стихами. Можно ли после этого связывать зрелого Маяковского с давно распавшимся и оказавшимся совершенно бесплодным на русской почве движением?

Есть и другие попытки «ревизии» Маяковского. Одна из них принадлежит жившему когда-то в России и неоднократно встречавшемуся с Владимиром Владимировичем стиховеду и лингвисту Р. О. Якобсону. В июне 1956 года Якобсон посетил Москву и сообщил в беседе с сотрудниками Института мировой литературы имени А. М. Горького, что отделением славянских языков и литератур Гарвардского университета (США) совместно с библиотекой этого университета подготовлен к печати сборник рукописных материалов на русском языке, среди которых есть и автографы Маяковского: стихи, надписи, письма и т. д.

Речь идет о записной книжке поэта, относящейся к его пребыванию в Париже осенью 1928 года. Она состоит из двух стихотворений — «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» и «Письмо Татьяне Яковлевой». Оба эти стихотворения известны русским читате-

лям: первое было опубликовано при жизни автора (в 1929 году) и много раз перепечатывалось (текст записной книжки содержит лишь несколько мелких разночтений), а другое было напечатано в апрельском номере журнала «Новый мир» за 1956 год. В остальном публикация состоит из стихотворных надписей, сделанных на книгах, подаренных Маяковским, и на открытках для посылки цветов. Каждый из этих текстов — по несколько строк. Они не были ранее известны и, возможно, войдут в издаваемое ныне у нас собрание сочинений.

Дело, однако, не в обилии и не в весе публикуемого материала. Дело даже не в том, что тексты Маяковского вместе с примечаниями справочного характера занимают в сборнике восемь страниц, а пояснение к ним — двадцать семь. Дело в самом «пояснении», о котором Якобсон, будучи в Москве, говорил, что оно «выходит за пределы комментариев архива и касается некоторых историко-литературных вопросов».

Познакомившись теперь со статьей Якобсона в сборнике «Русский литературный архив» (Нью-Йорк, 1956), мы видим, что она прежде всего выходит за пределы истины и пытается создать «нового» Маяковского — человека, жившего в трагической раздвоенности чувств. Поэта как будто бы всегда раздирало противоречие между лирикой времени (патриотизма, революции и т. д.) и «лирикой сердца», причем первая была нарочитой, навязанной, органически не свойственной ему, а вторая — и только она — составляла подлинную сущность его поэтического таланта¹.

Не будем приводить здесь всяческих домыслов комментатора (вроде парадоксов о том, что «Маяковский жил и погиб игроком», что у него было «восприятие мира сквозь метафорику игры» и т. п.). Но разве скрыты от кого-нибудь десятки высказываний самого Маяковского, направленных против разделения поэзии на «общественную» и «личную», против бессодержательной «лирики сердца» и бесчувственной «лирики дня»?

¹ Та же концепция творчества Маяковского содержалась в статье Р. Якобсона, опубликованной в «Вюллетене библиотеки Гарвардского университета», т. 9, 1955. Об этом уже писалось на страницах «Нового мира» (№ 5, 1956). О статье Р. Якобсона в «Русском архиве» см. «Коммунист», № 18, 1957, а также «Вопросы литературы», № 8, 1957, и «Литературную газету» от 6.II. 1958.

Комментатор, вероятно, ни минуты не сомневается в том, что Маяковский — это мастер. Но в понятие мастерства он вкладывает совсем не то, что подразумевал Маяковский (мы уже говорили об этом в предыдущей главе и здесь незачем повторять сказанное). Маяковский издевался над кучерявыми лириками, которые, позабыв о делах и битвах эпохи, блеяли свою певучую ерунду. Как же можно после этого, не теряя уважения к памяти великого поэта, низводить его до подобных песнопевцев, утверждая, что только вне политики и вне революции он проявлял себя как художник?

В стремлении исказить Маяковского прибегают иногда к экспериментам другого рода. Отводят на задний план всю его лирику и признают одну лишь сатиру, причем сатиру последних лет жизни поэта: вот, дескать, где подлинное отношение Маяковского к советской действительности, оно не в утверждении, а в отрицании. При этом не только искусственно отбрасывается ценнейшая часть наследия поэта (его лирика), но и грубо извращается то, что «признается»: в сатире Маяковского не хотят видеть отрицания капитализма и убийственной критики его пережитков, не хотят видеть того, что этой критикой поэт утверждает принципы новой, социалистической морали.

Польский поэт Анатолий Стерн немало потрудился над ознакомлением польского читателя с произведениями Маяковского. Он был редактором первого сборника Маяковского, изданного в Варшаве при жизни поэта (в 1927 году), он подготовил и две книги Маяковского, вышедшие в 1957 году. С участием Стерна в настоящее время готовится выпуск собрания сочинений Маяковского на польском языке. Однако как истолкователь наследия поэта А. Стерн допускает серьезные ошибки. Опубликованная им в журнале «Опине» («Мнения») статья «Чем был и чем является для нас Владимир Маяковский» поражает своей односторонностью, узостью, желанием представить великого мастера в сильно укороченном виде. Здесь, в частности, явственно выражено стремление затушевать роль Маяковского как певца и трибуна, принизить значение его патриотической лирики, противопоставив ей сатиру. Как будто не из одного жизненного источника, не одним и тем же восприятием мира питались лирические стихотворения Маяковского и его сатирические комедии и фельетоны.

В других случаях мы сталкиваемся с грубой критической отсебятиной, коверкающей самую суть сатиры Маяковского. Вот, например, какой путаницей мыслей югославский литератор Иован Чирлов пытается затемнить блистательную по форме и кристально ясную по идее пьесу Маяковского «Клоп», ту пьесу, где разоблачены пережитки мещанства, где поэт предвещает торжество новых, социалистических отношений между людьми. Назвав свою статью «Комедия перед самоубийством» (она опубликована в журнале «Дело» — там же, где статья Наны Богданович), Чирлов пишет: «Неудовлетворенный действительностью (которая порождает Присыпкиных), испуганный неясностью будущего (такого, каким Маяковский его видел в том, что написал), он испугался того, что исчезает (? — И. Э.) идеал. Его горюпливый характер хотел поскорей ухватиться за будущее, но за чистое будущее. И он испугался именно чистоты, доведенной до абсурда (? — И. Э.)».

Небезынтересно отметить, что автор этих слов, — может быть, и не зная того, — перекликается с Р. Якобсоном, который в уже известном нам «комментарии» заявляет, что пьесой «Клоп» Маяковский якобы опровергает свою лирику, что в ней «высмеяна постоянная мечта молодого Маяковского о будущем».

Нельзя без возмущения отнестись и к тому, что именем советского поэта хотят прикрыться явные критиканы, вчера еще клявшиеся в своей верности социалистическому реализму, а сегодня изо всех сил порочащие его.

Вспоминается конец января 1953 года, когда в переполненном зале Дома литераторов на улице Воровского днем и вечером шли споры о наследии Маяковского. На одном из заседаний выступил молодой польский поэт Виктор Ворошильский. Он говорил о месте Маяковского в идеологической борьбе, которая происходит в польской литературе. «Если знаменем эстетов в этой борьбе, — заявил он, — были Поль Валери и Райнер Мариа Рильке, то нашим знаменем, нашим учителем стал Маяковский!.. Приходя к нему, мы боролись за то, чтобы наше искусство открыто, честно, без оговорок служило рабочему классу в деле укрепления демократии и построения социализма в Польше».

Путь подлинного развития каждого поэта, утверждал тогда оратор, — это путь

глубокого овладения марксизмом-ленинизмом, изучения художественной классики, проникновения в жизнь народа, неустанного напряжения сердца и ума.

Так было в те январские дни. Но вот проходит два года — и Ворошильский преобразуется. В Польше появилась ревизионистская статья К. Теплица «Крушение пророков», и она, по словам Ворошильского, стала «толчком, который окончательно разгромил (разумеется, в его собственном представлении. — И. Э.) поверженный идол социалистического реализма». Ворошильский опубликовал в газете «Нова культура» статью, где усиленно следовал откровениям Теплица. Статью эту тотчас же подхватила капиталистическая пресса за рубежом. Ее стали публиковать с биографическими справками об авторе и даже с «Материалами к автобиографии» (безвестный поэт начал делать карьеру!). Центральным пунктом «Материалов», рассчитанных на сенсационный интерес, явилась глава «Большое сомнение». В ней говорится о том, как Ворошильский перестал верить в то, во что он верил. Справки же о поэте, даваемые как бы со стороны, гласят так:

«Он принадлежал к группе молодых писателей, которые с самого начала следовали канонам социалистического реализма. Порывает с конформистскими концепциями в 1955 году. В настоящее время принадлежит к кружку молодых писателей, группирующихся вокруг газеты «Нова культура», которые стремятся стать выразителями нового вида социалистического гуманизма».

Нет надобности разбираться в писаниях Ворошильского, а тем более в тех кокетливых рекомендациях, которые дают ему буржуазные органы прессы (например, французский журнал «Preuves»). Зададимся одним лишь вопросом: а как же теперь с Маяковским? Слово предвидя этот вопрос, Ворошильский заявляет:

«— Я не считаю, что на пути, который нас ждет, нужно отречься от поэта масштаба эпохи — Владимира Маяковского».

Итак, против социалистического реализма, но с Маяковским. Ворошильский не чувствует всей нелепости, всего алогизма приведенных слов. Но это хорошо почувствовали те читатели его статей, которым горестно было сознавать, что молодой способный поэт увяз в грязном месиве нигилистических идей. Вот что ответи-

ла ему в болгарской печати (газета «Литературен фронт») Лиляна Стефанова, хорошо знавшая Ворошильского по совместному обучению в Московском литературном институте имени Горького:

«...всем, что вы написали в своих статьях, вы отрекаетесь от первого поэта масштаба целой эпохи, который открыто заявлял, что он безраздельно служит народу и партии; отрекаетесь от поэта, который писал, что если была бы возможна реставрация капитализма в России, враги уничтожили бы каждый его стих «за полную для белых вредность». А вас сейчас славят именно они».

Подлинный Маяковский — это не тот, которого пытаются сочинить формалисты, эстеты и нигилисты, а тот, которого любят читатели и за которым идут передовые поэты.

5

Если вернуться к вопросу, с которым журнал «Лондон мэгэзин» обратился к писателям и к поэтам, станет ясным, что всякий не потерявший чувства долга перед людьми ответит на него утвердительно, то есть скажет, что тот художник, который намеренно проходит мимо событий, волнующих весь мир, заслуживает самых жестоких упреков и осуждения.

Мы знаем немало поэтических школ, которые в начале нынешнего века насаждали то эстетское затворничество, то безысходный скепсис, то беззастенчивый гедонизм. Все эти разновидности декадентства, казалось бы, прочно отгораживали художников от социальных бурь эпохи — от кризисов, революций, военных угроз. Но вот грянула империалистическая война, и куда делись обитатели «мезонин поэзии», «башен из слоновой кости», «храмов искусства»? Удивит ли нас то, что многие из них оказались бардами, песнопевцами кровопролитной войны, что артиллерийскому грому в меру сил своих подпевали и гурман Северянин, и эстет Сологуб, и «аристократ духа» д'Аннунцио, и символист Бальмонт? Еще не кончилась та война, а стали уже плодиться новые декадентские группки (в 1916 году возник «дадаизм»); и с новым усердием начали пропагандировать среди литераторов идеи «невмешательства» в политику, равнодушия к общественной жизни. Никто из людей, занимавшихся испуленным волхованием о

затаенной душе, не поднял голоса против величайшего бедствия, которое из года в год готовила и в конце концов обрушила на человечество фашистская «ось».

Естественно возникает вопрос: к какой же исторической роли предназначают себя те, кто сегодня перед лицом «холодной войны», колониальных набегов, инквизиторских допросов и других новейших проявлений буржуазной «цивилизации» отсиживается в мышиных норах декадентства?

И другой вопрос: в качестве кого хотят войти в сознание современников и потомков те из писателей и поэтов, которые тащатся на буксире ревизионистских идей? Некоторые из них полагают, что они противостоят буржуазным эстетам, что у них нет ничего общего с идеализмом и консерватизмом в искусстве. Но убеждение это сплошь да рядом оказывается чистой иллюзией. Те, кто «ревизует» принципы социалистического искусства, заявляют, что от художника требуется лишь «вера» в социализм, а метод изображения действительности может быть каким угодно — модернистским, символистским, «интегральным», беспредметным, «ультрареалистическим» и т. д. Так понимают «свободу» художника новоявленные пророки.

Но дело не только в этом. Ревизионизм — явление политическое. Он начинается с уступок буржуазной идеологии, а кончается капитуляцией перед нею. Он всегда плетется в обозе буржуазной политики, буржуазной науки, на ходу прислуживая им. В. И. Ленин еще полвека назад писал о рабской зависимости ревизионизма от буржуазной «профессорской» мысли. «Профессора шли «назад к Канту», — и ревизионизм тащился за неокантовцами, профессора повторяли тысячу раз сказанные поповские пошлости против философского материализма, — и ревизионисты, снисходительно улыбаясь, бормотали (слово в слово по последнему хандбуху), что материализм давно «опровергнут»...¹

Намного ли дальше ушли от сторонников Бернштейна и Каутского современные ревизионисты? Они «опровергают» марксизм, проповедуют «национал-коммунизм», охотно рекламируют буржуазный правопорядок, а в области искусства — анархию, безыдейность, индивидуализм. Они пы-

¹ В. И. Ленин. Марксизм и ревизионизм. Сочинения. 4-е изд., т. XV, стр. 19.

таются опорочить политические и культурные завоевания советского народа, достигнутые за сорок лет. Они по-своему перекраивают нашу историю, нашу поэзию, нашу науку, фальсифицируя, опошляя, приспособливая их к своим ренегатским задачам.

Поэзия — один из фронтов идеологической борьбы нашего времени. Фронт этот никогда не был отдаленным, затишливым, второстепенным: здесь всегда кипела битва передовых, революционных, гуманистических сил с силами духовной рутины, а

иногда и откровенного мракобесия. Маяковский и вместе с ним лучшие поэты нашего века — многие поэты Советской страны и революционные поэты Запада и Востока — были всегда страстными воителями, последовательными борцами. И сегодня они противостоят всему, что тянет искусство назад. И сегодня они призывают развивать и множить самую нужную человеку поэзию — поэзию жизненной правды, поэзию прогрессивных идей, поэзию борьбы за светлое коммунистическое будущее человечества.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Кандидат философских наук **В. Разумный**. Основоположники марксизма об искусстве.— **Александра Бруштейн**. Подвиг любви и терпения.— **Б. Сарнов**. Полнота жизни.— **Александр Ивич**. Единство замысла и выполнения.— **В. Гоффеншефер**. Труд библиографа.— **Юрий Барабаш**. Книга о поэте и революции.— **Анна Илупина**. «Отелло» на грузинской сцене.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Кандидат исторических наук **А. Байнова**. Воспоминания немецких товарищей о Ленине.— Кандидат исторических наук **О. Блюмфельд**. Из истории Дагестана.— Полковник **Н. Денисов**. Мемуары **С. М. Буденного**.— **Г. Драмбянц**. Генерал против арабов.— **А. Манаров**. Там, за Ладожским озером...— **Е. Немировский**. Старый мир и новые звезды.— **И. Пешнин**. Экономическая учеба в Норильске.

Литература и искусство

Основоположники марксизма об искусстве

Свыше двадцати лет назад, в 1937 году, был издан на русском языке первый систематический свод текстов из различных произведений К. Маркса и Ф. Энгельса, в которых была сформулирована выработанная ими общая историческая концепция развития культуры, а также собраны их многочисленные высказывания по частным вопросам искусства и литературы.

Только что выпущенный в свет под тем же заглавием («К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве») новый двухтомный сборник отличается от предыдущих изданий прежде всего значительно большей полнотой представленного материала, размещенного по тематическому принципу. Выход этой книги сейчас особенно своевременен и ценен в связи с тем огромным интересом к эстетической теории, который проявляют художники, литературоведы, критики, педагоги в борьбе с ревизионизмом и догматизмом в этой области.

Материал, объединенный в пятнадцать разделов сборника, всесторонне раскрывает роль К. Маркса и Ф. Энгельса как творцов

подлинно научной эстетики, не только сумевших дать ответ на сложнейшие проблемы, поставленные эстетической мыслью предшествующего периода, но и создавших принципиально новую систему эстетической науки.

Одним из таких вопросов, всегда находившихся в центре внимания эстетики, является вопрос о природе искусства, о его общественных задачах и социальной направленности. Слово марксистской науки здесь особенно важно. Выросшие на почве идеалистической философии концепции искусства для искусства стали краеугольным камнем современной реакционной буржуазной эстетики, а рецидивы этих концепций проникают порою даже и в работы отдельных советских исследователей, пытающихся под флагом «развития» теории ревизовать основные положения и научные выводы марксистско-ленинской эстетики. Такова, например, теория «абсолютной эстетической сущности» искусства, отрицание его познавательного значения, пренебрежение к жизненной правде как основе художественности.

Высказывания К. Маркса и Ф. Энгельса, собранные в первом разделе «Общие во-

К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. Том I, 632 стр., том II, 758 стр. Составитель М. Лифшиц. «Искусство». М. 1957.

просы художественного творчества», дают нам единственно верное понимание природы искусства. Глубокое исследование классических образцов и вершин современного им мирового искусства, а также умение разглядеть первые ростки лишь нарождавшегося в ту пору искусства пролетариата привели Маркса и Энгельса к выводу об идейности и реализме как неотъемлемых признаках подлинной художественной красоты.

В тот период, когда идеологи буржуазии все чаще стали утверждать, что искусство есть область чистой, «незаинтересованной» красоты, что художник должен стоять вне житейских треволений и социальных битв, Маркс и Энгельс доказали, что все подлинно прекрасное в искусстве прошлого рождалось под воздействием духовной жизни той или иной эпохи. «Отец трагедии Эсхил и отец комедии Аристофан были оба ярко выраженными тенденциозными поэтами, точно так же и Данте и Сервантес, а главное достоинство «Коварства и любви» Шиллера состоит в том, что это — первая немецкая политически-тенденциозная драма. Современные русские и норвежские писатели, которые пишут превосходные романы, все сплошь тенденциозны».

Враги искусства социалистического реализма всячески стремятся доказать, что реализм низводит творчество художника до роли иллюстратора политических идей. Они сознательно замалчивают тот факт, что марксистско-ленинская эстетика рассматривает идейность в неразрывном единстве с реалистичностью изображения. Этот вывод, крайне существенный для развития нашего искусства, мы находим в письмах Маркса и Энгельса к Фердинанду Лассалю по поводу его драмы «Франц фон-Зикинген». В этих письмах подчеркивается, что тенденция произведения должна вытекать из внутренней логики действия изображенных в нем персонажей, а не навязываться им извне по авторскому произволу.

Многочисленные высказывания Маркса и Энгельса о реализме в искусстве, об его формах и его значении для развития художественной культуры будущего приобретают особое значение теперь, когда буржуазные эстетики и смыкающиеся с ними ревизионисты делают все возможное для того, чтобы «похоронить» реализм, объявить этот метод окончательно устаревшим. Так, югославский писатель Оскар Давичо совсем недавно заявил: «Не только изменение об-

щего познания, чувства, но и перемены в самой реальности требуют, чтобы литературный метод реализма был поставлен на свое действительное место. Это место — в истории». Если учесть, что подобные заявления, практически направленные против социалистического реализма, дающего то сочетание жизненной правды с высокой идейностью, о котором говорили Маркс и Энгельс, раздаются сегодня с особенным азартом, — станет очевидной актуальность того оружия, которое дает нам в руки сборник высказываний основоположников марксизма об искусстве.

Обширный материал, объединенный в книге, дает возможность проследить ход решения Марксом и Энгельсом многих эстетических проблем, над которыми веками билась лучшие умы человечества, — таких, как комическое и трагическое в действительности и в искусстве, проблема типического, вопрос о содержании и форме в искусстве и многие другие. Но самое главное, пожалуй, в том, что сборник раскрывает весь этот материал как целостную эстетическую систему, ознаменовавшую своим появлением революционный переворот в истории эстетической мысли.

Определяющим в марксистской системе эстетики является понимание искусства как одной из форм общественного сознания. Организация материалов сборника такова, что она дает возможность читателю последовательно ознакомиться с основополагающими высказываниями Маркса и Энгельса о причинах возникновения искусства, об исторических закономерностях его развития.

Марксизм, раскрыв объективные законы исторического развития, доказал, что действительная материальная основа жизни общества — это общественно-производственная деятельность людей. Труд создал человека, все богатство его субъективных способностей, в том числе и способность творить по законам красоты. Как писал Ф. Энгельс, только благодаря труду «человеческая рука достигла той высокой степени совершенства, на которой она смогла, как бы силой волшебства, вызвать к жизни картины Рафаэля, статуи Торвальдсена, музыку Паганини».

Маркс и Энгельс на основе закономерностей, выведенных из анализа целого ряда объективных фактов, впервые показали, что источник развития искусства — не в нем самом, не в изменяющихся представлениях

людей о красоте, не в развитии духа, как это утверждали старые эстетики, а в развитии и изменении общественного бытия. Работы и высказывания по вопросам истории художественной культуры разных эпох и народов, систематизированные в сборнике, дают классический образец конкретно-исторического анализа сложнейших явлений искусства прошлого в связи с развитием общества, их породившего.

Подчеркивая социальную обусловленность искусства, его зависимость от базиса общества, Маркс и Энгельс предостерегали от вульгарно-социологического понимания этой зависимости как механического соответствия уровня художественной культуры общества уровню развития производства. Они подают нам пример историзма исследования, умения при анализе движения какой-либо из идеологических форм в деталях исследовать условия экономической формации, все воззрения, господствующие в ней, их взаимное влияние.

Рассматривая диалектический характер взаимосвязи искусства и общественного развития, Маркс писал: «Относительно искусства известно, что определенные периоды его расцвета не находятся ни в каком соответствии с общим развитием общества, а следовательно, также и развитием материальной основы последнего, составляющей как бы скелет его организации. Например, греки в сравнении с современными народами или также Шекспир».

Марксисты призваны развеять созданный идеологами буржуазии миф о расцвете культуры при капитализме, о прогрессе личности в условиях буржуазного миропорядка. В решении этой задачи наши историки, философы и эстетики опираются на труды Маркса и Энгельса, в которых впервые научно объяснены противоречия буржуазной цивилизации и доказана враждебность капитализма искусству. Капитализм создает такие условия, при которых с действительности оказываются сорванными все поэтические покровы, а труд художника превращается в предмет бессердечной купли-продажи.

В современных условиях расцвета социалистической культуры освобожденных от капиталистического рабства народов научное понимание законов развития культуры в антагонистическом классовом обществе и исторических судеб культуры при коммунизме — дело первостепенной политической важности. В трудах Маркса и Энгельса со

всей очевидностью показана неизбежность расцвета культуры в новом, коммунистическом обществе. Особое значение в этой связи имеют два раздела сборника: «Искусство в классовом обществе» и «Искусство и коммунизм».

В последнее время в буржуазной эстетике все чаще и чаще звучит избитая тема краха искусства как такового. Пытаясь завуалировать реальную причину, приведшую современное реакционное буржуазное искусство в тупик, представители этой эстетики апеллируют к «вечным», «имманентным» законам искусства. В частности, они пытаются доказать бессмысленность самой идеи поступательного движения художественной культуры. Весьма показательно в этой связи утверждение Жоржа Комбе на страницах журнала «Ревю д'эстетик»: «В искусстве понятие прогресса не имеет никакого определенного смысла».

Естественно, что художники, не желающие примириться с подобным пессимистическим тезисом, ищут новых путей в искусстве. Они все чаще в поисках выхода обращаются к опыту искусства, полного жизненных сил, — искусства социалистического реализма.

Апологеты буржуазии делают все для того, чтобы представить развитие искусства при социализме в искаженном свете и тем самым запугать художников жупелом «несвободы» творческой индивидуальности при социализме. Объективно на их мельницу льют воду и те псевдомарксисты, которые под флагом «защиты» марксизма ревизуют его основные принципы.

Сошлемся на выступление югославского писателя Танасия Младеновича в Варшавском клубе иностранной печати. Вопреки очевидным фактам развития советской художественной культуры, он утверждал, говоря о советских писателях, что «обязательная связь между политикой, с одной стороны, и искусством — с другой, означает их полное подчинение задачам однодневной политики и не предполагает самостоятельности точки зрения писателя, его восприятия мира».

Танасий Младенович и ему подобные «стыдливо» умалчивают, что в нашей стране всегда велась действенная борьба против таких не имеющих ничего общего с марксизмом представлений — против конъюнктуры в искусстве, против стирания индивидуальности художника.

Лучшее опровержение кликушеских

«пророчеств» буржуазных эстетиков и смыкающихся с ними ревизионистов о судьбах культуры при социализме — практика советского искусства, давшего миру эстетические ценности мирового значения. Эта практика полностью подтвердила главную мысль эстетики марксизма: только коммунизм явится истинным царством свободы, только он создаст реальную почву для гармонического развития всех человеческих способностей и сил. «В пределах коммунистического общества — единственного общества, где самобытное и свободное развитие индивидов перестает быть фразой, — это развитие обуславливается именно связью индивидов, связью, заключающейся отчасти в экономических предпосылках, отчасти в необходимой солидарности свободного развития всех и, наконец, в универсальном характере деятельности индивидов на основе имеющихся производи-

тельных сил». Развитое в новых исторических условиях и трудах В. И. Ленина, в важнейших документах КПСС по вопросам идеологии, это кардинальное положение марксизма легло в основу развития социалистической культуры и искусства.

В небольшой заметке невозможно охарактеризовать все богатство содержания сборника «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве». Однако необходимо отметить его бесспорное и очевидное достоинство: сборник этот организован так продуманно и научно обоснованно, что читатель получает не конгломерат цитат, а систему марксистской эстетики. В этом большая заслуга составителя сборника М. Лифшица, проделавшего серьезную работу при перенздании сборника, подготовленного им же двадцать лет назад.

Кандидат философских наук
В. РАЗУМНЫЙ.

★

Подвиг любви и терпения

Очень давнее воспоминание моего детства — лет около семидесяти тому назад: по тротуару ведут парами мальчиков в блузах, девочек в платьях из дешевой одноцветной материи и в черных фартуках. Все дети без исключения обриты наголо, как солдаты или арестанты, — по головам и не разберешь, кто мальчики, а кто девочки. Почти у всех этих детей лица того сероватого оттенка, который говорит о привычном недоедании. Ведут их воспитатели и воспитательницы, и почему-то у многих из них лица убежденных людоедов. То ли воспитатели с человеческим сердцем не идут на эту работу, то ли черствеет сердце на ней, то ли не поручают ее добрым людям, — но только приветливые, сердечные лица среди воспитателей редки.

— Приютских ведут... — говорят люди на улице, провожая глазами бритоголовых ребят. — Ох, приютки, приютки... Как щенята без матери...

Сиротские приюты «ведомства императрицы Марии Федоровны» (число их перед революцией доходило почти до двухсот) просуществовали в царской России до самой Октябрьской революции. Потом они влились в наши советские детские дома и

школы. Мне случалось видеть таких бывших «приюток» и слышать рассказы об их прежней жизни.

— Как воскресенье или праздник, — вспоминали девочки, — начальница нас по церквям посылает. На паперть — побираться. С тарелкой, по двое... «Православные хрестеяне, пожалейте несчастных сироток, подайте, что милость ваша...» И каждой из нас сказано: «Следи за своей парой, чтоб не украли с тарелки...» Люди нам подают, — мы кланяться должны. За день, бывало, накланяешься — шею больно!..

О том, как болела душа ребят, как калечилась она и уродовалась, об этом можно сегодня только догадываться.

Может быть, оттого так проникновенно звучат в книге Ф. Вигдоровой слова, вложенные автором в уста советского воспитателя Семена Афанасьевича, о том, что дети в детских домах болеют только сиротством и одиночеством, а лечить эту болезнь воспитатели могут только любовью и терпением.

Именно об этом и рассказывает книга Ф. Вигдоровой — о новых, порожденных социалистическими формами жизни, изменившимися формами общественных отношений, принципах советской педагогики, о великом, превышающем силы человеческие подвиге труда и терпения, каким является вся сознательная деятельность

Ф. Вигдорова. Дорога в жизнь. Это мой дом. Повести. Редактор В. Вилкова. 676 стр. «Советский писатель». М. 1957.

Семена Афанасьевича Карабанова и его жены, Галины Константиновны.

Детский дом в Березовой Поляне под Ленинградом — первое место самостоятельной работы этих молодых воспитателей. Автор поначалу показывает нам этот березовополянский детдом неприглядным и мрачным. Прежде работали здесь плохие люди, которых и воспитателями-то назвать нельзя, — одни равнодушные, другие — отягощенные старинными пороками стяжательства и наживы за чужой (пусть и за сиротский) счет. И потому все, что только можно, в этом доме расхищено, разворовано, растаскано, сломано, разрушено. Почти никакой работы с детьми не ведется. Воспитатели не соглашаются ехать на работу в Березовую Поляну, а остатки «администрации» детдома довершают расхищение остатков имущества. В Ленинградском гороне Березовая Поляна числится как «детский дом для трудно-воспитуемых»... Как будто воспитание человека хоть где-либо и когда-либо может быть делом легким!

По всем этим причинам Ленинградское горono собирается закрыть детдом Березовая Поляна: за полной невозможностью наладить в нем хоть какую-нибудь воспитательную работу.

Но в Березовую Поляну приезжает человек, который не шарахается от развала и запустения, он не боится трудностей, он даже вроде как любит трудности! Автор очень понятно показывает, откуда берется у Семена Афанасьевича Карабанова это бесстрашие и смелость: он в высокой степени наделен необходимой для советского педагога способностью видеть, разглядеть за сегодняшним «плохо» завтрашнее «прекрасно», так же как и способностью неограниченно верить хорошим людям, и в особенности детям.

Приехав в Березовую Поляну только еще затем, чтобы «посмотреть», Семен Афанасьевич видит не мерзость запустения, не чью-то враждебность, натравившую на него, Карабанова, словно случайно, разъяренного быка. Нет, Семен Афанасьевич видит прозрачные и чистые глаза на грязном, почти черном лице мальчика Петьки Кизимова. Петька тоже сразу поверил Семену Афанасьевичу и кивляет за ним в одном башмаке; второй проигран кому-то в карты! И Семен Афанасьевич решает: остаюсь, буду здесь работать!

Приезжает Галина Константиновна, под-

бирается группа хороших педагогов — и начинается бой! За детский дом, за детей, за каждого из них в отдельности, за превращение стайки зверят в человеческий коллектив. Автор показывает нам супругов Карабановых очень разными и благодаря этому удивительно дополняющими друг друга. Он горяч, вспыхивает, как порох, легко «теряет тормоза», но зато он просто пленяет творческой изобретательностью и остроумием. Его веселая находчивость иногда воздействует на ребят легче и лучше, чем могут это сделать сотни нравучений. Напротив, Галина Константиновна, всегда ровная, спокойная, видит порою глубже и правильнее, чем Семен Афанасьевич, а исходящее от нее материнское тепло завоевывает часто самых, казалось бы, отпетых, безнадежных ребят.

Борьба в детдоме никогда не имеет конца. Приходят новые дети, и с ними надо иногда начинать все опять сначала. Вчерашние победы завтра оборачиваются поражениями. Воспитатели тратят тонны сил, самоотвержения, труда, а дело подвигается вперед едва на миллиметры, часто они просто топчутся на месте, но бывает и так, что один черный час отбрасывает их далеко назад. Таким черным часом для детдома оказывается трагическая гибель Костика, маленького сынишки Карабановых; присланный в детдом по чьей-то преступной небрежности психически больной подросток зарезал Костика. Эти страшные страницы написаны Ф. Вигдоровой с большим художественным тактом. Гибель Костика ощущаешь как тяжелую, как лично твою травму. Со страхом думаешь о том, как поступят родители Костика, — найдут ли они в себе силу продолжать этот труднейший путь? И глубокой гордостью за человека переполняется душа, когда читаешь, что Карабановы не отказались от своего призвания — они только переехали в другой детдом, Черешенки, где не ранили их на каждом шагу трагические воспоминания.

Рядом с Карабановыми автор выводит много людей, в особенности детей и подростков, воспитанников детдома, от самого старшего — Мити Королева (Король) и до самой маленькой — семилетней Настасьи. Вигдорова — мастер создания детских образов, проникновения в сложные и трудные характеры, такие, например, как характер Якушева, мальчика прекрасных возможностей, но засасываемого стяжа-

тельством, привычкой лгать и попрошайничать, или Андрея Репина, которому стремление к власти над окружающими не дает очиститься от привычек преступного мира, от воровства. Хорошим глазом, умным и добрым глазом писателя увидел автор самых разнообразных ребят. Их запоминаешь с радостью, но перечислить их в краткой статье невозможно.

Кое-кто считает, будто Ф. Вигдоровой было легче писать свою книгу после «Педагогической поэмы» А. С. Макаренко, а Карабановым, его ученикам и воспитанникам, было легче работать после него. И то и другое неверно. Второй шаг, вытекающий из какого-то первого, очень часто сложнее и труднее, потому что ведь меняется обстановка, усложняются новые обстоятельства, расширяются и углубляются перспективы. Да, Карабановы — воспитанники А. С. Макаренко и, значит, духовные наследники его. Но ведь наследство А. С. Макаренко — не поваренная книга или домашний лечебник с готовыми рецептами на все случаи воспитательной работы. Как не существует на свете двух людей с одинаковым узором линий на подушечке большого пальца руки, так нет ни одинаковых детей, ни одинаковых житейских ситуаций: они всегда разные. И то, что годилось в колонии Макаренко, созданной более чем за десять лет до Березовой Поляны и Черешенок, то, что было правильным в стране, где еще не отгремела гражданская война, наконец, то, что диктовалось особенностями человеческого материала колонии А. С. Макаренко, где были поначалу правонарушители и беспризорники, — все это оказалось уже ненужным у Карабановых, где подавляющее большинство ребят составляли сироты. И Ф. Вигдорова сама с большим юмором описывает нелепые курьезы, имевшие место почти всегда, когда вместо логической эволюции воспитательных методов Карабановы иногда пытались чисто внешне скопировать что-нибудь из наследия А. С. Макаренко.

Однако наследие это существует. Оно, это нетленное наследие, жило и живет в сердцах и в делах его воспитанников. Это прежде всего вдохновенная любовь Антона Семеновича к детям. Нет, не к хорошеньким, чистеньким, здоровеньким — таких любить легко! — но к тем, что заросли коростой и покрыты болячками, одичали, как звереныши, но их можно и, значит,

должно отскрести, отмыть, дать душе их оттаять и расцвести. Это — любовь к своему делу, горячая, творческая. Это — доверие к детям, то доверие, на котором строится всякий детский коллектив, всякий умный воспитательный труд. Это — создание непрерывно нарастающих и повышающихся «радостных перспектив» — стимулов роста самих воспитанников. И это, наконец, непримиримость А. С. Макаренко к врагам, умение стоять на своем и не уступать им ни пяди. Вот это и есть наследие А. С. Макаренко, оно свято воспринято Карабановыми. И в книге, написанной Ф. Вигдоровой, далеким отраженным светом сияет прекрасный образ «воспитателя воспитателей», замечательного педагога, писателя и человека — Антона Семеновича Макаренко.

В книге, которую принимаешь с радостью, нельзя обойти молчанием то, что кажется мало удачным. Есть такие вещи и в книге Ф. Вигдоровой. Это те эпизоды, которые либо «не получились», либо кажутся ненужными. Не получились, например, написанные явно с чужих слов образы детей немецких антифашистов. Правильный замысел этот поблек буквально в самой завязи: маленькие немцы оказались детьми непонятной национальности, бледными, трудно различимыми. Ненужным представляется нам и глазное ранение Короля, операция, сделанная ему академиком В. П. Филатовым, годичное пребывание Короля в одесской клинике. В книге приводятся тексты восторженных телеграмм о состоянии Короля: «Глаза спасены...», «Зрение спасено!» — но все это торопливо и неглубоко, то есть дисгармонизирует с остальным материалом книги.

Все это лишь небольшие и легко устранимые изъяны в хорошей книге.

На первых страницах ее мы увидели светлые, прозрачные глаза Петьки Кизимова на его почти черном от грязи лице, — и мы поверили и в Петьку и в Семена Афанасьевича. В конце книги Семен Афанасьевич вечером идет пешком со станции, ведя за руку «новую» девочку Тоню.

— Вот мы и пришли, Тоня. Видишь, окна светятся? Это наш дом!

Мы почти физически ощущаем маленькую доверчивую детскую руку в большой, умной и доброй руке воспитателя. И тоже говорим, с гордостью говорим:

— Это наш дом. Это наши люди.

Александра БРУШТЕЙН.

Первая строфа предметнее, зрительно ярче. Строфа, завершающая стихотворение, не так конкретна, но она эмоционально насыщеннее, «субъективнее», в ней определеннее выражено авторское отношение к описанному. Вся строфа как бы несет на себе отблеск неожиданно вырвавшегося признания: «Нравятся мне эти тугодумы». Она обогащена предшествующими строфами, объясняющими, за что буйволы нравятся поэту:

За характер, не гадающий заранее —
Камни ли ворочать, в горы ль, в грязь.
Много людям сделали добра они,
Перед ними не ласкаясь и не лытаясь.

Так «зарисовка» становится лирическим признанием. Так спокойная, почти информационная строка — «Отработав утреннюю смену», — неожиданно переключая рассказ о буйволах в «человеческий» план, превращается в образ. Как мгновенная вспышка магия, освещает она подтекст стихотворения: не о буйволах, не только о буйволах идет в нем речь. Ведь это о своем отношении к людям поэт говорит, о своих привязанностях и вкусах, о том, что дорого и что ненавистно ему в жизни.

Другое стихотворение — «Старик»:

Устало сбросив мотыгу с плеча,
Старик, кряхтя, присел у ключа...
Склонился к воде, завернув воротник,
И, словно насос, закачался надик...
В ладони большой, как чаша весов,
Воду держал, молчалив и суров.
Потом ладонь наклонил слегка,
Следа, как струйка стекает покорно,
Как будто рукой зачерпнув из мешка,
На вес и на ощупь попробовал зерна.

После «Буйволов» это стихотворение читаешь уже другими глазами. Совсем по-иному воспринимаются отдельные его подробности: устало сброшенная с плеча мотыга, взгляд, искоса брошенный на солнце, «как на стенные часы», и в особенности этот любовный жест хлебороба: «Как будто рукой зачерпнув из мешка, на вес и на ощупь попробовал зерна».

Еще одно стихотворение Искандера — «Абхазская осень»:

Дай бог такой вам осени, друзья!
Початки кукурузные грязя,
Мы у огня сидим,
Ленивый дым,
Закручиваясь, лезет в дымоход,
И, глядя на огонь, колдует кот.
Дрова трещат и сыплются у ног,
Как с наковальни яростные брызги.
Замызганный, широкобокий, низкий,

К огню придвинут черный чугунок.
Мы слушаем, как в чугунке торопко,
Уютно хлопает пахучая похлебка.
Золотозубал горою кукуруза
Навалена почти до потолка,
И наша кухня светится от груза
Початков, бронзовеющих слегка...
Хозяин говорит мне
(Да не сразу,
Задумчиво, спокойно взвесив фразу):
— Вот так за лето не сидел ни разу.
А пыне — все! Хоть на голову снег!
Ломай чурек,
Свободный человек!

Казалось бы, тоже зарисовка, картина. Яркая, сочная, до предела насыщенная красками, звуками, запахами, но нигде не переходящая границы описания. Однако и здесь, и в этом стихотворении, на чувства читателя действует не только то, что попало «в кадр», но и то, что осталось «за кадром».

Мужество терпения, суровый, упорный труд земледельца, подготовивший плоды этой щедрой осени, — все это с необыкновенной остротой оттеняется блаженным ощущением покоя, которым дышит все стихотворение. Читатель переживает состояние человека, который за лето «не сидел ни разу» и вот теперь наконец от души наслаждается заслуженным отдыхом.

Сопоставляя это стихотворение с его «соседями» по циклу (стихотворениями «Арбуз», «Буйволы», «Старик» и другими), постигаешь тайну той необыкновенной полноты и яркости ощущений, которая так поразила нас в первом стихотворении: только тот, кому знакома усталость после тяжелого трудового дня, может со всей полнотой ощутить сладость арбузного сока, прохладу чистой ключевой воды, состояние отдыха.

Так отдельные зарисовки, портреты, яркие живописные картины, собранные вместе, открывают читателю не только зримые черты «внешнего» мира, но и внутренний облик поэта — человека, влюбленного в свою землю, в ее людей.

Гордость за своих земляков, простодушных и мудрых труженников, сливается в сердце поэта с гордостью за свою большую Родину, ставшую Родиной всех честных труженников земли:

Я шел рассветом вдоль межи
Над тихим полем желтой ржи.
Дул встречный ветер, и, казалось, —
Под гребнями ржаных валов
До горизонта прогибалась
Земля под тяжестью хлебов.

Медленно встает солнце:

Хлеба у края небосвода
Его восходом зажжены.
В такой вот час, наверно, кто-то
Придумал герб моей страны.

Лирический герой Искандера — советский человек по своему ощущению жизни, советский во всех своих проявлениях.

Вот он читает «Спартака» Джованьоли — старую книгу о делах давно минувших дней:

Волит от горя голова,
Но в сердце гнев бушует
Сквозь зубы выдавил слова:
— Проклятые буржуи!

Недаром в одном из своих стихотворений поэт называет себя и своих сверстников наследниками многих революций.

Вот это стихотворение. Оно называется «Спокойствие»:

Нет, нас не успокоит никогда
Слепорожденное спокойствие крота;
Голубоглазое спокойствие глупца,
Как люк завинченный, спокойствие тупицы,
Спокойствие банального конца
И вероломное спокойствие границы...
...Нам жить и жить.
Нам против ветра петь,
Когда миры ломаются и рвутся.
Так можно ли спокойствие терпеть
Наследникам великих революций?!

Конечно, именно лирическому поэту дано право впрямую, что называется «в лоб», высказывать дорогие ему мысли, обнаруживать владеющие им чувства. Но как важно, чтобы монолог не с в себе мысль, страсть, ощущение, чувство, а не представлял собой вялый пересказ мысли, бесплотный разговор об ощущениях, чувствах, страстях.

Поэтический образ — это не только картина. Поэтическим образом может стать мысль. Но и тогда это должен быть образ, а не иероглиф:

Спокойствие под черепной корою,
Где взвешены расчёты грошевые,
Где, как под камнем, опрокинутым ногою,
Закопшатся черви дождевые.

Можно ли здесь отделить мысль от образа? Можно ли хотя бы предположительно сказать, что родилось вначале — мысль или ее образное воплощение?

Праздный вопрос. Образ здесь — плоть мысли, а не одежда ее.

Мир, открывающийся в стихах Искандера, предметен, осязаем до ощутимости.

Вот несколько наугад взятых примеров:

Им под стать, где трактор не пройдет,
Землю выпахать и, встретивши врага,
Защищаться, выставив вперед
Узловатые, гранитные рога.

(«Буйволы»).

Потом вставал он во весь рост,
И дерево когтил нежданно,
И десять штыковых борозд
Прорезал по стволу каштана.

(«Медведь»).

Разве вы не видите — отчетливо, ясно — и эти «десять штыковых борозд», и «узловатые, гранитные рога» буйволов, и огромные тыквы, о которых поэт говорит в стихотворении «Абхазская осень»:

А тыквы уродились — черт-те что!
Таких, наверно, не видал никто:
Как будто сгрудились кабаньи туши,
Сюда на кухню забредя от стужи.
Они лежат вповалку на полу.
Глядишь: вот-вот захрюкают в углу.

Стихи, включенные Ф. Искандером в сборник «Горные тропы», неравноценны. Это первая книга молодого поэта, и по-человечески понятно, что он решил включить в нее почти все им написанное, не найдя в себе мужества беспощадной рукой отсеять слабые, так называемые «проходные», часто вовсе для него не характерные стихи. Более того, даже в тех стихах, в которых проявились лучшие черты поэтического дарования Искандера, есть рыхлые строфы, случайные, неточные слова, отдельные банальные строки. В некоторых его стихах заметны отчетливые следы влияния других поэтов. Вот хотя бы строфа из стихотворения «Ночная ловля рыбы».

Казалось: ветви всех дерёв
Стучали костью о кость.
Была тоска. Тоска без слов.
Тоска и одинокость.

В ней явственно слышится интонация Б. Пастернака.

На других строках молодого поэта лежит столь же явный отпечаток влияния Э. Багрицкого, Н. Тихонова. Но лучшие стихи Ф. Искандера в основе своей самобытны, по-настоящему талантливы.

И прежде всего они привлекают тем, чем, собственно, и должны привлекать стихи: их лирический герой — человек горячей и чистой души, чувствующий жизнь полно и ярко.

Впрочем, разве не в том и состоит талант поэта, чтобы с обостренной яркостью чувствовать все, чем живет человек, твой современник.

Б. САРНОВ.

Единство замысла и выполнения

Первое, о чем думаешь, закрыв книгу А. Шарова,— это о ее цельности, о единстве замысла и выполнения, заставляющих почти забывать, что мы прочли сборник рассказов и повестей, написанных на протяжении многих лет, а не книгу, созданную одним дыханием.

Перед нами проходят люди очень разные, события и первых послеоктябрьских лет, и вчерашние. Но, в сущности, все рассказы и повести, собранные в книге,— история того поколения людей, для которого Октябрь был первым событием сознательной жизни, история становления и развития их душевного мира.

Повесть «Друзья мои коммунары», построенная как серия рассказов о московской школе-коммуне первых лет революции, раскрывает, чем жили, о чем мечтали тогда подростки-коммунары.

Прежде всего им нужна была мировая революция, немедленно, завтра же. Дети читают рассказ Джека Лондона «Мексиканец». Конец оторван, что было дальше, надо придумать самим.

«Там уничтожили буржуев? — требовательно спросила Таня».

Пошли за картой.

«Мексика! — Ласька положил ладонь на зеленое пятно рядом с Соединенными Штатами.— Зеленая, значит там еще буржуи...

— А если не успели закрасить? — перебила Таня.

— Перекрашивают сразу; сгонят буржуев — и перекрасят».

В другом рассказе знакомство мальчиков прямо начинается с вопроса: «— Ты за революцию?.. За мировую революцию?» Вот первое, что надо узнать, без этого нельзя дружить.

А у себя в стране, которая простерлась на карте ярко-красным морем, нужна справедливость, неумолимая справедливость и честность.

Мальчик принес в коммуны чемодан, и, когда он случайно открылся, коммунары увидели там жареную курицу, колбасу, сахар — яства фантастические для голодного года. Ребята делают то, что казалось им самым естественным: делят еду поровну. Ведь в коммуне все общее. Они просто не

могут понять, на что жалуется вернувшийся владелец чемодана. На собрании один из коммунаров страстно требует: «...пусть старшие скажут: бывало в коммуне, чтобы прятали жратву от товарищей?.. У нас тут курсант Трубицын и красноармеец Федор Пастоленко... Пусть они скажут: бывало, чтобы один красноармеец прятал в мешке хлеб и сало, а другие шли в бой голодные?... — В матросском отряде такого не бывало, — отзывается Трубицын».

И коммунары не согласны, чтобы так было, чтобы так могло быть. «Можно не думать о том, что такое собственность, и твердо знать, что такое справедливость».

Еще острее встал вопрос о собственности и справедливости, когда украли из кладовки телячью ногу, выданную коммуне. Украсть мог только кто-то из своих. Коммуна потрясена — не тем, что лишилась редкой возможности сытно поесть, а тем, что в ее среде есть вор. «Мы заставим того, кто украл, самого повиниться, а там решим». И комсомольское бюро постановило объявить голодовку. Она проводится в секрете от воспитателей, неуклонно и мужественно. Приходится ходить в столовую, вдыхать запах поставленной перед тобой еды и незаметно выливать суп, прятать хлеб.

Самому младшему и хилому — Глебу — грозит смерть от истощения. Его положили в лазарет, и врач не может понять, почему в коммуне два случая голодных обмороков. Ленья, друг Глеба, бежит из коммуны и возвращается на следующий день с телячьей ногой. Он сам приносит чашку бульона Глебу. Все, кроме Глеба, решают, что Ленья, конечно, и украл мясо. Но тут, когда на Ленью вот-вот обрушится гнев и презрение коммунаров, не выдержал наконец настоящий вор: в кладовой появилась вторая телячья нога. А Ленья, оказывается, ездил к брату, и тот помог ему достать мясо.

Это очень сильный и значительный рассказ. Читая о горячей, неколебимой любви подростков к честности, об их стойкости, готовности умереть за то, что считают они справедливым, ощущаешь, как ковалась моральная сила поколения, пересоздавшего свою страну в годы первых пятилеток и одолевшего фашистов.

Рассказ написан с тем высоким напряжением чувства и мысли, которое возбуждает ответный ток чувств и мыслей читателей.

Своеобразие письма Шарова в том, что лирическая тональность рассказов и повестей, их спокойный, даже как бы созерцательный характер сочетаются с остротой конфликтов, драматических ситуаций и с боевой пропагандистской направленностью.

Мы все время чувствуем позицию автора, с его строгими требованиями к современникам, товарищам, с его тревогами за судьбу неверно или трудно живущих и с настойчивым, страстным утверждением благородства, самоотверженности, сердечности в отношениях между людьми как обязательного признака социалистического сознания. Отношение автора ко всем его героям, ко всем ситуациям, событиям рассказов и повестей создает то единство идейного наполнения и эмоционального строя книги, которое так характерно для нее. Как мальчишкам, героям рассказов, нужна мировая революция завтра же, так писателю, запечатлевшему их образы, нужно счастье каждого человека, всего народа — тоже завтра, не позже. А счастье — в крепком товариществе, во внимательной и пристальной заботе коллектива о всех его членах, каждого человека о своем соседе.

Всеми созданными образами, всеми взятыми из гуши жизни ситуациями утверждает писатель мысль: судьба всякого человека, а особенно ребенка, подростка, определяется не только свойствами его натуры, случайностями внешней биографии, но и умным, сердечным вмешательством других людей, коллектива.

Эта идея выражена не только в повести о коммунарах первых лет революции, но и в рассказах о детях наших дней.

Требовательность Шарова идет гораздо дальше заботы о тех, кто, очевидно, в заботе нуждается. К каждому человеку надо присматриваться, даже если внешне все у него благополучно. Почти всегда можно помочь внутреннему росту человека.

Так помогает пожилой человек школьнику Коле Крылову, соседу по квартире, освободиться от внутренней неуверенности, от убеждения, что его место всегда и во всем второе, неприметное. «На солнышко бы его. В темноте только помидоры созревают», — говорит о Коле директор школы. И сосед помогает мальчику выйти на солнце (рассказ «Коля Крылов»). На двадцати страничках рассказа мы знакомимся с тремя детьми и четырьмя взрослыми, вступаю-

щими между собой в сложные отношения. И людям не тесно на этой скромной площадке, их образы отчетливо встают в воображении, они не статичны, характеры определяются и развиваются в действии. Рассказ короток, но нетороплив (в нем уместилась даже вставная новелла), его строгая лаконичность незаметна. Все это — свидетельство новеллистического мастерства. И в «Коле Крылове» решающим для отношений между людьми оказывается душевная чуткость. Так, Толя Соболев, мальчик с блестящими способностями, красивый, умный, терпит моральный крах, потому что не хватает ему одного: живого интереса к людям, внимательности к ним. Его помыслы сосредоточены на себе, и нет у него внутренней потребности присмотреться к друзьям. Ту же идею настойчиво проводит автор и в рассказах о взрослых.

Есть в сборнике Шарова несколько произведений, в которых развивается еще один важный для писателя мотив: живое значение для народа даже самых на первый взгляд отдаленных от практической жизни исследований. Этой теме посвящены рассказ «Встреча» — об отважном бойце в годы войны, отдавшем свои силы после победы изучению Гомера, рассказ «Балмуков» — об ученых, томящихся в эвакуации, ищущих, как принести пользу народу своими знаниями, что труднее всего астроному; но и он находит свое место. Та же тема подробно разработана и в большой повести «Путешествие продолжается», посвященной памяти Бориса Кудрявцева, нашедшего метод расшифровки писем острова Рапануи.

Тема важна, с ее трактовкой, с позицией автора легко и охотно соглашаешься. Но все же эти произведения мне кажутся менее сильными, чем другие, о которых речь шла выше. В них не очень убедительна художественная аргументация. Повесть и оба рассказа воспринимаются, пожалуй, как иллюстрирование образами волнующей писателя философской и общественной проблемы, а не как плод образного мышления художника. Отсюда — некоторая вялость, излишняя рассудочность вещей. Им не хватает той страстности отношения к людям, той завершенности, убедительности психологического анализа, которые определяют и прелесть, и художественную ценность, и воспитательное значение остальных произведений книги.

Александр ИВИЧ.

Труд библиографа

На самой «расхожей» полке моей рабочей библиотеки, среди повседневно нужных книг и справочников стоят десять томов — библиографических указателей Н. И. Мацуева. Первый из них вышел в 1926 году, последний (вернее — очередной) — только что.

Этот десятый том, содержащий библиографию за 1954—1955 годы, завершает собою тридцатилетний период самоотверженного труда советского библиографа, энтузиаста своего дела. Хотя они и не пронумерованы, эти тома, хотя ранние отличаются от позднейших и по формату и по структуре, указатель Мацуева представляет собой единый труд — библиографическую летопись нашей литературы от первых месяцев Советской власти до наших дней.

Я не назвал заглавия этого труда: оно менялось в соответствии с содержанием выпусков. Первый выпуск был назван «Художественная литература. Русская и переводная». Он содержал библиографию вышедших с 1917 по 1925 год изданий русской классической и послереволюционной литературы и опубликованных в русском переводе произведений братских и зарубежных литератур. Последний том, как уже было сказано, охватывает всего лишь два года — 1954 и 1955 — и называется «Советская художественная литература и критика», — в нем только библиография русских советских писателей и переводов произведений писателей братских литератур. Но объем этого суженного по теме и по охваченному периоду тома почти в четыре раза превышает объем первого, «универсального» выпуска! Уже одно это обстоятельство, обусловленное ростом количества регистрируемых изданий, во многом объясняет, почему в процессе выпуска указателей автору после четвертого тома пришлось отказаться от универсальности и почему, начиная с библиографических материалов за 1938 год, его указатели размсжевались на две серии: «Советская художественная литература и критика» и — отдельно — «Художественная литература. Русская и переводная», куда вошло все изданное на русском

языке, кроме произведений советских писателей, то есть произведения русских классиков и классической и современной зарубежной литературы. (Первый том этой серии, 1938—1945 годы, выпущен Гослитиздатом в 1956 году.)

И еще одно сопоставление. В первом выпуске автор использовал для своей библиографической работы 30 периодических изданий. Таков был основной фонд нашей литературно-художественной и критико-библиографической периодики на 1925 год. А в последнем мы насчитываем 144 периодических издания, в которых были напечатаны или получили отзыв художественные или критические произведения. Таков основной фонд периодики, охваченный на 1955 год. Это кроме огромного количества книжных изданий, зарегистрированных независимо от периодики и наличия отзывов в ней.

Одно лишь сопоставление объемов первого и последнего выпусков и подсчет использованных в них источников дают наглядное представление об огромном росте советской литературы и литературно-художественных изданий. И в этом отношении указатели Мацуева от выпуска к выпуску представляют собой своеобразную шкалу этого роста.

Но было бы недостаточно объяснить расширение библиографии только объективными обстоятельствами — ростом нашей литературы, критики и литературоведения. Большую роль в этом расширении сыграло неустанное стремление самого составителя к совершенствованию указателя, забота о том, чтобы пользующиеся им люди могли получить максимум библиографических сведений о книге и писателе и легко найти нужные данные среди многочисленного перечня изданий.

В первом выпуске Мацуев регистрировал только те произведения, которые получили оценку в печати, и подзаголовок этих выпусков подчеркивал даже, что это не указатель произведений, а «указатель статей и рецензий» о произведениях. И очень хорошо, что в дальнейшем составитель вышел за эти границы и в последних выпусках регистрирует все произведения, вышедшие отдельными изданиями, а также и наиболее значительные из произведений, появившихся в периодике.

Говоря в предисловии к одному из вы-

Н. Мацуев. Советская художественная литература и критика. 1954—1955. Библиография. 416 стр. «Советский писатель». М. 1957.

пусков своего труда, что его указатель не является отборочно-рекомендательным, составитель скромно объясняет, что он «таким быть не может, так как в нем зарегистрированы все (подчеркнуто мною. — В. Г.) книги — от собрания сочинений известного автора, вышедшего в центральном издательстве, и до небольшой тетрадки стихов начинающего поэта, появившейся на далекой окраине нашей необъятной родины. В такой же степени это относится и к собранной критической литературе о книгах и о жизни и творчестве писателей (отзывы, рецензии, статьи, монографии)».

Очень важно, что, помимо центральных, указатель ныне охватывает широкий круг областных журналов и альманахов, а также книг, журналов и альманахов, издаваемых на русском языке в союзных и автономных республиках, а в последнем выпуске использованы также «Вестники» и «Ученые записки» ряда научно-исследовательских учреждений и учебных заведений.

Библиографический указатель раскрывает перед нами интересную картину развития прозы, поэзии, драматургии, критики и литературоведения в краях и областях Российской Федерации, в союзных и автономных республиках, писатели которых представлены в переводах с сорока языков. Судя по «Указателю названий», только за два года (1954—1955) у нас появилось на русском языке более трех с половиной тысяч книг и крупных журнальных произведений, принадлежащих перу советских писателей.

Однако библиографические указатели создаются не для «сквозного» чтения и статистических подсчетов, хотя мы и занялись ими не без пользы. Это в первую очередь пособия для конкретных справок о том, какие произведения вышли за данный период и где напечатаны отзывы о них. В этом отношении указатель Мацуева является наиболее систематизированным, детализированным и в то же время наиболее компактным по сравнению с периодическими библиографическими «Летописями» и «Бюллетенями», выпускаемыми нашими библиографическими учреждениями.

Являясь плодом непосредственного просмотра изданий *de visu*, снабженный перекрестными ссылками и рядом вспомогательных указателей («Художественная литература народов СССР в переводах на русский язык», «Алфавитный указатель

названий книг и произведений», «Алфавитный указатель имен»), труд Мацуева представляет собой незаменимое пособие для критиков и литературоведов, библиотечных работников и пропагандистов художественной литературы, для всех интересующихся нашей литературой.

С каждым новым выпуском указатель Мацуева все шире регистрирует работы по критике и литературоведению. В последнем выпуске специальный раздел отведен и перечню справочных пособий по литературе. Если раньше автор отмечал лишь конкретные рецензии, статьи и книги об отдельных писателях, то сейчас наряду с ними и с перечнем книг по критике вообще в указателе имеется раздел «Статьи о советской литературе», содержащий перечень обзорных и проблемных статей, появившихся в нашей периодике. Это очень полезный раздел. Но здесь хотелось бы указать и на один недостаток, связанный с введением в указатель статей общего характера. Они существуют в книге сами по себе и мало использованы в справках о критических откликах на произведения в разделе «Художественная литература». Ведь оценка произведения в статье обзорного или проблемного характера во многих случаях не только более оперативна (часто являясь первым откликом на журнальную публикацию романа или поэмы), но нередко и более содержательна, чем разбор в иной «конкретной» рецензии. Если мы имеем дело с подлинным литературно-проблемным обзором, а не с поверхностным перечнем «за упокой» и «за здравие», то произведение рассматривается и оценивается в таком обзоре в широких связях с развитием жизни и литературы и с большими задачами, стоящими перед последней. Поэтому в разделе «Художественная литература» следовало бы наряду с рецензиями и статьями, посвященными непосредственно данному произведению, указать и статьи общего характера (если там, конечно, имеется важная оценочная характеристика, а не простое упоминание). Приведу лишь один пример. В 1954—1955 годах в нашей критической литературе широко обсуждалась проблема развития «колхозной» литературы, и в связи с этим в ряде проблемных, обзорных и полемических статей фигурировали характеристики произведений и творческих тенденций Овечкина, Тендрякова, Троепольского, Ни-

колаевой. Между тем в указаниях, непосредственно сопровождающих произведения перечисленных писателей, ссылки на такие статьи, за единичными исключениями, отсутствуют.

Можно представить себе все трудности (в смысле емкости работы и сложности отборочного принципа), которые встанут перед библиографом при дифференцированном «расписывании» общих статей по характеризующим в них авторам. Но Мацуев сделал так много, что следовало бы сделать и этот шаг. Это еще более увеличило бы ценность указателя.

Я не останавливаюсь здесь на отдельных мелких промахах, имеющих в последнем выпуске указателя, вроде того, например, что правильно названная в разделе «Критика» книга Х. Теунова «Литература и писатели Кабарды» во всех ссылочных указаниях фигурирует, как «Литература писателей Кабарды». Промехи, а иногда и пропуски, встречались и в предыдущих выпусках, и при обилии регистрируемого материала они неизбежны.

Но, говоря не только о последнем выпуске, следует напомнить, что в ряде

предшествующих ему, в особенности в выпусках, посвященных литературе за 1933—1937 годы (вышел в 1940 году) и 1938—1948 годы (вышел в 1952 году), имеются многочисленные и существенные пропуски, возникшие не по вине автора. Неполноценность этих выпусков (второй из них даже лишен именного указателя) следует устранить, переиздав их в дополненном виде.

Следовало бы переиздать — возможно, объединив их в одном томе, — и первые выпуски указателя Мацуева (за 1917—1932 годы), представляющие ныне библиографическую редкость. И последнее пожелание, обращенное и к автору и к издательству «Советский писатель», — со временем превратить указатель Мацуева в оперативно выпускаемый библиографический ежегодник советской литературы на русском языке.

Думаю, что высказанные здесь пожелания встретят поддержку со стороны всех, кто в своей работе пользуется плодами неопределимого кропотливого труда Н. И. Мацуева.

В. ГОФФЕНШЕФЕР.

★

Книга о поэте и революции

«Поэзия и революция» — так называется монография Леонида Новиченко, посвященная творчеству выдающегося украинского советского поэта П. Тычины в первые послеоктябрьские годы. Книга эта выгодно отличается не только от других столь многочисленных исследований о Тычине, но и вообще от многих и многих выходящих у нас критических работ прежде всего своим жанровым своеобразием (о котором мы в критике, к сожалению, основательно забыли). Охватывая лишь первый, сравнительно небольшой этап в творчестве поэта — его первые четыре сборника, — книга, тем не менее, оставляет впечатление законченности. Критик написал не столько монографию или критико-библиографический очерк, сколько своеобразную повесть о нелегком и противоречивом пути талантливого поэта «от горизонта одного до горизонта всех» (слова Поля Элюара), показав сложнейший процесс развития и

становления в революции крупного, интересного поэтического характера.

Вот вместе с автором мы прослеживаем, как формировалась в юности личность поэта. Страшная обстановка бурсы, а затем семинарии с ее жалкими «лохмотьями наук». Тайный кружок, дружба с будущим известным советским украинским поэтом и видным партийным деятелем В. Элланом (Блакиным), благотворное влияние «постоянного воспитателя» семинарии Н. И. Подвойского, впоследствии одного из героев Октября. Знакомство с М. М. Коцюбинским, оставившее глубокий след в душе юного Тычины. Первые пробы пера, не свободные от подражательности, но уже четко противостоящие циничному индивидуализму декадентов своим пафосом гуманизма и жизненного горения. И, наконец, вышедшая в 1918 году первая книга стихов «Солнечные кларнеты», в которой «уже с полной силой проявились и самобытный талант и тонкое художественное мастерство автора» и которая «вместе с тем... была лишь предысторией, лишь прологом к дальнейшему пути поэта».

Л. Новиченко. Поэзия и революция. Редактор А. Елнин. 298 стр. «Советский писатель». М. 1957.

Л. Новиченко очень тонко и, так сказать, диалектично анализирует «Солнечные кларнеты», раскрывая всю противоречивость их обаятельной, эмоционально насыщенной, впечатляющей поэзии. Глубокая, хотя, возможно, и не осознанная еще поэтом неудовлетворенность действительностью, протест против нее, сквозивший во вдохновенных гимнах солнцу и всей природе (критик очень кстати вспоминает здесь слова К. Маркса об «улыбающейся природе»), и отрешенность от земных тревог и волнений, гипертрофия мечтательности. Отрицание религии, враждебное отношение к «божкам», угнетающим человека (стихотворение «Не Зевс, не Пан, не Голубь-дух», композиция «В соборе»), и элементы религиозной мистики, даже обращение к богу в отдельных стихотворениях. Резкое отмежевание от украинского модернизма, порвавшего с великими заветами идейности и народности искусства, полемика с модернистскими поэтическими «вождями» типа Вороного, Чупринки, Филянского («солнца, солнца в их красе — нет») и некоторая дань типично символистской «музыкальности для музыкальности» (стихи «Я плакал от любви...», «Я стою на круче...»).

Ценно, что критик не просто фиксирует эти противоречия поэтического характера раннего Тычины, проявившиеся в первой книге, но и видит, как поэт под воздействием исторических событий начинает осознавать и преодолевать свои слабости. Рассматривая «Солнечные кларнеты» как «своеобразную лирическую драму», Л. Новиченко правильно замечает и выделяет главный ее конфликт, обостряющийся на последних страницах книги, — конфликт между обретенной, казалось бы, поэтом «вселенской гармонией» и властным голосом живой революционной действительности. «Сон молодой души» прерван, предыстория, пролог заканчиваются, начинается история развития поэтического характера в революции, начинается сложный, многотрудный, но прекрасный путь художника к поэзии социалистического реализма.

Мы видим, что новые черты характера Тычины побеждают не сразу и не легко. Уже в «Солнечных кларнетах» находим не только такие стихи, как «Ходят по травам», «За хлебом шел ребенок...», проникнутые искренними симпатиями к трудящимся, к революции, к «багряному молодому бою», но и мрачные трагические мотивы, продиктованные тоской, испугом

перед революцией («Распахните двери...», «Скорбная мать»), но и поэму «Золотой шум», написанную под влиянием дурмана националистической пропаганды Центральной рады. Эти противоречия особенно обострились в книге «Вместо сонетов и октав», своеобразным лейтмотивом которой было трагическое: «Стоит сторастерзанный Киев и двестираспятый я».

И все же это были временные противоречия, болезнь роста и формирования характера. Л. Новиченко убедительно показывает, как закономерно и неуклонно шел Тычина к революции, как органически, под влиянием действительности, рождалось в его характере то новое, что с такой силой революционно-романтического пафоса вылилось в стихах книги «Плуг» (1920). — таких, как «На майдане», «Ой, упал боец с коня», «Псалом железу» и других. Интересно и очень существенно утверждение критика о том, что решающим годом в становлении Тычины как советского поэта был 1919 год (анализом ряда произведений он доказывает это), — ведь это значит, что «в самые трудные годы гражданской войны Тычина, преодолев временные колебания, прочно связал свое творчество с борьбой советского народа, с идеями социалистической революции».

Две основные главы рецензируемой работы посвящены детальному разбору «Плуга» и «Ветра с Украины» (1924), книг, в которых Тычина, по словам критика, «весь в разговоре со своей героической современностью, с революцией, весь в поэтическом познании большой ее сути». Последние слова весьма характерны. Рассматривая обе книги как свидетельства утверждения поэта на позиции революционной поэзии, поэзии социалистического реализма, Л. Новиченко, однако, менее всего склонен говорить о них как о чем-то данном, раз и навсегда достигнутом, законченном. Отказываясь от комментаторства, столь распространенного в критике, от иллюстрирования главной мысли анализом отдельных произведений, автор выбирает более сложный путь — он стремится показать самый процесс этого утверждения, познания поэтом сути революции, и показать его изнутри. Перед нами разворачивается именно своего рода увлекательная повесть о том, как в творчестве автора «Солнечных кларнетов», творца «зеленого гимна», лирика из лириков, рождается торжественный «Псалом железу» — «железный», мужественный гимн

революции, «песня обретенной ясности», по меткому определению Л. Новиченко. Повесть о том, как формировался, обогащался, закалялся характер поэта, пришедшего к революции, к Коммунистической партии и скромно сказавшего о себе устами одной из героинь триптиха «Письма к поэту»: «Из вас еще будет коммунист...». Повесть о том, как «дорос» этот недюжинный поэтический характер, как его «сила дозрела», и поэт «увидел далекий рассвет», поднявшись в книге «Ветер с Украины» вместе со своей Отчизной на огромную высоту и найдя в себе достаточно духовных сил заявить: «За всех скажу, за всех переболею...»

Л. Новиченко не сглаживает противоречия, не «причесывает» образ поэта. Мы упоминали об этом в связи с «Солнечными кларнетами» и особенно книгой «Вместо сонетов и октав». Анализируя книги «Плуг» и «Ветер с Украины», автор также не закрывает глаза на отдельные, порой достаточно серьезные срывы поэта. Говоря, например, что в «Плуге» Тычина в вопросе об искусстве и его отношении к революционной действительности «обнаруживает такую страстность гражданской, революционной мысли, что мы и сейчас любим ее», Л. Новиченко вместе с тем не проходит, не может пройти мимо цикла «Мадона моя...», в котором отразилась мучительная борьба в сознании поэта, не сразу и не легко связавшего проблему революционного искусства с проблемой гуманизма. И далее, высоко оценивая, скажем, сборник «Ветер с Украины», его вдохновенный пафос осмысления новой действительности, его романтический стиль, критик ясно видит и его уязвимые места, в полный голос говорит об «умозрительности, абстрактности... слишком далеком по временам отлете поэтической мысли от живой действительности» в таких неудачных в общем произведениях, как «Фуга», «В космическом оркестре» и других.

В стремлении проследить процесс развития поэтического характера Тычины, наметить путь его к революции и в революции автор ставит перед собой задачу показать, что от книги к книге в поэзии Тычины утверждались принципы реалистического видения мира, что вместе с эволюцией социально-политической и философской тематики изменялся и весь художественный строй тычининской поэзии. Думается, что с этой задачей Л. Новиченко в целом

несомненно справился. Интересны и убедительны его наблюдения над тем, как, скажем, в «Плуге» усиливается по сравнению с «Солнечными кларнетами» тяга поэта к изображению объективного мира и четко выявляется стремление к социальной типизации явлений, а в «Ветре с Украины» проясняется, «конкретизируется» на новой идейно-тематической основе романтическая струя, неизмеримо расширяется диапазон художественных средств Тычины, обогащается поэтическая палитра, увеличивается эмоциональный заряд его поэзии. Причем опять-таки автор ясно показывает, что реалистические элементы в творчестве Тычины росли и развивались в острейшей борьбе со старым, отживающим (в частности, в некоторых стихах «Плуга» символистские мотивы даже усилились по сравнению с «Солнечными кларнетами»), и справедливо расценивает это как «живое противоречие высшего развития поэта».

Л. Новиченко показал себя в рецензируемой книге критиком, тонко понимающим и чувствующим поэзию. Очень интересны его рассуждения о музыкальности произведений раннего Тычины, наблюдения над ритмико-строфическим строем книги «Ветер с Украины». Умело и непринужденно анализирует критик стихи поэта, раскрывая перед нами «неподражательную странность» ямба в «Ветре с Украины», ритмическое многоголосие и драматизм «Плача Ярославны», уходящие своими корнями в глубины украинского народного стиха. Формальный анализ помогает Л. Новиченко раскрывать общие закономерности творчества поэта. Например, наблюдения над ритмо-мелодикой стиха приводят автора к выводу об индивидуализации ритма у Тычины, а это в свою очередь дает критику возможность серьезно поговорить о целях такой индивидуализации, о поисках новых форм для наиболее полного выражения нового содержания.

Говоря о том или ином явлении в творчестве поэта, Л. Новиченко, как правило, не ограничивается его фиксацией, но стремится определить место этого явления, затронуть в связи с ним острые, порой недостаточно еще разработанные вопросы истории и теории литературы. Интересны, например, подобные теоретические отступления там, где Л. Новиченко говорит о символике и элементах символизма в творчестве Тычины, о его национальном своеобразии, рассуждения о современности и

актуальности в поэзии, об использовании фольклорных мотивов и художественных средств, о специфических чертах революционно-романтической поэзии первых послеоктябрьских лет и т. д., наконец, о значении «уроков опыта» Тычины для украинской советской поэзии и особенно для современной поэтической молодежи.

Рассматривая творчество Тычины в первые послеоктябрьские годы (до 1924 года), Л. Новиченко как бы «вписывает» сложный, глубоко индивидуальный образ поэта в многокрасочную и правдивую картину «утренней зари» украинской советской литературы. Заслуга автора тем больше, что, как известно, именно в освещении этого периода было особенно много путаницы, а то и прямых извращений. Л. Новиченко проделал огромную работу, впервые за много лет дав довольно полную картину первых шагов украинской литературы, вернув нам много несправедливо забытых имен «бойцов первого призыва».

Любую положительную рецензию принято заканчивать непременно «ложкой дегтя» — перечислением хотя бы отдельных недостатков и промахов автора. • Рискую быть обвиненным в «захваливании», решимся отступить от такой традиции. Не будем останавливаться ни на некоторой композиционной рыхлости третьего раздела, ни на довольно туманных (и вряд ли вообще необходимых) разъяснениях по поводу стихотворения «Ветер с Украины», ни на оценке стихотворения В. Эллана «После Крейцеровой сонаты», на наш взгляд, не совсем точной и справедливой, ни на других столь же мелких недочетах. Они не могут отразиться на главном выводе — написана умная, интересная книга о том, как большой художник учился «всем сердцем, всем сознанием» слушать и творить замечательную музыку Революции.

Юрий БАРАБАШ

★

«Отелло» на грузинской сцене

Сейчас, когда от декады грузинского искусства в Москве нас отделяет достаточное расстояние во времени, можно, наверно, с большей объективностью оценить все, что нам привелось увидеть в те десять мартовских дней. Но и теперь, как тогда, мы вряд ли ошибемся, сказав, что балет А. Мачавариани «Отелло» с В. Чабукиани в качестве либреттиста, постановщика и исполнителя заглавной роли оказался центром зрелищной части декады.

«Отелло» — всего лишь первый балет несомненно высокоодаренного композитора А. Мачавариани, который, надо думать, и дальше будет писать балетную музыку. «Отелло» — всего лишь второй балет В. Чабукиани (после «Лауренсии», по мотивам «Овечьего источника» Лопе де Вега), поставленный им по величайшему произведению мировой литературы, и тот, кто хоть немного знает творчество этого ищущего, беспокойного художника, не усомнится в том, что он еще не раз обратится к лучшим литературным образам, находя столь же и еще более яркий способ перевода гени-

альных страниц на язык танца. Очевидные выдающиеся способности художника С. Вирсаладзе, великолепно оформившего «Отелло» (автора аналогичных декораций к «Каменному цветку» Прокофьева, ранее поставленному на сцене Ленинградского театра имени Кирова молодым балетмейстером Ю. Григоровичем), заставляют с нетерпением ждать его следующей работы.

«Отелло», несомненно, — лучшая работа балетного театра в прошлом году, за что постановщик спектакля, исполнитель его центральной партии и отмечен высшей наградой года — Ленинской премией. «Отелло» — прежде всего произведение замечательного таланта Чабукиани — артиста, танцовщика и балетмейстера. Он покоряет зрителя не только экспрессией, оригинальностью трактовки центрального образа, убедительностью трагических, батальных и лирических сцен, но и большой мудростью художника, который знает все свои истинные возможности, все стороны своего дарования.

Да, «Отелло» — явление выдающееся, оно сыграет свою положительную роль в развитии советского балета, к опыту постановки этого спектакля еще не раз будут обращаться наши хореографы, и потому выход книги, посвященной этому спектаклю, как нельзя более оправдан.

Павел Хучуа. Балет «Отелло». Редактор В. Куправа. Государственное издательство «Сабчота Сакартвело». 56 стр. Тбилиси. 1958.

Книга Павла Хучуа «Балет «Отелло» невелика по объему. Но она содержательна, написана с убежденностью и объективностью большого знатока грузинской музыки и хореографии.

Грузинскому балету, выросшему на основе тактичного и умелого сочетания русской школы классического танца и танца национального, народного, пемногим более двадцати лет. Грузинский балет создан Вахтангом Чабукиани, получившим специальное образование в Ленинградском хореографическом техникуме, с огромным успехом танцевавшим на сцене театра имени Кирова и уехавшим к себе на родину, чтобы создать в Тбилиси высокопрофессиональную балетную труппу и школу для подготовки ее пополнения.

Об этом нам и рассказывают первые страницы книги Хучуа. На наш взгляд, автору следовало здесь подробнее и, главное, конкретнее показать новаторство Чабукиани — балетмейстера и танцовщика, сумевшего в короткий срок создать спектакли, представляющие выдающийся интерес не только для сегодняшнего зрителя, но и для будущего историка советского балета. Достаточно вспомнить хотя бы «Горду» с новым подходом к таким каноническим формам старого балета, как адажио и вариация героя, чтобы новаторская суть поисков Чабукиани предстала во всем блеске. А ведь «Горда» — лишь один из многих балетов, осуществленных и исполненных Чабукиани в Грузии. Говоря о балетном театре, который был театром балерины, а в грузинском балете благодаря В. Чабукиани стал прежде всего театром танцовщика, автору следовало глубже проанализировать причины и следствия этого факта. Дело ведь не просто в заслуге артиста, а в его следовании традициям национального грузинского танца.

Мужественный, свободолюбивый национальный характер народа неизменно находил отражение в танцах. Их центром почти всегда был мужчина, и когда Чабукиани начал создавать свои произведения для молодого балета, он, естественно, сочинял спектакли для танцовщика: дело тут не просто в благородном артистическом эгоизме Чабукиани, как получается у Хучуа, а гораздо глубже — дело в самой природе грузинского танца.

Переходя к балету «Отелло», Павел Хучуа сообщает интересные сведения о популярности Шекспира в Грузии, где Ван

Мачабели еще в прошлом веке перевел с подлинника лучшие творения автора. Читатель знакомится с именами величайших грузинских трагиков, воплотивших на драматической сцене героев Шекспира прежде и теперь. Мы узнаем о популярности оперы Верди «Отелло» в Тбилиси, где она идет вот уже семьдесят лет. Таким образом, мы убеждаемся в том, что идеи и поэзия этого произведения как бы «носились в воздухе», питая фантазию всех будущих создателей нового балета.

Но балет вырастает не только на литературно-музыкальной почве, но и из всего прежнего хореографического опыта. Лишь вскользь упомянув о «Ромео и Джульетте» Прокофьева, ничего не сказав об успехе постановки Л. Лавровского, автор книги «Балет «Отелло» обедняет, на наш взгляд, свои задачи, решая их слишком уж прямолинейно и сосредоточивая все внимание исключительно на последнем спектакле. Но ведь корни сегодняшнего «Отелло» сплетены со всем предыдущим опытом постановки шекспировских балетов — от первого «Отелло» на русской сцене, поставленного более ста лет назад балетмейстером Сальватором Вигано, до нашего шедевра «Ромео и Джульетта», до балета «Ромео и Джульетта», поставленного в наши дни в Париже, до балета «Гамлет» в Англии...

Но не случайно во всем мире признано, что только в нашей стране, в советское время, появились балеты, конгенитальные Шекспиру! Советские художники так глубоко проникли в гуманистический дух творений Шекспира, что, переводя их на язык танца, они сумели отчетливо донести человеческое начало «вечных тем», трактованных великим драматургом. И первым здесь оказался балет Прокофьева «Ромео и Джульетта», а вторым — «Отелло» Мачавариани, который многому научился у Прокофьева, во многом шел вслед за ним, точно так же как в композиции спектакля «Отелло» порой угадывается построение «Ромео и Джульетты». И вот мне думается, что если бы П. Хучуа проследил все эти взаимосвязи — исторические и эстетические, — книга его во многом выиграла бы.

Поучителен рассказ автора о совместной работе композитора и балетмейстера. «Хореографическая партитура, тщательно проработанная балетмейстером, постепенно приобретала музыкальное воплощение в партитуре композитора. Ими совместно устанавливались не только общий характер

отдельных танцев, но и темпы и размер музыки, ее метро-ритмическая основа. После этого композитор приносил готовый эпизод, отдельный танец или целую сцену, которые немедленно включались в работу балетного цеха. Важно было не преобладание одного из начал — танцевального или музыкального, а их слияние воедино, их взаимообусловленность...» Я привожу эту цитату потому, что она многому может научить или хотя заставить задуматься наших композиторов и хореографов, которые, увы, как правило, работают в отрыве друг от друга, а часто еще и вступая в «антагонистические отношения», от которых страдает в конечном счете зритель да и все наше балетное искусство. Пример дружной, плодотворной работы над «Отелло» всех создателей спектакля достоин подражания: в этих повседневных творческих контактах нескольких талантливых людей — главная причина того, что «Отелло» получился достойным своего литературного первоисточника.

Вслед за вступительной статьей в книге идет подробный разбор балета по сценам.

Здесь автор выступает уже не как исследователь хореографического спектакля и его основных компонентов, а как музыковед. Но, не увлекаясь специальной терминологией, не засушивая живую ткань произведения распространенной у нас манерой музыковедческого анализа, он доходчиво и просто, прибегая лишь к самым необходимым нотным примерам, раскрывает характеристики основных героев «Отелло», основных лейтмотивов героев Мачавариани.

Если пренебречь некоторыми погрешностями редактуры, то впечатление от второй части, как, впрочем, и от всей книги Хучуа, будет, несомненно, благоприятным. А если ко всему сказанному добавить, что книга «Балет «Отелло» выпущена в три дня (сдана в набор 11/III. 58 г., подписана к печати 14/III. 58 г.), то, право, ей можно многое простить. Опыт, показывающий, что книга может быть выпущена так быстро, если и не искупает ее недостатки, то все равно заслуживает изучения и распространения. Но это уже совсем иная тема...

Анна ИЛУПИНА.

★

Политика и наука

Воспоминания немецких товарищей о Ленине

В этот сборник, выпущенный в свет Институтом марксизма-ленинизма Германской Демократической Республики, вошли воспоминания известных деятелей и ветеранов немецкого рабочего движения. Некоторые из них лично знали Владимира Ильича Ленина в годы его эмиграции, другие встречались с ним в Москве, на конгрессах Коммунистического Интернационала. Большинство воспоминаний (тридцать из тридцати восьми) публикуется впервые.

Авторы, бывшие рабочие — металлисты, электрики, печатники, — вспоминают, как они, начиная свою революционную деятельность, воспитывались на боевых ленинских произведениях. Труды Ленина будили мысль, помогали разобраться в политической обстановке.

Альфред Курелла рассказывает о том воодушевлении, с каким встретили немец-

кие коммунисты книгу «Государство и революция», нелегально распространявшуюся в Германии в 1918 году. Как и другие его товарищи, Курелла с интересом изучал этот замечательный труд, стараясь вникнуть в каждое слово. «Я читал, читал дальше, еще и еще раз, и неожиданно наступило время, когда именно в тексте этой книги я нашел аргументы для разрешения острых проблем, выдвигаемых современностью. С чем столкнется пролетариат после свержения буржуазной власти? Что представляет собой старая «государственная машина» и как следует поступить с нею? Наконец, важнейший вопрос о диктатуре пролетариата... В ленинском изложении раскрывалась вся глубина содержания этих проблем. Мы учились, тогда еще не совсем понимая это, думать по-другому».

С чувством большой признательности отмечают авторы воспоминаний тот факт, что Владимир Ильич раскрыл для немецкого пролетариата огромное значение гениальных творений Маркса и Энгельса. Он помогал постичь марксизм как цельную,

Unvergeßlicher Lenin. Erinnerungen deutscher Genossen. Berlin. 1957 (Незабываемый Ленин. Воспоминания немецких товарищей. Берлин. 1957).

всеохватывающую систему научных и практических знаний.

Видное место в сборнике занимают рассказы тех, кому довелось слышать выступления Ленина. Бывшему наборщику Хольцафелю особенно запомнились необычайная ясность и убежденность аргументации Ленина. Сепп Ханн, один из видных деятелей СЕПГ, пишет, что Ленин неизменно завоевывал симпатии рабочей аудитории. Во многом это объяснялось тем, что «его точные и объективные формулировки всегда подкреплялись примерами, взятыми из повседневной политической жизни».

Особенной теплотой согреты воспоминания о личных встречах и разговорах с Лениным. С волнением читаются страницы, на которых Анна Шуберт рассказывает о том, с какой задушевной чуткостью Ленин прислушивался к нуждам трудящихся.

Старая немецкая коммунистическая гвардия хорошо помнит упорную, принципиальную борьбу Ленина за чистоту теории революционного марксизма и монолитность пролетарской партии. Будучи одним из лучших знатоков рабочего движения Германии, Ленин предостерегал социал-демократию и коммунистов от тех серьезных опасностей, которые угрожали им со стороны ревизионизма и оппортунистов всевозможных толков. «Поражало его исключительное знание лиц и характеров немецких оппортунистов и шовинистов, его твердость в стремлении размежеваться с ними. Ленин давал превосходный образец того, как следует бороться с врагами рабочего класса», — вспоминает Петер Каспар, старейший участник революционного движения.

В книге помещены материалы, дополняющие наши сведения о борьбе Владимира Ильича против враждебных течений в германской социал-демократии на разных этапах. В этом смысле очень ценны воспоминания В. Ульбрихта, Д. Гельбеке, Р. Зиварта, В. Кеннена и других.

В своих воспоминаниях Эрнст Вольвебер, бывший матрос, ныне член ЦК СЕПГ, пишет: «Ленин не допускал, чтобы партия Карла Либкнехта и Розы Люксембург подвергалась опасности. Он оказывал самую существенную поддержку всем здоровым силам Коммунистической партии Германии и делал серьезные предостережения раскольническим элементам».

Подробно говорится в сборнике о тита-

нической работе Ленина, разоблачившего грабительский характер первой мировой войны. Еще в то время, когда империалистическая бойня только назревала, рабочие узнали о позиции Ленина и большевиков, занятой ими на Штутгартском конгрессе II Интернационала. «Ленин указывал, что социал-демократия должна всеми силами стремиться использовать хозяйственный и политический кризис, создаваемый войной, для скорейшего устранения капиталистического классового господства. Здесь была ясно определена задача социал-демократических партий и их роль в борьбе против империалистической войны», — пишет Вальтер Ульбрихт.

В труднейших условиях войны за проведение ленинской линии боролась группа Либкнехта—Люксембург. Ленин внимательно анализировал политику социал-демократии. Он строго критиковал немецких «левых» за их непоследовательность в отношении прислужников империалистической буржуазии. Но Ленин высоко ценил и то, что они в обстановке войны высоко держали знамя пролетарского интернационализма и тем самым спасли честь рабочего класса Германии.

Значительная часть приведенных в сборнике воспоминаний связана с деятельностью В. И. Ленина на III и IV конгрессах Коммунистического Интернационала. Вот, например, названия некоторых из них: «Ленин пришел к немецким делегатам», «В разговоре с Лениным», «Урок, данный Лениным», «Ленин влил в нас новые силы».

Мысли и практические советы, воспринятые у Владимира Ильича, служили и служат немецким товарищам верным ориентиром в борьбе за построение социалистического общества. Как пишет В. Ульбрихт, «в достижениях народов СССР и всех стран, заложивших основы социалистического строя, в делах рабочего класса и трудящихся, борющихся против империалистического рабства, живет сегодня Ленин».

Публикуемые материалы о В. И. Ленине позволяют лучше представить значение давнишних испытанных связей между трудящимися нашей страны и демократическими силами Германии, укрепляют их солидарность в борьбе за социализм и мир.

Кандидат исторических наук
А. БАЙКОВА,

Из истории Дагестана

Дагестан — это «страна гор», с селениями на обрывистых кручах, городами по берегу бирюзового Каспийского моря, нефтяными вышками, колхозными пастбищами, полями и виноградниками. Дагестан — это и «гора языков». В пределах Дагестанской АССР живет несколько десятков народностей, говорящих на разных языках, хранящих поэтические предания прошлого.

«Ученые записки» Института истории, языка и литературы Дагестанского филиала Академии наук СССР предлагают читателю статьи по отдельным проблемам, итоги археологических исследований, публикации документов.

Первый том открывается статьей В. Гаджиева о присоединении Дагестана к России. На протяжении столетий народы Дагестана страдали от междоусобных войн, от происков персидских и турецких агентов, от опустошительных вражеских нашествий. Соседом, способным прочно ограждать горцев от иноземных захватчиков, была Россия.

В 1813 году по Гюлистанскому мирному договору юридически было оформлено вхождение Дагестана в состав России. Экономика Дагестана заметно оживилась. «Присоединение к России, — пишет автор, — было объективно-исторически прогрессивным явлением, важным событием в жизни народов Дагестана. Однако такой вывод ни в коей мере не может означать забвения жестокого колониального режима царизма, являющегося врагом всего передового, прогрессивного, врагом трудового народа. Прогрессивные перемены в жизни народов Дагестана произошли вопреки царизму и против его воли».

Несколько лет назад наши историки допустили серьезные ошибки в вопросе о движении горцев под руководством Шамиля. В конце 1956 года эта тема обсуждалась на двух широких научных сессиях — в Дагестане и в Москве. В своей статье Г.-А. Даниялов, докладчик обеих сессий, рассматривает общественное устройство горцев в первой половине XIX века, причины и характер движения, а также его реакционные черты, порожденные религиозной идеологией, мюридизмом.

Ученые записки. Дагестанский филиал Академии наук СССР. Институт истории, языка и литературы имени Г. Цадасы. Тома I, II, III. 1956, 1957.

Несмотря на религиозную оболочку, борьба горцев Дагестана под руководством Шамиля была национально-освободительным движением, направленным против царских колонизаторов.

Как известно, в итоге многолетней борьбы горцы потерпели поражение. Диалектика исторического процесса привела к тому, что в Дагестан проникла передовая русская культура, завязались и укрепились тесные дружбы между народами, которые с победой Октября привели Дагестан к его социальному и национальному освобождению.

Эпохе Великого Октября, гражданской войны и последующего советского периода в «Записках» отведено около десятка статей. Говоря о периоде с Февральской революции по май 1918 года, А. Гаджиев показывает, как общая отсталость Дагестана и сложный национальный переплет ставили перед большевиками особые трудности. Но победа Октября оказала громадное революционизирующее влияние на трудящихся всех национальностей. Уже в 1917 году выдвинулись в Дагестане такие демократические общественные деятели, как У. Буйнакский, М. Дахадаев, С.-С. Казбеков и другие. Своей беззаветной борьбой они завоевали влияние в массах. В то же время буржуазные националисты, проповедуя панисламизм и разжигая межнациональные столкновения, стремились оторвать Дагестан от Советской России. Буржуазным националистам обязаны народы Дагестана заключительной трагедией гражданской войны — мятежом Гоцинского в 1920—1921 годах, разгрому которого посвящена статья М. Кичева.

Об особенностях национально-государственного строительства Дагестанской АССР пишет М. Казанбиев. Титаническая работа Коммунистической партии и Советской власти позволила в короткие сроки создать новый государственный аппарат, близкий к трудящимся массам, вырастить кадры людей для работы в административных и хозяйственных органах, в судах и школах, в науке, литературе, искусстве и превратить Дагестан в цветущую социалистическую республику.

Кратко, но выразительно говорит Ш. Микаилов о жизни и творчестве ныне покойного аварского народного поэта Гамзата Цадасы. Поэт начал свой жизненный путь

при царизме. Это было голодное детство в горном ауле. «Жмутся детишки друг к другу, сидя у камина, где тлеют куски кизяка, и коротают вьюжные вечера горной зимы, конца которой не видно. Но кизячный дым не греет, он лишь обдаёт едким запахом все жилище. Детей грели прибаутки, сказки, которые они слышали от старших и рассказывали друг другу».

С детства впитывал Гамзат народное творчество, особенности и противоречия окружающей обстановки. Он стал борцом за создание новой жизни. Его песни становились известными еще до печати. «Их обсуждали, критиковали, комментировали,— пишет Ш. Микаилов —...Народ настолько привык прислушиваться к голосу поэта, что каждый считал долгом сообщать ему факты, на которые следовало бы откликнуться гамзатовским стихом».

Литературное наследство Гамзата Цада-сы составляют политические и бытовые сатиры, политическая и гражданская лирика; многие выражения из его произведений вошли в народный обиход как пословицы и поговорки.

В «Записках» освещена большая работа дагестанских лингвистов. Интересующиеся вопросами языкознания найдут здесь статьи М. Гаджиева, Г. Муркелинского, Ш. Микаилова, У. Мейлановой, С. Гасаковой о диалектах, говорах и наречиях народностей Дагестана. Археологи получают короткую справку о том, какие задачи ставили себе научные сотрудники Дагестана в экспедициях начиная с 1951 года, и более подробно — об археологических исследованиях 1955 и 1956 годов.

*Кандидат исторических наук
О. БЛЮМФЕЛЬД.*

★

Мемуары С. М. Буденного

С большим интересом раскроет читатель только что вышедшую в свет книгу «Пройденный путь», принадлежащую одному из популярнейших в нашем народе героев гражданской войны, талантливому полководцу Маршалу Советского Союза Семену Михайловичу Буденному.

Интерес к этому новому литературному труду вызывается не только известностью его автора, но и тем, что на книжной полке широкого советского читателя пока что немало свободного места для военных мемуаров, для книг, написанных советскими военачальниками. Книга, о которой здесь идет речь,— удачное произведение этого жанра.

В «Пройденном пути» — первой книге своих воспоминаний — автор рассказывает о создании советских кавалерийских частей и соединений, об их боевых действиях. Вместе с другими революционными солдатами, казаками и партийными работниками автор книги стоял у колыбели легендарной Первой Конной армии. Вместе с членами ее Реввоенсовета К. Е. Воршиловым и Е. А. Щаденко, бок о бок с О. И. Городовиковым, С. К. Тимошенко, И. П. Апанасенко, Олеко Дундичем и многими другими командирами и политработниками С. М. Буденный вел конников в бой против

белогвардейцев и добивался блестящих побед.

Начальные страницы «Пройденного пути» посвящены дореволюционным годам жизни Семена Буденного, сына батрака, уроженца одного из придонских хуторов. Был он мальчиком на побегушках в лавке у станичного купца, потом работал подручным кузнеца, смазчиком, чочегаром, машинистом на молотилке. В 1903 году его призвали в армию. Так пятьдесят пять лет назад началась непрерывная военная служба С. М. Буденного.

Революция 1905 года застала Семена Михайловича под Владивостоком. Он служил в драгунском полку. Вспоминая о тех днях, автор говорит, что среди драгун самую горячую поддержку тогда встречал революционный лозунг: «Земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает!»

Первая империалистическая война. За умелые действия в боях С. М. Буденный был награжден четырьмя георгиевскими крестами и четырьмя георгиевскими медалями, стал, как говорили тогда, обладателем полного банта георгиевского кавалера. Однако его сознание, как и многих других русских солдат, матросов и казаков, все больше освобождалось от бездумной веры в царя-батюшку. Возмущение безобразиями в царской армии, протест против ненужной народу войны вылились однажды в открытое столкновение с притеснявшим

С. М. Буденный. *Пройденный путь*. Редактор полковник А. И. Крутиков. 448 стр. Воениздат. М. 1958.

драгун вахмистром. За такой бунтарский поступок Буденный подлежал расстрелу. Этого не случилось лишь потому, что на его сторону стала солдатская масса.

В дни Февральской революции солдаты выбрали Семена Михайловича председателем полкового, а затем и дивизионного комитета. В своей книге он рассказывает о встречах с Михаилом Васильевичем Фрунзе и Александром Федоровичем Мясниковым, старым большевиком, литератором, в то время членом комитета Западного фронта. С глубокой признательностью он пишет: «Я повседневно чувствовал их заботу о повышении моей политической сознательности. Они помогли мне глубже понять политику большевистской партии и разглядеть буржуазное нутро всех партий, враждебных большевикам. Работа под руководством Фрунзе и Мясникова была моей первой настоящей большевистской школой, хотя я в это время и был беспартийным».

В ряды Коммунистической партии С. М. Буденный по рекомендации К. Е. Ворошилова, И. В. Сталина и Е. А. Щаденко был принят позже, в марте 1919 года. Тогда он уже командовал Первой Конной армией. Партия любовно вырастила из простого казака замечательного советского полководца.

Всего о двух с небольшим годах рассказывается на четырехстах страницах этой книги. Но какое же это было бурное время! Какими неповторимыми событиями в жизни автора, в жизни всего нашего народа заполнены эти два года!

Вот в станице Платовской бывшие фронтовики Т. Н. Никифоров, О. И. Городовиков, братья Семен и Емельян Буденные вместе с другими революционно настроенными казаками провозглашают Советскую власть, образуют станичный Совет рабоче-крестьянских, казачьих и солдатских депутатов. Вот в Сальских степях организуются партизанские отряды, идут бои, в которых Буденный и его товарищи по оружию громят белогвардейцев. Вот из партизанских отрядов создается 1-я Донская стрелковая дивизия и в ней — Первый Социалистический кавалерийский полк, командиром которого становится Буденный.

Царицынский фронт. Здесь Буденный впервые встречается с командующим 10-й армией Ворошиловым и членом Реввоенсовета фронта Сталиным. В книге приведено много деталей, позволяющих читателю глубже проникнуть в смысл всего происхо-

дившего на фронте. Автор проследживает шаг за шагом боевые действия, в которых он принимал непосредственное участие, подкрепляет свой рассказ выразительными схемами. Эти страницы летописи гражданской войны насыщены интересными подробностями. Живым, образным языком рассказывается в книге о героизме бойцов молодой Советской Армии, о крепнущем воинском мастерстве командиров, о пламенных сердцах армейских коммунистов, комиссаров и политработников.

Создание конных соединений в зарождавшихся Советских Вооруженных Силах происходило в обстановке значительного сопротивления группы старых военспецов и Троцкого. Автор приводит любопытный эпизод. Однажды, встретившись с Троцким на фронте, он высказал мысль о том, что, учитывая маневренный характер развертывающейся гражданской войны и наличие у противника массовой белоказачьей конницы, нам тоже следовало бы создать свою массовую кавалерию, сведенную в дивизии и корпуса. Троцкий высокомерно заметил: «Вы не понимаете природы кавалерии. Это же аристократический род войск, которым командовали князья, графы и бароны. И зачем нам с мужичьим лаптем соваться в калашный ряд».

Жизнь решительно опровергла это надменное и в то же время смехотворное утверждение и подтвердила насущную необходимость формирования крупных кавалерийских соединений в составе Красной Армии.

В грозные дни 1919 года, когда полчища Деникина катились на Москву, партия призвала: «На коня, пролетарий!» Призыв этот встретил живейший отклик широких народных масс. Советская конница, в частности Конный корпус, которым командовал Буденный, сыграла ведущую роль в освобождении от белых Воронежа и во всех последующих боях с Деникиным.

— Главное,— сказал В. И. Ленин в беседе с С. М. Буденным об этих сражениях,— пришло время, когда и люди из простого народа бьют буржуазных генералов. Пусть это чувствуют империалисты...

Вскоре на основе Конного корпуса была создана Первая Конная армия. В нее, кроме кавалерийских частей, входили два стрелковых соединения, автобронеотряд, авиаотряд и четыре бронепоезда.

Становым хребтом Конармии являлись коммунисты. В своем письме Реввоенсовету

Южного фронта по поводу создания Первой Конной армии С. М. Буденный писал: «Пришлите, пожалуйста, человек 300 рабочих-коммунистов. Они будут укреплять ряды бойцов-кавалеристов, разъярять им насущные задачи нашей революции, повышать сознательность, а следовательно, и боеспособность».

В книге приведены многочисленные факты, показывающие, как партийно-политическая работа, личный пример коммунистов воодушевляли бойцов, помогали добиваться победы в самых трудных условиях.

«Бойцы, командиры и комиссары частей и соединений армии, воодушевленные Коммунистической партией,— пишет С. М. Буденный, заключая первую книгу своих мемуаров,— шли на врага, проявляя в боях чудеса храбрости и отваги. В лютую стужу и палящий зной, в весеннюю распутицу и холодную, сырую осень, ночью и днем, часто голодные, плохо одетые, слабо вооруженные, но сильные боевым духом и революционным сознанием, они одерживали победу за победой. Золотые были люди,—не жалевшие во имя революции ни своей крови, ни самой жизни».

Тепло встретив книгу «Пройденный путь», взыскательный советский читатель, очевидно, найдет в тексте повод и для критических замечаний. По-видимому, он подметит, например, некоторую легкость, с кото-

рой, по словам автора, красные конники обычно расправлялись с сильным противником. Слов нет, блестящие победы над численно превосходящими частями и соединениями белогвардейцев одерживались неоднократно, но добивались конармейцы этих побед путем преодоления гораздо больших трудностей, чем о том говорится в книге.

Рисую сцены боев, автор часто упоминает о стариках казаках как об опоре контрреволюции. Таким образом, неволью создается представление, будто на Дону происходила не ожесточенная классовая борьба, а просто спор отцов и детей, распря между двумя казачьими поколениями.

При рассказе о боевых операциях автор далеко не всегда уделяет должное внимание тем родам войск, которые взаимодействовали с кавалерией. А ведь разгром белогвардейских полчищ достигался не только одними, пусть и лихо осуществленными, конными атаками.

Вероятно, есть в книге и другие недочеты. Но не они, разумеется, определяют ее качество. Ценность мемуаров С. М. Буденного прежде всего в правдивом повествовании о подвигах легендарной Первой Конной, о доблести и мужестве ее бойцов, командиров, политработников — верных сынов нашего героического народа.

Полковник Н. ДЕНИСОВ.

★

Генерал против арабов

Второго марта 1956 года в столице Иордании—Аммане стояла ненастная погода. Небо затянуло тучами, дул прохладный ветер, моросил дождь. Ранним утром этого дня к амманскому аэродрому под эскортом броневика подкатил автомобиль. Из него вышел пожилой, среднего роста человек в военной форме. На его маловыразительном лице выделялся глубокий шрам на подбородке. Обменявшись рукопожатиями с английским послом Чарльзом Дюком, он проследовал к самолету. Взревели моторы. Воздушный корабль взмыл в воздух, взяв курс на север...

Так бесславно закончилась карьера бывшего командующего Арабским легионом английского генерал-лейтенанта, кавалера многих орденов Джона Багота Глабба,

известного на Арабском Востоке под именем Глабб-паши. И на душе у генерала, видимо, было так же сумрачно, как и в Аммане. Ему было предписано в течение двух часов покинуть пределы Иордании, в которой он провел свыше двадцати пяти лет.

А ведь еще недавно Глабб — англичанин по происхождению и авантюрист по призванию — был всемогущим владыкой в Иордании, которому могли позавидовать многие восточные тираны. Одно лишь упоминание этого имени заставляло содрогаться иорданцев. Без согласия Глабба нельзя было сформировать правительство, назначить министра или даже важного чиновника. Недаром его называли «некоронованным королем Иордании».

Оказавшись не у дел, бывший вершитель судеб Иордании решил, подобно многим другим отставным западным генералам,

A soldier with the arabs. By John Bagot Glubb. London. 1957 (Джон Багот Глабб. Солдат с арабами. Лондон. 1957).

посвятить себя литературной деятельности. В 1957 году в Лондоне вышла книга Глабба «Солдат с арабами», которую можно было бы с большим основанием назвать «Генерал против арабов». В ней рекламируются его «деяния» в качестве командующего Арабским легионом. Однако, прежде чем перейти к этому периоду возвышения и падения жандарма Иордании, нелишне будет напомнить читателям основные вехи его биографии.

Глабб родился в 1897 году в семье кадрового военного, окончил Челтенхэмский колледж и военное училище в Вулвиче — эту кузницу английских офицерских кадров. Он участвовал в мировой войне 1914—1918 годов. Но отпрыска респектабельной английской семьи манил Восток. В 1920 году Глабб отправляется в Ирак, чтобы, по его словам, «найти новые приключения», а вскоре становится административным инспектором при иракском правительстве.

Затем Глабб появляется в эмирате Трансиордании (с 1949 года королевство Иордания) — небольшим арабском княжестве, выкроенном из кусков пустыни Черчиллем и Лоуренсом специально в качестве цитадели империалистической политики Англии на стыке путей в основные арабские страны и в непосредственной близости от Суэцкого канала. На трон эмирата была посажена английская марионетка — эмир Абдаллах. Под покровительством Англии и на ее деньги был создан Арабский легион — ударный кулак для борьбы с национально-освободительным движением на Ближнем Востоке, оплот британского владычества в этом районе земного шара. Командующим легионом в апреле 1939 года и был назначен майор Джон Багот Глабб.

Солдаты Арабского легиона помогали английской армии подавлять мятеж в Ираке. Характерно, что англичане не рискнули перебросить Арабский легион в Северную Африку и Италию для борьбы против гитлеровцев. Легион берегли. Английский империализм боялся оголить свои позиции на Ближнем Востоке, где под мощным напором национально-освободительного движения стало разваливаться здание британского господства. И лишь Иордания казалась незыблемой опорой этого господства в беспокойном арабском мире.

После войны Англия навязала Иорданию новый кабальный договор, который закрепил здесь оккупационный режим и ряд английских привилегий, вплоть до предо-

ставления британским военнотружущим дипломатического иммунитета, и сохранил за Англией две военно-воздушные базы — в Аммане и Мафраке.

Четырнадцатого мая 1948 года в Иерусалиме был спущен английский флаг и было объявлено об образовании государства Израиль, а на следующий день между ним и арабскими странами вспыхнула война. Она явилась результатом политики империалистических держав, их соперничества из-за господства на Ближнем Востоке.

В книге «Солдат с арабами» делается попытка представить дело так, будто присутствие Англии в Палестине было стабилизирующим фактором. Однако, противореча самому себе, Глабб признает, что английские власти смотрели сквозь пальцы на опасные последствия вражды между арабами и евреями. Мало, разумеется, сказать «сквозь пальцы». Известно, что английские власти благосклонно относились к иммиграции в Палестину еврейского населения, ибо это открывало перед ними возможности для политических интриг и раздувания национальной розни, отвлекающая энергию народных масс в сторону междоусобной борьбы. Глабб отмечает, что еще до образования государства Израиль лидеры сионистского движения при поддержке определенных кругов Соединенных Штатов Америки вели энергичную подготовку к будущей войне. Они скупали земли и создавали еврейские колонии в стратегически важных районах Палестины и даже вели строительство укреплений.

Арабско-израильской войне 1948—1949 годов Глабб посвящает немало страниц своей книги. Он приводит небезынтересные данные о численности войск. К концу войны у Израиля было 120 тысяч солдат и офицеров, в то время как войска шести арабских стран насчитывали всего около 56 тысяч человек. К этому следует добавить, что израильская армия была лучше подготовлена, оснащена новейшим американским оружием и техникой. В ее рядах сражались также американские офицеры. В книге говорится, что одним из израильских воинских соединений командовал полковник американской армии Дэйвид Маркус.

Благодаря вмешательству ООН арабско-израильская война закончилась перемирием. Однако в нарушение договоренности экстремистские круги Израиля при поощрении американских империалистов по-

прежнему провоцировали кровавые пограничные инциденты. Логическим продолжением политики израильских правящих кругов в отношении арабских соседей явилась агрессия против Египта, в которой Израиль выступил в позорной роли застрельщика.

После арабско-израильской войны национально-освободительная борьба в Иордании нарастала все сильнее. Габб пытался огнем и мечом подавить народное движение. Вся страна была поставлена под «железный контроль» Арабского легиона, численность которого достигла уже двадцати трех тысяч солдат и офицеров. На его содержание Лондон выделял десять миллионов фунтов стерлингов в год. Тюрьмы и концентрационные лагеря были переполнены борцами за национальную независимость.

Но настал день, когда легионеры Габба заколебались, получив приказ стрелять в своих соотечественников, которые вышли на улицы с протестом против попыток включить Иорданию в Багдадский пакт. Это произошло в декабре 1955 года. В Амман прибыл другой английский генерал — Темплер, чтобы загнать Иорданию в этот военный блок. Казалось, что его миссия увенчается успехом, поскольку, по словам Габба, король Хусейн был готов пойти на сговор с Англией. Однако народ решил по-другому, бросив вызов могущественной Британии. В течение нескольких недель в Иордании царил революционный атмосфера. Правящие круги Иордании не решились в этих условиях согласиться с требованиями Темплера, и последнему пришлось уехать не солоно хлебавши.

Стало ясно, что Габб уже не хозяин страны. Потуги английского наместника навести «порядок» не возымели действия. Пламя освободительной борьбы тушили в одном месте, оно с еще большей силой вспыхивало в другом. Тогда король Хусейн и дворцовые круги вынуждены были отказаться от услуг скомпрометировавшего себя Габба. И напрасно в своей книге он пытается приписать свое смещение с поста командующего Арабским легионом «прискам» Египта и «подрывной деятельности» коммунистов. Он был изгнан под нажимом и по требованию иорданского народа как человек, ставший синонимом террора и иноземного гнета. Это была большая победа народа, важный рубеж в истории страны.

После смещения Габба Иордания переживала период бурного национального подъема. Большую роль в определении нового курса страны сыграло патристическое правительство Сулеймана Набулси. Оно расторгло неравноправный англо-иорданский договор 1948 года, отказалось от английской денежной субсидии, привязывавшей Иорданию к Британской империи, и решительно отвергло доктрину Эйзенхауэра. Детище Габба, Арабский легион был очищен от английских офицеров и вошел в состав иорданской армии.

Однако иорданский народ недолго пользовался плодами своих завоеваний. Избавившись от английской опеки, Иордания попала в зависимость от Соединенных Штатов Америки. В апреле 1957 года в стране произошли трагические события. Опираясь на дворцовую клику, поддерживаемая ошестившимися жерлами орудий шестого американского флота, заокеанская разведка организовала антиправительственный заговор.

В Иордании вновь наступили черные дни реакции. Но на этот раз цепи для народа кует не английский, а американский империализм. Не Габб, а американский посол в Иордании Мэллори формирует там правительство и руководит расправами над патриотами. И недаром американского представителя в Аммане называют Мэллори-паша.

Кстати говоря, в своей книге Габб не может скрыть раздражения действиями Вашингтона, который еще задолго до этого вел активный подкуп под английские позиции в Иордании. «В течение последних нескольких лет моего пребывания в Иордании,— вспоминает Габб,— в ней было больше американцев, чем англичан, и они больше вмешивались во внутренние дела, чем англичане. В то время как англичане были склонны действовать через правительство, американцы предпочитали делать все сами».

В настоящее время правящие круги США делают все возможное, чтобы вытеснить Англию из Иордании и установить над этой страной свое безраздельное господство. Однако иорданский народ не затем понес столько жертв, пролил столько крови в борьбе за независимость, чтобы вместо одного империалистического хищника посадить на свою шею другого.

Г. ДРАМБЯНЦ.

Там, за Ладожским озером...

Кто не знает, что за Ладожским озером начинается наша северная республика Карелия — удивительный край вековых лесов и незакатного в летнюю пору солнца! Край, где встречаются ночное и дневное светила «и приглядываются друг к другу с удивлением и настороженностью», отражаясь в алмазных брызгах воспетого Державинным бессонного Кивача и на сонной глади сорока тысяч озер.

Но многие ли знают то, что на опытном участке под Петрозаводском юннаты вырастили трехметровую кукурузу «Гигант»? Что на бумажной фабрике в Питкяранте производятся отличные сорта бумаги, рассчитанные на долговечность? Что между Петрозаводском и Олонцом проходит необычная «граница», за ее невидимые пограничные столбы не залетают соловьи и не забегают ежи? Что есть на Онежском озере селение Кижы, где сохранились необычной красоты памятники деревянного русского зодчества и старик сторож увлекательно рассказывает, как эти мастера «топором и лес рубили, и дом строили, и узоры на нем узорили»? Что карельский селекционер Петров вывел методом инъекции гибрид ячменя и пшеницы, стебли которого напоминают свечи? Что и четверть тысячелетия еще не уничтожила следов памятной двухсотверстной «Осударевой дороги», которую проложили в дремучих лесах русские мужики и петровские солдаты, чтобы протащить в тыл к шведам два фрегата, протащить по суку от Белого моря до Онежского озера? Что нынче в «северной глуши», где-то в Сегеже, не редкость встретить китайского студента, изучающего практику бумажно-целлюлозного производства?..

Не будем долее томить читателя ожиданием ответа, где же источник столь энциклопедической осведомленности рецензента. Все эти и многие другие интереснейшие сведения мы извлекли, не роясь в энциклопедиях, а из небольшой книжки А. Таланова «В стране белых ночей», книжки, отнюдь не имеющей справочного характера, а являющейся живым рассказом о летнем путешествии ее автора по Карелии.

При оценке такого рода путевых очерков важно выявить самый характер книги, ее особенности. Читателю, в сущности, ма-

ло дела до того, чем любитесь автор, гораздо важнее, сумел ли он написать свою книгу так, чтобы заставить читателя любоваться вместе с ним красотой северной природы, пробудить желание повидать невиданные края. Не столь важно также то, что автор все интересующее его записывал в тетрадь, сколь важно, что же интересовало автора.

Сортавала — Питкяранта — Петрозаводск и его окрестности — водный путь от Повенца по каналу до Беломорска — Кемь, да на обратном пути заезд в Олонец — вот основной маршрут поездки автора. Многое он видел, как говорится, обегом, часть сведений, имеющихся в книге, записана со слов встреченных в попутье людей — лесников, водников, инженеров, колхозников, юннатов. Такие сведения, может быть, не всегда исчерпывающи, зато они таят в себе живую прелесть непосредственного узнавания нового. Читая книгу, словно сам едешь по узким зеленым коридорам лесных дорог, забираясь все далее в глубь края.

Книга «В стране белых ночей», конечно, не дает полного представления о богатствах и хозяйстве Карелии, да и не претендует на это. Но в ней есть нечто более ценное для читателя — самый разнообразный познавательный материал, ощущение увлекательности путешествия и атмосферы сегодняшней трудовой жизни республики.

Автор хорошо описывает природу — державно раскинувшиеся леса, настороженное безмолвие белых ночей, грохочущий ад Вочезж-порога. Некоторые описания, особенно в начале книги, несколько грешат литературщиной, но в целом лирическое чувство преобладает в них.

Основной особенностью книги является именно ее насыщенность интересными сведениями. Она написана любознательным человеком, которому равно доставляют радость и красоты природы, и руны старой Калевалы, и знакомство с работой слюдяной фабрики, и игры молодых песцов в зверосовхозе. Попутно он успевает сообщить и то, что представляет собой для нашего хозяйства «зеленое золото» — леса республики, и когда начали в России разрабатывать слюду, и каков рацион кормления зверей.

Поначалу весь этот поток сведений, который автор обрушивает на читателя, кажется столь же раздробленным, как брызги

А. Таланов. В стране белых ночей. Редактор Г. Малинина. 224 стр. «Молодая гвардия». М. 1957.

Кивача, но постепенно начинаешь уразумевать, что книга А. Таланова вовсе не конгломерат разнообразных сообщений, что все в ней организовано и сплочено одной общей мыслью о том, сколь значительна роль человека в освоении многообразных богатств природы и как удивительны плоды его творчества. Касается ли он природных богатств, старины или сегодняшнего дня, всюду рассказ автора направлен к тому, чтобы вызвать в нас чувство гордости родной землей, извечной ее красотой, умирными глазами прошлого — художниками, рудознателями — и особенно ее сегодняшним днем.

Переменяя исторические упоминания с рассказом о работе нынешних предприятий Карелии, автор рисует наглядную картину тех изменений, которые внесла в жизнь края и его людей наша советская жизнь. Некогда М. Пришвин, побывав в дореволюционном Петрозаводске, писал о нем как о чистеньком городке, который «не живет, а тихо дремлет». О пушечно-снарядном заводе, созданном еще в XVIII веке, он записал, что дела его очень плохи, и «только нерешительностью правительства объясняется его еще до сих пор теплящаяся жизнь. Так что завод этот вполне невинный и насколько не нарушает картины общего безмятежного спокойствия».

Сейчас Онежский завод — одно из крупнейших предприятий республики. Он, правда, по-прежнему невинен, так как производит не разрушительные орудия, а машины для лесной промышленности и строит буксирные пароходы, применяя новый метод секционной электросварки. Но от прежнего «безмятежного спокойствия» не осталось и следа. Тихо дремлющий городок стал столицей республики — одним из красивейших городов, со своим университетом, институтами, промышленными предприятиями и культурными учреждениями. Несмотря на огромный ущерб, причиненный городу фашистскими захватчиками, он успешно восстановлен и продолжает строиться по новому генеральному плану реконструкции; тут и там вздымаются ажурные сетки строительных лесов и подъемных кранов — «все это органически входит в городской пейзаж и даже кажется его обязательной, неотъемлемой частью».

Книга А. Таланова с ее быстрой сменой эпизодов напоминает как бы очерковые фильмы, которые мы всегда с интересом смотрим в кино. Но не в пример сценаристам этих фильмов автор книги не прохо-

дит мимо тех недостатков, от которых так важно поскорее избавиться. Он упоминает и о нерациональном использовании древесных отходов, и об издержках молевого сплава, и о пренебрежении к разработкам мрамора и использованию лечебных марциальных вод, и даже о том, что повенечки градостроители, «видимо, не постигли значения зеленой листвы деревьев и красоты цветников, улицы здесь лысы и голы, и вид у них неуютный, необжитой». За всем этим стоит не только личное огорчение автора, смотрящего на окружающее хозяйским глазом, но и неудовлетворенность местных жителей, энтузиастов края, не желающих мириться с любым проявлением бесхозяйственности.

И вдруг подумалось, что, может быть, и кинороботникам, снимающим киночерки, иногда не помешает обращать глаз киноаппарата на то, что нуждается в улучшении: это могло бы быть действенным стимулом для местных хозяйственников — пусть раскачиваются побыстрее!

Обидно, что в книгу, изобилующую интересными сведениями, закрались некоторые мелкие погрешности, вызванные, видимо, небрежностью автора или редактора. Так, знаменитое в литературе имение Вяземского Остафьево почему-то называется «Оставьевым», а «фернейский отшельник» Вольтер — «фарнзеским».

Из многих путевых очерков книга А. Таланова выгодно выделяется своей живостью и лирическим чувством.

Автор закончил свою книгу «Письмом к читателю», в котором пишет о своем расставании с чудесным краем, где так необычна природа и так кипуча творческая жизнь обыкновенных людей. Он сообщает, что взял с собой опавший с дерева желтый лист, чтобы он напоминал ему холодной зимой свою прекрасную родину. А может быть, этот древесный лист уже со страниц бумажного листа позовет читателей в те края, которые обычно остаются «в стороне от большого туристского тракта», побудит его проделать увлекательное путешествие тем же путем-дорогою.

По обаянию своему этот путь не менее удивителен и прекрасен, чем искоженные вдоль и поперек дороги юга. Рецензент в свою очередь ручается в этом, ибо тоже побывал в Карелии и был очарован ею, хотя и не забирался так высоко к северу, как автор книги «В стране белых ночей».

А. МАКАРОВ.

Старый мир и новые звезды

Недавно мне попала на глаза рецензия на только что вышедшее в свет пятнадцатое издание всемирно известного толкового словаря немецкого языка «Большой Дуден». Рецензент сетовал на то, что в это издание не успело попасть новое немецкое слово — «Sputnik».

Историки, которым дано будет объективно оценить наш сегодняшний день, несомненно, подытожат все те изменения в политической жизни общества, в соотношении сил на международной арене, которые вызвал запуск первого в мире искусственного спутника Земли. Среди многочисленных источников, очевидно, будет использована и брошюра «Старый мир и новые звезды», недавно изданная Комитетом германского единства. В этой книжке собраны отклики капиталистической прессы, а также высказывания государственных деятелей, ученых и литераторов по поводу великой победы советской науки и техники.

Отклики в подавляющем большинстве благожелательны. Неисправимыми остались лишь наиболее твердолобые авторы. Одни из них пытались замолчать запуск спутников, другие старались приуменьшить значение этого знаменательного факта.

Всеобщее восхищение охватило мир. Газета «Хиндустан таймс» (Индия) писала: «Советский Союз осуществил самую смелую мечту человечества». Газета «Мюнхенер меркур» (ФРГ): «Дату эту, 4 октября 1957 года, следует запомнить... Нензглядимым в нашей памяти запечатлелся тот факт, что в этот день началось покорение Вселенной». Газета «Политикен» (Дания): «Западному миру следует признать, что русская наука и техника добились результата, который может быть назван Октябрьской революцией в науке».

И, как обычно водится в капиталистических странах, сразу же нашлись люди, решившие на этом подзаработать. Английская газета «Дейли миррор», имевшая до того времени подзаголовок: «Издается самым большим тиражом на Земле», с 11 октября 1957 года стала печатать: «Издается самым большим тиражом во Вселенной». Лондонский салон мод начал усиленно рекламировать новую модель велюровой дамской

шляпки с торчащими в разные стороны тремя серебряными антенками. Шляпка эта, получившая название «Красная Луна», пользовалась большой популярностью у англичанок. Неский Кичида, секретарь японского Общества международных сообщений, поведал миру, что общество это решило в пять раз повысить цены на земельные участки на... Марсе. За один гектар — 250 иен! Спешите, покупайте!

Запуск первых спутников поставил в тупик западноевропейские и американские газеты, в течение многих лет твердившие на своих страницах об отсталости Советского Союза в научном и техническом отношении. В смешном положении оказалась, например, близкая к кругам Аденауэра газета «Рейнише меркур», которая всего лишь за два месяца перед запуском спутника утверждала, что народное хозяйство Советского Союза находится «на более низком уровне, чем перед началом индустриализации».

Даже ультрареакционная пресса вынуждена была пересмотреть свои позиции. Начала появляться более или менее объективная информация о положении дел в нашей стране. Сведения эти, правда, пока ограничиваются преимущественно областью науки и народного образования. Одновременно приводятся факты, свидетельствующие об отрицательном влиянии, оказываемом на развитие науки в США преследованиями прогрессивно настроенных ученых, национальной дискриминацией. «Сторонникам и противникам расовой сегрегации,— писала 9 октября 1957 года газета «Нью-Йорк геральд трибюн» (США),— следует сначала подумать о постройке школ, а затем уже начинать ссориться из-за них. Пока мы пытались овладеть Литл-Роком, русские овладели мировым пространством».

И вновь перед читателем капиталистической прессы встал злополучный вопрос: «Почему в социалистических странах наука процветает?»

Но вот крупницы правды понемногу начинают поблескивать на газетных страницах. «Нью-Йорк таймс» приводит слова Джона Р. Даннинга, декана Колумбийского университета: «Советская система способствовала подготовке во все возрастающем числе ученых и инженеров, а также созданию значительно более высоких технических возможностей, чем это имеем мы». Директор

западнберлинского Института геофизики доктор Шерхаг заявил: «Корни научных достижений Советского Союза лежат в его общественной системе». «Запуском спутников,— признала «Вашингтон пост»,— Советский Союз одержал блестящую победу в идеологической области».

Запуск спутников резко изменил международную ситуацию — к этому выводу приходят многие газеты. Высказывания по этому вопросу в брошюре «Старый мир и новые звезды» объединены под оправданным заголовком: «Тяжелые времена для поджигателей войны».

Ясно, что запуск спутника не мог быть произведен без межконтинентальной баллистической ракеты. Когда в декабре 1955 года в Советском Союзе было объявлено об успешном испытании межконтинентальной ракеты, многие западные газеты усомнились в правдивости этого сообщения. Но уже тогда «Нью-Йорк геральд трибюн» предостерегала маловеров: «Советы сообщают о новом оружии лишь тогда, когда

ими успешно решены все конструкционные проблемы».

Последний раздел книги назван «Существование и разоружение — в повестку дня!» Здесь собраны высказывания о необходимости положить конец «холодной войне», о том, что давно уже пора сдать в архив пресловутую «политику силы».

«Мы с вами живем на одной планете,— сказал Н. С. Хрущев в беседе с корреспондентом «Нью-Йорк таймс» Дж. Рестоном,— на которой достаточно места для всех, но расстояния на которой, благодаря современным сверхскоростным самолетам, развитию межконтинентальных ракет и другим успехам науки и техники, на глазах нашего поколения значительно сократились. Поэтому нам больше, чем когда-либо раньше, следует проявлять благоразумие и научиться совместно жить, как живут добрые соседи».

Слова эти нашли сочувственный отклик у всех людей доброй воли.

Е. НЕМИРОВСКИЙ.

★

Экономическая учеба в Норильске

Книжка носит сухое название: «Заметки об экономической учебе». Это, вероятно, сузит круг людей, которые возьмут ее в руки. А жаль! Автор интересно рассказывает о том, как в кругу инженеров, экономистов, бухгалтеров, плановиков в зимние вечера обсуждались назревшие вопросы строительства, о том, как люди, активно вникая в суть экономических законов, учились строить лучше и дешевле, по-хозяйски использовать материальные и трудовые ресурсы.

Действие происходит в городе Норильске — новом металлургическом центре на крайнем севере страны. Как и сотни других городов нашей Родины, он одет в строительные леса. Перед строителями возникает множество трудных проблем, требующих быстрого решения. Иначе будут нарушены сроки окончания объектов, продукция которых уже учтена в государственном плане, задержится строительство жилых домов, культурно-бытовых учреждений, и люди — горняки, металлурги, их жены и дети — будут терпеть разные невзгоды.

С. Эпштейн. Заметки об экономической учебе. Редактор И. Зборовский. 72 стр. Госполитиздат. М. 1957.

Словом, надо строить хорошо, быстро, дешево.

Без длинных предисловий автор вводит читателя в самую гущу жизни, в круг тем, которые рассматриваются на семинаре по конкретной экономике. Здесь занимаются работники строек Норильского горно-металлургического комбината имени А. П. Завенягина. Семинар этот, говорится в книге, — один из рядовых примеров того, как меняется характер партийной учебы в духе решений XX съезда КПСС. Изживается отрыв теории от жизни, исчезают элементы начетничества и формализма, вместо учебы догматической возникает учеба творческая.

Почти у всех участников семинара высшее или среднее техническое образование. Все они в том или ином объеме изучали экономические дисциплины, кое-кто занимался в кружках по изучению политэкономии, но в лучшем случае добирался до земельной ренты и почти никогда до экономики социализма. А между тем им постоянно приходится решать вопросы финансирования, заработной платы, рационализации, себестоимости. Но чаще всего внимание хозяйственников сосредоточено в первую

очередь на делах оперативного характера, до экономики «не доходят руки». Люди дерутся за лучшие экономические показатели, не всегда ясно представляя себе их содержание, подписывают баланс, не умея его читать.

«Итак,— пишет С. Эпштейн,— людям, решившим учиться в семинаре, не хватало экономических знаний. Семинар должен был повышать их деловую квалификацию и содействовать формированию их мировоззрения». Автор подробно рассказывает о программе и методике занятий, приводит поучительные примеры, а в заключение даже знакомит с составленной им очень любопытной «Памяткой руководителя семинара». Тем и хороша эта небольшая книжка, что все ее содержание — живой опыт, интересовавшийся которым, а может быть, и перенять его — дело стоящее для всех организаторов занятий по конкретной экономике.

Удалось ли руководителю решить задачи, поставленные перед семинаром? Дальнейшее повествование автора показывает, что ответ на этот вопрос должен быть положительным.

Изучение экономической теории в сочетании с конкретными проблемами строительства придавало остроту обсуждению любой темы на семинаре. Возникали споры и дискуссии. «На первом же занятии,— говорится в книге,— мы условились, что все слушатели будут делать вырезки из газет по вопросам экономики. Библиотека управления строительства собрала литературу по экономике строительства, имеющуюся в городе. Местное научно-техническое общество строителей в своем бюллетене аннотаций новых книг и статей завело раздел экономики строительства... Мы условились, что, кроме докладов, которые соответствовали бы теме или части темы учебной программы, вполне допустимы и доклады, не отвечающие непосредственно учебной программе, например, реферат о новой книге или статье по экономике строительства, рассказ о командировке».

Никакой рутин, никакого школярства, никакого трафарета на занятиях. Целе-

устремленность, атмосфера соревнования между докладчиками (сделать хороший доклад стало делом чести), борьба со скукой — вот стиль жизни семинара норильских строителей. Поэтому на занятиях, как пишет автор, не было академического бесстрастия, а, наоборот, развязывалась интересная полемика и самокритика.

Вот, например, один из участников семинара взялся сделать доклад о значении сборного железобетона. Вначале все шло как будто гладко, но потом кто-то спросил: «Во что фактически обходится сборный железобетон в Норильске?» — «Я такими данными сейчас не располагаю», — вынужден был признаться докладчик. И ему «не засчитали» доклад, он «срезался».

А вот и вовсе необычное занятие: читают отрывки из повести Н. Гарина-Михайловского «Инженеры». На семинаре, рассказывает автор, толковали об этом произведении потому, что ни в каких учебниках нет того, что писал Гарин о дореволюционной экономике строительства; потому, что и до сих пор не утратили злободневности некоторые высказывания Гарина, в частности по поводу расточительства на постройке железных дорог.

В качестве «подсобного материала» для занятий на экономическом семинаре служили произведения советских и иностранных авторов, спектакли и кинофильмы. Таким образом, занятия конкретной экономикой перестали быть «скучной нагрузкой».

Автор книжки правильно поступил, взявшись за перо, чтобы поделиться своим очень ценным опытом. Прав он, когда подчеркивает, что реорганизация управления промышленностью и строительством и создание совнархозов обогащают конкретную экономику новыми проблемами и вместе с тем требуют от практических работников расширения экономического и политического кругозора.

Способствовать этому — задача всей системы экономического образования наших кадров.

И. ПЕШКИН.



ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО В КИТАЕ

Произведения Льва Толстого были известны в Китае еще с 70-х годов прошлого века.

Известный путешественник К. Вяземский, совершивший в 1894 году длительную поездку верхом по странам Азии, свидетельствует, что когда он, беседуя с одним из китайцев о литературе, упомянул имя Толстого, то китаец, к его великому удивлению, «знал о нем и сказал, что многие из ихних учились русскому языку специально для того, чтобы прочесть его последние труды. Оказалось, что китаец даже знал о существовании наделавшей столько шуму «Крейцеровой сонаты»... Китаец сообщил мне, что многие из его соотечественников, знающие русскую грамоту, знакомы с большим количеством сочинений гр. Толстого...»

О большом интересе к произведениям Толстого в Китае сообщали позднее, в 900-х годах, в своих письмах в Ясную Поляну и многие деятели китайской культуры, в том числе известный писатель и ученый Ку Хун-мин, публицист Чжан Чин-гун и другие.

Однако когда же появились первые издания Толстого на китайском языке? На этот вопрос до последнего времени не было точного ответа. Компетентные советские исследователи утверждали, что первые переводы Толстого на китайский язык относятся к 1914 году. Эту точку зрения разделяли и многие китайские исследователи. Но оказалось, что это мнение ошибочно.

Одним из наиболее ранних отдельных изданий Толстого на китайском языке является найденный недавно китайским исследователем Гэ Бао-цюанем сборник «Религиозные рассказы Толстого» в переводе немецкого миссионера И. Генера, носившего китайское имя Е Дао-шэн. Книга эта была отпечатана в Июкогаме и издана в Гонконге в 1907 году. В нее вошло двенадцать народных рассказов Толстого, в том числе «Хозяин и работник», «Много ли человеку земли нужно?», «Где

любовь, там и Бог», «Бог правду видит, да не скоро скажет» и другие.

В своем предисловии к этой книге И. Генер ссылается на свою переписку с Толстым, который, по его словам, вся-

чески поощрял издание своих рассказов на китайском языке.

Нам посчастливилось недавно найти эту интересную переписку, и она целиком подтверждает слова переводчика. Вот что писал миссионер И. Генер Толстому в письме от 6 августа 1906 года (публикуется впервые):

«Рейнское
Миссионерское
общество.

Гон-Конг
6 августа 1906 г.

Высокочитимый господин граф!

В последнее время я занимаюсь переводом Ваших маленьких народных рассказов на китайский язык, и мне пришла мысль в голову поставить Вас об этом в известность.

Я думаю, Вы, несомненно, не будете возражать против того, что я ознакомлю китайскую публику (я имею в виду, главным образом, христианскую) с Вашими рассказами. Я даже считаю, что Вы будете рады, если китайцам станут доступны Ваши произведения.

Я уже давно задумывался над тем, чтобы ознакомить китайцев с хорошими немецкими народными рассказами, и положил этому скромное начало. Но многие из них не годятся для перевода на китайский язык. Но вот я прочел Ваши народные рассказы, и мне показалось, что они очень хороши для перевода на китайский язык благодаря своей простоте и естественности. Это подтвердилось, как только я приступил к работе. Мои переводы сделаны с английского издания Бейна (Bain), озаглавленного «Tales from Tolstoi» («Рассказы Толстого»). До сих пор мной опубликованы следующие рассказы в китайских (христианских) ежемесячных журналах, изданных в Шанхае: «Много ли человеку земли нужно?», «Как чертенок краюшку выкупал», «Где любовь, там и Бог», «Свечка, или как добрый мужик победил злого приказчика», «Упустишь огонь, не потушишь», «Два старика». Впоследствии я намереваюсь издать эти рассказы отдельной книгой и надеюсь, что она, исходя из того хорошего, что я уже слы-

шал об этих рассказах, принесет много добра. Как только это осуществится, я осмелюсь один экземпляр послать Вам.

Желаю Вам и в дальнейшем осчастливить человечество дарами Вашего гения...»

Полного текста ответа Толстого на это заинтересовавшее его письмо не сохранилось, так как ответ писал по поручению писателя его секретарь и близкий друг Д. П. Маковицкий. Но в еще не опубликованном дневнике Д. П. Маковицкого сохранилась запись, проливающая свет на этот ответ. Вот эта запись:

«Сегодня я по поручению Льва Николаевича написал I. Genē'g'u (Hongkong's Königliche Mission), что Лев Николаевич радуется тому, что он перевел на китайский язык его народные рассказы, и спрашивал его, не будет ли иметь успех на китайском языке «Круг чтения» и не взялся ли бы он перевести его».

Таким образом, можно считать установленным, что переводы И. Генера в шанхайских журналах и изданная им в 1907 году книга народных рассказов и есть одни из наиболее ранних изданий Толстого на китайском языке.

Годом позже, в марте 1908 года, Толстой снова получил письмо относительно издания его произведений в Китае. На сей раз ему писал с Урала русский инженер Яков Иванович Панфилов, который до этого жил среди китайцев, а в 1907 году посетил Ясную Поляну. В этом интересном письме, которое также публикуется впервые, мы читаем:

«Я Вам пишу, глубокоуважаемый учитель Лев Николаевич, по поручению одного из моих китайских друзей. Я имел уже случай говорить с Вами осенью прошлого года (если Вы припомните того горного инженера, который ехал из Восточной Сибири и направился к Вам с целью услышать от Вас мнение по очень волнующему поводу, но, к сожалению, выбрал мало удачный путь) и тогда еще узнал от Вас о том внимании, которое уделяете Вы этому глубоко интересному народу. Я жил среди китайцев немного, но и за небольшой период времени не мог не полюбить и не привязаться к этим трудолюбивым добрым людям».

Сообщив далее о том, какое большое место занимают в жизни простых китайцев духовные интересы, вопросы морали и нравственности, автор письма продолжает:

«Они много слышали от меня о Вас, интересовались подробностями Вашей жизни...»

Далее Я. И. Панфилов излагает цель своего обращения к Толстому. Один из его китайских друзей, «добрый и умный Чинь Ю-са, огородник по профессии», прислал ему письмо с просьбой запросить Толстого, какие из его произведений он рекомендует для перевода на китайский язык. «Охотно,— продолжает Я. И. Панфилов,— исполняю его просьбу и пишу Вам о ней. Тем с большей готовностью делаю это, что понимаю желание моего китайского друга обратиться именно за Вашим указанием и к Вашему мнению. В недалеком будущем китайский народ, видимо, ждут очень тяжелые испытания, могущие произойти из принятия тех европейских форм жизни, на великое зло которых Вы всегда указываете».

Письмо заканчивается словами: «Пока послал Чинь Ю-са столько экземпляров Вашего «Письма к китайцу», сколько мог приобрести. Уведомил его, что с радостью исполняю его просьбу, пишу Вам и буду с нетерпением ждать Вашего ответа, чтобы немедленно его передать подробно. Глубоко Вас любящий Яков Панфилов».

Прочитав это письмо, Толстой пометил на конверте: «Ответить. Очень важно». Вскоре он на него и ответил. Вот ответное письмо Толстого:

«Ясная Поляна.

Получил ваше письмо, Яков Иванович, очень интересное и мне очень приятное. Посылаю вам несколько книг и предоставляю вашему другу Чинь Ю-са выбрать то, что он хочет; впрочем, я обозначу те, которые, думаю, могут быть более интересны китайцам.

Я с тех пор, как знаю о китайцах, всегда все больше и больше интересуюсь ими и ожидаю от них очень многого в установлении порядка в жизни на нашем земном шаре, и большое их количество, а главное, хотя они не признают христианства, но христианский дух этого народа всегда трогал меня и привлекал к себе.

Посылаю вам по несколько экземпляров книг с тем, чтобы вы могли поделиться с теми, кто пожелал бы их иметь. Очень благодарен вам за ваши извещения и очень рад общению с вами.

Ваш Лев Толстой.

28 апр. 1908».

Нам неизвестно, воспользовался ли Чинь Ю-са разрешением Толстого и перевел ли он на китайский язык присланные ему книги. Но независимо от этого примечательны в приведенных письмах и огромный интерес к произведениям Толстого в Китае и то

глубокое и искреннее уважение, с которым великий русский писатель относился к китайскому народу и его культуре.

Научный сотрудник Музея Л. Н. Толстого
А. ШИФМАН.



МЕЖДУ ПРОЧИМ...

ОБ «ИДЕАЛЕ КРАСОТЫ»

Недавно вышел первый том «Всеобщей истории искусств», издаваемой Институтом теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР (издательство «Искусство»). Монументальное издание с большим числом иллюстраций. Обращает на себя внимание характеристика скульптурного портрета жены фараона Эхнатона Нефертити: «Хотя ее нельзя назвать красавицей — у нее слегка плоский нос, большие уши, очень длинная тонкая шея, — однако эти отдельные недостатки совершенно затушевываются тем чудесным обаянием подлинной женственности, которое исходит от ее образа и составляет его особенную прелесть» (т. I, стр. III). Характеристика эта вызывает некоторое недоумение. Спрашивается, с чьей точки зрения Нефертити не является вполне красавицей? С чьей точки зрения «плоский нос» и «большие уши» являются «недостатками»? Давно известно, что колонизаторы, да и вообще европейцы «старого закала» были непоколебимо уверены, что только белый человек воплощает в себе идеал человеческой красоты. Но уместно ли в советской истории всеобщего искусства применять идеал европейской красоты ко всем временам и народам?

И дело здесь, разумеется, не в солидной и всеми уважаемой исследовательнице древнеегипетской культуры М. Матъе, которой принадлежит эта статья, а в однобоком подходе к истории мирового искусства, которым страдают многие искусствоведы, в привычном натягивании всего мирового искусства на привычные критерии.

Каждый народ на протяжении своего исторического существования вырабатывал свой идеал красоты. Представления автора статьи об этом идеале, несомненно, не совпадают с понятиями древнеегипетского художника, создавшего прекрасный образ Нефертити. Должны ли мы руководствоваться европейскими критериями красоты при эстетической оценке художественной культуры и даже внешнего вида людей, запечатленных в памятниках различных народов? Не лучше ли попытаться приобщиться к художественному сознанию и вкусам самих этих народов, познавая, изучая и восхищаясь памятниками их искусства?

Александр МОРОЗОВ.

★

КТО НЕ ЗНАЕТ?..

«Человек рожден для счастья, как птица для полета». Прочитав в заметке «Передачи об А. М. Горьком» приведенную выше фразу, редакция «Радиограмм» (№ 10 от 8 марта с. г.) восклицает: «Кто не знает этих строк Алексея Максимовича Горького...»

Поскольку в конце фразы не стоит вопросительный знак, перед нами то, что в учебниках называется риторическим вопросом, то есть подразумевается: знают все.

Внесем небольшую поправку в утверждение «Радиограмм». Открыто признаем: мы не знаем этих слов А. М. Горького. Больше того, этих слов А. М. Горького не знает никто. Смеем утверждать — этих слов А. М. Горького не знал сам А. М. Горький.

Вернее, слова-то эти он знал, но знал и то, кому они принадлежат.

Горький, как он об этом не раз писал, с большим уважением относился к Владимиру Галактионовичу Короленко как к человеку и как к писателю. Читал Горький, конечно, и рассказ В. Г. Короленко «Парадокс», в котором легко найти слова «Человек создан для счастья, как птица для полета».

В редакции «Радиограмм», очевидно, мало читали и Короленко и Горького. Оттого-то там знают то, чего не знает никто, и не знают того, что известно каждому читавшему книги обоих писателей.

Б. Ю.

★

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО...

На каком языке писал свои статьи великий революционный демократ Н. А. Добролюбов? Казалось бы, постановка подобного вопроса абсурдна: общеизвестно, что замечательный критик был выдающимся художником и мастером слова, блестяще использовавшим вы-

разительные средства родного языка. Но вот во вступительной статье К. Пигарева к недавно выпущенным Гослитиздатом сочинениям Ф. И. Тютчева (М., 1957, стр. 19) приводится известное высказывание Добролюбова о поэзии Тютчева из статьи «Темное царство» и сопровождается загадочным и интригующим примечанием в сноске: перевод с французского.

К. Пигарев известен как выдающийся знаток биографии и текстов Тютчева. Ему принадлежит заслуга точной публикации ряда произведений замечательного поэта. Что же произошло в данном случае? Может быть, автору предисловия удалось отыскать новый, ранее неизвестный текст статьи Добролюбова и выяснилось, что она была написана по-французски, как на французском языке появилась, например, знаменитая работа Герцена «О развитии революционных идей в России»? Или все существующие русские издания Добролюбова плохи и его лучше цитировать по французскому переводу? Нет! К. Пигарев пользуется гослитиздатским трехтомником, вышедшим на чистейшем русском языке.

Как известно, книгу подписывают к печати редакторы «от издательства». Одни из них перед этим читают то, что они подписывают, другие нет. Редактором в данном случае была М. Блинчевская.

Как бы то ни было, вопрос о загадочном примечании остается неразрешенным.

В. К.

НОВОЕ В ИСТОРИИ...

До недавнего времени считалось общепризнанным, что татаро-монгольское иго существовало на Руси с XIII по XV век, что татары, нагрянувшие на нашу страну в XIII столетии, были окончательно изгнаны из нее в XV столетии, при Иване III. Это утверждение проникло даже в энциклопедические словари, вузовские учебники и школьные программы. Никому не приходило в голову в этом усомниться.

Но всему приходит конец! В принадлежащих Н. Степанову примечаниях к избранному произведению А. Н. Майкова в малой серии «Библиотеки поэта» (Л., 1957, стр. 458) мы не без некоторого душевного содрогания и трепета прочли такие сведения о Владимире Мономахе:

«Князь Владимир Мономах (1053—1125) — один из выдающихся собирателей русской земли, изгнавший половцев и татар».

Владимир Мономах! Вот, оказывается, кому обязана наша Родина избавлением от ненавистного татарского ига. Еще и не помышляли монголо-татары напасть на Русь, еще и не сложились в единое государство, а он уже оказал отпор, победил, изгнал... Глядишь, так скоро окажется, что и шведов под Полтавой разбил не Петр, а Борис Годунов, что и с Наполеоном воевал не Кутузов, а, чего доброго, Евпатий Коловрат.

А. Н.

СЕСТРА СВОЕГО ОТЦА

В книге М. Яновской «Вильям Гарвей», вышедшей в 1957 году в серии «Жизнь замечательных людей» (издательство «Молодая гвардия»), читаем, что «преемница Генриха VIII, сестра его Елизавета, царствовавшая до 1603 года, издала закон», явившийся попыткой урегулировать заработки сельскохозяйственных рабочих (стр. 17). Но ведь хорошо известно, что Елизавета была дочерью Генриха VIII (от Анны Болейн). Прославлению ее именно как дочери этого короля посвящена заключительная сцена исторической хроники Шекспира «Генрих VIII». Но Елизавета не была и преемницей Генриха VIII. После него королем был Эдуард VI (1547—1553), потом пять лет царствовал Мария Тюдор (1553—1558). И наконец уж на престол вступила коварная и осторожная Елизавета, в царствование которой в 1587 году была казнена Мария Стюарт. Все это личности довольно хорошо известные и по исторической и по художественной литературе (трагедии Шиллера и Альфиери), по живописи и даже кино. При таких исторических познаниях автора невольно теряется доверие и к изложению более специальных и менее поддающихся элементарной проверке фактов жизни и деятельности Вильяма Гарвея. «Единойды солгав — кто тебе поверит», — сказано в одной древней книге.

А. М.

★



КОРОТКО О КНИГАХ

★

П. ТРОНЬКО. Бессмертие юных. (Из истории борьбы комсомольского подполья Украины против гитлеровских захватчиков). Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». М. 1958. 168 стр. Цена 2 р. 40 к.

Перед нами — не роман, не повесть, не поэма, а документально скупой рассказ о героической деятельности комсомольского подполья Украины в дни Великой Отечественной войны. Автор приводит факты, только факты. Одна за другой проходят перед читателем истории комсомольских подпольных групп, их славной борьбы, а часто и героической гибели. И вот перед нашим мысленным взором возникает картина массового героизма, за который комсомол Украины был в 1944 году награжден орденом Красного Знамени. Природу этого героизма ярко выражает приведенная в книге выдержка из предсмертного письма руководителя комсомольского подполья города Сталино Степана Скоблова:

«Я умираю на 24-м году жизни... В стенах немецкого гестапо последние минуты своей жизни я доживаю гордо и смело. В эти короткие, слишком короткие минуты я вкладываю целые годы, целые десятки недожитых лет, в эти минуты я хочу быть самым счастливым человеком в мире, ибо моя жизнь закончилась в борьбе за общечеловеческое счастье...»

Ю. ШЕСТАКОВА. Серебряный ключ. (Рассказы и очерки). Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». М. 1958. 141 стр. Цена 2 р. 10 к.

«Вот уже чего-чего не ожидал Леону Канчуга, так это повестки на суд. Его будут судить. И за что? За то, что он убил тигра».

Этими словами открывается рассказ «Живой тигр» — первый в сборнике рассказов и очерков Ю. Шестаковой. Его герои — люди советского Дальневостока: удэгейцы и эвенки, шагнувшие из первобытного строя прямо в социализм. В сборнике читатель встретит людей самых различных профессий: шоферов, геологов, водолазов. Писательница знает материал не понаслышке: она сама жила на Дальнем Востоке, много путешествовала, изучала историю и быт удэгейцев, эвенков, нанайцев, перевела повесть Джанси Кимонко, стихи А. Самара и А. Пассара. Точность интонации, мягкий юмор, умение перевоплотиться в героя, не теряя своей авторской позиции, — вот что привлекает читателя в лучших ее рассказах.

П. МЕЛЬНИКОВ. В маньчжурском походе. Записки военного корреспондента. Магаданское книжное издательство. 1958. 140 стр. Цена 3 р. 45 к.

Книга эта создана спустя более чем десять лет со времени описываемых событий. Автор ее — Петр Мельников, бывший военный корреспондент красноармейской газеты «Суворовский натиск» Забайкальского фронта. В книге нет разбора военных операций. Записки интересны личными впечатлениями автора, взволнованным рассказом о героизме советских воинов.

А. ТАРНЯГИН. Страницы пережитого. Архангельское книжное издательство. 1958. 28 стр. Цена 35 к.

«—Взбесилась ведьма злая... Взбесилась ведьма злая...— упрямо и сердито повторяю я.

— Ведьма, что и говорить! Счастливцев, кто эту зиму переживет и от голода не умрет. Что делать будем? Хлеб кончается...— с горечью вздыхает мать и с тоской смотрит в окно...»

Мы знакомимся с маленьким крестьянским мальчиком, жившим на берегу реки Ваги в Шенкурском уезде, как раз в то время, когда он только начинает заниматься в убогой церковно-приходской школе. Хотелось после окончания ее учиться дальше, а вместо этого пришлось идти на заработки в Архангельск, на лесопильный завод.

Эта автобиографическая книжка просто и убедительно рассказывает о жизни пролетария Севера. Шаг за шагом, на примере своей жизни, раскрывает перед нами Тарнягин рост классового и политического сознания рабочего до его прихода в революцию, вплоть до участия в октябрьских боях.

Г. РЫКЛИН. Правдивые рассказы. Из записной книжки фельетониста. «Советский писатель». М. 1958. 268 стр. Цена 3 р. 80 к.

Книжка эта состоит из семи глав, каждая из которых объединяет несколько маленьких рассказов, подчиненных общей теме.

С самого начала автор предупреждает читателя, что его правдивые рассказы из записной книжки это «не автобиография и не мемуары. Она составлена из небольших листочков воспоминаний, из документов своего личного архива, из коротких записей, из лаконичных эпизодов, разбросанных по книге порою не в хронологическом порядке». Трудно более точно, чем это сделал сам

автор, охарактеризовать содержание этой интересной работы одного из старейших советских журналистов.

СКАЗКИ АЛБАНИИ. Детгиз. М. 1958. 72 стр. Цена 4 р. 55 к.

Сказки, которые вошли в этот небольшой сборник, необычайно поэтичны, изящны и просты. Но вместе с тем они проникнуты глубоким социальным смыслом.

В них бичуется тупость и жадность богачей, прославляется народная мудрость и сила. Почти в каждой из сказок выступает герой — богатырь-крестьянин; умный, рассудительный, он сокрушает злые силы и восстанавливает на земле справедливость. С албанскими сказками, безусловно, с удовольствием ознакомятся и дети и взрослые.

ИСПАНСКИЕ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ. Перевод с испанского. Государственное издательство художественной литературы. М. 1958. 512 стр. Цена 11 р. 20 к.

Испания дала мировой литературе Сервантеса, Лопе де Вега и Кальдерона. Их произведения, созданные три с половиной века назад, глубоко волнуют наших современников. А что же создала испанская литература в XVIII—XIX веках? Увы! Наш читатель знает об этом очень мало, почти ничего. И не удивительно. В XVIII веке испанская культура переживала жесточайший упадок, да и XIX век был для нее отнюдь не «золотым веком». Но тем не менее в середине XIX века в Испании уже появляется плеяда писателей, выдвинутых демократическим движением. В их творчестве находит отражение национальная жизнь и быт народа. Писатели-романтики постепенно обращаются к реальной действительности, используют богатство народного творчества. В сборнике «Испанские повести и рассказы» впервые на русском языке собраны лучшие произведения десяти наиболее популярных в Испании писателей XIX века. Это — Фернан Кабальеро, Антонио де Труэба, Хуан Валера, Педро Антонио де Аларкон, Хосе Мариа де Переда, Бенито Перес Гальдос, Леопольдо Алас и, наконец, Хоакин Дисента и Висенте Бласко Ибаньес, творчество которых может быть отнесено и к XIX и — частично — к XX веку.

Составители сборника постарались отобрать у каждого из этих весьма разнообразных писателей наиболее характерные произведения. Перед нами проходит вереница образов испанских крестьян из различных провинций страны, картины их жизни и быта, образы ремесленников и разорившихся дворян. Изобличаются и высмеиваются стяжатели, ростовщики, религиозные ханжи. В рассказах Ибаньеса довольно глубоко затрагиваются социальные проблемы, гораздо глубже, чем у его предшественников. Он рисует трагические стороны современной ему народной жизни. В произведениях Хоакина Дисента нашла отражение жизнь мадридских пролетариев.

Сборник испанских рассказов дает возможность советскому читателю ознакомиться с лучшими образцами творчества мастеров испанской прозы XIX века.

В. ЖМУИДА, Г. ДМИТРИЕВ. Туркменская ССР. Госполитиздат. М. 1957. 144 стр. Цена 1 р. 85 к.

Передистывая страницы книги «Туркменская ССР», вместе с ее авторами заглядываешь в наиболее интересные уголки этой «самой южной, самой солнечной и, может быть, самой своеобразной страны» великого Советского Союза.

Из столицы республики — зеленого Ашхабада — читатель попадает в нарядный и благоустроенный Небит-Даг, город нефтяников, возникший в безводной прежде пустыне, где первый кустик тамариска и тонкий ствол акации выпестованы с величайшим трудом и поливались когда-то водой, доставленной за десятки километров. Авторы рассказывают о том, как осуществляется извечная мечта туркменского народа о большой воде. Речь идет о строительстве девятисоткилометрового Каракумского канала, который оросит свыше 400 тысяч гектаров земли и создаст новую мощную базу хлопководства. Книга знакомит нас с портовым городом Красноводском, где на пирсах разгружаются тракторы, автомашины, станки из Москвы, Горького и Ленинграда, кубанский и приволжский хлеб, северный строевой лес, а в обратном направлении уходят хлопковое волокно, шерсть, соль, химикаты, рыба, фрукты.

Отдельная глава посвящена перспективам развития экономики Туркменской республики.

ПОВОЛЖЬЕ. Экономико-географическая характеристика. Географгиз. М. 1957. 464 стр. Цена 14 р. 50 к.

Читаешь эту книгу — и невольно вспоминаешь недавнее прошлое Волги, так выразительно запечатленное в репинских «Бурлаках».

Теперь в водах Волги отражаются огни могучих электростанций. В 1956 году валовая продукция крупной промышленности Поволжья в пятьдесят два раза превысила уровень 1913 года. Таких интересных примеров, свидетельствующих о бурно растущей экономике района, в книге «Поволжье» немало.

Мы знакомимся с природными условиями Поволжья, его экономикой, ростом городов. За годы Советской власти Поволжье превратилось в один из крупнейших индустриальных районов страны. Особенно широкое развитие получили машиностроение и нефтедобыча. Татария будет давать к 1960 году около одной трети общесоюзной добычи нефти.

В книге многочисленные фотографии, карты и схемы.

М. И. ГУБЕЛЬМАН. Борьба за советский Дальний Восток. 1918—1922. Воениздат. М. 1958. 276 стр. Цена 5 р. 25 к.

В книге последовательно описывается сложная обстановка, в которой протекала революционная борьба на Дальнем Востоке, установление там Советской власти. Автор — секретарь Владивостокского комитета РСДРП, затем член Дальневосточного краевого комитета партии и краевого Сова-

та — рассказывает о том, что он сам видел и пережил, и это придает его повествованию особенную выразительность.

Перед читателем проходят годы гражданской войны, эпизоды славной борьбы дальневосточных партизан с интервентами и белогвардейцами. Книгу населяют многие герои тех лет, патриоты нашей Родины. С интересом читаются страницы, где рассказывается о В. К. Блюхере, С. Г. Лазо, П. П. Постышеве.

В книге большое количество редких фотографий.

МИХ. ЦЕНЦИПЕР. Человек будет жить. «Молодая гвардия». М. 1958. 496 стр. Цена 8 р. 70 к.

Труден и длинен путь, который был пройден грудной хирургией до того, как она добилась своих нынешних успехов. Автор рассказывает о хирургах допироговской эпохи и о Н. И. Пирогове как основателе современной научной хирургии.

Ведущей темой повествования является развитие операций на легких. Эту главную линию автор переплетает с биографиями выдающихся хирургов, как отечественных, так и зарубежных, и рассказывает об исканиях пытливого мысли, настойчиво стремившейся раскрыть для науки «книгу за семью печатями», как называли в то время грудную полость человека.

«Единство действия», связывающее великих хирургов прошлого с нашими современниками, освоившими легочные операции такой сложности, о которой раньше нельзя было и мечтать, показано автором ярко и убедительно.

ВЛ. СИЛАНТЬЕВ. Солнце возвращается Египту. «Молодая гвардия». М. 1957. 160 стр. Цена 2 р. 30 к.

В дни, когда самолеты агрессоров бомбили Суэц и Порт-Саид, редакция «Комсомольской правды» направила в Египет своего специального корреспондента. Он пробыл там несколько месяцев, встречался со множеством людей. О своих впечатлениях Вл. Силантьев рассказал в книжке путевых очерков «Солнце возвращается Египту».

В. С. ВИРГИНСКИЙ. Творцы новой техники в крепостной России. Учпедгиз. М. 1957. 368 стр. Цена 10 р. 25 к.

В книге двенадцать научно-биографических очерков, отображающих деятельность наиболее видных русских инженеров, ученых, изобретателей-самоучек, живших в XVIII и в первой половине XIX века. Автор обобщил и систематизировал исследования советских историков техники, в частности свои собственные по истории железных дорог. Он рассказывает о М. В. Ломоносове, Б. С. Якоби, А. К. Нартове, строителе первой русской железнодорожной магистрали

П. П. Мельникове, электротехнике В. В. Петрове, создателе «русского булата» металлурге П. П. Аносове и о других замечательных ученых и техниках.

Очерки представляют интерес не только для преподавателей, но и для учащихся. Они позволяют восстановить картину исканий русских изобретателей.

Книга хорошо иллюстрирована.

В. БРУ. Подводные диверсанты. Сокращенный перевод с французского. Издательство иностранной литературы. М. 1957. 182 стр.+32 фотоиллюстрации. Цена 5 р. 80 к.

Чем дальше уходит в прошлое вторая мировая война, тем чаще появляются в печати сведения о секретных в то время видах оружия и методах диверсии, широко практиковавшихся капиталистическими государствами. Наши сведения об этом расширяет книга Бру, военного публициста, майора инженерных войск бельгийской армии. «Подводные диверсанты» дополняет ранее вышедшие в Издательстве иностранной литературы и посвященные той же теме книги «Потопленные» и «Десятая флотилия МАС».

Читатель знакомится с действиями боевых пловцов, составлявших экипажи сверхмалых подводных лодок и управляемых торпед. Их операции были направлены против неприятельских кораблей, находившихся в, казалось бы, надежно защищенных и тщательно охранявшихся военных портах. Популярно и живо написанная книга представляет несомненный интерес.

ХЬЮЛЕТТ ДЖОНСОН. Христиане и коммунизм. Издательство иностранной литературы. М. 1957. 156 стр. Цена 4 р. 10 к.

Автор книги — настоятель Кентерберийского собора, член Всемирного Совета Мира, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» — широко известен как общественный деятель, публицист и лектор. Его книга является сборником статей, рассматривающих взаимоотношения религии и общества, положение науки и просвещения в социалистическом государстве. Трактовка многих теоретических, в частности этических, социальных вопросов у Хьюлетта Джонсона своеобразна. Во многих случаях его выводы основываются на теологических положениях.

Книга имеет познавательную ценность. Неоспоримое достоинство ее — в объективном освещении завоеваний советского народа во всех областях экономики и культуры. Автор, неоднократно посещавший Советский Союз, правдиво и убедительно показывает рост благосостояния советских людей, осуществление конституционных законов о труде, образовании, свободе совести.

СДАЮТСЯ В ПЕЧАТЬ...

Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам (Госстройиздат) продолжает выпуск книг, которые должны помочь осуществлению решений XX съезда КПСС и постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 31 июля 1957 года «О развитии жилищного строительства в СССР».

Какие книги выйдут в свет в ближайшее время?

Монография «Москва», подготовленная коллективом научных сотрудников Академии строительства и архитектуры СССР, посвящена планировке, застройке и реконструкции столицы Советского Союза. Многочисленные (частью цветные) иллюстрации воссоздают неповторимый облик Москвы с ее магистралями, набережными, парками. Особое внимание уделено жилищному строительству — новым большим районам и жилым массивам, созданным за последнее десятилетие. Книга рассказывает о росте благоустройства столицы — ее электрификации, газификации, водоснабжении, дорожном строительстве, об общих перспективах реконструкции города.

К этой монографии примыкают другие издания, посвященные градостроительству. Большой интерес представляет книга «9-й квартал. Опытно-показательное строительство в г. Москве (район Новые Черемушки)». Это рассказ о быстрых изменениях, происходящих в одном из жилых кварталов юго-запада столицы. Читатель знакомится со сложным трудом архитекторов, которым приходится предусматривать не только архитектурно-планировочные решения зданий, секций и квартир, их оборудование и отделку, но также учитывать такие вопросы, как инсоляция (солнечное освещение), аэрация (приток свежего воздуха) и многие другие.

Институт жилища Академии строительства и архитектуры СССР подготовил работу Л. Киселевича и И. Рабиновича «Опыт типизации жилой застройки». В книге обобщен опыт строительства многоэтажных домов на протяжении послевоенного десятилетия в Киеве, Минске, Сталинграде, Запорожье и Магнитогорске.

Характерной особенностью нашего времени является не только строительство новых жилых массивов в городах, но и жилищное строительство, развернувшееся на территории отдельных промышленных предприятий. Об этом рассказывает, например, книга Н. Пекаревой (Институт теории и истории архитектурной строительной техники) «Жи-

лой район Запорожского трансформаторного завода».

Интересный альбом «Жилищное строительство» содержит технические решения, отобранные на Московской выставке новой строительной техники 1957 года и Постоянной всесоюзной выставке по строительству и архитектуре. В первом томе альбома собраны типовые проекты жилых домов с квартирами для одной семьи, проекты малогабаритной мебели и т. д. Во втором томе представлены строительные материалы и изделия, конструкции и строительные детали, санитарно-техническое и электротехническое оборудование, строительные машины и механизмы.

Повышение производительности труда и снижение стоимости строительства требуют широкого применения индустриальных методов работ и механизации всех строительного-монтажных процессов. Эту проблему трактуют книги: В. И. Малюгин «Эффективность применения сборного железобетона в строительстве», «Вопросы расчета жилых и общественных зданий со сборными элементами» и книга «Строительство жилых домов из крупных кирпичных блоков», в которой широко освещен опыт Главкиевстроя.

В ряде изданий широко освещается производство и применение современных прогрессивных строительных материалов и изделий. К таким материалам относятся ячеистые бетоны, газобетон, пенобетон, пластикаты и многие другие.

Серия книг знакомит с архитектурой городов СССР. Это работы: Н. Пекарева «Новая Каховка», В. Павличенко «Ангарск. Планировка и застройка города», М. Фехнер «Вологда», В. Балдин «Загорск». Автор последней работы прослеживает историю формирования и развития архитектурного облика Загорска — одного из древнейших городов Подмосковья, знакомит с проведенными при его участии реставрационными работами памятников, образующих выдающийся художественный ансамбль XV—XVIII веков — Троице-Сергиеву лавру.

Находится в производстве капитальный труд известного английского архитектора-планировщика Фредерика Гибберда «Градостроительство». В книге собран большой фактический материал по современному градостроительству, причем особое внимание уделено микрорайонированию, а также размещению промышленности.

Многие из перечисленных книг, несомненно, представляют интерес для участников V Международного конгресса архитекторов, который состоится в конце июля в Москве.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. О тактике партии в Октябрьской революции и социалистическом строительстве (статьи и речи). 328 стр. Цена 5 р. 70 к.

В. И. Ленин. Против ревизионизма. 584 стр. Цена 9 р. 50 к.

Н. С. Хрущев. Речь на собрании избирателей Калининского избирательного округа города Москвы 14 марта 1958 года. 36 стр. Цена 40 к.

Н. С. Хрущев. О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций. Доклад и заключительное слово на первой сессии Верховного Совета СССР пятого созыва 27 и 31 марта 1958 г.

Закон о дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций. 80 стр. Цена 80 к.

О прекращении испытаний атомного и водородного оружия. Материалы первой сессии Верховного Совета СССР пятого созыва 72 стр. Цена 65 к.

П. Н. Поспелов. Ленинизм — непобедимое знамя борьбы за торжество коммунизма. Доклад на торжественном заседании в Москве, посвященном 88-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина 22 апреля 1958 года. 32 стр. Цена 30 к.

О Государственном бюджете РСФСР на 1958 год и об исполнении Государственного бюджета РСФСР за 1956 год. Доклад и заключительное слово министра финансов РСФСР, депутата И. И. Фадеева на пятой сессии Верховного Совета РСФСР четвертого созыва 28 и 30 января 1958 года.

Закон о Государственном бюджете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на 1958 год. 40 стр. Цена 50 к.

Партия — организатор крутого подъема сельского хозяйства СССР. Сборник документов (1953—1958). 520 стр. Цена 9 р. 40 к.

Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам. 1917—1957 годы. Том 3. 1946—1952 гг. Сборник документов. 704 стр. Цена 15 р.

Вопросы внешней политики СССР и современных международных отношений. (Сборник статей). 352 стр. Цена 6 р. 25 к.

Воспоминания о Марксе жены, дочери и внука. 56 стр. Цена 80 к.

А. И. Динкевич. Экономика послевоенной Японии (1945—1955 гг.). 200 стр. Цена 2 р. 45 к.

История гражданской войны в СССР (1917—1922). Том 3. Упрочение Советской власти. Начало иностранной военной интервенции и гражданской войны. (Ноябрь 1917 г. — март 1919 г.). 680 стр. Цена 16 р.

Т. Карапетян. Ежедневная стенная газета. 64 стр. Цена 70 к.

Г. Кржижановский. Ленин и Маркс. 16 стр. Цена 25 к.

В. М. Курицын. Государственное сотрудничество между Украинской ССР и РСФСР в 1917—1922 гг. 160 стр. Цена 2 р.

И. М. Левин. Планирование труда и заработной платы на промышленных предприятиях. 192 стр. Цена 3 р.

А. Магид. Три поколения с улицы Баррикад. 248 стр. Цена 3 р. 80 к.

Я. Макаренко. Ленин в Польше. 168 стр. Цена 2 р.

Об ораторском искусстве. 272 стр. Цена 5 р.

О партийной работе в вузах. 144 стр. Цена 1 р. 65 к.

И. И. Скворцов-Степанов. Благочестивые размышления. Об аде и рае, бесах и ангелах, грешниках и праведниках и о путях к спасению. 112 стр. Цена 1 р. 20 к.

Славные большевички. 324 стр. Цена 5 р. 50 к.

А. Утенков. Работа большевиков среди трудового крестьянства накануне Октября. 160 стр. Цена 2 р.

Уильям З. Фостер. Октябрьская революция и Соединенные Штаты Америки. 48 стр. Цена 60 к.

В. М. Хвостов. 40 лет борьбы за мир. Краткий очерк. 160 стр. Цена 2 р.

Ф. И. Шабшина. Очерки новейшей истории Кореи (1945—1953 гг.). 308 стр. Цена 6 р. 50 к.

С. Г. Шаумян. Избранные произведения в двух томах. Том I. 1902—1916 гг. 560 стр. Цена 9 р.

VI Национальный съезд Рабочей прогрессивной партии Канады. (Торонто, 19—22 апреля 1957 г.). 72 стр. Цена 75 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- Г. Бакланов.** Девять дней. Повесть. 192 стр. Цена 3 р. 75 к.
- Х. Берулава.** Летящие годы. Стихи. Перевод с грузинского. 176 стр. Цена 2 р. 85 к.
- С. Борзенко.** Какой простор. Роман. 508 стр. Цена 9 р. 15 к.
- А. Вьюрков.** Чужие пороги. Повести и рассказы, очерки. 344 стр. Цена 5 р. 85 к.
- П. Выходцев.** А. Твардовский, 412 стр. Цена 9 р. 55 к.
- А. Гомнашвили.** Стихотворения и баллады. Перевод с грузинского. 140 стр. Цена 2 р. 10 к.
- Ю. Гордиенко.** Горизонты. Стихи. 152 стр. Цена 3 р. 10 к.
- Грузинские рассказы.** Сборник. 564 стр. Цена 9 р. 90 к.
- М. Дильбази.** Лирика. Перевод с абхазского. 88 стр. Цена 1 р. 25 к.
- А. Димаров.** Его семья. Роман. Перевод с украинского. 316 стр. Цена 5 р. 50 к.
- М. Зингер.** В урагане. Очерки. 176 стр. Цена 3 р. 45 к.
- Л. Куклин.** Соседям по жизни. Стихи. 88 стр. Цена 1 р. 55 к.
- К. Ломиа.** Земные звезды. Стихи. Перевод с абхазского. 104 стр. Цена 1 р. 20 к.
- С. Мелешин.** Любовь и хлеб. Рассказы. 372 стр. Цена 6 р. 30 к.
- К. Мухаммади.** Стихи и сказки. Перевод с узбекского. 84 стр. Цена 1 р. 40 к.
- Л. Мышкова.** Мастерство Л. Толстого. 436 стр. Цена 9 р. 20 к.
- С. Олендер.** Южные звезды. Стихи. 160 стр. Цена 1 р. 70 к.
- Б. Полевой.** По белу свету. Дневники. 572 стр. Цена 10 р. 15 к.
- Г. Рублев.** Баллада о жизни. 128 стр. Цена 1 р. 90 к.
- А. Сарсенбаев.** Сердце-щит. Стихи. Перевод с казахского. 196 стр. Цена 2 р. 90 к.
- С. Сартаков.** Горный ветер. Повесть. 240 стр. Цена 4 р. 60 к.
- В. Саянов.** Статьи и воспоминания. 232 стр. Цена 5 р. 25 к.
- М. Скороходов.** Лицом к океану. 104 стр. Цена 1 р. 40 к.
- С. Спасский.** Стихотворения. 148 стр. Цена 3 р. 20 к.
- М. Стельмах.** Кровь людская не водича. Роман. Перевод с украинского. 292 стр. Цена 5 р. 50 к.
- М. Танк.** Стихи с дороги. Перевод с белорусского. 68 стр. Цена 75 к.
- И. Тарба.** О друзьях, товарищах. Стихи. Перевод с абхазского. 135 стр. Цена 3 р.
- Х. Таурин.** Стихотворения. Перевод с татарского. 172 стр. Цена 2 р. 50 к.
- В. Хечумян.** Книга странствий. Перевод с армянского. 244 стр. Цена 4 р. 35 к.
- А. Шенгелиа.** Пора песен. Перевод с грузинского. 176 стр. Цена 2 р. 40 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

- Антология грузинской поэзии.** 803 стр. Цена 26 р. 65 к.
- Валерий Брюсов.** Стихотворения. Поэмы. 335 стр. Цена 4 р. 55 к.
- Сергей Васильев.** Стихи. 240 стр. Цена 4 р. 20 к.
- Ярослав Галан.** Избранное. Перевод с украинского. 600 стр. Цена 10 р. 30 к.
- Анатолий Гидаш.** Господин Фицек. Роман. Авторизованный перевод с венгерского. 692 стр. Цена 12 р. 45 к.
- Д. Голсуорси.** Цвет яблони. Перевод с английского. 62 стр. Цена 65 к.
- Жоу Ши.** Февраль. Мать-рабыня. Перевод с китайского. 227 стр. Цена 3 р. 70 к.
- В. И. Кальянов, В. Г. Эрман.** Калидаса. Очерк творчества. 72 стр. Цена 1 р. 40 к.
- Нико Ломоури.** Каджана. Рассказы. Перевод с грузинского. 95 стр. Цена 95 к.
- Г. Лонгфелло.** Избранное. Перевод с английского. 686 стр. Цена 10 р. 15 к.
- П. И. Мельников (Андрей Печерский).** На горах. В двух книгах. Книга 1. 644 стр. Цена 10 р. 25 к. Книга 2. 532 стр. Цена 8 р. 60 к.
- Жигмонд Мориц.** Избранное. Перевод с венгерского. Том 1. 556 стр. Цена 12 р. 45 к. Том 2. 503 стр. Цена 10 р. 20 к.
- Габит Мусрепов.** Солдат из Казахстана. Повесть. Авторизованный перевод с казахского. 219 стр. Цена 5 р. 10 к.
- Станислав Костка Нейман.** Избранное. Перевод с чешского. 624 стр. Цена 13 р.
- Вэнс Палмер.** Серебристый дуб. Перевод с английского. 88 стр. Цена 1 р. 10 к.
- Аркадий Первенцев.** Над Кубанью. Роман. Книги 1, 2 и 3. 744 стр. Цена 13 р. 35 к.
- Луиджи Пиранделло.** Новеллы. Перевод с итальянского. 438 стр. Цена 8 р. 45 к.
- Б. Г. Рейзов.** Французский исторический роман в эпоху романтизма. 567 стр. Цена 11 р. 10 к.
- Вильям Сароян.** Человеческая комедия. Перевод с английского. 183 стр. Цена 2 р. 85 к.
- Мих. Слонимский.** Избранные произведения. Том 1. 548 стр. Цена 12 р. 10 к. Том 2. 452 стр. Цена 8 р. 80 к.
- Л. И. Тимофеев.** Очерки теории и истории русского стиха. 415 стр. Цена 10 р. 55 к.
- И. Фейнберг.** Незавершенные работы Пушкина. Издание второе, дополненное. 365 стр. Цена 9 р. 25 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- Павло Автомонов.** Лес шумит. Повесть. 280 стр. Цена 5 р. 65 к.
- И. Александров, Г. Григорьев.** Михаил Курако. 144 стр. Цена 3 р. 80 к.
- Николай Асанов.** Угол чужой стены. Рассказы. 272 стр. Цена 5 р. 50 к.
- А. Н. Бакулев.** О хирургии сердца. 72 стр. Цена 1 р.

Иван Винниченко. Жизнь не ждет. (Из блокнота журналиста). 144 стр. Цена 2 р. 20 к.

Глеб Голубев. Необычные путешествия. 224 стр. Цена 4 р. 75 к.

И. Дайхес. Как собирать почтовые марки. 96 стр. Цена 4 р. 20 к.

Тихон Журавлев. Военные повести. 608 стр. Цена 10 р. 40 к.

Ганна Ильберг. Клара Цеткин. Перевод с немецкого. 207 стр. Цена 4 р. 90 к.

О. Куденко. Хорошее начало, грозненцы! 80 стр. Цена 1 р. 10 к.

Л. Либерман. Юный автомобилист. 111 стр. Цена 3 р. 85 к.

Михаил Луконин. Годы. Стихи. 184 стр. Цена 5 р. 15 к.

Отар Мампория. Горные потоки. Стихи. Перевод с грузинского. 144 стр. Цена 3 р. 50 к.

Хулио Матеу. Две родины. Стихи. Перевод с испанского. 112 стр. Цена 2 р. 35 к.

А. Некрасов. Судьба корабля. Повесть. 64 стр. Цена 90 к.

Приходите в наш клуб! Сборник. 96 стр. Цена 1 р. 35 к.

В. Таборко. Пионерские вояжи. 96 стр. Цена 1 р. 25 к.

В. Шумилов. Традициям оставаться в строю. 56 стр. Цена 75 к.

ДЕТГИЗ

В. Богатков, Л. Гальперштейн, П. Хлебников. Электричество движет модели. 207 стр. Цена 3 р. 90 к.

И. Василенко. Золотые туфельки. Повесть. 127 стр. Цена 2 р. 45 к.

Л. Воронкова. Федя и Данилка. Повесть. 80 стр. Цена 4 р. 85 к.

Г. Гулиа. Темур — человек гор. Документальная повесть. 48 стр. Цена 65 к.

А. Згуриди. Во льдах океана. 44 стр. Цена 3 р. 90 к.

Н. Кончаловская. Что случилось? 20 стр. Цена 1 р. 70 к.

М. В. Кратохвил. Удивительные приключения Яна Корнела, которые он пережил на суше и на море среди солдат, галерников, пиратов, индейцев, людей добрых и злых, оставаясь при этом всегда верным своему сердцу. Авторизованный перевод с чешского. 302 стр. Цена 5 р. 65 к.

М. Лоскутов. Тринадцатый караван. 286 стр. Цена 4 р. 80 к.

К. Моисеева. Тайна горы Муг. 176 стр. Цена 6 р.

Н. Москвин. Лето летающих. Повесть. 136 стр. Цена 2 р. 60 к.

В. Панюков. Рассказы зверолова. 64 стр. Цена 85 к.

Е. Пермяк. Тонкая струна. Рассказы. 103 стр. Цена 2 р. 45 к.

А. Таланов. Победитель неба. Биографическая повесть о А. Ф. Можайском. 128 стр. Цена 3 р. 10 к.

О. Тарнопольская. Веселый город. 14 стр. Цена 1 р. 65 к.

С. Узин. Загадки материков и океанов. 223 стр. Цена 4 р. 65 к.

А. Усанова. Первый сад. Стихи. 22 стр. Цена 1 р. 20 к.

Я. Шур. Когда? Рассказы о календаре. 159 стр. Цена 3 р. 75 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Л. Г. Бескровный. Очерки по источниковедению военной истории России. 452 стр. Цена 16 р. 35 к.

В. Я. Васильева. Распад колониальной системы империализма. 610 стр. Цена 16 р. 20 к.

Вопросы изучения эпоса народов СССР. 292 стр. Цена 12 р. 40 к.

Вопросы методики преподавания иностранных языков. 116 стр. Цена 3 р.

И. П. Герасимов и Ма Юн-чжи. Генетические типы почв на территории Китайской Народной Республики и их географическое распространение. 86 стр. Цена 3 р. 60 к.

Л. М. Гудошников. Местные органы государственной власти и государственного управления Китайской Народной Республики. 187 стр. Цена 6 р. 80 к.

Л. Н. Иванов. Очерки международных отношений в период второй мировой войны. 274 стр. Цена 12 р. 90 к.

Из истории кино. Материалы и документы. 199 стр. Цена 7 р. 75 к.

Из истории русско-болгарских отношений. Сборник статей. 292 стр. Цена 11 р. 70 к.

Исследования процессов горения. 125 стр. Цена 6 р. 50 к.

Л. Н. Котлов. Национально-освободительное восстание 1920 года в Ираке. 214 стр. Цена 8 р. 10 к.

Г. С. Ландсберг. Избранные труды. 481 стр. Цена 27 р. 45 к.

В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы. 431 стр. Цена 8 р.

Положение сельского хозяйства и крестьянства в колониях и других слаборазвитых странах. 483 стр. Цена 15 р. 90 к.

Сборник статей по истории Дальнего Востока. 348 стр. Цена 12 р. 30 к.

Цицерон. Сборник статей. 150 стр. Цена 7 р. 75 к.

П. Т. Яковлева. Первый русско-китайский договор 1689 г. 234 стр. Цена 8 р. 60 к.

ГЕОГРАФИЗ

П. Н. Бурлака. От Шкодера до Бутринто. 70 стр. Цена 1 р. 5 к.

М. В. Водопьянов. Пути отважных. 118 стр. Цена 2 р.

С. В. Калесник. По Бразилии. 175 стр. Цена 4 р. 60 к.

Д. и Б. Крайл. За подводными сокровищами. 182 стр. Цена 3 р. 40 к.

А. Е. Кривоуцкий. В ленской тайге. 120 стр. Цена 1 р. 85 к.

Э. Сетон-Томпсон. Рольф в лесах. 186 стр. Цена 2 р. 20 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Б. Данэм. Гигант в цепях. Перевод с английского. 250 стр. Цена 6 р. 15 к.

Дайсон Картер. Сыновья без отцов. Перевод с английского. 540 стр. Цена 16 р.

Хельге Круг. Мы великие. Комедия в 4-х действиях. Перевод с норвежского. 119 стр. Цена 2 р. 40 к.

Матисс. Сборник статей о творчестве. Перевод с французского. 126 стр. Цена 4 р. 10 к.

Джеймс Олдридж. Герои пустынных горизонтов. Перевод с английского. 494 стр. Цена 14 р. 80 к.

Нго Тат То. Лампа гаснет. Перевод с вьетнамского. 109 стр. Цена 2 р. 85 к.

Гвин Томас. Безвестные философы. Перевод с английского. 112 стр. Цена 3 р.

Енё Хелтаи. Ягуар. Роман. Перевод с венгерского. 138 стр. Цена 3 р. 65 к.

Экономическое положение Западной Европы. Сборник материалов. 313 стр. Цена 11 р. 55 к.

Цао Юй. Ясное небо. Пьеса. Перевод с китайского. 179 стр. Цена 3 р. 80 к.

МЕДГИЗ

Н. М. Анастасьев. Профессионально-бытовые факторы среды в этиологии гипертонической болезни. 80 стр. Цена 2 р.

В. А. Дьяченко. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. 264 стр. Цена 10 р. 30 к.

В. М. Коган-Ясный. Сахарная болезнь. 304 стр. Цена 10 р. 40 к.

О. В. Макеева. Профилактика заболеваемости матерей и новорожденных, 200 стр. Цена 6 р.

А. И. Пахомычев. Методика оценки физического развития подростков. 108 стр. Цена 2 р. 85 к.

Современные проблемы гематологии и переливания крови. 236 стр. Цена 7 р. 90 к.

Д. С. Футер. Заболевания нервной системы у детей. 464 стр. Цена 22 р. 80 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Г. Глезерман. Общественное бытие и общественное сознание. 62 стр. Цена 60 к.

А. Гришин. Районная газета в борьбе за подъем сельского хозяйства. 77 стр. Цена 1 р.

Записная книжка бригадира колхоза. 274 стр. Цена 3 р. 50 к.

А. Кузнецов. Музей Советской Армии. 208 стр. Цена 2 р. 65 к.

П. Лачугин. Рабочий день — семь часов. 46 стр. Цена 75 коп.

В. Марсов. Убеждение — главное в политической работе. 73 стр. Цена 90 к.

В. Морозов. От Красной гвардии к Красной Армии. 138 стр. Цена 1 р. 70 к.

Москва, развитие хозяйства и культуры города. Статистический сборник. 146 стр. Цена 2 р. 50 к.

Москва. Спутник туриста. 306 стр. Цена 5 р. 20 к.

Народное хозяйство Московской области. Статистический сборник. 270 стр. Цена 4 р. 25 к.

Н. Петровичев. На подъеме. 100 стр. Цена 1 р. 25 к.

По революционной Москве. Краткий справочник площадей, улиц, переулков, предприятий и учреждений, названных в память революционных событий и революционеров. 75 стр. Цена 1 р.

Сад и огород на приусадебном участке. 382 стр. Цена 7 р. 25 к.

П. Сергеев, А. Сулов, И. Минина. Многолетние травы на корм и семена. 140 стр. Цена 1 р. 85 к.

С добрым утром. Сборник произведений членов «Вальцовки» — литературного объединения московского завода «Серп и молот». 435 стр. Цена 10 р. 35 к.

Марк Твен. Избранные произведения. 549 стр. Цена 9 р. 70 к.

МУЗГИЗ

М. И. Глинка. Сборник статей. 816 стр. Цена 41 р. 55 к.

Грузинская музыкальная культура. Сборник статей. 446 стр. Цена 15 р. 90 к.

Г. Домбаев. Творчество П. И. Чайковского. 636 стр. Цена 24 р. 50 к.

В. Г. Донадзе. Захарий Палиашвили. 234 стр. Цена 8 р. 65 к.

Л. Карагичева. Азербайджанская ССР. 180 стр. Цена 3 р. 30 к.

Ю. Кремлев. Эдвард Григ, очерк жизни и творчества. 236 стр. Цена 8 р. 70 к.

Международный конкурс пианистов и скрипачей им. П. И. Чайковского. 96 стр. Цена 5 р.

Н. Николаева. Симфонии П. И. Чайковского. 298 стр. Цена 10 р. 30 к.

Л. Раабен. Скрипичные и виолончельные произведения П. И. Чайковского. 120 стр. Цена 2 р.

Л. С. Синявер. Музыка Индии. 124 стр.
Цена 2 р.
Г. Шнейерсон. Музыка Франции. 192 стр.
Цена 3 р.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

И. Н. Ананов. Развитие организационных форм управления государственной промышленностью в СССР. 80 стр. Цена 95 к.

С. Б. Крылов. Международный суд Организации Объединенных Наций. Вопросы международного права и процесса в его практике за 10 лет. 1947—1957 гг. 168 стр. Цена 6 р. 40 к.

Е. Г. Ломоватский, Г. М. Громова. Управление государственной внутренней торговлей в СССР. 178 стр. Цена 2 р. 25 к.

А. А. Мишин. Государственный строй США. 104 стр. Цена 1 р. 20 к.

М. Т. Оридорога. Расторжение брака. (По материалам судебной практики Украинской ССР). 96 стр. Цена 1 р. 45 к.

И. Д. Перлов. Судебные прения и последнее слово подсудимого в советском уголовном процессе. 204 стр. Цена 7 р. 85 к.

А. Л. Ривлин. Пересмотр приговоров в СССР. 312 стр. Цена 9 р. 10 к.



ПОПРАВКА

В № 2 за этот год на стр. 227 в статье «Посланцы партии» эпиграф следует читать так: «Без военкома мы не имели бы Красной Армии».

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

Б. Н. Агапов, С. Н. Голубов, А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора),
Б. А. Лавренев, М. К. Луконин, А. М. Марьямов, Е. Успенская, К. А. Федин

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 4/IV-58 г.

Подписано к печати 21/V-58 г.

А 03872. Формат бумаги 70×108^{1/8}. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 149 500. Заказ 734.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 9 руб.